



Russian Academy of Sciences
Institute for the Material Culture History

Российская Академия наук
Институт истории материальной культуры

N.I. Platonova

Н.И. Платонова

**A HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL
THOUGHT IN RUSSIA
1850s – early 1930s**

**ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ В РОССИИ
Вторая половина XIX – первая треть XX века**



NESTOR-HISTORY
Saint Petersburg
2010



НЕСТОР-ИСТОРИЯ
Санкт-Петербург
2010

УДК 902
ББК 63.3
ПЗ7



Монография подготовлена в ходе работы по исследовательским проектам:
РГНФ № 96-01-00125а; РГНФ № 99-01-00247а; RSS No. 755/1997
и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России»

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского Гуманитарного
научного фонда по проекту №№ 10-01-16072д

Рецензенты:

доктор исторических наук *Л.С. Клейн*,
доктор исторических *С.В. Белецкий* (ИИМК РАН)

Платонова Н. И.

ПЗ7 История археологической мысли в России. Вторая половина XIX — первая треть
XX века. — СПб. : Нестор-История, 2010. — 316 с.

ISBN 978-5-98187-619-6

Книга посвящена истории археологической мысли в России второй полови-
ны XIX — первой трети XX вв. Идеи, представления и подходы ученых-археологов
рассматриваются в ней на широком историческом фоне, в контексте событий, про-
исходивших в сферах политики, философии, экономики и т. д. История научных идей
органично сочетается в книге с историей людей, двигавших науку вперед. Привле-
чение широкого круга новых архивных источников позволило автору пересмотреть
целый ряд устоявшихся стереотипов отечественной историографии.

Книга рассчитана на специалистов — археологов и историков, студентов гума-
нитарных факультетов, а также на широкий круг читателей, интересующихся проб-
лемами отечественной археологии и истории.

**УДК 902
ББК 63.3**

*Моим родителям — Игорю Сергеевичу
и Марии Васильевне Платоновым —
с любовью*

ISBN 978-5-98187-619-6



9 785981 876196

© Н.И. Платонова, 2010
© Издательство Нестор-История, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой попытку по возможности объективно описать и проанализировать историю археологической мысли в России начиная с момента сложения представлений об археологических остатках как национальном достоянии. Именно тогда началось развитие собственно *научного*, а не антикварного подхода к памятникам. В нашей стране период возникновения и формирования научной археологии падает на середину XIX в. (разумеется, вне сферы классических древностей, где это произошло раньше).

Верхней хронологической границей настоящего исследования является середина 1930-х гг., когда ситуация в гуманитарных дисциплинах коренным образом меняется. По причинам вненаучного характера деятельность целого ряда важных направлений археологической мысли тогда оказалась прервана или трансформирована. Мне показалось логичным довести рассмотрение материала именно до этого периода ввиду качественных перемен, которыми он ознаменован.

Именно тогда, на рубеже 1920–1930-х гг., в СССР началось формирование историографической концепции, согласно которой археологическая наука в России предшествующего периода объявлялась весьма отсталой (господство «ползучего эмпиризма»), а первые серьезные научные обобщения появились в отечественной археологии лишь в результате экспансии марксизма в 1930-х гг.

На протяжении многих десятилетий за этой концепцией стояла мощная пропагандистская машина, подчинившая себе всю систему археологического образования, и с некоторыми оговорками, и научную практику. Задачей ее было обеспечивать поддержку данному варианту *идеологического мифа*, широко распространенного в тоталитарную эпоху — об ущербности буржуазной науки и благотворных последствиях внедрения марксизма.

В ходе работы над книгой мною были выявлены новые данные, показавшие несостоятельность указанной агрессивной концепции. Между тем влияние ее на последующие поколения археологов было огромным и ощущается по сей день. Сложившиеся мифологизированные представления, даже при критическом к ним отношении, оказывают определенное воздействие на воззрения ученых. Это заметно мешает выработке адекватных оценок прошлого нашей науки.

С другой стороны, начиная с рубежа 1980–1990-х гг. и по настоящее время у многих историографов обозначился «крен» в противоположную сторону — тенденция изображать тридцатые годы периодом тотального разгрома отечественной археологии и решительного разрыва всех наиболее перспективных научных традиций. В ряде ранних работ я сама отдала дань этому веянию, но более глубокая проработка материала заставила меня скорректировать свою позицию. В действительности имели место и разгром, и репрессии против ученых. Но наука осталась жива. Археологи сумели частично восстановить оборванные связи, частично — перенаправить острие исследований в новые области.

Выводы, предлагаемые ныне на суд читателя, базируются на обширном материале — научных публикациях, заметках периодической печати, мемуарной

литературе, опросных данных и достаточно широком круге архивных источников. В частности, в книге использованы материалы, собранные в архивах Российской Академии наук (Санкт-Петербургского отделения), Российского Этнографического музея, Музея антропологии и этнографии РАН, Института антропологии при МГУ, Государственного Исторического музея, Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также материалы семейного архива Бонч-Осмоловских, находящегося в личном ведении автора.

Модель, созданная мною, вероятно, имеет и слабые места, и досадные пробелы. Но для меня важно другое — чтобы эта модель оказалась *работающей*, реально способствующей пониманию логики развития археологической мысли (и науки в целом!) в нашей стране. Тогда все пробелы постепенно заполнятся сами собой.

Стоит сказать несколько слов о языке работы. В 1990–2000-х гг. в исторической науке стала прогрессировать тенденция к сугубому усложнению языка и введению в него необозримого количества специальных терминов из области социологии, психологии, философии и т. д. В результате целый ряд современных исследований по историографии и науковедению оказывается понятен лишь узкому кругу «посвященных». Я предпочитаю не следовать этой модной тенденции. Запутанность изложения либо служит прикрытием пустоты содержания, либо отражает путаницу в головах самих авторов. Поэтому в своей работе я стараюсь, по возможности, не использовать квазинаучный воляпюк, а выражаться по-русски.

В заключение выражаю самую теплую признательность постоянным участникам Семинара по истории и историографии археологической науки при Музее истории С.-ПбГУ — И.Л. Тихонову, И.В. Тункиной, В.Ю. Зуеву, Н.Н. Жервэ. Это наше молодое, полное сил и надежд содружество конца восьмидесятых — девяностых сделало возможным те серьезные обобщения, которые появляются теперь в наших книгах.

Я благодарна ныне уже ушедшим от нас А.Н. Анфертьеву, А.Г. Бонч-Осмоловскому, С.Н. Бибикову, П.И. Борисковскому, Ф.Д. Гуревич, Г.С. Лебедеву, В.М. Массону, В.И. Осмоловской, П.И. Раппопорту, Н.А. Спицыной, А.А. Формозову за то, что в разное время они делились со мною и воспоминаниями, и научным опытом. И то и другое впоследствии оказалось очень важно.

Я признательна всем моим коллегам, поддерживавшим меня советом и деловой критикой в период подготовки материалов и непосредственной работы над этой книгой — в первую очередь, М.В. Аниковичу, С.В. Белецкому, С.А. Васильеву, А.П. Дервянко, А.Н. Кирпичникову, Л.С. Клейну, В.П. Корзун, С.В. Кузьминых, Ю.М. Лесману, Н.А. Макарову, О.М. Мельниковой, А.Е. Мусину, Е.Н. Носову, О.С. Свешниковой, А.Н. Цамутали, Я.А. Шеру, М.В. Шунькову.

Финансовая поддержка на разных этапах выполнения этой работы была получена от Российского Гуманитарного научного фонда по проектам № 96-01-00125а (1996–1997) и № 99-01-00247а (1999–2001), а также от Фонда Сороса по проекту RSS No.: 755/1997 (1997–1999) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2010).

Доктор исторических наук
Н.И. Платонова

ГЛАВА 1 ИСТОЧНИКИ. МЕТОДЫ. ПОДХОДЫ

1.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В 1960–1970-х гг., в отечественной археологической литературе отчетливо обозначилось направление, рассматривающее историю науки как исторически обусловленную культурную форму — один из аспектов истории культуры. На первом плане оказалась творческая индивидуальность ученого, обрисованная на широком фоне, в едином контексте с событиями, происходившими в сферах политики, философии, этики, эстетики и т. д. Достаточно долго это направление развивалось изолированно, в основном трудами А.А. Формозова (1961; 1979; 1983; 1984 и др.). В конце 1980-х гг. оно получило приток новых сил.

На пике «перестройки» конец жесткого идеологического контроля и резкое расширение информационных возможностей стимулировали смену парадигм в гуманитарной области. Открылось новое научное поле, новый комплекс источников, новые перспективы историографического исследования и публикации источников. Результатом стала радикальная переоценка многих явлений и процессов, происходивших в отечественной археологии XIX–XX вв.

Развитие историко-научного направления в наши дни сопровождается многочисленными попытками оформить его теоретически, четко осознать истоки, функции и задачи указанного подхода, который вначале проявился совершенно спонтанно, явив собой своеобразное сочетание научного и эстетического, художественно-исторического познания прошлого. Элементы последнего, в той или иной степени, не могут не присутствовать в исторических реконструкциях образов науки прошлого, и в особенности в обрисовке образов конкретных ученых — во всей неповторимости их личностных характеристик.

Современная историография рассматривает поиски в данной области в русле глобального «антропологического поворота» в мировом гуманитарном знании в конце XX в. Главным признаком его считается введение в историю науки «субъективной составляющей»: «Историческая наука совершила стремительный поворот от концепций, которые создают ученые, к ученым, которые создают концепции...» (Свешникова, 2006: 472). Достигается это через конкретно-исторический подход к материалу, обогащенный наработками многочисленных смежных дисциплин (биографика, социология и философия науки, социальная психология, культурология, литературоведение и т. д.). Разработка методик синтеза и осмысления указанных материалов с целью построения исторических реконструкций представляет собой одну из актуальнейших проблем современной исторической науки.

Предметом настоящего исследования является развитие *археологической мысли* второй половины XIX — первой трети XX вв., понимаемое как эволюция и трансформация комплекса общих представлений и методических

подходов, применявшихся в данной области знания. Выражение «история археологической мысли» представляет собой русскую кальку с английского «*a history of archaeological thought*». В России это понятие стало особенно употребляемым после выхода в свет одноименной монографии Б. Триггера (Trigger, 1989). Данный термин стал удачной находкой, ибо по смыслу он отнюдь не адекватен «истории теоретических исследований в археологии». Наряду с общим смысловым полем налицо и явные различия.

В археологической науке, как и в любой другой, пики теоретической активности неизбежно перемежались с периодами спадов. Однако редкость или отсутствие публикаций собственно *теоретических* разработок вовсе не означало, что археологи на практике переставали руководствоваться определенной парадигмой, не делали попыток определить суть своих подходов к материалу и т. д. Причины зачастую лежали в иных областях. Иногда — в сфере политики, резко ограничивавшей возможность публичного обсуждения теоретических позиций. Иногда свою роль играли просто стереотипы поведения в ученых кругах, сложение которых (как и изменение) всегда вытекало из логики развития науки и характера ее первостепенных задач на том или ином этапе.

К примеру, в конце XIX — начале XX вв. в российской исторической науке считалось вполне нормальным переносить обсуждение методов в устную сферу, в то время как в печати зачастую обсуждались лишь опыты их *приложения* к конкретному материалу. Основополагающим «методом» исследования признавалось исчерпывающее знание фактов. Предварять свою работу специальным методическим разделом считалось даже не совсем приличным. Разумеется, все основные научные *credo* своевременно обсуждались и формулировались. Но при этом они редко излагались систематически, а публиковались и того реже. Случалось, принципиально важные идеи высказывались в печати мимоходом — в рецензии на новую книгу, в нескольких строчках введения или комментария, в лаконичных заметках журнальных «Хроник». А нередко историк находит их только в рукописях — в письмах, стенограммах, набросках к лекциям и т. д.

Но было бы наивно на этом основании полагать, что позитивистская и неопозитивистская историческая наука, доминировавшая и в Западной Европе, и в России во второй половине XIX в., не имела в своем распоряжении развитого теоретического отдела. Имела! И все серьезные ученые, работавшие с конкретным материалом, прекрасно знали о положении дел в этой области. Сферы «теории» и «практики» в исторической науке изначально были тесно переплетены. По меткому выражению З.А. Чеканцевой, «<...> теория сегодня — это своего рода ящик с инструментами. Историки изобретательно комбинируют имеющиеся в их распоряжении средства в целях решения конкретных исследовательских задач...». По словам Ж. Делеза, «*практика оказывается совокупностью переходов от одного пункта к другому, а теория — переходом от одной практики к другой...*» (Чеканцева, 2005: 65).

Так обстояли дела и в прошлом — не только в России, но повсеместно. Интерес к археологии во все времена был неотделим от интереса к древней истории человечества. А любая *историческая теория* есть, в сущности, критика и оценка современного ей общества. «Всякое общественное учение должно выстроить себе исторические подмости, должно истолковать и прошлое...» (Виппер,

2007: 10). В результате, именно идейная среда, определявшая мировоззрение ученых, служила той почвой, из которой вырастали многие теоретические, методологические новации. В основе принципиально новой платформы того или иного конкретного исследования чаще всего оказывались не строго научные теоретические разработки, а «носящиеся в воздухе» общефилософские, общеисторические идеи.

Напомним: «система трех веков» первоначально вошла в науку без всякого теоретического обоснования. В основе ее лежало, с одной стороны, решение сугубо прикладных задач экспозиции археологических материалов в музее Копенгагена, с другой — самые общие представления о прогрессе культуры и разума, унаследованные отчасти от эпохи Возрождения, реанимировавшей философские идеи античности, отчасти — от века Просвещения.

Британский офицер О.Г. Лэн Фокс (более известный под именем Питт-Риверса) «набрел» на идею эволюции в культуре совершенно самостоятельно, ознакомившись, по заданию командования, с историей усовершенствования старинного английского мушкета. «...Он был поражен постепенностью изменений, с помощью которых усовершенствование достигалось... Подметив неизменную правильность этого прогресса постепенной эволюции в отношении к огнестрельному оружию, он был наведен на мысль, что те же принципы должны, вероятно, господствовать и в развитии других ремесел, искусств и идей человечества...» (Анучин, 1952: 198).

Результатом указанного «практического» наблюдения стало многолетнее собирание этнографических и археологических коллекций, зримо иллюстрирующей идею «постепенного прогресса». Эти коллекции очень пригодились другому ученому — уже *теоретику* эволюционизма в этнологии — Э.Б. Тайлору. Однако утверждение, что выкладки Питт-Риверса «базировались на дарвинизме» (Лебедев, 1992: 116), ошибочно. Идея пришла ему в голову на рубеже 1840–1850-х гг., почти за 10 лет до выхода «Происхождения видов». Тогда он и начал свою работу по сбору коллекций.

Важнейшие положения таких основоположников диффузионизма, как, например, Л. Фробениус и У. Риверс, разбросаны по страницам их вполне «эмпирических» работ по африканской и меланезийской этнографии. И это совершенно естественно: только «эмпирики», то есть этнологи-профессионалы, досконально владевшие фактическим материалом и активно его приумножавшие, могли в начале XX в. сказать в данной области нечто новое. Список можно продолжить и далее. Но уже приведенные примеры ясно показывают: теоретические, методологические новации чаще всего возникают в науке внезапно, как данность. С другой стороны, подчеркнутая приверженность «эмпирии», «фактопоклонничеству» нередко являлись не отражением теоретической и методологической беспомощности, а своеобразной реакцией на предшествующее засилье «схематизма» и «теоретизирования». Именно такая ситуация сложилась в русской исторической науке на рубеже XIX–XX вв., когда прежние позиции государственной и историко-юридической школ начали вызывать отторжение у ученых нового поколения. По их мнению, они превращали данные источников в «иллюстрации готовой, не из них выведенной схемы» (Пресняков, 1920б: 7). В противовес им, ученики С.Ф. Платонова, А.С. Лаппо-Данилевского, Н.П. Кондакова, В.Р. Розена, А.А. Спицына «видели

свою задачу, прежде всего, в том, чтобы *восстановить, по возможности, права источника и факта* (курсив мой. — Н.П.)» (Брачев, 2001: 88).

Теоретические позиции многих русских археологов конца XIX — первой трети XX в. (А.А. Спицына, А.А. Миллера, С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловского, М.П. Грязнова и др.) ныне приходится формулировать задним числом по косвенным данным путем специального анализа их конкретных работ, а также рукописного, эпистолярного, публицистического и иного наследия (Платонова, 1997; 2002; 2002а; 2004; 2004а и др.). Однако археологическая мысль того периода развивалась весьма динамично и плодотворно, что и будет показано ниже в ходе изложения конкретного материала.

1.2. ИСТОЧНИКИ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хронологические рамки работы обусловлены стремлением рассмотреть развитие основных научных школ в отечественной археологии с периода их формирования до того переломного исторического момента, каковым явилась первая половина 1930-х гг. Нижняя хронологическая граница исследования обусловлена тем, что в середине — третьей четверти XIX в. в России определились все основные направления, по которым шло развитие отечественной археологии в дальнейшем. Практически на каждом из них в поле были сделаны открытия мирового значения. На повестку дня встали вопросы о статусе, задачах и средствах археологической науки, а также дальнейшая разработка методики исследований (Лебедев, 1992: 159–162).

Деятельность многих российских ученых, ставших основателями научных школ и направлений в отечественной археологии начинается именно в этот период. Пики активности их могут приходиться на 1850–1870-е гг. (А.С. Уваров, И.Е. Забелин), 1880–1900-е (В.Р. Розен), 1880–1910-е (Н.П. Кондаков, Д.Н. Анучин, А.А. Спицын, А.С. Лаппо-Данилевский), 1890–1920-е (В.А. Городцов, Б.В. Фармаковский), 1900–1910-е (Ф.К. Волков, М.И. Ростовцев), 1910–1920-е годы (А.А. Миллер, Б.С. Жуков) и т. д. Таким образом, третья четверть XIX в. — это тот период, с которого началось появление в российской археологии целой серии крупных имён. Далее вокруг них неизбежно появлялись ученики, более или менее сплочённые научные кружки и собственные «школы».

Верхней хронологической границей исследования является эпоха Великого перелома, которая коренным образом изменила всю ситуацию в отечественной науке вообще и в гуманитарной сфере в частности. Деятельность целого ряда научных направлений в археологии оказалась тогда прервана или в значительной мере трансформирована. Поэтому вполне логичным представляется довести рассмотрение материала именно до этого периода — в силу качественных изменений, происшедших тогда в археологической науке.

Поиск, предпринятый в архивах, позволил выявить факты, позволяющие по-новому осветить ряд процессов, происходивших в отечественном гуманитарном знании в рассматриваемый период. Весьма продуктивным оказался анализ материалов по личному составу археологических учреждений и различного рода

стенограмм. Особняком стоят дневниковые и эпистолярные документы, а также неопубликованные мемуарные произведения. Наконец, ещё одна важнейшая категория источников требует особого упоминания. Это рукописи научных работ, проспекты к ним, материалы к лекционным курсам, тезисы и резюме докладов, то есть все то, что так или иначе не попало в печать, но, безусловно, напрямую характеризует развитие археологической мысли. Материалы этого круга позволяют в ряде случаев довольно сильно скорректировать сложившиеся представления о русской археологии рассматриваемого периода.

Публикации второй половины XIX — первой трети XX вв. представляют собой важнейший источник по истории археологической мысли в России. Многие из них в дальнейшем «выпали» из научного оборота и содержат почти уникальную информацию. Однако этот источник, как и любой другой, бывает и лукав, и неоднозначен. Публикации, особенно полемические, требуют приложения достаточного изощренных методов научной критики. Как это ни парадоксально звучит, но порой важнее понять, о чём они старательно умалчивают, нежели усвоить, что говорится в них напрямую.

На начальной, источниковедческой ступени исследования потребовалось определить последовательность сбора и использования обширного архивного материала, уяснить значение различных комплексов архивных источников, а также характер отражения одних и тех же фактов и процессов в разных категориях документов (например, в стенограммах, газетных публикациях и эпистолярном наследии). В настоящий момент представляется наиболее продуктивным опираться, по мере возможности, на более-менее *цельные комплексы однотипных архивных источников*, отражающих историческое развитие отдельных явлений за известный период времени. К комплексам такого рода, учтенным в данной работе, относятся, например, серии стенографических отчетов общих собраний сотрудников РАИМК/ГАИМК и стенограмм заседаний ее Правления и Совета. Результативным оказался и анализ цельного комплекса документов по аспирантуре ГАИМК и т. д.

Как важнейший инструмент собственно исторического исследования, в работе используется *конкретно-исторический подход*, представляющий собой рассмотрение и анализ реконструированных исторических фактов в их временном, пространственном и социокультурном контекстах. При обрисовке позиций ведущих ученых широкого применяется *биографический метод*, получивший в последние 20 лет широкое распространение в трудах историков (Платонова, 1995; 1998; 1999; 2002; 2002б; 2002в; 2003; 2006 и др.; Репина, 1999; 2001; Румянцева, 2001; Kaeser, 2004). В настоящей работе он используется в качестве одного из основных. Его применение подразумевает такие приемы, как: а) реконструкция процесса становления ученого-профессионала в контексте субъективного сочетания его личностных характеристик и факторов этического, религиозного, социального, культурного характера; б) логическая реконструкция научно-исторической концепции данного исследователя; в) сравнительный анализ образов и биографических реалий разных ученых одного поколения.

На конкретно-исторической ступени исследования в работе используется комплекс методов и понятий, разработанных в области культурологии, социологии науки, науковедения и т. д. Труды А. Койре, К. Поппера, Т. Куна и др.,

вышедшие в свет во второй половине XX в., произвели настоящий переворот в представлениях о развитии научного знания. На практике это выразилось в широком распространении ряда принципиально новых идей. К последним, в частности, относится понятие «исторической целостности» образа науки, представляющее науку того или иного периода как систему идей и концепций, принятых научным сообществом в определенном историческом контексте и во взаимосвязи с идеями *непосредственных* предшественников и *непосредственных* преемников (Кун, 2003: 21).

Стоит отметить, что эта идея, получившая ныне признание и считающаяся последним словом мировой науки, серьезно разрабатывалась в России еще в 1900-х гг. выдающимся философом истории А.С. Лаппо-Данилевским. Уже тогда он, в частности, указывал, что научная мысль требует рассмотрения в генезисе, в зависимости от конкретных условий данного периода и сквозь призму того значения, которое придавали ей сами ее создатели (ср.: Корзун, 1989: 69). Однако забвение трудов А.С. Лаппо-Данилевского в советское время привело к тому, что лишь мизерная часть его историографических трудов оказалась опубликована. Те, что успели попасть в печать в 1900–1920-х гг., не были оценены по достоинству в первой половине — третьей четверти XX в. В результате работы Александра Сергеевича по философии и теории истории, включая источниковедение вещественных — то есть археологических — памятников, сами по себе явились научным открытием уже нашего времени — конца XX — начала XXI вв.

Под «научным сообществом», согласно М. Полани и Т. Куну, подразумевается группа ученых, работающих в одной предметной, проблемной или дисциплинарной области и связанных друг с другом системой научных коммуникаций (Купцов (ред.), 1996: 382–385). Кроме того, Т. Куном были введены такие, ставшие ныне классическими понятия, как «парадигма», «нормальная наука», «научный кризис» и «научная революция». Все они тесно связаны между собой, ибо отражают единый комплекс представлений о развитии научного знания.

Под *парадигмой* здесь подразумевается некая модель или упорядоченная совокупность идей, методов, правил и норм, которая определяет концептуальные рамки исследований каждого данного периода. Эти концептуальные рамки являются обязательным условием функционирования *нормальной науки*, которая, работая в заданном ими направлении, углубляет и совершенствует научные знания в конкретных областях. По мере решения своих задач нормальная наука неизбежно сталкивается с противоречиями, не укладывающимися в заданные концептуальные рамки. Нарастание этих противоречий обуславливает начало *научного кризиса*. Наконец, когда выявленные противоречия становятся окончательно невозможно согласовать с традицией, наступает *научная революция*. Выдвигается новая концепция — новая парадигма, лучше объясняющая, с точки зрения научного сообщества, накопившиеся факты и открывающая новые области и перспективы исследований. В силу этого она принимается на веру — до тех пор, пока новые факты, не укладывающиеся в схему, не заставят пересмотреть и ее (Там же: 5–312).

В целом, я готова признать, что указанная система взглядов отражает подлинную реалию научного мышления. Однако на практике процесс исторического развития гуманитарного знания (в частности археологии) отличается

своеобразием, придающим неповторимость каждому из его этапов. В современной историографической литературе уже сделана попытка описания «парадигм» мировой археологии, но, на мой взгляд, эту попытку следует рассматривать, скорее как первый подход к проблеме, чем как ее решение (Лебедев, 1992: 4 и др.). По крайней мере, часть выделенных Г.С. Лебедевым «парадигм» вполне может быть оспорена. Кроме того, на мой взгляд, не стоит искать в их чередовании строгую обязательность и периодичность. Параллельное функционирование различных парадигм не представляет собой ничего невозможного — по крайней мере, в области гуманитарного знания. Наконец, в силу особенностей формирования археологии как науки, ее развитие на определенных ступенях вообще шло в рамках разных научных сообществ — гуманитариев и естествоведов. Это обусловило независимое развитие совершенно разных парадигм и подходов — не только в рамках одной страны, но порою одного города, одного университета. Тем не менее, с поправками на конкретно-исторические реалии, указанный выше понятийный комплекс используется в моей работе в качестве важного инструмента исследования.

Из числа разработок философии истории XX в., имеющих большое значение для историко-научного исследования, я считаю необходимым особо отметить идеи *Николая Ивановича Ульянова* (1904–1985), ученого русского зарубежья, профессора Йельского университета (США), а ранее — выпускника Ленинградского университета по историко-археологическому циклу Ямфака (1927 г.), ученика С.Ф. Платонова (см. о нем: Багдасарян, 1997; Базанов, 2006: 58–77).

Н.И. Ульянов представлял развитие исторической науки в целом как параллельную разработку двух основных «историософских сверхтенденций». Первая из них трактует развитие человеческого общества как повторяющиеся циклы и стремится к созданию универсальных схем истории — от «эпох» богов, героев и людей Дж. Вико (XVIII в.) до современных позитивистских или марксистских обобщений. В рамках этой парадигмы делаются самые различные попытки выявить «законы истории», в частности путем перенесения законов естественных наук на исторический процесс. Вторая парадигма представляет собой «гегемонию исторического факта» как носителя исторической истины. Основателем ее считают итальянского мыслителя XV в. Лоренцо Валлу, доказавшего подложность «Константинова дара» — грамоты, якобы давшей Римским Папам право быть светскими государями в Италии (Ульянов, 1981: 66–70).

Для второй парадигмы, сторонником которой являлся сам Н.И. Ульянов, характерно весьма настороженное отношение к таким понятиям, как «законы истории», «формации», «идеальные типы» и пр. Согласно этой концепции, процесс исторического развития единствен и неповторим. Все попытки перенесения естественно-исторических закономерностей на человеческое общество заранее обречены на провал, ибо «все они основаны на принципе повторяемости явлений и могут быть проверены путем эксперимента. Историк же <...> никакого эксперимента позволить себе не может». По Ульянову, «никто и никогда еще не сформулировал ни одного закона истории» (цит. по: Базанов, 2006: 72). Возражения оппонентов, что накопление фактов ради них самих бессмысленно, ученый парировал тем, что вновь открытый факт порою кардинально меняет само направление исследований, их проблематику и т. п.

При этом Н.И. Ульянов вполне отдавал себе отчет в неоднозначности, «текучести» исторического факта и специфике исторических источников как таковых. Данное явление впервые было выявлено учеными неокантианской школы на рубеже XIX–XX вв. В результате анализа, проведенного ими, выявилось следующее: исторический факт не поддается непосредственному наблюдению, ибо «чужие состояния сознания», сами по себе, недоступны наблюдению историка (А.С. Лаппо-Данилевский). Ученый может лишь *делать заключения* о них по аналогии с собственным опытом. Он *реконструирует* исторические факты, оперируя не самой реальностью, а лишь ее остатками и преданием о ней. Он извлекает из источников информацию, в то же время создавая и преобразуя ее, так как источники практически неисчерпаемы и на новые изолированные методы анализа откликаются по-новому.

Указанные наблюдения верны и применительно к письменным («историческим») источникам, и применительно к источникам вещественным («археологическим»), несмотря на специфику применяемых к ним методов изучения. Н.И. Ульянов особо отмечает: понятие об историческом факте «составляется на основании письменных или археологических источников, часто очень скудных. Даже если их много, они никогда не дают полной и точной картины реального события» (Ульянов, 1981: 70).

Объектом исторического исследования, по Ульянову, является человек, его субъективное сочетание ума, воли, желаний, побуждений этического, религиозного, культурного характера, которые делают невозможными никакие «закономерности» (Базанов, 2006: 72–73). История есть специфический вид духовного творчества, «своеобразный мост между искусством и точными науками» (Там же: 76).

Принципиальное отрицание Н.И. Ульяновым позитивизма и его основных постулатов отнюдь не означало отрицания им реальных научных достижений позитивистов и неопозитивистов (в частности его непосредственных учителей С.Ф. Платонова и Е.В. Тарле) в области поиска и анализа исторических фактов. Именно «фактопоклонничество» являлось полуофициальным *credo* позитивистских и неопозитивистских научных «школ» Н.П. Кондакова, Д.Н. Анучина, Ф.К. Волкова, В.Р. Розена, в рамках которых, в частности, шло развитие отечественной археологии на рубеже XIX–XX вв. Тем не менее концепции Н.И. Ульянова нельзя отказать ни в цельности, ни во внутренней логике. В момент своего первого появления в 1960-х гг. его основные труды по философии истории не привлекли большого внимания. Зато в настоящее время они звучат весьма актуально. Продуктивность его идей в историко-научном исследовании несомненна.

Приступая к исследованию истории археологической мысли, необходимо заранее оговорить авторское понимание археологии как таковой. Я считаю возможным определять ее как *источниковедческую историческую науку* следуя в этом вопросе по стопам таких теоретиков истории, как А.С. Лаппо-Данилевский в отечественной науке и Р. Дж. Коллингвуд в зарубежной (Лаппо-Данилевский, 1910; 1913; 1923; Коллингвуд, 1980). Стоит отметить, что оба упомянутых классика исторической науки первой трети XX в. имели в археологии хорошую профессиональную подготовку и знали о специфике работы с «вещественными источниками» не только из книг.

В современной отечественной литературе указанная концептуальная позиция разрабатывается детально — хотя далеко не в едином ключе — Л.С. Клейном (1978; 1992; 1995: 75–103) и М.В. Аниковичем (1988; 1988а; 1992; 2005; 2007). Анализ противостоящей ей концепции «параллелизма» археологии и истории, тоже имеющей солидную традицию в отечественной археологической литературе, сейчас не является моей целью. Оговорю лишь один момент, связанный с ней и действительно важный в методологическом плане.

Этим моментом является неправомерность отождествления *логики научного познания*, выражающейся в системе наук, и *деятельности* познающего субъекта, исследователя (подробнее см.: Аникович, 2007). Археология как самостоятельная дисциплина со своими специфическими целями и задачами, безусловно, относится к базовой, источниковедческой ступени исследования. Однако для любого специалиста, имеющего профессиональную подготовку в области общественно-исторических наук, очевидно и другое: всякий серьезный историк должен одновременно являться источниковедом. Уровень его подготовки в данной области в значительной степени определяет степень оригинальности и глубины последующего исторического синтеза. Но какой же специалист способен соединить в одном лице источниковеда и историка применительно к дописьменному периоду истории человечества, от которого до нас не дошло ничего, кроме археологических материалов и их контекста? Видимо, только тот, кто профессионально владеет именно этим видом источников о древнейшем прошлом — *археолог-преисторик*.

Приверженцами этого взгляда, получившего во второй половине XX в. влиятельных сторонников, были, с одной стороны, представители «школы археологов-преисториков» послевоенной Германии (Г.Ю. Эггерс, Э. Вале, Р. Гахман), с другой — их оппоненты, представители «скептического направления» в Англии, понимавшие археологические источники именно как *палеоисторические* и *раннеисторические*. Виднейший из них, Г. Даниел, прямо заявлял, что «преистория и первобытная археология означают почти одно и то же» (Daniel, 1967: 24). В нашей стране данное направление археологической мысли нашло отражение в трудах В.А. Городцова, утверждавшего, что в «обширнейшем разделе» доисторической археологии «решительно нет места для счетов с историей» (Городцов, 1908: 5) и А.Н. Рогачева, считавшего первобытную археологию особой конкретно-исторической наукой (Рогачев, 1973; 1978: 18). Последнее, в сущности, означало одно: *историком первобытности может быть только сам археолог*.

Впрочем, не следует считать, что для более поздних эпох (античность, раннее средневековье и т. д.) проблема профессионализма историка в оценке археологических источников теряет всякое значение. Напротив, опыт отечественной археологии второй половины XX в. показывает: полноценные исторические реконструкции нередко оказываются возможны лишь при условии *профессионального владения* исследователя археологическим материалом. К примеру, в славистику многие свежие идеи, новые концепции приходят сейчас именно из археологического источниковедения. Подготовка историка-русиста «без археологии» понемногу становится нонсенсом ничуть не меньшим, чем, скажем, подготовка археолога-антиковеда без знания классических языков.

Важнейшим инструментом историографического исследования, применяемым в книге, является понятие «научной школы». Сразу оговорю: в современном

наукоедении это понятие остается дискуссионным. В настоящий момент в литературе имеется не менее 30 его определений. Установить для них единые теоретические критерии практически невозможно (Гасилов, 1977; Погодин, 1997; Мягков, 2000; Ростовцев, 2005).

В основе понятия научной школы могут лежать: разнородные политические или мировоззренческие платформы, философские взгляды, общность предметной области или метода исследования, концептуальная близость, профессионализм, связь с университетами и другими формальными коллективами и т. д. (Беленький, 1978). Чаще всего понятие «школа» подразумевает идейную и методологическую направленность исследований, унаследованную от предшественников. В то же время так могут называть просто группу учеников какого-то видного учёного, даже если их собственные пути в науке разошлись очень далеко. В подобных случаях «школа» есть не что иное, как высокая планка, заданная примером учителя.

Смысл, вкладываемый в указанное понятие в настоящей работе, не претендует на универсальность. С моей точки зрения, основой для формирования научных школ в археологии, как правило, служит педагогическая и/или экспедиционная деятельность крупных ученых. Это важный фактор, обеспечивающий преемственность идей и подходов в ходе создания общности «учитель — ученики». Но само формирование подобной общности невозможно, если, помимо рутинной учебной или раскопной деятельности, учителя не связывает с учениками нечто особенное — то, что способно выделить их содружество на общем фоне, породить чувство сопричастности ряду научных достижений или перспектив. Поэтому на первое место среди факторов, объединяющих научную школу, должен быть поставлен не сам факт педагогической деятельности ее основателя, а принципиально новый подход его к материалу, новая концепция, новое направление в тематике исследований и т. п.

Третьим определяющим фактором является наличие формальных и неформальных каналов, по которым осуществляется оперативный научный обмен между представителями школы. Таковыми являются: объединение в исследовательские коллективы, совместная экспедиционная деятельность, взаимодействие в рамках различных проектов и т. п. Четвертым важнейшим, хотя и «вспомогательным», фактором является степень групповой сплоченности, наличие отчетливого противопоставления «мы — они» по отношению к остальной части научного сообщества. Рождению этой сплоченности способствуют такие моменты, как личные качества лидера группы; совместное противостояние ее членов каким-либо «проискам извне»; чувство цеховой солидарности; общность коллективной памяти — научного «фольклора», формирующего образ данной школы, и т. д.

Когда эти факторы так или иначе задействованы, в пределах научного сообщества образуется дополнительная сеть («сгусток») многообразных и многоуровневых связей. В рамках ее происходит постоянное брожение мысли. Там присутствуют разные виды научной преемственности в достаточно сложном переплетении. Общность такого плана я и называю *научной школой*.

Безусловно, предложенная трактовка не претендует быть единственно возможной, учитывая «крайнюю расплывчатость категории исторической школы

вообще» (Ростовцев, 2005: 304). В связи с этим можно констатировать определенную идейную близость ее к разработкам С.И. Михальченко, в которых выход из запутанной ситуации мыслится именно через определение «иерархии критериев» в изучении феномена научной школы. На первое место среди них ставится «педагогическое общение... основателя школы и его учеников» (Михальченко, 1996: 3–16).

В ряду наработок современной социологии науки, использованных в работе, особого упоминания заслуживают идеи крупнейшего французского социолога П. Бурдьё (1930–2002) (см.: Ритцер, 2002; Шматко, 2001). Мне кажется плодотворным предложенное им понятие научного символического капитала, состоящего «в признании (или доверии коллег), которое даруется группой коллег-конкурентов внутри научного поля. <...> Этот вид капитала частично базируется на признании компетенции, которое, помимо производимых им эффектов узнавания и частично благодаря им, придает авторитет и участвует в определении, <...> что важно, а что нет в такой-то теме, блестяще это или устарело» (Бурдьё, 2001: 56–57; см. также: Бурдьё, 2005: 473–517). Другим важнейшим положением П. Бурдьё является деление научного капитала на институциональный и «чистый». Первый — это власть, связанная «с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лабораториями или факультетами <...> и т. д., а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспроизводства (власть назначать на должности и продвигать по службе), которую дают им высокие посты» (Бурдьё, 2001: 64). «Чистый» научный капитал, по Бурдьё, «приобретается, главным образом, признанным вкладом в прогресс науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим показателем в данном случае являются публикации, особенно в наиболее селективных и престижных печатных органах)» (Бурдьё, 2001: 65).

Идеи П. Бурдьё во многом дискуссионны. Но они оказались в русле социокультурных поисков современной историографии и служат ныне теоретической основой целого ряда историко-научных исследований — отечественных и зарубежных (Дмитриев, Левченко, 2001; Рингер, 2002). Весьма интересными выглядят, в частности, представления Бурдьё о внутренней иерархии научного сообщества и его трактовка конфликтов в науке как борьбы за символический капитал (Бурдьё, 2001: 49–95).

К этой последней проблеме обращался и Т. Кун, анализируя научное сообщество с социологической точки зрения, выявляя механизмы его функционирования и внутреннюю структуру. Рассматривая указанный аспект развития науки, Т. Кун пришел к заключению о «значимости» конфликта в научном сообществе. Выводы его кратко можно сформулировать так: наука развивается именно через конфликты и посредством конфликтов. Плодотворный диалог между конфликтующими учеными, придерживающимися разных парадигм, невозможен (Кун, 2002; см. также: Свешников, 2005: 236–237).

Использовать перечисленные выше социологические наработки, безусловно, необходимо с некоторой оглядкой, ибо всем им свойственна тенденция к упрощению и абсолютизации какой-то одной стороны анализируемого явления. Тем не менее они учитывались мною в комплексе с другими методами в ходе исторических реконструкций.

ГЛАВА 2

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ И ВАРИАНТЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ (СЕРЕДИНА XIX — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX вв.)

Характеристика русской археологической мысли «изнутри», глазами современников, представляет для историка большой интерес. Не меньший интерес представляют все попытки обобщения и оценки пути, уже пройденного археологической наукой. Здесь я постараюсь рассмотреть и кратко охарактеризовать различные варианты периодизации отечественной археологической мысли и попытки создания ее концептуальных характеристик, в разное время появившиеся в литературе. Обзорные исследования такого рода сами по себе являются заметными событиями истории науки. Они фиксируют определенные этапы и уровни осмысления археологических исследований в нашей стране.

Систематические обзоры пути, пройденного отечественной археологией, стали публиковаться лишь с начала 1920-х гг. Впрочем, стоит отметить, что в исторической науке в целом, начало XX в. отмечено небывалым всплеском интереса к методологии исследований (ср.: Корзун, 1989: 61). Многие русские историки обратились тогда к вопросам теории и истории своей области знания (А.С. Лаппо-Данилевский, Р.Ю. Виппер, П.Н. Милюков, Д.М. Петрушевский, Н.И. Кареев, Д.Я. Багалеи, В.П. Бузескул и др.). В их трудах история археологических исследований России (или ряд ее аспектов) анализировалась как неотъемлемая часть *истории отечественной исторической науки*. Но разработки такого рода стали появляться в печати не ранее 1910-х гг. Часть их вообще оставалась неизданной, как минимум, до конца XX в. Причиной тому стала радикальная смена парадигм и мировоззренческих установок в отечественной исторической науке рубежа 1920–1930-х гг.; именно она сделала невозможными не только дальнейшую разработку материалов в прежнем ключе, но в значительной мере и публикацию уже сделанного.

Интерес к истории и историографии изучения, собственно, российских «древностей» обнаруживается в литературе, начиная с рубежа 1840–1850-х гг. В ту пору археология лишь обретала свой научный статус на российской почве, еще не до конца обособившись от антикварианизма и коллекционерства. Однако важность систематического обзора трудов в этой области для уяснения и формулировки грядущих задач осознавалась уже тогда.

Обращая к периоду более раннему, чем последняя треть XIX в., можно упомянуть, что еще в 1851 г. в ЗОРСА вышло первое «Обозрение русской археологии», принадлежавшее перу И.П. Сахарова (см.: 3.4). Однако в части обзора пути, пройденного к тому времени русской археологией, информативность работы И.П. Сахарова была практически нулевой. Именно крайняя неудовлетворенность его «Обозрением» заставила молодого А.С. Уварова еще в 1853 г.

предложить от имени Русского Археологического общества премию в 300 руб. серебром за «Обозрение историческое, библиографическое и критическое литературы русской археологии», на следующих условиях:

- 1) чтоб оно было написано по-русски;
- 2) составлено сообразно требованиям науки библиографически и критически;
- 3) обнимало все известные сочинения, в том числе и небольшие отдельные статьи по русской археологии как на русском, так и на иностранных языках;
- 4) чтоб оно было представлено в Обществе в годовой срок (Материалы для биографии... 1910: 5).

На призыв не откликнулся никто. В кругах, близких к РАО, в тот период были глубокие знатоки русской старины — такие как И.Е. Забелин, Д.А. Ровинский и т. д. Были специалисты в области классических древностей, как акад. Л.Э. Стефани. Были нумизматы и ориенталисты, подобные П.С. Савельеву, В.Г. Тизенгаузену и др. Были библиографы и археографы. Большинство этих людей имели и практический опыт раскопок разного уровня. Но, во-первых, очень трудно было встретить человека, соединившего все указанные отделы знания в одном лице. Во-вторых, составление подобного сочинения требовало свободного времени, которым не располагало большинство образованных любителей древностей, обремененных службой. Организационных структур археологии, которые способствовали бы появлению профессионалов, в России начала 1850-х гг. практически не было. А «полупрофессионалы» — деятели, подобные И.П. Сахарову, — явно не были способны «обнять» все известные сочинения по русской археологии, в том числе на иностранных языках. В результате «...как бы в доказательство того, что русская публика не доросла еще до сознательного отношения к истории родной старины, объявленная задача осталась без ответа...» (Там же).

Следующая попытка восполнить пробел относится уже к рубежу 1860–1870-х гг. В 1869 г. на I Археологическом съезде выступил историк *Михаил Петрович Погодин* (1800–1875) с огромным докладом «Судьбы археологии в России», чтение которого продолжалось три дня. Исходя из буквального толкования термина: «археология» = «наука о древности», он фактически отождествил «русскую археологию» с древней отечественной историей. Доклад содержал фактологическую подборку материалов по истории изучения как археологических, так и письменных памятников в России, начиная с Петра Великого. «Археология имеет своим предметом, преимущественно, памятники вещественные, но во многих отношениях нельзя отделять от них не только памятники письменные, но и устные, бытовые... — утверждал М.П. Погодин. — Иное слово в языке, собственное имя, иной обряд могут повести часто к важнейшим историческим заключениям. Почему же не причислять их к предметам археологии, <...> они соответствуют именно достижению ее цели, познания древности...» (Погодин, 1871: 2). В своем докладе автор утверждал необходимость общедоступных



М.П. Погодин
(1800–1875)



А.С. Уваров
(1825–1884)

обзоров и публичных лекций по археологии, устройства провинциальных музеев, составления археологических карт, а также желательности государственных мер в деле сохранения памятников.

Сам **Алексей Сергеевич Уваров** (1825–1884) тоже не оставлял работы в данном направлении. К сожалению, его наиболее широко задуманный историко-аналитический очерк остался не законченным и увидел свет лишь в 1910 г., в мемориальном трехтомном издании, выпущенном к 25-летию со дня кончины ученого. Имеется в виду его труд «Введение в русскую археологию», содержащий, наряду с теоретической, обширную историографическую часть. Указанная работа (Уваров, 1910а) является прообразом всех позднейших опубликованных «Введений» и «Основ» археологии.

В этой работе А.С. Уваров, подобно М.П. Погодину, начинает свой обзор с петровского времени, но весь этот материал анализируется

им в рамках одной проблемы — *объяснить понимание задач и объема археологии* на разных этапах ее развития. Указанный очерк совершенно оригинален и содержит много интересных данных, касающихся «предыстории» российской археологии. Определяя XVIII век как период, когда «понятие об археологическом памятнике не было еще вполне разъяснено» (Там же: 271), а остатки старины шли по разряду «редкостей», «курьезов» и пр., А.С. Уваров очень подробно останавливается на деятельности и взглядах В.Н. Татищева. В нем он видит человека, опередившего свой век: «...Собранные им материалы не были оценены даже Академией наук, но все-таки служат любопытным доказательством совершенно нового для России воззрения на науку <...>. Он [Татищев] *сознает всю пользу обработки науки на Западе и ищет особые приемы для применения такой же обработки к русской истории* и к русской географии. Искреннее его сознание в этом отношении ясно высказалось в его словах: *Напрасно ищете семян, когда земли, на которые сеять, не приготовлены* <...> (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 272).

Особое внимание А.С. Уварова к персоне и деятельности В.Н. Татищева представляется не случайным. «Здесь нет скорби, что семена берутся из чужеземных источников, — поясняет он позицию своего героя, — а видно только опасение, что на нашей необработанной почве они не принесут столько пользы, сколько было бы желательно получить<...>. Любопытно видеть, <...> до какой степени

он [Татищев. — Н.П.] был образованным человеком для своего времени. <...> В вопросах чистой учености он принадлежит своему времени, но *шириной постановки дела и практическим ограничением себя возможными пределами он обязан своей широкой практической деятельности*. <...> Во времена Татищева учение на скамье в заведениях, наспех созданных, было далеко недостаточно без <...> наглядного обучения из практики, деятельности, и, в особенности, из практики, почерпнутой в путешествиях <...>» (курсив мой. — Н.П.) (Там же: 272–273).

Несомненно, за всем этим стояло что-то, особенно близкое и понятное А.С. Уварову. Налицо явная перекличка проблем и задач, которые ставил перед собой каждый из них двоих, хотя и с разрывом более чем в 100 лет. Общность проявлялась во многом. Тут и особая — редкая для своего времени — широта кругозора, и ясное понимание важности иностранных методических разработок, которые, однако, пока еще «не принесут столько пользы» на русской почве. Вот, например: насколько применимы к российским древностям глобальные эволюционные схемы, когда на деле там еще требуется «практика путешествий» — первичное обследование огромных просторов? Нет, тут необходимы «особые приемы» работы — движение от знакомого и освоенного к новому, не освоенному. Формулировку этих приемов подсказывает, в первую очередь, сама исследовательская практика. А поставить дело с размахом можно лишь при условии «практического ограничения себя возможными пределами». Российская действительность вечно диктует эти ограничения то в одном, то в другом... Так акценты, расставленные А.С. Уваровым при изложении позиций далекого предшественника, неожиданно бросают свет на проблематику истории науки значительно более позднего времени, а именно 1870 — начала 1880-х гг., когда писалась его «Русская археология». Безусловно, указанная работа была призвана подвести итоги развития отечественной археологической мысли именно этого времени. К сожалению, детально рассмотреть основную проблематику уже современной археологии ученый не успел. А к моменту своего опубликования в 1910 г. его очерк успел сильно устареть.

Я намеренно не затрагиваю в этой главе целый ряд публикаций, носивших не столько историко-обзорный, сколько теоретико-методологический характер. Эти опубликованные и неопубликованные материалы (А.С. Уварова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, А.С. Лаппо-Данилевского и др.) имеют исключительную важность для понимания развития археологической мысли в России, но все они являются предметом специального анализа в последующих главах моей книги. Здесь же дается краткая характеристика именно *обзорным* историографическим работам, намечавшим определенные хронологические и качественные рубежи в процессе исследования отечественных древностей.

Можно констатировать, что после 1870-х гг. и вплоть до начала советской власти из печати выходили лишь частные очерки, подводившие итоги деятельности отдельных организаций, научных предприятий и персоналий, так или иначе связанных с археологией. В их ряду можно назвать работу И.Е. Забелина, посвященную Обществу истории и древностей Российских (1889: III–XXXII) и обширный очерк Н.И. Веселовского по истории Русского Археологического общества (1900). Сюда же примыкают анонимные публикации Д.Н. Анучина о деятельности Московского археологического общества и по итогам первых Археоло-

логических съездов ([Анучин], 1890). Немалый интерес представляют очерки Д.Н. Анучина, Н.Н. Ардашева, Н.И. Веселовского и др., посвященные отдельным персоналиям или их научному наследию (напр.: Анучин, 1887; 1906; 1909; 1952; Ардашев, 1909; 1911; Веселовский, 1909 и др.). По большей части, все они могут рассматриваться как свидетельства современников об очень близком для них прошлом или как справочные пособия, содержащие более-менее обширные подборки фактов.

Представления ученых рубежа XIX–XX вв. о различных направлениях и «школах» в археологии можно реконструировать, лишь обратившись к их работам, оставшимся не опубликованными. К числу наиболее информативных в этом плане относятся: а) проспект курса лекций А.С. Лаппо-Данилевского в ПАИ в 1892 г. («История России...»); б) подготовительные материалы А.А. Спицына к лекциям в Санкт-Петербургском университете (1909 г.: «Курс археологии...» и «Введение в археологию...»). По мнению обоих исследователей, различавшемуся лишь в терминологии, указанная область должна подразделяться на три отдельных направления: «классическое», «национальное» и «эволюционное» (или «антропологическое»). Первые два направления еще назывались А.А. Спицыным «старой» и «новой» школой археологических исследований. Все эти данные подробно рассматриваются и анализируются мною ниже в соответствующих разделах. Однако в обоих случаях мы имеем не полноценные обзоры отечественной археологии за определенный период, а лишь их конспективные, черновые наброски.

Двухтомное «Введение в археологию» **Сергея Александровича Жебелёва** (1867–1941) (Жебелёв, 1923а; 1923б) стало первым трудом, включавшим в себя *систематическое изложение* на русском языке истории археологической науки с позиций гуманитария-антиковеда. Книга выросла на базе лекционного курса, который автор читал на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета до Первой мировой войны. В ней освещается развитие археологии в Европе, России и отчасти в Северной Америке.



С.А. Жебелёв
(1867–1941)

Необходимо заранее отметить принципиально важный тезис С.А. Жебелёва о *методологической разработанности* классической археологии, далеко опередившей в этом отношении все другие ее «отделы». «...Вся, сложная теперь, археологическая дисциплина, со всеми ее разветвлениями, выросла ...на тех основах, на которых сформировалась археология классическая. Те методы, которые вырабатывались в классической археологии, постепенно были переносимы и усваиваемы прочими отделами археологической науки...» (Жебелёв, 1923а: 7). Принципиальное единство всех «отделов» археологии, включая первобытную, в рамках одной отрасли исторического знания не подлежит для автора никакому сомнению.

Во «Введении» мы находим и первое в русской научной литературе четкое разделение мировой археологии на периоды: художественно-артистический (XV–XVI вв.), антикварный — с XVII в. и собственно научный (с конца XVIII–XIX вв.). Во второй половине XVIII в. обозначилось особое «эстетическое» течение в рамках антикварного периода. Это последнее возродило интерес к древностям в широких кругах европейского общества. В русле указанного течения работал человек, «который вывел антикварную науку из ее тупика», став основоположником уже *археологической* науки. Человек этот — И.И. Винкельман (1717–1768). Именно ему, по мнению С.А. Жебелёва, принадлежит честь разработки первого «строго научного» метода археологии — *метода стилистического анализа*. Ему же принадлежит не устаревавшая идея связи развития всякого искусства с развитием общества, его породившего (Жебелёв, 1923а: 18–27).

В историческом очерке С.А. Жебелёва мы не найдем четкой периодизации именно отечественной археологии, хотя рассмотрение этой последней занимает там половину первого тома. Изложение ведется по отдельным отраслям или направлениям археологии — классической, византийской, мусульманской, русской, средневековой западноевропейской и т. д. Это делает вдвойне трудным установление общих периодов, ибо развитие указанных областей в России шло весьма неравномерно. Автор воспринимает его как процесс постепенного, поступательного роста научного достояния, сопровождавшегося расширением кругозора специалистов, что в совокупности давало им возможность подниматься на новые уровни обобщений.

Тем не менее С.А. Жебелёв отмечает и кое-какие хронологические рубежи в развитии археологической науки в России. Главным из них, по-видимому, являются для него 1870-е годы. Именно с этого времени «начинается у нас расцвет ученой археологической литературы» — в первую очередь, в области классической, а также византийской и «стоящей в ближайшей связи с ней» русской археологии (Там же: 137). Изучение «вещественных памятников, происходящих с юга России» тормозилось, по мнению автора, недостаточной разработкой связанных с ними вопросов исторической географии и топографии древних поселений Причерноморья. Однако к 1870-м гг. в этом направлении «удалось добиться серьезных и прочных результатов» (Там же: 146–147).

В книге характеризуется целый спектр методов, представляющих собой основу работы археолога. Для автора все они составляют ту область *критики источников*, в которой он не видит принципиальной разницы между филологическим и археологическим исследованием. По мнению С.А. Жебелёва, как филолог, так

и археолог изучают свои памятники с точки зрения внешней формы (куда входит характеристика материала, из которого памятник сделан), содержания и стиля. И тот и другой прибегают к сравнению и аналогиям; и тот, и другой оценивают различные версии памятников. Все это «объемлется общим понятием «исторической критики», этой основной базы всякого исторического изучения» (Там же: 131–132).

Собственно стилистический анализ тоже имеет широкое применение за рамками археологической науки. Однако, как можно понять из текста С.А. Жебелёва, научная зрелость той или иной ее области оценивается им как раз по степени освоения метода стилистического анализа в работе с вещественными памятниками. В России разработка указанного метода связывается автором с трудами Н.П. Кондакова и его последователей.

Следует сразу оговорить принципиальные отличия указанного метода от того «стилистического анализа», который начал разрабатываться в мировом искусствоведении с начала XX в. В переводе на современный язык, метод стилистического анализа Н.П. Кондакова и его учеников строился на выделении *комплексов коррелирующих между собой признаков, характерных для определенных хронологических периодов*. Это действительно чисто археологический, а не специфически искусствоведческий метод анализа памятников — вещественных и образительных. Выделение таких комплексов признаков в XIX — начале XX вв. производилось, разумеется, интуитивно, исключительно на основе широкого, углубленного изучения материала (изучения «фактов!»). Начало его широкого применения к древностям — классическим, византийским и русским — падает на конец 1870-х и 1880-е гг.

Начало 1920-х годов — время выхода обзорной работы С.А. Жебелёва — воспринималось им самим как уже совершенно новый период развития отечественной археологии. «Я твердо убежден, — заявлял автор, — что 1 августа 1914 г. проведена была демаркационная линия между прошлым и будущим в жизни культурного человечества <...>. Как сложится будущее, гадать бесполезно; людям моего поколения не суждено это будущее узреть и оценить <...>. Работа людей моего поколения прошла в прошлом, и мы должны дать отчет в этом прошлом, каждый по своей специальности, как самим себе, так и тем, кто идет и пришел уже нам на смену. Своим отчетом о прошлом мы обязаны, в меру сил и умения, помочь им в их настоящей и будущей работе...» (Жебелёв, 1923а: 6).

«Демаркационная линия» между старым и новым, конечно, определялась для С.А. Жебелёва сломом прежних археологических структур, эмиграцией и смертью многих его сверстников и коллег в период военного коммунизма. Тем не менее, говоря о тех, «кто идет и пришел уже нам на смену», он имел в виду отнюдь не «марксистскую смену» археологов, речь о которой могла бы идти всерьез лишь лет через пять. «Сменой» представлялись ему, скорее всего, археологи-естествоведы, палеоэтнологи, действительно игравшие ключевую роль в новых археологических структурах первой половины — середины 1920-х гг. (включая ГАИМК, различные комиссии Академии наук, ведущие археолого-этнографические музеи). О причинах и характере этого процесса я буду подробно говорить ниже. Здесь же стоит отметить одно: подчеркивание С.А. Жебелёвым методологического богатства классической археологии в данном контексте

должно было иметь одну цель — донести эту мысль до тех, кто был традиционно далек от указанной области, чужд гуманитарной археологии как таковой. В создавшейся ситуации только это могло обеспечить хоть какую-то преемственность исследований.

Следующий опыт обзора отечественной археологии вышел из печати всего через 7 лет после книги С.А. Жебелёва, но принадлежит он уже совершенно иной эпохе. Это монография **Владислава Иосифовича Равдоникаса** (1894–1976) «За марксистскую историю материальной культуры». В ней автором была поставлена принципиально новая задача: «диалектически снять» «буржуазно-феодалное археологическое наследство <...> отвергая в нем все, противоречащее основам пролетарской идеологии» (Равдоникас, 1930: 6). Соответственно книга посвящена выявлению «классового смысла» всей старой археологической науки, «якобы надклассовой, а на самом деле ультра-буржуазной» (Там же: 9).

В этих целях археологическое наследство Российской империи уверенно классифицировалось с социологической точки зрения. «Феодалная» или «дворянская» археология оказалась представлена в лице графа А.С. Уварова, графини П.С. Уваровой, графа А.А. Бобринского, Н.И. Веселовского и др. В этой «археологии», по мнению автора, присутствовали «любительство и дилетантизм, характерные для дворянского, барского отношения к науке» (Там же: 37–38). «Буржуазная» археология имела представителями И.Е. Забелина, Д.Я. Самоквасова, В.И. Сизова, В.А. Городцова и др. «Мелкобуржуазными» археологами названы Ф.К. Волков, Б.С. Жуков и все благополучно здравствовавшие в 1920-х гг. представители палеоэтнологической школы (Там же: 40, 49).

Книга В.И. Равдоникаса не содержит периодизации как таковой. Перечисленный выше «личный состав» отечественных специалистов не оставляет сомнений: все три упомянутых «археологии» существовали в России второй половины XIX — XX вв. одновременно и параллельно. Соответственно, никаких границ между периодами, даже в тенденции, установить невозможно, кроме одной — октября 1917 г., официально положившего конец существованию дворянства.

Непонятен в ряде случаев и самый «личный состав». Почему, например, В.А. Городцов и Ф.К. Волков оказались отнесены к разным «рубрикам»? Почему помещик проф. Д.Я. Самоквасов (о нем: Щавелев, 1993; 2004) включен в одну категорию с малоимущим интеллигентом В.И. Сизовым (о нем: Анучин, 1906)? Вызывающая произвольность социологического построения В.И. Равдоникаса, видимо, ощущалась и им самим. Это инициировало многочисленные «оговорки», призванные как-то сгладить явные несообразности.

Разбросанные по тексту «оговорки» В.И. Равдоникаса бывают весьма красноречивы и представляют для историка науки немалый интерес. Временами они



В.И. Равдоникас
(1894–1976)

прямо противоречат основному тезису автора, по которому «наиболее яркой чертой, выступающей в прошлом нашей археологии», был «сугубый эмпиризм, безнадежное уклонение от синтеза» (Равдоникас, 1930: 34; см. также: Платонова, 2002б). Так, граф Уваров, несмотря на свою дворянско-феодалную сущность, оказывается вдруг «образованным, вращавшимся в среде буржуазных археологов человеком, далеко не чуждым и подлинным научным интересам» (Там же: 38). Порица «методологию формального искусствovedения», автор неожиданно признает Н.П. Кондакова «фигурой более сложного порядка, заслуживающей особого пристального изучения» (Там же: 39). М.И. Ростовцев, в трактовке Равдоникаса, — «автор действительно важных археологических обобщений» (Там же: 33). И уж совсем неожиданным выглядит признание автора, что «только сейчас (то есть, в 1920-х гг.! — Н.П.) у нас начинается подлинный расцвет буржуазной методологии» (Там же: 49).

За всеми этими оговорками недвусмысленно просвечивают истинные воззрения автора на отечественную археологию. Но они буквально тонут в цветистых, полных едкого пафоса обличениях ее, как якобы «чисто описательного вещеведения, вещеведения решительно без всякого метода» (Там же: 34). За хлесткими формулировками просматривается отчётливый социальный заказ: дискредитировать «старую археологию» в целом, обосновать и оправдать её разгром, уже начавшийся в 1928—1929 гг. массовыми «чистками», увольнениями, травлей и арестами ученых (Перченко, 1991; Бонгард-Левин (ред.), 1997; Рорре, 1983: 109—131; Тункина, 1997; 2000 и др.).

Несмотря на очевидную политическую ангажированность, указанной концепции была суждена исключительно долгая жизнь. Послесталинская историография в СССР воспроизвела ее главные тезисы почти без изменений (Монгайт, 1963; Вайнштейн, 1966). «Демократизация и гласность» хрущёвских времён не заходили так далеко, чтобы осуждать политику коммунистической партии как таковую. Разрешалось отмечать лишь отдельные ошибки и «перегибы».

В дальнейшем представление об исключительном «эмпиризме» и методологической беспомощности русской археологии последней трети XIX — первой трети XX вв. стало азбучным и последовательно внедрялось в умы всё новых поколений. Лишь в 1990—2000-х гг. в литературе было озвучено мнение, что эта концепция, оказавшая столь сильное влияние на мировые представления о русской археологии, являлась не более чем одним из вариантов идеологического мифа, широко распространённого в нашей стране в тоталитарную эпоху (см. в частности: Платонова, 1995; 1997; 2002б).

Разумеется, формулировки вульгарного социологизма, откровенно эпатировавшие научное сообщество начала 1930-х гг., позднее уже не повторялись в археологической литературе. Но вплоть до рубежа 1980—1990-х гг. официально считалось, что собственно теоретическая мысль начала развиваться в отечественной археологии именно в результате экспансии марксизма на рубеже 1920—1930-х годов (Массон, 1969; 1980; Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Прякин, 1981; 1986).

В несколько трансформированном виде та же концепция нашла отражение и в трудах таких далеких от всякого официоза исследователей, как М.А. Миллер на Западе и Л.С. Клейн в России. Книга М.А. Миллера «Археология в СССР», по-

священная история российской/советской археологии первой трети XX в., была опубликована в Мюнхене на русском языке в самом начале хрущёвской «оттепели» (Миллер, 1954). Автора характеризовала острая критическая направленность по отношению к сталинскому режиму, что, возможно, заставило многих читателей на Западе отнестись к нему с доверием. Во всяком случае, книга быстро была переведена на английский язык и опубликована в США (Miller, 1956). Однако на деле этот объёмистый труд пестрит откровенными несообразностями и фактологическими ошибками.

До своей эмиграции из СССР автор был провинциальным археологом-краеведом. Для того чтобы верно охарактеризовать панораму современной ему археологии, он не обладал ни достаточным кругозором, ни научной подготовкой. В русской археологии до Великого перелома он выделил шесть «направлений»: 1) кладоискательское или дворянское; 2) курганное; 3) формалистическое; 4) вещеведческое; 5) эстетствующее; 6) эмпирическое (Миллер, 1954: 34). Критерии их разделения достаточно произвольны. «Кладоискательское направление» якобы было представлено в России Н.И. Веселовским и Д. Эварницким. Состав «курганного направления» оказался самым пестрым: И.Е. Забелин, Н.Е. Бранденбург, Л.К. Ивановский, те же Н.И. Веселовский и Д. Эварницкий, а вместе с ними — С.И. Руденко и М.П. Грязнов (sic! — Н.П.). Представителем «формалистического направления» назван В.А. Городцов. «Эстетствующее направление» (по мнению автора, «консервативное и бесплодное») имеет своими представителями С.С. Лукьянова, К.Э. Гриневица и М.И. Артамонова (sic! — Н.П.). К «эмпирическому направлению» отнесены А.А. Спицын, С.С. Гамченко и покойный брат автора — известный археолог А.А. Миллер (Там же: 42—45).

Позиции исследователей, объединённых М.А. Миллером в рамках указанных выше «направлений», в действительности очень сильно различались в концептуально-методологическом плане. Различным был и характер их научной подготовки, во многом определявший научные взгляды. Достаточно отметить, что автор книги, видимо, не обнаружил большой разницы между археологом-палеоэтнологом А.А. Миллером, археологом-историком А.А. Спицыным и практиком-раскопщиком С.С. Гамченко. Комплексный подход палеоэтнологов С.И. Руденко и М.П. Грязнова к раскопкам курганов, безусловно, имел мало общего с дилетантскими раскопками Л.К. Ивановского, Д. Эварницкого и т. д. В сущности, в работе М.А. Миллера ощущается очень сильное влияние уже описанных выше вульгарно-социологических построений «советской археологии» первой половины 1930-х гг. Его книга представляет немалый историографический интерес, но именно как рефлексия краеведа старой школы на внедрение марксизма в археологию.

В дальнейшем представление о том, что вплоть до конца 1920-х гг. в русской археологии господствовал «эмпиризм», стало в западной науке общепринятым, благодаря трудам и авторитету *Льва Самойловича Клейна* (род. 1927), принявшего данную точку зрения (Klejn 1977; Bulkin, Klejn, Lebedev 1982). Этот взгляд на историю советской археологии в дальнейшем нашел свое отражение в небольшой изящной книге «Феномен советской археологии» и ряде других работ (Клейн, 1993; 1995; 1995а и др.). Согласно концепции Л.С. Клейна, первые попытки синтеза, пусть несовершенные, действительно появляются только в работах молодых

исследователей-марксистов рубежа 1920–1930-х гг. Предшествующий период лишь подготовил научную базу для будущих обобщений. «Феномен» вскоре вышел в дополненном виде на немецком языке и донныне продолжает оказывать огромное влияние на современную западную историографию. Отражением этих воззрений в зарубежной науке стал, в частности, раздел о русской археологии в обобщающем исследовании Б. Триггера, посвященном истории мировой археологической мысли (Trigger, 1989)¹. Те же общие положения проскальзывают в трудах П.М. Долуханова (2000).

В сущности, до конца 1980-х гг. лишь один русский историк науки в своих публикациях откровенно «выбивался из общего ряда» как в методическом плане, так и в своих воззрениях на ход развития отечественной археологии. Это **Александр Александрович Формозов** (1928–2009), в трудах которого уже с 1960-х гг. проводилось представление о том, что для периодизации принципиальное значение имеют *положение археологии в системе наук своего времени и характер тех запросов, которые ставит ей общество* (то есть функции данной области знания в данном обществе в данный момент) (Формозов, 1961; 1983). Изменение указанных факторов может вызвать определенные изменения ориентации и связей науки, привести ее к движению в совершенно новом направлении.

В самой постановке проблемы, в выборе критериев периодизации у А.А. Формозова явно прослеживается влияние позитивистской исторической традиции. Именно ее родоначальник О. Конт, в частности, указывал, что «истинную историю каждой науки», как и «действительное происхождение всех входящих в нее открытий», можно постичь «только путем прямого и всестороннего изучения истории человечества», то есть, говоря современным языком, исторического контекста развития всякой науки (Конт, 1910: 34). Таким образом, всякое открытие осмысливается именно как *социальное явление*, а путь развития науки представляет собой череду таких открытий, промежутки между которыми заполняются разного рода событиями социального характера.

Законченный вариант периодизации отечественной археологии, в основу которой был положен характер *изменения функций и структур науки*, содержится в работах А.А. Формозова 1990-х гг. (1994; 1995). Таким образом, она попала в печать лишь тогда, когда в России произошла смена исходных установок в данной области знания. Но нет сомнений: в основе своей эта трактовка сложилась в более раннее время.

Первая половина XIX в. определена А.А. Формозовым как «романтический период» дворянского дилетантизма. Далее следуют «период создания организаций» (1860–1870-е гг.), «период классификации древностей» России (1880–1917 гг.). Революцию А.А. Формозов считает в полном смысле слова поворотным моментом, ибо тогда последовала ломка всех существовавших археологических структур и кардинальные перемены в стране, изменившие характер запросов к археологии со стороны общества и государства.

¹ Указанный раздел оказался написан вполне в духе прежней советской историографии, что и было отмечено в российской рецензии на указанную книгу (Вишняцкий и др., 1989). Часть этой коллективной рецензии, посвященная трактовке Б. Триггером российской археологии до 1930-х гг. включительно, была написана автором этих строк.

Послереволюционный период структурировался ученым уже по иному — социально-политическому — признаку. 1917–1921 гг. — «период революционной разрухи»; 1921–1928 гг. — «передышка» эпохи нэпа; 1929–1933 гг. — «разгром». Далее следует «период восстановления централизации и национальной ориентированности», уходящий за хронологические рамки настоящего исследования.

Тогда же, в середине 1990-х гг., между А.А. Формозовым с Л.С. Клейном разгорелась полемика по вопросу об оценках дореволюционной русской археологии и ранней «советской» археологии, пришедшей ей на смену в начале 1930-х гг. (Формозов, 1995а). Накал страстей почти заслонил от читателя единую основу взглядов обоих исследователей на дореволюционную археологию. Водораздел между ними проходил отнюдь не в области ее принципиальной оценки, а скорее в области эмоционального отношения к ней.

Для А.А. Формозова позитивистская археологическая наука, развивавшаяся в России до 1930 г., несет в себе лучшие традиции отечественной археологии и уже в силу этого представляет высочайшую ценность. При этом он сам готов признать за ней «эмпиризм», логично объясняющийся и оправданный уровнем изученности археологического материала (восточноевропейского и североазиатского) в первой трети XX века (Формозов, 1995; 1995а).

Для Л.С. Клейна преобладание «эмпирических» разработок над «теоретическими» уже само по себе свидетельствует об определенной «неполноценности» дореволюционной российской археологии. Впрочем, и он готов извинить этот грех недостатком изученности исходного материала. В своей последней книге «История российской археологии: учения, школы и личности» Л.С. Клейн так подводит итог своего спора с А.А. Формозовым: «Формозов <...> противопоставляет моему изложению более суровые оценки деятельности идеологов ранне-советской археологии и требует уделить большее внимание археологам-эмпирикам, создававшим фактуальную базу российской археологии. Эмоциональное и гневное отношение к участникам разгрома старой русской археологии <...> было естественно сразу же по освобождении от атмосферы террора. Естественно и предпочтение им скромных и работающих эмпириков <...>. Я все же остался при своем убеждении, что нужно давать взвешенные оценки всем течениям и группам, а эмпирики при всех заслугах и при всем значении их работы уступали теоретикам в воздействии на формирование направлений, которые создают движение исторической и археологической мысли...» (Клейн, 2010, в печати)¹.

Последнее утверждение стоит прокомментировать. На мой взгляд, теоретические дискуссии и разработки действительно активно способствуют «движению археологической мысли», но лишь при одном условии. Они должны быть связаны системой обратных связей с практикой археологического исследования, причем с позитивной практикой, демонстрирующей плодотворность приложения новых идей к материалу. И вот в этом плане многие отечественные «эмпирики» 1870–1920-х гг. оказались на голову выше адептов вульгарного социологизма рубежа 1920–1930-х гг., считавшихся «теоретиками».

¹ Я глубоко признательна Л.С. Клейну за любезно предоставленную возможность не только ознакомиться с текстом еще не опубликованной работы, но и привести из нее цитату.

Теоретические воззрения А.С. Уварова, И.С. Полякова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, Д.Н. Анучина, Ф.К. Волкова, С.И. Руденко и др. отражали реальное движение археологической мысли в России и немедленно получали воплощение в практике проводимых тогда исследований. Да, специальные теоретические публикации тех лет можно пересчитать по пальцам. Обычно новые идеи в области методологии высказывались по ходу дела — в конкретных работах, посвященных той или иной категории материала, в проспектах лекционных курсов, оставшихся в рукописях, и т. д. О последнем, действительно, можно пожалеть. Но сами идеи упомянутых ученых не становятся от того менее значимыми.

Совершенно обратную картину дает нам статистика выпуска из печати теоретических работ по археологии в эпоху Великого перелома. В первой половине 1930-х гг. число этих работ в СССР резко возрастает — с долей процента до 5%. Во второй половине 1930-х — вновь падает до 1–5 публикаций в год (Клейн, 1977: 14). Но свидетельствует ли первое о подъеме археологической мысли, а второе — об ее упадке?

На мой взгляд, нет. И пресловутый рост до пяти процентов, и падение вновь до сотых процента были обусловлены только одним — социальным заказом, имевшим весьма отдаленное отношение к науке. За редчайшим исключением (напр.: Кипарисов, 1933), теоретические работы начала 1930-х гг. свидетельствовали лишь о засилье социологической схоластики — бесплодной и разрушительной, с точки зрения современных ей задач археологического исследования СССР. Приложение их к материалу оказывалось невозможным в принципе, если только за «марксистскую теорию» не выдавалось путем ряда чудесных подмен что-нибудь из арсенала старого доброго эволюционизма (как, например, «система Мортилье», ставшая основой «стадиальной схемы» отечественного палеолита).

На мой взгляд, дискуссия между Л.С. Клейном и А.А. Формозовым очень информативна. Она показала, насколько живучими являются представления о теоретической «неразвитости» отечественной археологии в историографической традиции, причем не в одной «официальной» науке, но и в яркой «оппозиционной». Для обоих участников спора — не только выдающихся историографов, но и сверстников, сформировавшихся как ученые в 1950-х гг. — дореволюционные «эмпирики» и поныне остались только эмпириками, а советские «теоретики» — теоретиками. В связи с этим следует отметить, что именно Л.С. Клейном в последние годы был произведен весьма серьезный анализ теоретических позиций Н.П. Кондакова и основанного им направления, названного *post factum* «комбинационизмом» (Клейн, 2005: 15–16). На мой взгляд, результаты этого анализа находятся в противоречии с привычной квалификацией дореволюционных археологов как чистых «эмпириков». Но приведенная выше цитата говорит сама за себя.

На этом фоне представляет интерес работа *Михаила Васильевича Аниковича* (род. 1947), подготовленная еще в середине 1980-х гг. (Аникович, 1989). Восстановив по материалам, опубликованным в «Трудах» III Археологического съезда, ход теоретической дискуссии, состоявшейся на этом съезде в 1874 г., М.В. Аникович как бы заново «открыл» для своих современников целый ряд забытых деталей упомянутой методологической дискуссии.

Краткие публикации на эту тему появлялись и раньше (Ганжа, 1982; Жук, 1987а). Однако М.В. Аникович не только проанализировал теоретические воззрения русских археологов на хронологическом срезе 1870-х гг. Он сумел вписать их в общую картину развития методологического поиска дореволюционной отечественной археологии.

Особое внимание было обращено автором на четкую философско-методологическую позицию профессора Киевского университета Св. Владимира П.В. Павлова, предложившего классифицировать исторические науки *по характеру источников*. Именно этим исследователем впервые было выдвинуто понятие «археологических источников или вещественных памятников», подлежащих исследованию особым «археологическим методом» (Павлов, 1878: XVIII–XIX).

Тогда же, на III Археологическом съезде, четко обозначилась, по мнению М.В. Аниковича, и другая принципиальная позиция («уваровская»), предполагавшая, что предмет археологии неотделим от предмета истории; различия между ними заключаются лишь в *археологическом методе* исследования (Уваров, 1978: 30). Развитие указанной системы взглядов наблюдается несколькими десятилетиями позднее в формулировках С.А. Жебелёва, для которого теснейшая связь археологии и истории не подлежала сомнению, но археологическими источниками признавались преимущественно вещественные памятники. Здесь уже, в сущности, можно усмотреть тенденцию рассматривать археологию как историкокультурную дисциплину. Но четко эта позиция не обозначена; скорее она вытекает из общих рассуждений С.А. Жебелёва (Аникович, 1989: 14–15).

В дальнейшем, в начале XX века, в русской археологии был сформулирован третий подход (городцовский), недвусмысленно определивший упомянутый выше «археологический метод», как метод *типологический*. В системе взглядов В.А. Городцова археология выступала уже не как историческая, а как «реальная» (естественная) наука, изучающая закономерности возникновения и развития «форм вещественных творений» человека (Городцов, 1923: 5).

Поставив во главу угла эволюцию взглядов российских ученых на цели и задачи археологии, на ее место в системе наук, М.В. Аникович в указанной выше работе выделил два этапа развития русской археологической мысли второй половины XIX — первой трети XX вв. Граница между ними проведена им приблизительно по рубежу столетий. Период 1920-х гг. у него органично связан с предшествующим и, таким образом, «вписывается» во второй этап.

На первом этапе доминируют «представления о неразрывной связи археологии и истории, вплоть до слияния <...>. Археологическими источниками считаются как вещественные, так и письменные памятники». Важнейшей задачей археологии признается «раскрытие каких-то общественных отношений», правда, «понимаемых крайне узко и односторонне».

На втором этапе «преобладает тенденция к определению предмета археологии через специфику археологических источников. Граница между историей и археологией проводится более резко, вплоть до вынесения археологии за рамки исторических дисциплин <...>» (Там же: 22–23).

Переход от одного этапа к другому не обуславливался, по мнению автора, критическим снятием прежней системы взглядов в результате развития какого-то одного направления. Все очерченные выше подходы продолжали так или

иначе существовать и развиваться в науке до конца 1920-х гг. За редчайшим исключением, не делалось даже попыток соотнести их с профессиональными построениями в области философии и методологии истории.

Проанализировав указанные подходы, М.В. Аникович пришел к выводу, что «взгляды русских дореволюционных археологов на место археологии в системе наук достаточно серьезны и интересны» и что каждый из них «своеобразно преломляется и в современных дискуссиях по тому же вопросу» (Аникович, 1989: 24). Отдавая дань прежней традиции, восходящей к В.И. Равдоникасу, он еще отмечал «эмпиризм» русских ученых второй половины XIX — первой трети XX вв., чьи «представления об археологии как науке менялись не в результате <...> дискуссии, а как бы сами по себе, под воздействием изменений, происходящих в конкретной работе археологов <...>» (Там же: 22).

В то же время, органичная связь теоретических воззрений с археологической практикой, с реалиями тогдашней науки оборачивалась, в трактовке М.В. Аниковича, не слабой, а сильной стороной дореволюционных теоретических разработок. «В разных, неявно выраженных, неразвитых направлениях определения археологии как науки отразились *разные существенные стороны археологического исследования*. Именно поэтому между этими направлениями «старой» школы и современными направлениями в определении предмета и объекта археологии <...> можно установить, хотя и с оговорками, но все же достаточно выраженные соответствия... (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 23).

Работа М.В. Аниковича создавалась, в полном смысле слова, «на рубеже времен». Она вышла из-под пера археолога, самостоятельно открывшего для себя теоретическое богатство дореволюционной археологии, но не до конца распростившегося с представлениями об ее «голом эмпиризме», глубоко укорененными в советской науке. Эта статья стала одной из первых, выдвинувших принципиально новый подход к историографическим реалиям. Вместо констатации отсталости дореволюционной науки, автор настойчиво подчеркивал актуальность изучения теоретического наследия «старой школы» для понимания методологических проблем сегодняшнего дня. Избитое обвинение «старой» археологии в том, что она «замыкается на изучении вещей, вещей самих по себе», опровергалось им с фактами в руках (Там же: 15). Преемственность линий развития археологической мысли второй половины XIX — начала XX вв. и современной археологии утверждалась на конкретных примерах.

В то же время ряд досадных пробелов в работе служит поучительной иллюстрацией уровня археологической историографии второй половины 1980-х гг. К примеру, сегодня было бы уже немислимо характеризовать теоретические подходы в русской археологии без упоминания палеоэтнологической школы. Говоря о философско-методологическом обосновании места археологии в системе наук, нельзя было бы пройти мимо разработок А.С. Лаппо-Данилевского по источниковедению вещественных памятников. Но качественный прорыв в историографической области, на порядок углубивший наши знания о прошлом археологической науки, явился завоеванием уже последующих двух десятилетий.

Смена концептуальных платформ в истории отечественной науки сопровождалась на рубеже XX—XXI вв. целыми потоками принципиально новой инфор-

мации — настоящим «бумом» новых публикаций. Значительная часть их основывалась на неопубликованных архивных данных, наглядно демонстрирующих несостоятельность прежней концепции В.И. Равдоникаса и его преемников, как прямых, так и опосредованных¹. Назову лишь отдельные работы, имеющие, на мой взгляд, принципиальное значение, с точки зрения разработки новой историографической парадигмы (Бонгард-Левин (ред.), 1997; Васильев, 2001—2002; Лебедев, 1992; Платонова, 2002б; 2004; Тихонов, 1995; 2003; Тишкин (ред.), 2004; Тункина, 2002 и др.).

Кроме того, с 2000-х гг. начинают переиздаваться воспоминания и важнейшие работы дореволюционных археологов, мало или вовсе не известные отечественному читателю (Жебелёв, 2003а; 2003б; 2003в; Кондаков, 2002; Ростовцев, 2003; Руденко, 2003; Уварова, 2005 и др.). Работы эти сопровождаются подробными комментариями (Бастракова, Заковоротная, 2005; Бастракова, Стрижова, 2005; Кызласова, 2002; Платонова, 2003; Тункина, Фролов, 2003а; 2003б; 2003в и др.).

Современные установки археологической историографии утверждают взвешенный подход к фактам истории отечественной науки. Они отвергают априорное представление о слабости и несамостоятельности отечественной археологической мысли дореволюционного и первого послереволюционного периодов, но констатируют ее недостаточную изученность. Соответственно основное внимание исследователей концентрируется на материалах, способных бросить свет на указанную проблему. Полученная новая информация очень обширна, но еще далеко не обобщена и не проанализирована в совокупности².

В данной главе я не касаюсь тех историографических трудов, которые не затрагивают совсем (или затрагивают лишь в небольшой степени) тот исторический период, который составляет предмет моего рассмотрения (Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Пряхин, 1986; Тункина, 2002). Но необходимо упомянуть целый ряд обобщающих работ, включивших в себя варианты периодизации дореволюционной археологии. Три из них были опубликованы почти одновременно — в самом начале нового этапа историографических исследований (Генинг 1992; Матющенко, 1992; Лебедев, 1992). Кроме того, я не считаю возможным пройти мимо такого заметного явления в отечественной историографии археологии, как две монографии С.А. Васильева по истории отечественного палеолитоведения (Васильев, 2001—2002; 2008). Особого упоминания заслуживает и новая периодизация археологической науки, разработанная А.В. Жуком, хотя пока она известна коллегам лишь по автореферату кандидатской диссертации, защищенной в ОмГУ (Жук, 1995), и серии мелких статей.

¹ Библиография этих публикаций, вышедших в последние 15—20 лет, может составить целую книжку. Поэтому любой список, приведенный здесь, будет заведомо неполным. В настоящее время работа по составлению исчерпывающей библиографии литературы по истории отечественной археологии ведется совместно А.С. Вдовиным (Красноярск) и Д.В. Серых (Самара).

² Одной из попыток такого рода является настоящая монография, хотя и она не может претендовать на исчерпывающий характер. Объективными причинами тому, в первую очередь, являются: недоступность целого ряда публикаций; отсутствие своевременной информации о них; а также малые тиражи, превращающие книги в библиографические редкости с самого момента их выхода в свет.

В обобщающей работе *Владимира Федоровича Генинга* (1924–1991) использовано понятие научной революции, трактуемое, как качественный революционный скачок при переходе от одного периода к другому. В момент такого скачка изменяются самые основы науки — пересматриваются ее мировоззренческие основы, объект познания, теории и методы исследования (Генинг, 1992: 4).

Мировая археология, в указанной трактовке, проходит три этапа в своем развитии. Первый представляет собой «археологию древностей» (или «классическое направление») и охватывает конец XVIII в. — 1870-е гг. В этот период археология вещественных древностей еще не выделена из общего комплекса гуманитарного источниковедения, где она существует наряду с археографией, палеографией, изучением фольклора и т. д. Второй этап — так называемая «культурархеология» — продолжается с 1870-х до 1930-х гг. в СССР и до 1960-х гг. на Западе. В это время она представляет собой науку об археологических культурах. Третий этап — «социоархеология» — повсеместно сменяет предыдущий. В СССР это происходит в начале 1930-х, на Западе — лет на 30 позднее. В указанный период археология становится наукой, изучающей древние социальные системы по вещественным остаткам (Там же: 8).

Весь хронологический отрезок, рассматриваемый в моей работе (последняя треть XIX — первая треть XX вв.), укладывается, по В.Ф. Генингу, в рамки одного крупного периода — «культурархеологии». Серьезных концептуальных различий внутри него автор не прослеживает. Для него он един.

Легко убедиться, что здесь трактовка понятия «научной революции» заметно отличается от классической трактовки Т. Куна. Куновские «смены парадигм» вовсе не подразумевают полного переворота «мировоззренческих основ, объекта познания, теорий и методов исследования». Можно согласиться с автором, что, в пределах очерченного хронологического периода действительно нельзя проследить столь капитальных «скачков». Однако утверждение его идейного и методологического «единства» с ходу вызывает у читателя множество вопросов.

К примеру, какие «археологические культуры» изучали отечественные авторы 1870–1880-х гг., когда само понятие культуры, применительно к археологии, кристаллизовалось в более-менее отчетливом виде не ранее 1890-х гг., в работах А.А. Спицына и Г. Косинны?

Можно ли объединять воедино научные школы в археологии рубежа XIX–XX вв., развивавшиеся в рамках различных ученых сообществ? Стоя на разных научных платформах (гуманитарной и естественной), они резко различались и по исходным установкам, и по выбору объектов исследования.

Наконец, забегая вперед, можно задать вопрос: правомерно ли определять отечественную археологию 1960–1970-х гг., с ее «бумом выделения археологических культур», как «социоархеологию»? Да и многие ли современные авторы согласятся с тем, что предметом их изучения служат исключительно «социальные системы» древности?

Для меня сейчас важно одно: на критериях, принятых В.Ф. Генингом, практически невозможно построить периодизацию науки. Сама по себе его концепция может по-разному рассматриваться и критиковаться науковедением, но в истории археологии она попросту *не работает*, ибо не способна уловить и зафиксировать реальное движение археологической мысли в рамках даже такого

длительного и богатого событиями временного отрезка, каким явилась в России последняя треть XIX — первая треть XX вв.

На первый взгляд, периоды, выделяемые в книге *Владимира Ивановича Матющенко* (1928–2005), посвященной истории археологических исследований в Сибири, так же обширны и лишены внутренних различий, как периоды В.Ф. Генинга. В частности, рассматриваемый мною хронологический отрезок (последняя треть XIX — первая треть XX вв.) квалифицирован им, в целом, как «период определения основных направлений в сибирской археологии» (Матющенко, 1992: 27). Правда, при внимательном чтении выясняется: в рамках указанного периода все же выделяется временной отрезок с 1920 по 1936 год, воспринимаемый самим автором, как нечто особое. Он назван «периодом разработки культурно-хронологических схем» для разных регионов Сибири, когда в свет вышло очень много работ, «успешно претендующих на глубокое осмысление памятников как исторического источника» (Там же).

Вместе с тем исследователь приходит к выводу, что в первые 15–17 лет после революции в Сибири «не произошло каких-то качественных изменений характера исследований с новой методологической ориентацией». 1920 — начало 1930-х гг. представляют собой «логическое завершение» развития прежней, до-революционной археологии.

Учитывая региональный характер историографического исследования В.И. Матющенко, я склонна признать его правоту в данном вопросе. Действительно, имеется целая серия документальных свидетельств, указывающих, что в Сибири археологические исследования 1920-х годов представляли собой органичное развитие традиций, заложенных в более раннее время. Более того, мне представляется, что можно (хотя и с оговорками) согласиться с тезисом автора о едином характере всего «периода определения основных направлений в сибирской археологии».

Характер археологического изучения Сибири, начиная с 1860–1870-х гг., демонстрирует отчетливое доминирование естественноведческого (палеоэтнологического) подхода к памятникам при сравнительно малом удельном весе гуманитарного подхода. Последнее было вызвано конкретной исторической ситуацией, обусловившей: а) ведущую роль демократического и революционного элемента в рядах первых исследователей Сибири; б) более значительную роль местных ученых обществ и музеев в исследовательском процессе, чем это имело место в европейской части страны.

Развитие археологии европейской и североазиатской России во второй половине XIX — начале XX вв. никак не могло идти в едином ключе. В Европе целые поколения русской интеллигенции одно за другим вступали на революционную стезю, направляя всю свою недюжинную энергию на разрушение существующего политического строя. А те из них, кто попадал в Сибирь, по большей части, революцию уже не делали. Значительный пласт политических ссыльных — цвет образованного сословия России — волей-неволей был вынужден искать себе экологическую нишу в разных мирных занятиях, в том числе и в историко-краеведческих, археологических, этнографических исследованиях. Таким образом, «высвобождалась» огромная созидательная энергия, способствовавшая, в частности, развитию организационной самостоятельности в историко-краеведческой работе, в музейном деле. Научно-организационная

ситуация, складывавшаяся на азиатских окраинах империи, по ряду признаков становилась ближе западноевропейской, чем русской.

В Европейской России широкое развертывание археологических исследований в палеоэтнологическом ключе произошло лишь в советское время — в 1920-х гг. — и было насильно оборвано в начале 1930-х. В Южной и Западной Сибири данный процесс начался много раньше. Указанные регионы явились для палеоэтнологов своего рода опытным полигоном. Этим и объясняется органичная преемственность традиций до- и послереволюционной археологии Сибири, отмеченная В.И. Матюшенко. Окончательно прервалась она тоже позже, чем в центре, — уже в эпоху Большого террора.

Книга *Глеба Сергеевича Лебедева* (1943–2003) представляет собой, без преувеличений, уникальное явление — и по широте охвата материала, и по глубине его осмысления. Написана она на базе курса лекций, читавшегося автором с начала 1970-х гг. на кафедре археологии истфака ЛГУ. Мне, студентке тех лет, слушавшей эти лекции, до сих пор памятни «нестандартные», по тем временам, трактовки Глеба Сергеевича. Первой из них стала поразившая нас, его слушателей, высокая оценка деятельности графа А.С. Уварова и выделение «уваровского периода» как одного из самых плодотворных в истории отечественной археологии — и в организационном, и в исследовательском плане.

Характерно, что концепция Г.С. Лебедева попала в печать лишь в 1992 г., оказавшись, таким образом, достоянием научной мысли уже 1990–2000-х. Но мои студенческие конспекты свидетельствуют о том, что в основе своей она была разработана не менее, чем за 20 лет до того, на пике эпохи «застоя» в СССР.

Г.С. Лебедев широко пользовался в своей периодизации понятием «парадигмы», заимствованным у Т. Куна. Среди выделенных им «парадигм» дореволюционной русской археологии присутствуют: антикварианистская, энциклопедическая, художественно-прикладная, бытописательская (по его мнению, занявшая на отечественной почве место эволюционистской), этнологическая, системно-экологическая. Смена базовых концепций трактовалась им как безусловный прогресс развития науки. В рамках XIX–XX вв. ученый выделял следующие этапы: «период ученых путешествий», продолжавшийся до 1825 г.; «оленинский период» — формирование первых научных центров 1825–1846 гг.; «уваровский период» 1846–1884 гг. — становление научных центров; «постуваровский период» 1871–1899 гг.; «спицынско-городцовский период» 1909–1918 гг.

Для периода 1919–1934 гг., в целом выходящего за обозначенные ранее хронологические рамки книги, автор выделил такие моменты, как: преобразование организационных структур — с 1919 г.; становление системы археологического образования и ее деформация под давлением политических факторов — 1922–1934 гг., с выделением подпериода 1929–1934 гг. — становления «теории стадильности».

Практически каждому из выделенных периодов у Г.С. Лебедева соответствует своя «парадигма»: оленинскому — художественно-прикладная, уваровскому — бытописательская, спицынско-городцовскому — этнологическая. В «постуваровский период», само название которого указывает на переживание каких-то устаревших представлений, уже отжившая «бытописательская» парадигма (в лице председателя МАО гр. П.С. Уваровой) катастрофически не давала

простора развитию «системно-экологической» парадигмы, представленной заместителем той же гр. П.С. Уваровой — Д.Н. Анучиным.

Подобный подход к истории археологической науки в дальнейшем подвергся критике со стороны Л.С. Клейна, отметившего, что в истории нашей науки различные концепции (не «парадигмы»!) не столько сменяли одна другую, сколько сосуществовали (Клейн, 1995а). С этой критикой позднее согласилась И.В. Тункина (2001: 314).

Действительно, выделенные Г.С. Лебедевым периоды не связаны однозначно именно с движением археологической мысли. Скорее они отражают изменения социально-политической обстановки в стране, стимулировавшей, в свою очередь, подвижки общественного сознания, включая отношение к науке, новые тенденции в культурной жизни и т. д. Недаром «уваровский период» Г.С. Лебедева почти совпадает с «периодом создания организаций» А.А. Формозова, а «постуваровский» и «спицынско-городцовский», взятые вместе, составляют формозовский «период классификации древностей» России.

Атмосфера в стране, безусловно, влияла на характер археологических исследований. Происходившие изменения в действительности нельзя анализировать без учета таких явлений, как общественный подъем в первые годы царствования Александра II, а позднее — разочарование в реформах, резкое усиление политической реакции после убийства монарха и т. д. В этом смысле периодизация Г.С. Лебедева (как и периодизация А.А. Формозова), в первую очередь, отражает исторический контекст развития отечественной науки.

Действительно, образ русской археологии в 1860–1870-х гг. по целому ряду факторов отличается от периода середины 1880 — начала 1900-х. Этот последний период, в свою очередь, отличен от второй половины 1900–1910-х. Специфика конца 1910 — конца 1920-х гг. тоже не подлежит сомнению. Другой вопрос: можно ли напрямую связывать все эти периоды с *парадигмами* археологии?

Так или иначе, концепция Г.С. Лебедева представляет собой попытку отойти от позитивистской трактовки истории науки как простой рефлексии на социальную жизнь и увязать *воедино историческую конкретику с внутренней логикой развития археологии в России*. Насколько автору это удалось? Думаю, не вполне. Во всяком случае, концептуальные характеристики каждого из выделенных им периодов требуют специального разбора в конкретно-историческом ключе.

Второй уязвимый момент в лебедевской концепции парадигм уже был отмечен Л.С. Клейном. О том же, кстати, писал М.В. Аникович в уже цитированной статье (1989). Разные концепции на деле не «снимали одна другую» в истории отечественной археологии. Они развивались параллельно, отображая собой разные существенные стороны археологического исследования и периодически изменяя «соотношение сил» и влияний. Но в этом случае следует говорить не о «смене парадигм», а скорее об историческом развитии и вариативности нескольких основных концепций, противостоящих друг другу, но в чем-то друг друга постоянно дополняющих (ср. «исторические сверхтенденции» у Н.И. Ульянова).

Мне представляется, что в действительности в дореволюционной отечественной археологии последней трети XIX — начала XX вв. существовало две основные научные платформы (=подхода) — гуманитарная (историко-культурная) и естествоведческая (антропологическая или палеоэтнологическая). Первая

определяла археологию в целом как неотъемлемую часть истории (истории культуры). Вторая выделяла из нее первобытную археологию как часть естествознания (антропологии в широком смысле слова). Каждая из двух концепций была по-своему тесно связана и с практикой археологических исследований, и с характером запросов общества к археологии. В рамках каждой развивались свои школы и конкретные направления научного поиска.

Изначальность двух указанных концептуальных платформ в отечественной археологии недавно была подчеркнута в монографиях *Сергея Александровича Васильева* (род. 1956), посвященной изучению палеолита в России (2001–2002: 37–38; 2008: 18–20). В этих книгах затрагивается, в частности, и проблематика дореволюционного этапа исследований. Автор указывает, что у истоков отечественной археологии палеолита с самого начала было два научных подхода. Первый из них — исторический (или гуманитарный), безоговорочно включавший археологию в круг исторических наук, берет начало в трудах графа А.С. Уварова. В трактовке С.А. Васильева, он базируется на представлении об археологических памятниках как, в первую очередь, «национальных древностях», «остатках истории родного народа», доминировавшем в немецкой науке XIX в. Именно этот подход, по мнению автора, возобладал в дальнейшем в отечественной археологии советского периода. На нем основано современное понимание археологии как гуманитарной, исторической дисциплины. Второй подход — «антропологический» (или естественнонаучный), ассоциируется С.А. Васильевым с современным американским пониманием «антропологии». Истоки указанного подхода автор не уточняет, а основателем его на отечественной почве называет Д.Н. Анучина. Эта точка зрения обосновывалась автором и ранее, в том числе в статье, посвященной истокам различных идей и концепций российского палеолитоведения (Васильев, 1999).

На мой взгляд, представление об изначальноности противопоставления двух описанных подходов близко к истине, если рассматривать археологию палеолита не в общем контексте «доистории» XIX в., а как отдельную дисциплину. Если же анализировать первобытную археологию в целом, включая в нее, по меньшей мере, весь каменный век, то в ее историческом развитии сразу выявляется весьма яркий и значимый предшествующий этап, для которого характерно как раз отсутствие противопоставления гуманитарных и естественнонаучных методов при повышенном внимании к последним и общей культурологической направленности исследования. Данный этап определяется в истории археологической мысли как доминирование «скандинавской школы» исследований. В Европе он обнимает вторую четверть — середину XIX в. (Trigger, 1989: 81–86). В России влияние этой «школы» сказалось в работах ученых 1850–1870-х гг., производившихся по линии ИАН и РГО, в первую очередь, К.М. Бэра и его последователей (см.: 3.6–3.7, 4.1–4.2), а также в работах по первобытной археологии А.С. Уварова (см.: 4.3.3).

Некоторое сомнение вызывает у меня и четко проведенное С.А. Васильевым размежевание европейских научных традиций по географическому признаку. Восприятие археологических памятников как *национального культурного достояния*, а порою и напрямую — как остатков жизни собственных прямых предков («почтенных пращуров»), было присуще, на мой взгляд, не одной не-

мецкой науке, хотя, спору нет, в ней оно выразилось весьма ярко и рельефно. Тем не менее в первой половине XIX в. данная тенденция проявлялась в европейской археологии повсеместно. По словам того же А.С. Уварова (речь при открытии Московского Археологического общества), «...чувство народности, пробужденное необходимостью для Европы сокрушить Наполеоновскую власть, обратилось, по умиротворении Европы, к изучению всего родного. Дейтельно жило это чувство и ярко отразилось оно в археологии <...> Под влиянием чувства народности, в Европе возникают Археологические Общества. Они дружными и совокупными силами занимаются исследованием родных памятников, не только отыскивают и определяют их, но и в особенности заботятся о сохранении их, как дорогих остатков жизни самого народа...» (Материалы для биографии... 1910: 127). Как я постараюсь показать ниже, разработка национальных древностей сама по себе явилась важнейшим этапом на пути превращения антиквариантской археологии в науку. Это показал исторический опыт всех без исключения европейских стран.

С.А. Васильев совершенно прав, утверждая тезис о *параллельности* функционирования двух указанных концептуальных платформ в русской археологической науке уже на ранних этапах ее развития (с последней четверти XIX в.). Со своей стороны, я считаю особенно важным показать *вариабельность* описанных выше подходов, базировавшихся на принципиально различных концепциях. Эта вариабельность, в конечном счете, и обусловила эволюцию научных школ в археологии.

Прежде чем кратко изложить суть данной проблемы, я коснусь еще одной периодизации отечественной археологической мысли, опубликованной в 1990-х гг. Ее создатель *Александр Владимирович Жук* положил в основу своей работы такой признак, как *состояние (разновидность) основного археологического источника*, являвшегося определяющим на том или ином этапе.

Период 1770–1830-х гг. А.В. Жук считает первой стадией становления археологии как самостоятельной науки. Это начало вызревания представлений о типологическом ряде в качестве источника. Но все же основным источником информации на данном этапе еще остается «отдельно взятый предмет». Новый этап (1830–1880-е гг.) представляет «вторую стадию становления археологии как самостоятельной науки». Основным источником становится «археологический комплекс» или, по определению А.С. Уварова, «совокупность признаков». Целью археолога становится «воссоздать действительную жизнь посредством памятников». Новые акценты выдвигают и новые приемы исследования. Разворачиваются массовые раскопки курганов, начинают составляться археологические карты.

После 1880-х гг. наступает последний период развития дореволюционной археологической мысли, характеризуемый «возникновением археологического источниковедения». Основным источником становится типологический ряд. Этот этап насильственно обрывается в эпоху Великого перелома (Жук, 1995: 4–6).

Попытка А.В. Жука построить периодизацию на основе внутренней логики развития науки представляется мне очень перспективной. Многие конкретные наблюдения исследователя заслуживают самого пристального рассмотрения.

Моя собственная трактовка развития отечественной археологии определяется признанием ключевого значения уже описанных выше двух основных концептуальных платформ (= подходов), прослеживаемых в русской археологии. В рамках первой из них — *гуманитарной или исторической* — развивалась целая серия отдельных направлений и школ. Вторая — *естествоведческая или антропологическая* — также демонстрирует в процессе своего развития заметную дифференциацию направлений.

В различные периоды времени обе концепции могли обнаруживать тенденции к сближению по ряду позиций или, напротив, к очень резкому размежеванию. Отдельные открытия и методические разработки, сделанные в рамках одной из них, как правило, через некоторое время становились достоянием и другой. Тем не менее важно понять: перед нами не просто два методологических подхода, а две разные *системы* научных и философских взглядов на науку о первобытности. Рассмотрению каждой из них посвящены отдельные разделы книги.

ГЛАВА 3 НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ АРХЕОЛОГИИ В РОССИИ

3.1. РАЗЛИЧНЫЕ «КОНЦЕПЦИИ» В РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОКА

Во второй половине XIX в. археология в России (как и в Западной Европе) являла собой нечто единое во многих ипостасях. По-прежнему оставалось в ходу представление об *археологии как истории искусств*, унаследованное от предыдущего периода и стимулировавшееся самим характером классических древностей. К 1860-м гг. оформилось новое понятие об археологии как *“бытовой истории всех народов”*, то есть науке, изучающей, выражаясь современным языком, историю культуры во всех её проявлениях (в вещественных памятниках, памятниках искусства, языка, народных обычаях и т. д.). Параллельно уже тогда в Россию проникло эволюционистское представление об археологии как дисциплине, изучающей этнографию и физическое строение человека на разных этапах его древней истории.

Выдающийся историк и теоретик исторической науки А.С. Лаппо-Данилевский был первым из русских ученых, кто попытался, еще на рубеже 1880–1890-х гг., сделать сравнительный аналитический обзор и русской, и западноевропейской археологической литературы. К сожалению, эта работа не была доведена до конца. В архиве исследователя сохранился лишь конспект лекционного курса «Археология Восточно-Европейской равнины (древнейший период)», во вводной части которого нашли отражение результаты его изысканий по данному вопросу (ПФА РАН, ф. 113, оп. 1, № 309, лл. 6–18).

А.С. Лаппо-Данилевский выделял в европейской археологии три отдельных концепции — классическую, национальную и эволюционную. Сходную картину видел он и в отечественной археологии с поправкой на то, что «влияние эволюционной точки зрения пока <...> довольно незначительно» (Там же: л. 11). Данная точка зрения нигде не обосновывалась развернуто, но ее следует учитывать как важнейший аспект «образа отечественной науки» в указанный период. Тезис о слабом влиянии эволюционной концепции, безусловно, был справедлив для русской археологии рубежа 1880–1890-х гг. Бурное развитие палеоэтнологических исследований, базировавшихся на эволюционной парадигме науки, началось в России не ранее конца 1900-х.

Наиболее разработанной представлялась А.С. Лаппо-Данилевскому «национальная» концепция археологии, к которой он причислял И.П. Сахарова, А.С. Уварова и И.Е. Забелина — ученых, сформировавшихся еще в 1840–1850-х гг. Действительно, начиная с этого времени, интерес к археологии в образованных кругах русского общества неизменно подогревался «национальным чувством» в самых различных формах. Это был период «общего национального пробуждения» (выражение Н.П. Кондакова). Одним из его проявлений в середине —

второй половине XIX в. стал рост интереса к истории родного народа и жажда национального самоутверждения. В обществе появились и широко распространились представления о том, что предметом изучения русской археологии (или русских «древностей») является *русский человек* — его быт, его жизнь в минувшие века отечественной истории. В середине XIX в. эта мысль буквально носилась в воздухе, ей недоставало лишь «обстоятельного развития и более-менее прочного обоснования, одним словом — авторитетности...» (Ардашев, 1909: 80).

3.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДОСНОВА РАЗВИТИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИИ» И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Первая треть XIX в. в русской археологии проходит еще, в основном, под знаменем поклонения «антикам». Ощутимый перелом в отношении к отечественным памятникам — как «русским», так и «доисторическим» — начался лишь в 1850-х гг. Конечно, «первые ласточки» его появились значительно раньше. Это и «ученые путешествия» З. Доленго-Ходаковского, и деятельность таких историков, как М.П. Погодин и И.М. Снегирев, и начало архивных изысканий И.Е. Забелина о «русской старине», и, наконец, статьи В.В. Пассека, еще в 1830-х гг. утверждавшего, что путем раскопок курганов и городищ можно открыть «новую летопись — не обезображенную переписчиками, неопровержимую для наших кабинетных скептиков...» (цит. по: Формозов, 1984: 98). Но, как бы то ни было, заметные сдвиги в отношении русского общества к отечественным древностям представляют собой достойные уже середины XIX в. Характерно, что и в этот период ученые постоянно сетуют в своих работах на недостаточное внимание русских к родной старине и истории.

Невозможно однозначно классифицировать и оценить все проявления «национального чувства», которые изливались на страницы археологических публикаций в указанный период. Однако в основе их очень часто прослеживается стремление доказать право русского народа называться европейским народом с богатой историей. И это некоторым образом объединяло людей самых разных политических взглядов и позиций — демократов и консерваторов, естествоиспытателей и гуманистов. Приведу лишь несколько примеров.

Известный публицист и критик В.В. Стасов страстно возмущался полупрезрительным отношением к русским национальным древностям, которое было характерно для ученых эстетов первой трети XIX в. В связи с этим он привел цитату из предисловия А.П. Оленина к уже упоминавшемуся выше альбому «Древности Российского государства»:

«В числе моих рисунков находятся и такие, которые грубостью и уродливостью... покажутся недостойными сего собрания; но, за совершенным недостатком хороших того времени памятников, и сии, так сказать, карикатуры весьма драгоценны...» (цит. по: Стасов, 1882: 170).

Подобные взгляды русского археолога А.П. Оленина, высказанные в 1840-х гг., вызвали 30–40 лет спустя самое яростное отторжение. В связи с этим В.В. Стасов писал:

«Оленин заставлял своих рисовальщиков выправлять иное в лицах, складках и проч. изображаемых в его атласе фигур. Нынешние археологи посмотрели бы с презрением на такие поправки и никогда не вздумали бы извиняться перед своим читателем за недостаточное изящество и грубость своего материала <...>. Нынешний археолог заботится только об одном: как бы с наибольшей верностью и неумытою правдою передать <...> черты и особенности своего оригинала...» (Там же).

Археолог нашего времени куда спокойнее и, вероятно, с юмором отнёсся бы к оленинскому высказыванию о «кариатурах». Конечно, В.В. Стасов был совершенно прав, учитывая опыт современной ему археологической науки. Но за его гневными обличениями стояло, в первую очередь, уязвленное национальное чувство. И в этом он был не одинок. Близкую позицию обнаруживают печатные высказывания другого видного деятеля русской науки того времени — на сей раз уже естествоиспытателя и одновременно археолога — А.А. Иностранцева:

«Наши западные соседи, часто даже с предвзятою мыслью, дабы и с исторической стороны выставить нас народом крайне молодым, разбирая сказание Нестора, населяли Россию ирокезами и другими совершенно дикими народами, относя такое население ко времени призвания варягов <...>.

Продолжительное время образованная часть нашего общества, с первых шагов своего воспитания и образования, росла на мысли, что раньше рассказа нашего знаменитого летописца Нестора на Руси ничего не было или, по меткому выражению г. Забелина, характеризующего отношение нашего общества к этому вопросу, на Руси было «пустое место» <...>. Эта мысль должна была лежать тяжёлым и продолжительным гнётом над умами даже талантливых деятелей. Что же было и отыскивать в «пустом месте»?

<...>. Вещественные доказательства в исследовании памятников быта, в раскопках курганов, пролили совершенно новый и неожиданный свет на древнее население России. Многочисленные раскопки курганов <...> обнаружили богатые остатки человека, принадлежащие не только тому времени, с которого начинается свой рассказ Нестор, но и значительно более отдаленному <...>. Эти исследования были окном, через которое заглянул исследователь России во времена более отдалённые <...> (курсив мой. — Н.П.)» (Иностранцев, 1880: 275–276).

Цитированная статья А.А. Иностранцева предваряет собой его образцовую публикацию находок эпохи неолита на Ладожском канале, которая вышла из печати два года спустя (Иностранцев, 1882). После приведенной выше характеристики положения в русской археологии автор описывает в ней свои собственные открытия. В этом описании, обращённом к широкому читателю, он вполне объективен. Человек каменного века, чьи останки найдены (наконец!) в наших краях, показан без лишних прикрас — достаточно «диким»¹. Нет никаких попыток определить его «народность» или связать ископаемый костный материал с более поздним населением России. Во всем этом А.А. Иностранцев проявляет себя как строгий, компетентный ученый, не признающий поспешных выводов.

¹ Вероятно, даже более диким, чем на самом деле, но таково уж было общее заблуждение эволюционистов Золотого века: примитивность в области *техники* означала для них примитивность во всем.

Но слова о «тяжёлом и продолжительным гнёте», лежащем над умами тех, кто рождён «на пустом месте», достаточно красноречивы и сами по себе. Страна и народ, чья история не уходит корнями вглубь времён, оказывались в глазах нашего соотечественника второй половины XIX в. вроде бы не вполне полноценными. Перманентное ощущение «национальной уязвленности» русских даёт себя знать в трудах русских ученых на протяжении всей второй половины XIX в. И здесь внутренние убеждения естествоиспытателя-позитивиста, материалиста и атеиста А.А. Иностранцева обнаруживают глубинное родство с высказываниями православного христианина, археолога и историка графа А.С. Уварова. Их главный смысл можно выразить двумя фразами. Да, сейчас мы еще не дошли до понимания, каким народам принадлежат эти первобытные памятники и какое могли они иметь влияние на «последующих насельников России». Но то, что Россия в древности не была «пустым местом», очень важно для русского самосознания.

Не следует забывать: середина — вторая половина XIX в. стали в России временем бурного культурного строительства — быть может, одним из самых плодотворных и созидательных за всю историю нашей страны. Всего за несколько десятилетий оказались созданы: национальная русская литература (русский роман как литературное явление); национальная русская симфоническая музыка; национальная русская опера; национальная русская живопись (в первую очередь, пейзажная и жанровая). К тому же периоду относятся выдающиеся открытия русских учёных в самых различных областях естествознания. Нет ничего удивительного, что в печати тех лет кипели нешуточные страсти вокруг русской национальной культуры, и в частности вокруг *истории* этой культуры. Эта страстная подоснова, жажда национального самоутверждения на практике оказывалась основой многих культурных достижений. В частности, становление русской национальной археологии реально обернулось резким расширением диапазона исследований, привлечением внимания к новым категориям памятников и контекстам их находок.

3.3. ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Формирование представлений об археологических памятниках как национальным достоянием служило «идеологическим оформлением» таких ключевых процессов, как: а) первичный сбор и систематизация данных по памятникам отечественной археологии; б) сложение первых контуров инфраструктуры археологической науки и государственной «археологической службы». Без выполнения этих задач дальнейшее развитие археологии как науки было бы невозможно.

В Западной Европе первой половины — середины XIX в. указанные процессы заняли почти полвека. «Национальная археология» строилась там во многом в русле идей, унаследованных от эпохи Просвещения. Это наследие способствовало укоренению в ней представлений о неуклонном технологическом прогрессе

человечества, которые и привели к формулировке «системы трех веков» — каменного, бронзового и железного.

С другой стороны, в первой половине XIX в. приобрели огромную популярность сочинения по так называемой «общей географии» или «народоведению», трактующие, в частности, влияние природной среды на «дух» и историю народов (труды А. Гумбольдта, К. Риттера, его ученика Э. Реклю и др.). Именно они сформировали основу для серьезной научной постановки проблемы влияния географического фактора на культуру. В результате к середине столетия в Европе если не повсеместно, то, по крайней мере, в ряде стран, означенные выше задачи оказались выполнены: создана инфраструктура археологической науки в виде системы добровольных научных обществ и музеев; проведена первичная систематизация материалов.

В России появление сравнительно широкого интереса к «национальным древностям» запоздало на 20—30 лет по сравнению с Западной Европой. В результате указанные процессы оказались «спрессованы» здесь примерно в три десятилетия. Но куда большее значение имело то, что в России этот период хронологически совпал с «золотым веком эволюционизма» (конец 1850 — 1870-е годы). В результате осмысление археологических памятников как национального достояния поневоле происходило в нашей стране в принципиально иной обстановке и атмосфере по сравнению с Западной Европой первой половины XIX в.

В указанный период в науке уже стали свершившимися фактами и эволюционная геология Ч. Ляйелла, и эволюционная социология Г. Спенсера, и теория естественного отбора Ч. Дарвина. Труды этих ученых, равно как и труды их многочисленных популяризаторов, весьма оперативно переводились на русский язык, причем нередко русские переводы запаздывали, по сравнению с оригинальной публикацией, лишь на 1—3 года. Повальное увлечение русской молодежью 1860—1870-х гг. трудами Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева, опиравшихся, в свою очередь, на труды известных эволюционистов (К. Фогта, Т.-Г. Гексли, Э. Геккеля и др.), повело к сложению своеобразного «культу естествознания» в русском образованном обществе, сопровождавшееся настоящими творческими «прорывами» в таких областях, как математика, химия, биология, медицина и пр. (открытия Н.И. Лобачевского, Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, К.А. Тимирязева, Н.И. Пирогова и многих других).

Параллельно наблюдалось ускоренное развитие позитивистского направления в исторических науках (деятельность В.И. Герье, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского и др.). В основе его лежало, как известно, стремление выявить и исследовать устойчивые «законы» истории человечества, всемерно приблизить историческое познание к естественнонаучному, установить для него методы, не уступающие по своей точности методам, разработанным в естествознании. Указанный процесс напрямую затронул и русскую археологию. Уже на раннем этапе, в 1850—1870-х гг., здесь появляются свои идеологи позитивизма, сформулировавшие методологические основы исследования (И.Е. Забелин, Ф.И. Буслаев, П.В. Павлов и др.). Порою выдвинутые ими идеи оказывались весьма передовыми в контексте не только русской, но и мировой науки того периода. Это в первую очередь верно для концепции понимания археологии и ее методов, выдвинутой русским историком и археологом П.В. Павловым на III Археологическом съезде (см.: 4.3.2).

В то же время практическое освоение отечественных древностей в России к концу 1850-х гг. оказалось, по сути, только начато. Помимо отдельных «точечных» (и, как правило, бессистемных) раскопок, в активе русских археологов имелись лишь систематические исследования владимирских курганов (1852–1853 гг.), осуществленные А.С. Уваровым и П.С. Савельевым, да раскопки В.В. Радловым около 150 курганов на Алтае, в Минусинской котловине, в Барабинской и Киргизской степи (в 1863–1869 гг.). Структура археологической службы, потребной для выполнения таких задач, как регистрация, исследование и хотя бы приблизительная систематизация памятников по регионам, тоже находилась в начальной стадии формирования.

Идеи эволюционизма и позитивизма интенсивно осваивались в России как учеными, так и широкой читающей публикой. Но они существовали как бы в отрыве от памятников, от проблем «практической» археологии. Это ключевое противоречие между очень высоким уровнем академической и университетской науки в ряде крупных городов, с одной стороны, и слабой первичной изученностью российских древностей — с другой, не могло не наложить отпечатка на весь процесс становления отечественной археологии в третьей четверти XIX в. В силу неразработанности инфраструктуры археологии в России, вкуче с обширностью ее территорий, работа по первичному сбору и систематизации материала подвигалась вперед очень медленно, в основном силами отдельных, разобщенных меж собой энтузиастов. Требовалась еще долгая и кропотливая работа в этом направлении, чтобы на базе российских древностей стал возможен, к примеру, серийный анализ отдельных категорий находок. А без такого анализа, без возможности широкого применения сравнительного метода к конкретному материалу, эволюционная идея неизбежно оставалась посторонней археологическому исследованию — вне зависимости от собственных научных взглядов того или иного археолога. Сам исследователь мог быть по своим убеждениям эволюционистом, позитивистом, дарвинистом и т. д., но вступив в область изучения отечественных археологических материалов, он волей-неволей должен был сосредоточиться либо на разведках и первичной систематизации источников, либо на вопросах комплексного исследования конкретного памятника (то есть на поиске возможностей привлечения смежных дисциплин к решению проблем его изучения).

3.4. РУССКАЯ АРХЕОЛОГИЯ ИЛИ «АРХЕОЛОГИЯ РУССКИХ»? М.П. ПОГОДИН, И.П. САХАРОВ, И.Е. ЗАБЕЛИН, А.С. УВАРОВ

Уровень разработки «национальных древностей» в России середины XIX в. вполне может быть охарактеризован как антикварианизм и коллекционерство. Ярким примером тому являлась деятельность М.П. Погодина, который, как и многие другие учёные XIX в., шёл к археологии от занятий отечественной историей. Свои труды по древнерусской истории он снабжал приложениями, куда входил и атлас всех известных тогда археологических памятников «дотатарского периода». Однако при изучении «вещественных» памятников Погодин, по образному выражению Н.П. Кондакова, «держался наглядки коллекционера»

(Кондаков, 1901: 6), отстаивая полную невозможность изолированного изучения письменных, бытовых и вещественных древностей.

«<...> Живой взгляд на нераздельную родную старину, — писал Н.П. Кондаков, — он [Погодин. — Н.П.] должен был найти у староверов, иконников, собирателей и торговцев древностями...» (Там же). Тут налицо ещё в полной мере «антикварианистский подход» к памятникам, просто место «антиков» заняли русские иконы, старинные рукописи и предметы прикладного искусства Московской Руси.

Следует сразу оговорить: на раннем этапе развития исследований по истории русской культуры подобный взгляд был оправдан, ибо он с необходимостью вытекал из самого состояния изученности материала. С этим, кстати, необходимо считаться и при анализе теоретического наследия А.С. Уварова. На рубеже 1840–1850-х гг., да и позднее, представления о «русских древностях» даже весьма близкой допетровской эпохи (не говоря уж о древнерусской!) оказывались порою достаточно фантастичными. Так, в парадно изданном альбоме «Древности Российского государства» (1846–1853) рисунки Коломенского дворца, построенного при царе Алексее Михайловиче (XVII в.), еще фигурировали в качестве образца древнейшей русской архитектуры. Причиной тому, безусловно, служила недостаточная разработка, в первую очередь, письменных, архивных источников. Ведь с помощью их вполне можно было установить правильную хронологию и последовательность форм позднесредневекового русского зодчества, что вскоре и было сделано.

Опыт первой специальной теоретической разработки русской археологии, вышедший из-под пера **Ивана Петровича Сахарова** (1807–1863), имел отчетливую ультра-патриотическую направленность. «Мы долго безмолвствовали пред вековыми памятниками своего Отечества! — патетически восклицал автор. — Ныне да не будем безответными зрителями своих древностей. Да не думают чужеземцы, что у русских писателей нет стремления к изучению своих памятников... (курсив мой. — Н.П.)» (Сахаров, 1851: 4).



И.П. Сахаров
(1807–1863)

И.П. Сахарова трудно считать профессионалом в науке даже для середины XIX в. Это был своеобразный тип деятеля культуры той поры — яркий представитель чисто «публицистического» подхода к истории, при этом весьма способный организатор, имевший влияние в РАО (Срезневский, 1864). Глубоко проникнутый «национальной идеей», он, однако, не гнушался в своих работах ни подлогом, ни плагиатом (Формозов, 1984: 81). По своему мировоззрению И.П. Сахаров был еще плоть от плоти прежнего, XVIII века, когда история и политика откровенно смешивались даже в трудах серьезных ученых, а прославление Отечества и русского народа ставились безусловно выше исторической объективности. К числу представителей такого подхода к истории принадлежал, например, М.В. Ломоносов. Но сегодня та же объективность требует признать: в каком-то смысле именно И.П. Сахаров явился первопроходцем в деле определения отечественной археологии как науки.

По его представлениям, область археологии должна включать изучение *событий* и *преданий* отечественной истории: «Археология описывает жизнь народа по сохранившимся памятникам, изучает его быт в храмах, зданиях и домашних утварях, решает трудные вопросы его истории там, где молчат летописи...» (Сахаров, 1851). В целом создается впечатление, что археология, в данной трактовке, направлена на изучение, в первую очередь, *духовной культуры* прошлого («следы древних идей и народных верований», «творческая сила народа» и т. д.). Вопросы исследования *материальной культуры* («быт народа») тоже рассматривались И.П. Сахаровым, но самый подход его к «древностям» был чисто иллюстративным. По-видимому, он даже не подозревал, что для решения каких-то проблем древней истории, памятники следует подвергать специальному анализу. По его мнению, археология как «наука древних искусств и художеств, правдива и беспристрастна потому, что памятники, чуждые всяких личностей, носят сами в себе бесспорную достоверность, сами за себя говорят вернее всех человеческих выводов» (Там же).

С точки зрения И.П. Сахарова, «русская археология» обнимает «последние 7–8 веков», подразделяясь на три эпохи — «византийскую, татарскую и европейскую» — и должна изучать «русского человека как творца своих искусств и художеств» (Там же). Таким образом, предмет и задачи русской археологии сужались им до «изображения древней русской жизни» в течение первых восьми веков, начиная с X в. Памятники более раннего, языческого периода, по словам автора, «исчезли с лица земли», и о них можно только «предполагать гадательно». Таким образом, с одной стороны, наблюдается явное стремление использовать «древности» для воссоздания русской истории (точнее, истории русской культуры, народного быта). С другой стороны, налицо полная беспомощность исследователя, едва заходит речь о временах «бесписьменных», когда при объяснении «вещественных древностей» невозможно опереться на письменные источники: «Подземный мир, где, может быть, сокрыты памятники наших языческих веков, нам неизвестен...» (Там же). Археологические памятники России, не имевшие прямого отношения к собственно *русской старине*, вообще оставались вне поля зрения автора.

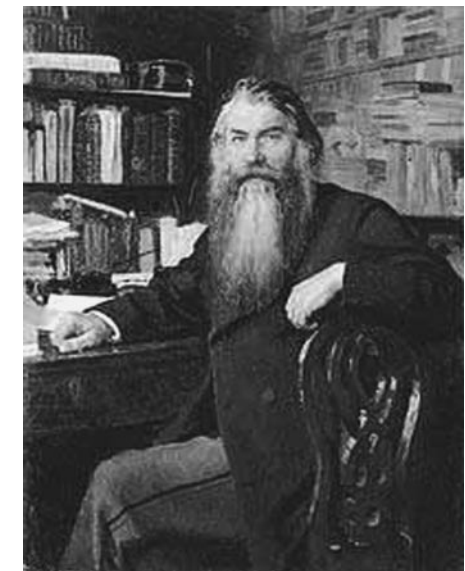
При всей архаичности, неразработанности определения археологии, данного И.П. Сахаровым, высказанное им понимание археологии как чисто культурологической дисциплины, «истории культуры», имело значение для науки (Аникович, 1989: 6). Отдельные наблюдения автора представляются совершенно верными. К числу их относится, в первую очередь, разделение всей археологии на археологию «исчезнувших» и «бытующих» народов — по характеру источников. Первая «составляет его [народа. — И.П.] историю за неимением летописей и актов, из обломков протекших веков. Все её источники заключаются в подземном мире, где сокрыт прах первобытных народов с их памятниками...» Вторая использует, письменные источники и памятники, сохранившиеся в живом быту. Лишь в последнюю очередь она привлекает «открытия подземного мира» (Там же). Здесь автором впервые смутно уловлена важная специфика, составляющая особенность, с одной стороны, первобытной археологии, располагающей исключительно вещественными источниками для воссоздания древней истории, и, с другой стороны — археологии исторических эпох. В последнем случае

археологические материалы должны сопоставляться с данными письменных источников, играя в историческом построении хотя и важную, но далеко не всегда определяющую роль.

Впрочем, смысл указанного наблюдения изрядно затемнен у Сахарова неудачно приведёнными примерами. Так, «исчезнувшими» названы у него древние народы Египта, Греции, Рима и Мексики. Но во всех этих случаях мы имеем дело не с неизвестными, а как раз с «историческими» народами, от которых, помимо «открытый подземного мира», в избытке сохранились памятники языка, литературы, фольклора, а также правовые акты, исторические анналы и т. д. Последнее дало повод И.Е. Забелину назвать упомянутое разделение «выдуманное» и указать, что «археология или древности» этих народов «заключаются в летописях, актах <...> в наличных памятниках и в открытиях подземного мира точно так же, как и народов существующих» (Забелин, 1873: 83).

«Обозрение русской археологии» было встречено в археологических кругах не слишком благожелательно. Современники И.П. Сахарова отмечали многочисленные недостатки его работы. Указывалось, в частности, что хронологический диапазон археологии в «Обзрении» неоправданно узок, а формулировки излишне напыщенны, расплывчаты и неточны. При ограничении области изучения «семью — восемью веками» из поля зрения ученых полностью выпадало «изучение дохристианских славяно-русских древностей». Да и «византийская эпоха» в истории Руси в действительности не вмещалась в указанные хронологические рубежи. В лучшем случае И.П. Сахарову отдавали должное как автору первой попытки идейной, теоретической разработки науки о национальных древностях. Однако саму эту попытку современники (А.С. Уваров, П.И. Лерх) признали неудачной.

Самую жёсткую критику встретила она в уже цитированной статье *Ивана Егоровича Забелина* (1820–1908), опубликованной впервые в 1852 г. и переизданной затем в сборнике его трудов 1873 г. Рецензент констатировал у Сахарова «<...> не только устарелый взгляд вообще на археологию, но даже запутанность и неясность в самом приложении этого взгляда к объяснению наших древностей» (Там же: 79). Раздражённый тон рецензии отчасти объяснялся личной обидой. И.П. Сахаров цинично использовал в статье неопубликованные разработки Забелина по истории русских ремёсел, присланные в РАО на соискание уваровской премии и в тот момент ожидавшие публикации. Впрочем, в рецензии содержится лишь намёк на использование автором неких «рукописных источников» (Забелин, 1873: 89). Шаткость собствен-



И.Е. Забелин
(1820–1908)

ного положения не позволила Ивану Егоровичу бросить прямое обвинение в плагиате одному из руководителей РАО.

Большая часть его замечаний носила вполне принципиальный характер. Отмечу из них наиболее важные. «Памятники <...> действительно, несут в себе бесспорную достоверность, — писал И.Е. Забелин, — но кто ж из этого будет заключать, что археология правдива и беспристрастна? Археология уже не факт, а наука, то есть понимание факта: а понимание бывает нередко и даже часто весьма далеко от той правды, которую носит в себе факт или памятник <...>» (Там же: 81).

Критически отнёсся И.Е. Забелин и к утверждению Сахарова, что «требования к русской археологии <...> отличаются <...> особенностями, каких мы не встречаем в археологии других народов». По его мнению, все выдвинутые автором «требования» на деле не содержат никаких особенностей. То, что реально перечислено в статье (необходимость систематического обозрения древностей страны, изображение древней жизни по памятникам и т. п.), применимо не только к русской археологии, но и к археологии в целом (Там же: 83–84).

Как уже говорилось выше, статья И.П. Сахарова рассматривалась нашей историографией как первый (пусть не слишком удачный!) опыт теоретической разработки в России *национальной археологии*. Именно под таким углом зрения она анализировалась А.С. Лаппо-Данилевским в курсе лекций 1892 г. Выражением того же подхода историк считал труды И.Е. Забелина и А.С. Уварова, несмотря на их немалые расхождения в определениях предмета археологии и весьма критическое отношение к ультрапатриотизму И.П. Сахарова.

Действительно, сам по себе тезис Сахарова об «изучении русского человека как творца своих искусств и художеств» и воссоздании его «древней жизни» в ходе археологического исследования был достаточно близок и его строгому критику И.Е. Забелину. Последний выделял *историю человеческой культуры* как возникший в 1860–1870-х гг. «особый отдел антропологического знания», где «умственное и нравственное развитие [человека. — Н.П.] составляют главнейший предмет научных исследований» (Забелин, 1878а: XXIII). В прениях на III Археологическом съезде И.Е. Забелин даже заявил, что эта «история культуры, в сущности, есть археология», а «весь материал, которым она пользуется, есть материал археологический» (Там же). Впрочем, в других работах учёный, как правило, различал историю культуры и археологию, указывая, что эти две дисциплины отличаются «взглядом на предмет» — изучают один и тот же материал в разных аспектах (Забелин, 1878: 6–7). Подробнее эти сюжеты рассмотрены ниже, в главе 4.

А.С. Уваров, со своей стороны, не только утверждал, что любовь к отечественным древностям приносит археологам добрые плоды, но и определял «русскую археологию» как «науку, занимающуюся *исследованием древнего русского быта по памятникам, оставшимся от народов, из которых сперва сложилась Русь, а потом Русское государство* (курсив мой. — Н.П.)» (Уваров, 1878: 32). Здесь как будто бы наблюдается прямая идейная перекличка со старой работой И.П. Сахарова. Но, если принять во внимание собственную исследовательскую практику А.С. Уварова, дело обстоит совсем не так.

Исследования владими́ро-суздальских курганов, предпринятые им в 1852–1853 гг. совместно с П.С. Савельевым, привели учёного к выводу, что рас-

копанные погребения принадлежат не славянам, а летописному племени меря (финно-угорского происхождения) (Уваров, 1872). Такого взгляда А.С. Уваров придерживался до конца жизни. Но от этого полученные археологические материалы отнюдь не теряли интереса ни для него самого, ни для его ближайших сотрудников.

В дальнейшем этот страстный любитель и знаток родной старины предпринял огромный труд по изучению древностей каменного века в России. Платформа, подведённая им под необходимость такого исследования, является весьма характерной: «Теперь, в данную минуту, мы не дошли еще до полного уяснения, каким народам принадлежат все эти памятники и какое могли иметь влияние эти народы на последующих насельников России; однако и теперь мы не вправе отрицать *a priori* всякую связь между этими народами первобытной эпохи и нашими историческими племенами, тем более, что народы бронзового периода <...> служили, навверное, средним звеном между этими племенами каменного века и племенами, указанными в летописи <...>» (Уваров, 1878: 33).

Из этого прямо следует вывод: да, лично А.С. Уварову, безусловно, были в высшей степени интересны генетические связи народов. Но он прекрасно понимал ненаучность современных ему суждений об этнической принадлежности племен, оставивших «первобытные древности».

Таким образом, уваровский «древний русский быт» на деле следует толковать расширительно. Это есть культура (вернее, *культуры*) самых различных «насельников России» в самые различные периоды. Историческую ценность для А.С. Уварова имели не одни лишь «древности русских», поднятые на щит И.П. Сахаровым, но «древности Российской империи», представлявшие собой в совокупности её национальное достояние. Независимо от личных пристрастий, он полагал своим долгом ученого изучить всё, что сохранила земля России от самых отдалённых эпох каменного века. Несколько забегая вперед, следует отметить: именно такое понимание «национальной археологии» имело прямое продолжение в трудах А.А. Спицына 1890–1910-х гг. Позиция графа Уварова — это, в сущности, позиция историка-государственника, исследующего почву, на которой выросла современная ему многоликая Россия.

Данный вывод заставляет по-особому оценить настойчивые призывы А.С. Уварова развивать в России отечественную, национальную археологию. Сказанное выше не оставляет сомнений: по своему мировоззрению граф был весьма далек от ультрапатриотизма. Но, будучи одарен от природы выдающимся талантом организатора, он безошибочно определил тот путь, которым должно было следовать, чтобы ускорить процесс первичного освоения отечественных древностей. Это был путь пробуждения общественной самодетельности и привлечения возможно более широких кругов общества к работе в области сбора информации о памятниках археологии и их первичного обследования. С этой целью Алексей Сергеевич, создавая Московское Археологическое общество, апеллировал к национальному чувству, «чувству народности» — тому, что могло сплотить (и нередко сплачивало) людей различных взглядов и убеждений.

Несомненно, такое решение подсказала графу та исследовательская практика, которую он мог наблюдать в Западной Европе во время своих неоднократных

выездов за границу. По его убеждению, именно национальный подъем, вызванный общей для многих европейских стран освободительной борьбой с Наполеоном, способствовал пробуждению в них интереса к собственной древней истории: «<...> Под влиянием чувства народности, в Европе возникают Археологические Общества. Они дружными и совокупными силами занимаются исследованием родных памятников, не только отыскивают и определяют их, но и в особенности заботятся о сбережении их, как дорогих остатков жизни самого народа <...>» (Материалы для биографии... 1910: 127).

3.5. «ВИНКЕЛЬМАНОВСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ И НАЧАЛО РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ: С.Г. СТРОГАНОВ, Ф.И. БУСЛАЕВ

«Винкельмановское» направление традиционно развивало в России тематику классической и скифо-сарматской археологии Причерноморья. Основным источником информации в первой половине — середине XIX в. являлся здесь, как совершенно верно отметил А.В. Жук, «отдельно взятый предмет», но не всякий древний предмет, а такой, в котором запечатлелись следы художественного творчества или искусства. В основе методологии художественно-исторического анализа лежали, еще со времен самого И. Винкельмана,

- идея эволюции искусства (точнее, постоянного его *изменения*, как прогрессивного, так и регрессивного);
- сравнительно-исторический метод, подразумевавший привлечение аналогий;
- группировка материала по художественным «стилям», определяемым как устойчивое сочетание признаков, характерных для определенных народов (социумов) в различные хронологические периоды.

Сильной стороной данного направления было то, что именно здесь вырабатывался и совершенствовался метод анализа собственного, неповторимого материала археологии — вещественных и изобразительных памятников (пусть даже поначалу — исключительно произведений искусства). Обратной стороной и слабостью указанного подхода в археологии являлось традиционно недостаточное внимание к контексту нахождения «предмета» и игнорирование массового и серийного материала, в котором не замечалось следов художественного творчества.

В конце 1850 — 1860-х гг., через творчество **Федора Ивановича Буслаева** (1818—1897), в сферу «винкельмановского» направления впервые вошла, помимо классической, и «национальная» тематика — средневековая русская иконопись, миниатюра и орнамента. Конечно, творчество этого ученого относится, по большей части, к сфере «искусствознания» и литературоведения, а не к археологии как таковой.



Ф.И. Буслаев
(1818–1897)

Но тесная взаимосвязь, неразделенность всех указанных областей в рамках «винкельмановского» направления наблюдалась вплоть до последних десятилетий XIX в. Характерно, что один из посмертных сборников статей Ф.И. Буслаева был озаглавлен: «Сочинения по археологии и истории искусства» (Буслаев, 1908). Кроме того, явная преемственность буслаевского творчества с творчеством его учеников-археологов Н.П. Кондакова и Н.В. Покровского не позволяет оставить без внимания методологические поиски их учителя. Первый из этих учеников стал создателем всемирно известной художественно-исторической «школы Кондакова», второй — видным представителем и теоретиком русской «церковной археологии».

Для историка археологической науки чрезвычайно интересны творческие и личные связи Ф.И. Буслаева с таким деятелем русской археологии, как председатель ИАК граф **Сергей Григорьевич Строганов** (1794—1882). Последний традиционно воспринимается многими историками как вельможа, придворный ставленник на руководящие посты, имевший к науке весьма отдаленное отношение. Даже наиболее известный печатный труд С.Г. Строганова по истории древнерусского зодчества — альбом «Димитриевский собор во Владимире (на Клязьме)» с описаниями этого памятника (Строганов, 1849) — давно стал библиографической редкостью, и большинство современных археологов просто не знают о его существовании. В основе современных оценок — положительных или отрицательных — лежит обычно лишь отношение к административно-организационной деятельности графа на постах попечителя Московского учебного округа, воспитателя цесаревича и, наконец, председателя ИАК.



С.Г. Строганов
(1794–1882)

Мало кто из современников и потомков ставил под сомнение личную порядочность графа и ту несомненную пользу, которую он принес отечественному просвещению. Приведу лишь два характерных высказывания историков:

«Не обладая ни острым умом, ни глубокими знаниями, Строганов умел ценить и то, и другое в своих подчиненных. Именно ум и знания были критерием, которым он определял свое отношение к окружающим. <...> Спина у Строганова гнулась туго: он не то что перед Уваровым [Сергеем Семеновичем. — *Н.П.*], которого в грош не ставил, он перед самим Николаем не боялся отстаивать свое мнение. <...> Искренняя любовь к просвещению сочеталась в нем с не менее искренней преданностью охранительным началам, отсюда — постоянная внутренняя борьба <...>» (Левандовский, 1990: 108–109).

«Высоко оценив покойного [С.Г. Строганова. — *Н.П.*] как организатора, он [И.Е. Забелин. — *Н.П.*] сделал одно любопытное замечание: у него был «редкий талант <...> охранять людей науки от антинаучных напастей и невзгод».

Это верно: боевой генерал, участник Бородинской битвы, далекий от науки, волею судеб оказался в роли «организатора науки». Он не был к ней подготовлен, но чутье подсказало ему наиболее правильный путь — не командовать учеными, <...> а дать им возможность спокойно работать, оберегая от нападков извне» (Формозов, 1984: 38).

Таким образом, в современной историографии утвердился довольно привлекательный образ графа Строганова как человека и государственного деятеля. И все-таки, в свете сказанного выше, достаточно неожиданным выглядит искреннее восхищение Строгановым как ученым, запечатленное для потомков в воспоминаниях такого видного специалиста, как академик Ф.И. Буслаев.

Переход самого Буслаева от занятий классической и русской филологией к истории русского искусства совершался в 1850-х гг. практически без помощи наставников из числа отечественных ученых. Среди исследователей старшего поколения просто не было таковых. «Раздел этот в истории русского искусствознания был представлен исследователями, не сумевшими или сознательно не желавшими опереться на достижения современной им западной науки» (Кызласова, 1985: 35–36). К числу их относились уже неоднократно упоминавшийся здесь И.П. Сахаров, а также И.М. Снегирев и др. В их трудах уже нашла отражение мысль о необходимости выявлять связи искусства с «духом века», но дальше деклараций дело не пошло. «Попытки реализовать эти задачи в конкретных исследованиях или не предпринимались, или проводились излишне прямолинейно» (Там же: 36).

Единственным исключением оказался, как ни странно, граф С.Г. Строганов — известный коллекционер и знаток искусства, в том числе древнерусского, обладавший в этой области очень широким кругозором. «<...> Как много обязан я в своих исследованиях по иконографии и вообще по искусству назидательным советам и указаниям графа Сергея Григорьевича, а также и его собственным печатным работам по этим предметам.» — писал впоследствии Ф.И. Буслаев (1897: 171). По его признанию, именно сочинение Строганова о Димитриевском соборе, где этому памятнику была дана высокая эстетическая оценка, впервые пробудило в нем самом «страстную охоту к исследованию русской, византийской и романской иконографии и орнаментики»: «Он [С.Г. Строганов. — Н.П.] был для меня вторым университетом, <...> высшим и заключительным<...>» (цит. по: Кызласова, 1985: 38, прим. 49). Подобную оценку графа со стороны одного из выдающихся русских археологов-искусствоведов, несомненно, стоит иметь в виду при ответе на вопрос, почему император Александр II предпочел кандидатуру С.Г. Строганова на должность председателя ИАК. Безусловно, этот аристократ, родившийся еще на исходе XVIII в., уже в силу сословных предрасположений не мог воспринимать ученую деятельность как основное дело своей жизни. Ему на роду было написано два занятия — военная и статская служба. Но его одаренность как ученого, скорее всего, недооценена. Во всяком случае, современники ценили графа больше, чем потомки (подробнее о нем см.: Платонова, 2009а; 2009б). Впоследствии Ф.И. Буслаев посвятил наставнику одну из своих главных книг — «Русский лицевой Апокалипсис» (1884).

Ф.И. Буслаев привнес в область древнерусского искусствознания широкую европейскую образованность и прочный научный фундамент «винкельманов-

ской» школы. Сам И.И. Винкельман навсегда остался для него высочайшим авторитетом, гениальным ученым, далеко опередившим свое время. Период, когда Федор Иванович обратился к материалам Древней Руси, совпал с расцветом культурно-исторической школы в Германии. Тогда же Ф. Боппом и Я. Гриммом были заложены основы сравнительно-исторического метода. В творчестве самого Ф.И. Буслаева в значительной мере переплелись установки культурно-исторической и сравнительно-исторической школ (Академические школы... 1975: 175, 199). По мнению И.Л. Кызласовой, суть выработанного им собственного оригинального метода «заключалась не в сравнении как исследовательском приеме, а в понимании исторической связи отдельных культур, в признании сходства их путей, неизбежности и плодотворности их взаимовлияний. Закономерно, что особое внимание при этом уделялось вопросам возникновения или развития того или иного элемента культуры. Таким образом, сравнительно-историческое изучение предполагало исследование различных форм культуры в историко-генетическом плане — горизонтальные срезы отдельных сфер культуры <...> сопоставлялись между собой (курсив мой. — Н.П.)» (Кызласова, 1985: 45–46). В этой характеристике уже отчетливо проступает то, что в дальнейшем было разработано, углублено и введено в археологию учеником Ф.И. Буслаева Н.П. Кондаковым — представление о непрерывности культурных взаимодействий и о механизме образования новых культурных традиций путем *слияния* старых.

Сам Ф.И. Буслаев называл свой метод работы исключительно «сравнительно-историческим», не используя иных определений, применявшихся к нему *post factum* (эстетико-исторический, иконографический и т. д.). Исторический процесс как таковой представлялся ему в виде постоянного чередования периодов «расцвета» и «упадка». Идея эволюции культуры занимала в творчестве Ф.И. Буслаева важное место, но он был далек от того, чтобы считать эту эволюцию однозначно прогрессивной и однонаправленной (Буслаев, 1866).

Духовная культура Древней Руси воспринималась ученым как одно нераздельное целое. Анализ памятников изобразительного искусства, литературы, орнаментики сплетался в его трудах воедино. Так, например, икона воспринималась Ф.И. Буслаевым как «перевод церковных молитв и стихов на язык живописи (курсив мой. — Н.П.)» (Буслаев, 1930, II: 145). Сложный процесс образования нового художественного «стиля» Федор Иванович умел представить и описать исключительно образно и ярко: «Посеянное зерно византийской традиции должно было с большою разрушиться, чтобы дать живой росток славянскому орнаменту <...>. Все, что было в стиле византийской орнаментики строгого и спокойного, теряет свою меру и грацию. Гибкие линии ломаются резкими углами <...>. Тут не беспомощная неумелость самоучки, который боязливо и вяло портит в своей убогой копии красивый образец, а смелая и бойкая рука отважного удалца, который привык громить классические сооружения античного мира и их монументальные развалины <...> пригонять на скорую руку к своим невзыскательным потребностям и поделкам <...>» (Буслаев, 1930, III: 102, 109).

Ф.И. Буслаев проявлял интерес и к такой новой по тем временам области знания, как общая антропология, понимавшаяся тогда как синтез данных этнологии, фольклора, первобытной археологии, сравнительной лингвистики, психологии, зоологии и т. п. Отношение его к исследованиям в данной области было

неоднозначным. Учение Ч. Дарвина о борьбе за существование и роли естественного отбора ученый признавал, но лишь в тех границах, которые ставила ему зоология. Попытки распространить те же законы на историю человека разумного представлялись ему ошибочными.

Очень высоко ставя «метод позитивных наук», и в частности эволюционную этнологию Э. Тайлора, Федор Иванович резко критиковал всякие попытки создания компилятивных «первобытных историй» человечества на базе разнородных данных и откровенных домыслов, произвольно втиснутых в эволюционистскую схему. Главным объектом критики служил явный, с его точки зрения, непрофессионализм и сугубая предположительность обобщений такого рода. Как едко замечал в этой связи Ф.И. Буслаев, за «конкретного первобытного человека» выдавалась некая «пустопорожняя форма», в которую можно было вложить что угодно. А чтобы «не пустословить», авторам работ такого рода приходилось заимствовать результаты, полученные сравнительной лингвистикой (Буслаев, 1873: 698, 700).

«За разнохарактерностью массы сведений, требующих специального знакомства с каждым из их отделов, авторам ничего не остается, как компилировать чужие работы, обобщая их с точки зрения философской <...> — читаем мы в рецензии на книгу ученого-дарвиниста, доцента Гейдельбергского университета О. Каспари. — <...> Не чувствуя призвания ни к сравнительной лингвистике, ни к древней филологии, они более наклонны к наукам естественным <...>. Этнограф и психолог [О. Каспари. — *Н.П.*], очевидно, увлекся счастливою мыслью построить науку о народности на некоторых результатах, добытых <...> естественными науками, и метод этих наук приложить к такому же точному учению психологии, которое должно быть положено в основу учения о <...> всей духовной деятельности человека <...>. Но, как бы хороша ни была мысль сама по себе, годность ее познается в исполнении <...>» (Там же: 692, 698).

«Исполнение» же, с точки зрения Ф.И. Буслаева, оказалось ниже всякой критики. По его словам, «автор обещает держаться положительного метода естественных наук, а вместо этого громоздит предположения на предположения». Никакая «ученая поверка» на такой зыбкой почве невозможна: «Тут нет места для ученого спора, наконец, нет места и для самой науки. Автор рассуждает об языке, но не о том, который знает сравнительная лингвистика по памятникам письменности и устным говорам <...>, а о том, который когда-то мог бы быть <...>. Автор подробно характеризует племена людей, но не те, которые знают история и этнография, а те, которые могли бы образоваться, если бы человек ходил на четвереньках. Может быть, во всем этом много изобретательности, <...> но какая же тут положительность метода, какая тут наука?» (Там же: 699).

Без сомнения, здесь критик попал в самую точку. Естествознание последней трети XIX в. усиленно стремилось включить в свою область всю науку о первобытности (включая доисторическую археологию и сравнительную этнографию). Подразумевалось, что рассмотрение древнейших этапов человеческой истории с естественно-исторических позиций с помощью методов естественных наук послужит к большей обоснованности выводов. Однако все точные науки, все естествознание как таковое, подразумевало опытный характер результатов, их безусловную *проверяемость* и *повторяемость*. В сфере истории, тем более древнейшей, это последнее оказывалось невозможным. Как только из области

сбора и группировки материала ученые вступали в область исторического построения, они сталкивались там именно с отсутствием всякой *положительности* метода. Причем это справедливо не только по отношению к компиляторам типа О. Каспари, но и к ученым куда более высокого уровня.

Выводы, к которым приходил в этой связи Ф.И. Буслаев, звучали достаточно однозначно: «Каждая специальность имеет свои пределы, дальше которых идти не может, и только во взаимном пособии друг другу разные специальности могут привести к желанному решению таких вопросов о человеческой природе, для <...> которых необходимы научные пособия, как по естествознанию, так еще и более того по истории, лингвистике, археологии и т. п. (курсив мой. — *Н.П.*)» (Там же: 703).

Подобная точка зрения являлась вполне характерной для русских археологов-гуманитариев не только буслаевского поколения, но и целого ряда последующих. В частности, в 1900–1910-х гг. совершенно аналогичную позицию сформулирует А.А. Спицын в своих университетских лекциях и в статье, представляющей собой сводку материалов о русском палеолите (Спицын, 1915).

3.6. РАЗРАБОТКА ИДЕОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРВОБЫТНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ РОССИИ: К.М. БЭР

Основоположником научного подхода к доисторическим древностям России стал академик *Карл Максимович (Карл-Эрнест) Бэр* (1792–1876) — основатель антропологического собрания музея ИАН, один из основателей РГО, председатель его этнографического отдела. Великий ученый-биолог, «отец эмбриологии», первым сформулировавший основные законы онтогенеза и учение о типах животного мира, К.М. Бэр уже на склоне лет с головой ушел в занятия географией. На счету его была целая серия крупных комплексных экспедиций в малоизученные регионы Российской империи. В ходе этих работ престарелым академиком в числе прочих открытий был сформулирован «закон Бэра», объясняющий асимметрию берегов рек, текущих меридионально.

Задачи географии в целом К.М. Бэр понимал широко. Вместе с А. Гумбольдтом и К. Риттером он считал, что «на лице земли написаны не только законы распространения организмов, но отчасти и судьбы народов» (Райков, 1950: 12–13, 15, 34). Как антрополог, он стал известен благодаря



К.М. Бэр
(1792–1876)

разработке новой системы краниологических измерений и классификации черепов. В 1850-х гг. из печати вышла книга К.М. Бэра «Человек в естественно-историческом отношении» (Бэр, 1851). Убежденный моногенист, человек гуманистических убеждений, ученый горячо отстаивал идею видового единства человечества и равенства всех рас. В 1850 — начале 1860-х гг. именно его научные идеи и конкретные разработанные им программы легли в основу таких предприятий ИАН и РГО, как исследование Л.И. Шренком амурских народностей и экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею (Райков, 1950: 19).

Сдержанное отношение К.М. Бэра к дарвинизму — особенно в части, касающейся происхождения и эволюции человека — долго служило причиной неоднозначного отношения к его трудам в области изучения человека. При этом характерно: в 1920-х гг. русские ученые как бы заново открыли их для себя, и оценка оказалась не просто высокой — панегирической. В 1928 г., в первом выпуске журнала «Человек» его ответственный редактор академик С.Ф. Ольденбург посвятил отдельную статью небольшой публикации К.М. Бэра, вышедшей из печати почти за 80 лет до того — «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и истории человечества» (Бэр, 1849).

«Большая часть из того, что сказано в этой статье, — писал С.Ф. Ольденбург, — для нас теперь общеизвестно и перестало требовать доказательств, и, тем не менее не бесполезно ее вновь перечитать многим представителям гуманитарных наук, которые, теоретически признавая необходимость постоянной увязки их работы с данными, получаемыми дисциплинами естественными, на практике <...> совершенно не считаются или считаются в самой незначительной мере с факторами окружающей человека природы <...>» (Ольденбург, 1928: 6).

Далее указывалось, что «и качественно, и количественно Бэром сделано чрезвычайное много для изучения человека, но главное значение его работы <...> лежит в том широком подходе к этому изучению, в котором Бэр умел объединить дисциплины гуманитарные с дисциплинами естественноведческими (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 9). «Чем объяснить, что это направление исследований не нашло себе настоящих продолжателей, и что, в общем, гуманитарии и естествоиспытатели идут все еще в своей работе отдельными путями?» — спрашивал С.Ф. Ольденбург. Может быть, причина этого несомненно отрицательного явления кроется в несоответствии точности методов исследования, доступных этим, столь разным, областям науки? Естествоиспытатели «не считают возможным удовлетвориться той приблизительностью, которая одна еще пока доступна гуманитариям <...>. Во всяком случае, путь Бэра — единственно правильный, и по нему желает идти наш новый журнал <...>» (Там же).

Все сказанное не оставляет сомнений, что именно К.М. Бэр представлялся русским ученым 1920-х гг. основоположником того подхода к археолого-этнографическому исследованию России, который можно назвать *эколого-культурным*. Еще в 1849 г. основы данного подхода были сформулированы им в печати (Бэр, 1849). Между тем во второй половине XIX в. указанная статья, вызывавшая такое восхищение С.Ф. Ольденбурга, почти не упоминалась в археологической литературе. В значительной степени это было обусловлено остротой противостояния дарвинистов не-дарвинистам, которое нередко оборачивалось, фактически, противостоянием естествоведов гуманитариям. Отсутствие такого

противостояния во времена К.М. Бэра (по крайней мере, на момент написания им его программной статьи 1849 г.), судя по приведенным отрывкам, воспринималось учеными 1920-х гг. с удивлением и легкой завистью.

Новая оценка наследия К.М. Бэра в 1920-х гг. стала возможной, потому что в указанный период — в результате новых открытий в области генетики — учение Ч. Дарвина о происхождении видов в результате естественного отбора перестало восприниматься как догма, безоговорочное признание которой обязательно для всякого прогрессивного человека. Некоторые представления классика эволюционной биологии были признаны устаревшими и в большой степени, скорректированы. В редакционном комитете журнала «Человек» участвовали представители многих естественных наук, в том числе акад. И.П. Павлов и один из виднейших русских генетиков проф. Ю.А. Филипченко. Несомненно, программная статья С.Ф. Ольденбурга, отражавшая фактически теоретическую платформу журнала («Путь Бэра единственно правильный...»), не могла быть принята к печати без их согласия.

Какие же высказывания К.М. Бэра вызывали яростный протест у естествоиспытателей-эволюционистов XIX в.? С его точки зрения, учение Дарвина не следовало бы отождествлять с «гипотезой трансмутации вообще». Это лишь попытка *объяснить* трансмутацию — тот род и способ, которым она происходит. Однако накопление мелких изменений, с точки зрения самого Бэра, не могло повести к образованию новых видов. Естественный отбор не в силах объяснить морфогенез (Там же: 148–149). Те изменения, которые реально могли быть прослежены на домашних животных, всегда совершались в рамках одного вида, а потому несущественны. Если же запрограммированный «образовательный процесс» эмбрионального развития почему-либо нарушается, то это ведет отнюдь не к образованию новых видов, а к остановке всего процесса или к образованию уродов (Бэр, 1865: 12). С высоты нашего времени приходится констатировать: в данных вопросах К.М. Бэр оказался куда более дальновиден, чем его «прогрессивные» современники, всецело захваченные идеями дарвинизма и спенсеризма.

В 1860-х гг. К.М. Бэр опубликовал серию статей о первобытном человеке и степени изученности данной проблемы в Европе. Эти публикации, по сути, положили начало исследованиям каменного века в России и, что немаловажно, — накоплению материалов по первобытной археологии в центральных музеях (Бэр, Шифнер, 1862; Бэр, 1863; 1864). Впоследствии ученик и последователь К.М. Бэра П.И. Лерх говорил на II Археологическом съезде: «Коллекция [Н.Ф.] Бутенева [неолитических орудий. — Н.П.] стала известною в Санкт-Петербурге в то время, когда в среде Академии наук и Российского Географического общества голос многоуважаемого К.М. Бэра требовал для подобного рода памятников быта древнейших обитателей нашего отечества места в наших музеях. Я имел удовольствие видеть, что при моем посредничестве упомянутая коллекция была приобретена Академией наук для ее Этнографического музея...» (Лерх, 1881: 10).

Отрицание принципа естественного отбора как ключа к пониманию процесса «очеловечивания» отнюдь не означало для К.М. Бэра отрицания идеи эволюции в человеческой культуре. Как и Ф.И. Буслаев, он высоко ценил многие достижения эволюционной этнологии 1840–1850-х гг., основанной на изучении современных «первобытных» народов. Впрочем, главным толчком в данном

направлении стали для него не чужие, а собственные этнографические наблюдения, подкрепленные сопоставлением с новейшими, по тем временам, достижениями скандинавской археологической мысли. В связи с этим К.М. Бэр писал:

«...Знание весьма различных состояний образованности у отдельных народов, с которыми мы познакомились через наши обширные путешествия, <...> заставили предполагать, что весь род человеческий должен был испытать различные состояния, зависевшие от времени и от страны <...>».

Эти предположения впервые получили более прочное основание в весьма недавнее время, с тех пор, как стали собирать остатки, сохранившиеся от этого доисторического состояния и находящиеся на поверхности и в глубине земной, сравнивать эти остатки между собой и пользоваться ими, как документами. Правда, что эти познания очень несвязны, но в некоторых странах Европы уже ясно высказываются в этом отношении различные периоды <...>».

<...> Только по истечении первой трети нашего столетия, после того, как в Дании и Швеции <...> были собраны и изучены <...> памятники человеческого искусства дохристианских времен, Томсен в Копенгагене и Нильсен в Лунде почти одновременно указали, что, по крайней мере, в этих странах, прежде, чем было открыто железо, <...> орудия <...> приготавливались из смеси меди с оловом.

<...> Так как во многих могилах найдены только орудия из камня и кости и ни разу не встречено металлических орудий, но встречались предметы, которые впоследствии делались из бронзы, то названные ученые пришли к дальнейшему заключению, что было время, когда вообще не было известно употребление металлов <...> Таким образом, явилось разделение истории человеческого развития на периоды, которые и названы — каменным, бронзовым и железным веками <...>» (Бэр, 1864: 27–28).

Как видим, в рассуждениях Бэра постоянно увязываются между собой два фактора — эволюционно-временной и географической. Он готов допустить, что «весь род человеческий» прошел ряд общих ступеней развития, имевших, однако, большую специфику в разных странах в различные времена. Однако человека каменного века Бэр изначально воспринимал как полноценного человека, отказываясь видеть в нем «переходное звено» от животного состояния к культурному. Круг основных проблем, намечавшихся академиком в этой связи, ясно обрисованы им в статье «Записка о снаряжении археолого-этнографических экспедиций в пределах Российского государства», опубликованной на немецком языке в Бюллетене ИАН в том же 1864 г. (Т.VII, с. 288–295):

«<...> Откуда появилось искусство обрабатывать различные металлы? Как и откуда вывезены разнообразны породы хлебных растений и домашние животные? — вот задачи, пока еще не тронутые, или, по крайней мере, не решенные. Осторожные датчане и шведы приписывают эти успехи <...> не первым жителям своих стран, а позднейшим пришельцам. Филология и история доказали, что вышеназванные <...> элементы перенесены сюда из Азии; то же самое подтверждается и находками, добытыми в могилах. Но откуда именно и каким образом происходили эти переселения — это вопросы, которые можно будет разъяснить только тогда, когда и другие страны примутся за такие же усердные исследования остатков своей родной старины, как то сделал скандинавский север.

<...> Самое решение этих вопросов может быть найдено единственно в странах, лежащих между Азией и западную Европою — именно в России. <...> У нас со времен Карамзина ревностно занимаются тою частью отечественной истории, которая основывается на письменных памятниках; но колыбель нашей народной жизни, все то, что предшествовало письменности, представляет еще сырой неразработанный материал. Разрывались у нас курганы, писались об них всевозможные отчеты; но дело в том, что, во-первых, все эти отчеты не подведены под общие точки зрения, а, во-вторых, нет общего и достаточно обширного собрания всех родов найденных доисторических предметов. Такие предметы, если они не состоят из благородных металлов, часто даже не берегаются или, по крайней мере, не вносятся в общее собрание. У нас даже не решено, как называть те или другие предметы. Между тем, все те из иностранных ученых, которые серьезно интересуются исследованием древнейшей истории человеческого рода, ждут с нетерпением возможно полных известий из России, послужившей переходной станцией для древнейших образовательных начал.

Достаточно одного беглого взгляда на карту, чтобы убедиться, что этим переселениям из Азии в Европу оставалось на выбор только два пути: морской — через греческий архипелаг или Геллеспонт, или сухопутный — через широкую Русскую равнину. <...> У нас уже давно заметили, что в так называемых чудских копиях или чудских могилах в Сибири сохранились металлические изделия значительной древности; связь их с введением металлического производства в западной Европе и самое время разработки этих копий можно будет определить только тогда, когда составятся полные и правильные собрания таких находок с достоверными и полными сведениями о месте нахождения <...>».

Если Россия не займётся изучением своей древнейшей старины, то она не исполнит своей задачи, как образованного государства. Дело это уже перестало быть народным: оно делается общечеловеческим. Но затронется и разовьётся интерес чисто национальный, если мы узнаем результаты всего того, что сделано на этом поприще другими народами, и если облегчится классификация и номенклатура древностей, находимых в нашем отечестве <...>» (русс. пер. П.И. Лерха, цит. по: РА ИИМК. Ф. 1. 1865. № 15, л. 4 об.—6).

Обосновав, таким образом, «научную потребность археологического исследования России», К.М. Бэр сформулировал план, по которому следовало организовать изучение «доисторических переселений и быта древних обитателей» на ее территории (Там же: л. 6). Для этого, по его мнению, было необходимо снарядить экспедиции в различных направлениях на три года. От их руководителей требовалось «полное знакомство с результатами западноевропейских исследований о доисторическом быте человечества», а также с опубликованными сведениями о раскопанных в России памятниках. Первая экспедиция должна была обследовать курганы в пределах области распространения «чудских могил» и раскопать некоторые из них — самые разнородные, — параллельно наводя справки об уже имевших место раскопках. Вместе с тем, по мнению К.М. Бэра, следовало бы провести поиск следов древних поселений или иных остатков деятельности человека «по краям озер».

После этих обследований Бэр планировал более специальные экспедиции: 1) в низменность на юге Урала; 2) к екатеринбургской впадине Уральского хребта;

3) в Крым через Тамань и в Понтийско-Каспийскую степь. По его мнению, эти три пути могли оказаться «главными воротами переселения». По всем указанным направлениям следовало, с его точки зрения, вскрывать курганы и известные «плоские могилы», а затем осуществить широкое сравнение всех сделанных находок. Исполнение своего плана он считал действительно необходимым с учетом того, что «в самых различных местностях России открываются курганы и другие могилы, о содержании и устройстве которых не доводится до всеобщего сведения» (Там же: л. 6 об.—7).

Как видим, идея о том, что «свет с Востока» шел в Западную Европу через Россию, оказалась впервые введена в отечественную науку именно К.М. Бэром. Данная гипотеза была подсказана всей логикой исследований того периода в области сравнительного языкознания. Указанное направление, в полном смысле слова, открывало новые горизонты для исследования первобытности. По выражению П.И. Лерха, «результаты, добытые с помощью лингвистики, превосходят все надежды самого пылкого воображения археологов до применения сравнительного метода к изучению языков <...>» (Лерх, 1863—1865, I: 150). Все археологи первой половины — середины XIX в., задававшиеся вопросами происхождения земледелия, металлургии и т. п. в Европе, так или иначе апеллировали к современным им разработкам мировой индоевропеистики. По представлениям тех лет, разделявшимся и К.М. Бэром, «филология и история» уже вполне доказали, что «вышеназванные <...> элементы перенесены сюда из Азии...» (Там же: л. 4 об.).

На этом фоне становится ясно, почему важнейшая роль в историческом процессе априорно отводилась многими учеными XIX в. — в том числе К.М. Бэром — миграциям и заимствованиям с востока. Во-первых, и то и другое представляло собой феномены, хорошо известные по письменным источникам. Во-вторых — что особенно важно, — факты древних переселений логично вытекали из исследований лингвистов, результаты которых не вызывали у ученых-историков и археологов никаких сомнений. Казалось, необходимо лишь детализировать их, уточнить, откуда, как и когда осуществлялись миграции. Развить указанную концепцию далее предстояло в России П.И. Лерху и А.С. Уварову.

Подход, намеченный Бэром, предполагал опору именно на данные лингвистики и намечал пути проверки исходной гипотезы с помощью раскопок. Полученные в ходе раскопок предметы должны были систематизироваться и использоваться в дальнейшем как *документы*, подлежащие, в свою очередь, сравнительному исследованию и музейному хранению. Характерно, что даже в сжатом, почти тезисном изложении К.М. Бэр находит место для постановки проблемы выработки «номенклатуры и классификации древностей». Эту последнюю, с его точки зрения, следовало осуществить на базе самого современного зарубежного опыта. Тут, безусловно, сказался подход строгого естествоиспытателя, хорошо понимающего, что без разработанной номенклатуры и классификации нет науки.

Сам порядок археологического обследования России явно виделся К.М. Бэру по образцу и подобию лингвистических экспедиций М.-А. Кастрена или его собственных комплексных географических экспедиций 1830—1850-х гг. Возможно, встань он сам во главе такого проекта, его авторитета хватило бы, чтобы настоять на осуществлении этих планов хотя бы частично — силами Академии

наук. Несомненно, в таких экспедициях нашлось бы место и для углубленного изучения памятников в естественнонаучном отношении, в частности для постановки вопросов о природной, географической среде древности. Как уже говорилось выше, эти вопросы давно интересовали К.М. Бэра. Но в 1864 г. академику было уже за семьдесят. Сама же задача выглядела весьма не тривиально.

Прежние обследования дальних российских окраин, производившиеся ИАН и РГО, лишь по ходу дела дополнялись сведениями из области археологии и этнографии. Их главной целью был сбор естественнонаучных или лингвистических данных. И то и другое являлось в России прерогативой, в первую очередь, Академии наук. И для того и для другого там имелись хорошо подготовленные кадры исследователей. Теперь же ставилась совершенно иная, непривычная цель — специальное археологическое изучение целых регионов империи, включая обширные раскопки. Но кто должен был их осуществлять? И на чьи средства?

В ту пору, когда М.-А. Кастрен, К.М. Бэр, Л.И. Шренк и др. проводили свои комплексные экспедиции на Урал, в Прикаспий, на Амур и т. д., в России еще не существовало специального государственного учреждения, ведающего раскопками. Но в 1859 г. таковое, наконец, появилось в лице Императорской Археологической комиссии во главе с графом С.Г. Строгановым. Организация целенаправленных археологических обследований автоматически отошла в ее ведение. При этом ни бюджет комиссии, ни ее оснащенность кадрами исследователей на указанном этапе не шли ни в какое сравнение с возможностями ИАН. Но это была новая реальность, с которой пришлось считаться, в частности, сотрудникам Академии наук, находившимся в 1850 — начале 1860-х гг. в непосредственном контакте с К.М. Бэром и обратившимся, под его влиянием, к изучению первобытной археологии.

3.7. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ РОССИИ: РОЛЬ РУССКИХ НЕМЦЕВ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

Работы К.М. Бэра и его последователей (Л.Ф. Радлова и П.И. Лерха) никогда ранее не рассматривались как вехи становления русской «национальной археологии». Причина тому ясна: слишком «нерусскими» казались сами исследователи. В этом плане весьма характерным является позднейшее высказывание Д.Н. Анучина о том, что первые самостоятельные антропологические работы стали появляться в России лишь около 1850-х гг., «*да и те были обязаны сначала учёным немцам, преимущественно К.-Э. Бэру* (курсив мой. — Н.П.)» (Анучин, 1900: 35).

Действительно, вопрос о петербургских и остзейских немцах в России XIX в. стоял слишком остро, в том числе и в научном сообществе. В Академии наук имелись свои «немецкая» и «русская» партии. В 1880 г. Д.И. Менделеев оказался забаллотирован на выборах в Академию, в первую очередь, по причине своего «неудобного нрава» и активного участия в коммерческих предприятиях (чего тогда чуждалось большинство академиков). Однако газеты с возмущением писали

о «тёмных силах, которые ревниво затворяют двери Академии перед русскими учёными» (Князев, 1931: 30).

Отзвук именно этой борьбы мы наблюдаем в археологической публикации А.А. Иностранцева, появившейся в «Вестнике Европы» в том же 1880 г. В вводной части там упомянута одна из важнейших археологических статей К.М. Бэра (Бэр, Шифнер, 1862).

Ссылка на нее не обошлась без неприязненного замечания, что два академика-иностранца со стороны поучают русских, как надо любить отечественные древности¹ (Иностранцев, 1880: 272–273). Пожалуй, лишь начиная с середины XX в. этим так называемым «иностранцам» стали отдавать должное и историки естествознания (Райков, 1950; 1951), и историки археологии (Формозов, 1983: 17–20, 36–40; Тихонов, 2003: 34–37).

Между тем ни сам К.М. Бэр, ни его ученики не были у нас заезжими иностранцами. Они являлись уроженцами и подданными Российской империи. Сам К.М. Бэр с детства считал своим отечеством Россию, а не только поместье отца в Эстляндии. В 1812 г., будучи студентом, он пошел добровольцем на войну с Наполеоном: «надо было постоять за родину» (Бэр, 1950: 154). В 1819 г., перед началом стажировки за границей, молодой человек специально едет в Санкт-Петербург, чтобы, по собственным словам, «хоть немного познакомиться со столицей своей родины» (Там же: 249). Проработав около 20 лет в Кёнигсберге (в российских университетах для него кафедры не нашлось), он не отказался от российского подданства и в дальнейшем приложил немало усилий, чтобы вернуться в Россию, — что и исполнил.

Позднее академик воспринимал как личное оскорбление любые презрительные выпады в адрес русского народа. Так, в частности, случилось в 1839 г., когда в английском журнале «Atheneum» появилась заметка о научных экспедициях в России. В ней утверждалось, что «варварство простонародья» якобы «губит <...> при организации путешествий благие намерения правительства» (цит. по: Райков, 1950: 28). На это К.М. Бэр счёл нужным немедленно ответить: «<...> Мы никогда не слышали ни об одной экспедиции, где бы намерения правительства были погублены варварством простонародья. Наоборот, простые русские люди почти всегда пролагали пути научным изысканиям. Вся Сибирь с её берегами открыта таким образом. Правительство всегда лишь присваивало себе то, что народ открывал <...>» (Там же).

В 1840 г. граф Кейзерлинг, духовный вождь остзейского дворянства в России, с неудовольствием заявил в немецкой печати, что посещение академика Бэра

¹ Несомненно, К.М. Бэру пришлось пережить немало тяжёлых минут в связи со своей «национальной принадлежностью». Чего стоит один пассаж в его заметках: «<...> Немцам, живущим по эту сторону Наровы, говорят: “Зачем вам глядеть на Запад, вы вовсе не немцы, так как Петр Великий завоевал вас!” С Востока же мы слышим: “Держитесь от нас подальше, не нарушайте наш патриархальный покой, Бирон достаточно нам насолил!” Напрасно искать логическую формулу, в которой можно было бы объединить и герцога Бирона, временщика первой половины XVIII века, и обычного немца нашего времени, который, ища пропитания, странствует, занимаясь наукой. <...>. Как угодить этим людям? Что делать? Уйти обратно за Неман? Или уйти в Царствие небесное? Это было бы, пожалуй, лучше всего <...>» (Бэр, 1950: 407).

произвело на него, Кейзерлинга, очень тяжёлое впечатление. Бэр-де стал «хорошим русским патриотом» (Там же: 29).¹ С последним утверждением следует согласиться. В разработанном академиком плане археологического исследования России (см. выше) специально подчеркивался национальный аспект этих исследований.

Как уже говорилось выше, в ряде стран Европы начало разработки отечественных памятников, именно как *национальных древностей*, началось несколькими десятилетиями раньше, чем в России. В результате к середине XIX в. эти страны заметно продвинулись вперед в деле постановки исследований и развития археологии как науки. В уже цитированной речи А.С. Уварова при открытии МАО (1864 г.) звучали, в частности, и такие слова: «<...> Мы видели, что и в самой Европе Археология так еще недавно получила права гражданства между науками, что упрекать русскую науку в отсталости было бы слишком строго и несправедливо. Русская Археология, действительно, не сложилась еще в стройную, правильную науку <...>, но должно сознаться, что это происходит не от недостатка материалов, <...> а от какого-то векового равнодушия к отечественным древностям <...>. Мы видели, как чувство народности быстро подвинуло западную Археологию и как сильно оно возбудило деятельность ученых Обществ; пусть то же чувство поможет теперь и нам уничтожить равнодушие к отечественным древностям и научит нас дорожить родными памятниками <...>» (Уваров, 1910: 127–128).

Было бы несправедливо умолчать о том, что годом раньше ситуацию в европейской и отечественной археологии первой половины XIX в. совершенно сходным образом охарактеризовал в печати последователь К.М. Бэра, петербургский ориенталист и археолог-первобытник П.И. Лерх. Как и его учитель, он явно заслуживал звания «хорошего русского патриота». По его мнению, подъём национального самосознания повсеместно способствовал развитию интереса к отечественным древностям в Европе. К тому же следует стремиться нам — в «нашем обширном отечестве»:

«<...> Наше доисторическое прошлое дорого нам, как зародыш нынешнего нашего существования и всей нашей будущности. Народ, уважающий себя и свою самостоятельность, не останавливается на созерцании одного настоящего, с любовью обращает взоры и к отдалённому периоду своего начала, старается определить степень своего родства с другими народами; узнать время и условия занятия той страны, в которой он основал себе отчизну; одним словом, желает узнать: каким образом он стал тем, чем есть теперь.

<...> Кто посещал за границею собрания <...> отечественных древностей в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Англии, Ирландии, Швеции и Дании, и познакомился притом с исследованиями тамошних археологов, тот знает, с какой

¹ Сам по себе этот эпизод весьма показателен. Он заставляет понять, что противостояние «немецкой» и «русской» партий, в том числе в научных кругах (а граф Кейзерлинг был известным учёным-геологом), в указанный период вовсе не являлось выдумкой «квасных патриотов». Презрение к России и русским, культивировавшееся в кругах остзейского дворянства, было печальной реальностью. Однако ни К.М. Бэр, ни его ученики-археологи не имели к этому никакого отношения.

ревностью и успехом в упомянутых странах, кроме так называемых классических древностей, собирают и изучают еще и древности народные, относящиеся частью к периодам, о которых, по отсутствию в них письменности, мы принуждены почерпнуть сведения из скрывающихся в земле следов человеческого быта.

У нас также начинают сознавать необходимость мер к сохранению и разведке древностей, встречающихся в нашем обширном отечестве. <...> Но они останутся недостаточными для успехов археологии, <...> коль скоро в образованной части народа интересы науки археологической не будут встречать живого сочувствия <...>» (Лерх, 1863–1865, I: 146–147).

Из высказываний П.И. Лерха с несомненностью следует, что внимание к «народным древностям», стремление по ним познать свое далекое прошлое, служило для него не только показателем общего уровня культуры в стране, но и важнейшей предпосылкой дальнейшего развития «научной» археологии. Характерно, что, по крайней мере, в 1863 г. П.И. Лерх, как и А.С. Уваров, не видел особенных различий в подходах учёных различных европейских стран к собственным национальным древностям. Необходимо отметить и другое: в своих конкретных разработках учёный весьма взвешенно подходил к проблеме генетического родства тех или иных «доисторических» племен с конкретными современными народами. И уж тем более П.И. Лерх не ставил этническую принадлежность во главу угла при определении исторической ценности памятников. Не случайно выступление его на II Археологическом съезде (1871 г.) заканчивалось словами о том, что в России все «этнографические выводы относительно принадлежности каменных орудий» являются преждевременными: «Различные народы, при одинаковых условиях жизни, могут дать орудия одной формы<...>. Нет оснований заключать, что они принадлежат одному народу...» (Лерх, 1881: 14).

3.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, хочется подчеркнуть следующее: такое явление, как возникновение и развитие отечественной научной археологии, необходимо рассматривать в рамках всего комплекса научного и культурного строительства, происходившего в рассматриваемый период. Отход от антикварианизма и начало разработки отечественных памятников — именно как *национальных древностей*, памятников родной истории — составляли самую суть процесса становления археологии как науки. В первой трети XIX в. этот процесс пошел в Европе повсеместно. В России 1850–1880-х гг. главным вектором развития национальной археологии стало постепенное изживание того, что Н.П. Кондаков называл впоследствии «внушениями узкого патриотизма» (Толстой, Кондаков, 1889: I–II). Говоря современным языком, изживалась национальная ограниченность исследований. Вначале влияние ультрапатриотических тенденций ощущалось довольно отчетливо. Однако по мере укрепления позиций русской археологической науки в контексте европейских исследований, в ней все более доминировала так называемая «позиция спокойного историка», сформулированная в конце XIX в. акад. С.Ф. Платоновым (см. напр.: Платонов, 1917: 440).

Говоря о «преддверии» развития научной археологии в России, необходимо особо отметить деятельность К.М. Бэра. След, оставленный им в отечественной археологии, относится, в первую очередь, к области *идеологии археологической науки*. Именно Бэром впервые в России была сформулирована проблема влияния географической среды на культуру, причем перспективы ее исследования напрямую поставлены в связь с дальнейшими работами в области археологии и этнографии. Им же впервые была широко поставлена проблема изучения древнейшей истории обитателей России на базе изучения «древностей», понимаемых как исторические «документы». Важный вклад был сделан К.М. Бэром и в *музейную археологию*. Именно он в начале 1860-х гг. создал первый прецедент — приобретения музеем ИАН коллекции каменных орудий.

В целом, становление русской национальной археологии обернулось резким расширением диапазона исследований. Внимание привлекли принципиально новые категории памятников и контексты их находок. Если в России 1840-х гг. разработка национальных древностей строилась ещё на принципах антикварианизма, то уже 15–20 лет спустя ситуация заметно изменилась. Свидетельством тому стали теоретические дискуссии на I, II, и в особенности III Археологических съездах.

ГЛАВА 4

АРХЕОЛОГИЯ КАК НАУКА

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В РОССИИ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX вв.)

4.1. ГУМАНИТАРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА В РУССКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Гуманитарную исследовательскую платформу (=подход к древностям) мы наблюдаем уже на заре развития научной археологии в Западной Европе и России (первая половина XIX в.). В целом, на базе гуманитарной платформы в русской археологии 1850–1870-х гг. постепенно определилось два основных направления: а) историко-культурное, которое, в силу особенностей русской терминологии XIX в., чаще называется в литературе «историко-бытовым» или «бытописательским»; б) художественно-историческое, продолжавшее традиции «винкельмановского». Водораздел между ними проходил, в первую очередь, по характеру исследуемого материала, однако различия в методологическом плане также были ощутимы. Отдельного рассмотрения заслуживает так называемый «скандинавский подход», представлявший собой, в сущности, третье самостоятельное направление, сформировавшееся в русской археологии в третьей четверти XIX в. и оказавшее значительное влияние как на исследователей, работавших в рамках «историко-бытовой школы» (см. ниже), так и на многих археологов-естествоведов.

Формирование гуманитарного подхода в археологии произошло на базе предшествующих работ европейских антиквариев XVIII — первой трети XIX вв. На тот момент он подразумевал изучение «древностей» — не только «вещественных», но изобразительных, палеографических, фольклорных и т. п. «Древности» анализировались: а) как продукты *творчества человека*; б) как остатки *«реальной» истории народов* (выражаясь современным языком — истории в вещественных памятниках или истории культуры). Главной опорой, базой научного анализа служили методы, разработанные в науках гуманитарного цикла — сравнительном языкознании, филологии и истории. Хронология памятников устанавливалась на основе данных, почерпнутых из письменных, нумизматических, сфрагистических и иных источников.

В середине — третьей четверти XIX в. российская историческая наука, включая гуманитарную археологию, испытала на себе сильнейшее влияние позитивизма. В нее проникают представления о тесной взаимосвязи различных сторон бытия, поиске законов и закономерностей развития как физического, так и духовного мира. Не следует забывать, что классики позитивизма (О. Конт и его школа) включали в число «позитивных», «положительных» наук не только различные области естествознания, но и историю (подробнее см.: 5.2.2—5.2.3). Отсюда проистекало ставшее весьма популярным в середине XIX в. представление

о принципиальном единстве исследовательских задач естествоведа и историка, познающих и формулирующих некие *основные законы бытия*. Именно тогда начались уподобления народа и общества «биологическому организму». Отголоски этих представлений мы встречаем у очень многих русских историков, начиная с Т.Н. Грановского (Бузескул, 2010: 70–164).

Можно констатировать, что середина и вся третья четверть XIX в. в русской археологии представляли собой период теснейшего сотрудничества ученых-гуманитариев и естествоиспытателей, причем идейные и мировоззренческие предпосылки, с которыми те и другие подходили к изучению древностей, зачастую оказывались достаточно близки. Резкое разделение научных платформ — гуманитарной и естествоведческой, — рельефно проявившееся в западноевропейской археологии уже в 1860-х гг., в России началось не ранее последней четверти — конца XIX в.

Изучение первобытных эпох, особенно неолита и бронзы, было успешно начато в целом ряде европейских стран уже в 1830–1840-х гг. Эти исследования зачастую представляли собой результат совокупного труда ученых самого различного профиля. В указанный период естествоведы, наряду с историками, стали широко принимать участие в раскопках археологических памятников в Северной и Средней Европе. Именно тогда было положено начало широкому использованию данных геологии, палеозоологии, химии и других естественных наук при анализе материалов из раскопок в Скандинавии (в ходе изучения кьёккенмёддингов), а позднее в Швейцарии (после открытия свайных поселений) (Лерх, 1863–1865; Trigger, 1989). Впервые было обращено серьезное внимание на петрографический состав изделий из камня, на химический состав древних бронз. Проводились первые сопоставления результатов с геологическими картами, с материалами рудных месторождений и т. д. (Лерх, 1868; 1868а). Отдельному изучению стал подвергаться остеологический и антропологический материал из раскопок. Однако в глазах самих учёных подобная практика диктовалась конкретными нуждами *исторического исследования* и отнюдь не переводила его в ранг естественнонаучных.

В основе данного подхода к археологическим памятникам, названного «скандинавским», безусловно, лежали представления об эволюции культуры во времени. Именно тогда в науку оказалась введена важнейшая интерпретационная схема (или модель), основанная на идее эволюции и получившая название «системы трёх веков» — каменного, бронзового и железного. Это не была разработанная теория эволюции, которую мы встречаем далее в трудах Г. Спенсера или Ч. Дарвина. Основой «системы трёх веков» стали самые общие представления о прогрессе, унаследованные учёными XIX в. от эпохи Просвещения или почерпнутые ими непосредственно из античного наследия (Лукреций Кар). Однако построенный на них научный подход оказался для своего времени весьма плодотворным.

Отмечая опережающее развитие археологии в Скандинавии и Швейцарии 1830–1850-х гг., Б. Триггер указывает, что здесь она совершенно органично увязывалась с восприятием памятников археологии как *национальных древностей*, способных пролить свет на древнейшие этапы истории родного народа. В англоязычной литературе такая мировоззренческая платформа определяется словом *«nationalism»* (Trigger, 1989: 83–85).

Необходимо учитывать: представители «скандинавского подхода» никогда не ставили перед собой проблему древности человечества и соответствия археологических данных библейской хронологии. Отчасти это объясняется общей неразработанностью проблемы археологического датирования в указанный период, но в не меньшей степени тем, что памятников палеолитической эпохи на Севере Европы попросту нет. А материалы эпох неолита и бронзы вполне «вписывались» в библейскую хронологическую схему, не демонстрируя особых противоречий с ней.

В конечном счете, именно в рамках «скандинавского подхода» (= школы) в Европе второй четверти XIX в. происходит теоретическое осмысление археологии как науки, для которой равно важны *все остатки* древних культур, а не только произведения древних искусств и художеств. Важным стимулирующим фактором развития археологии явилась целая серия открытий, давших яркие находки эпохи бронзы и раннего железа, которые заинтересовали в том числе и широкую публику. Первыми по времени стали раскопки погребальных памятников и «кухонных куч» в Дании (Й. Ворсё, конец 1830—1850-е гг.), чуть позже — раскопки эталонного Гальштатского могильника в Верхней Австрии (1846—1863 гг.), комплексное изучение свайных поселений Швейцарии (с 1854 г.) и т. д. (Каменецкий, 2007).

Комплекс идей «скандинавской школы» проник в русскую археологическую науку в 1840—1860-х гг. благодаря трудам акад. К.М. Бэра, пристально следившего за разработками скандинавских и швейцарских археологов. Однако наиболее полное воплощение эти идеи нашли в работах его младшего современника — петербургского ориенталиста и археолога П.И. Лерха, разрабатывавшего, в числе прочих, проблемы североевропейского неолита и бронзового века.

4.2. «СКАНДИНАВСКИЙ ПОДХОД» В РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ 1860—1870-Х ГГ.: Л.Ф. РАДЛОВ, П.И. ЛЕРХ

В орбите К.М. Бэра в начале 1860-х гг. находилось двое вполне зрелых исследователей, каждый из которых соединял в себе профессионального филолога-лингвиста, этнографа и археолога. Первым из них был хранитель Этнографического музея ИАН *Леопольд Фёдорович Радлов* (1819—1865) — специалист по целому ряду языков Северо-Восточной Азии и Русской Америки. В целях систематического распределения экспонатов Радлов подробно изучил литературу по географии и этнографии Северной и Восточной России, опубликовал работы о языках кинаев, угалахмутов, кайчанов, чукчей, коряков, колюшей. Неизданными остались, собранные им материалы о языках Северо-Западной Америки (в том числе тлинкитскому). В музее (с 1848 г.), Леопольд Фёдорович проводил систематизацию разнообразных этнографических коллекций, знакомился с описаниями русских ученых путешествий и начал (с 1850-х гг.) сравнительное изучение коллекций «доисторических древностей» Швеции, Дании, Германии и Швейцарии. Вероятно, все это было напрямую связано с планами К.М. Бэра сделать этнографический и антропологический музей ИАН еще и

археологическим и обосновать необходимость приобретения им коллекций каменных, костяных, бронзовых и иных орудий первобытной эпохи. «Для ближайшего ознакомления» с такими музейными собраниями Л.Ф. Радлов непосредственно посетил Стокгольм, Лунд — Копенгаген, Шверин — Швейцарию и пр. (Лерх, 1866: 205—206).

Знание не только немецкого и английского, но датского и шведского языков позволили ему детально разобраться в литературе по указанному разделу археологии. Л.Ф. Радлов перевел на русский язык «Северные древности» Й. Ворсё, вскоре опубликованные ИАН, а также целый ряд статей других скандинавских исследователей, которые еще при жизни предоставил в распоряжение своего младшего коллеги П.И. Лерха. К сожалению, ранняя смерть (Радлов умер 46 лет) помешала ему довести до конца собственные разработки на базе освоенного археологического материала. Эти данные были в полной мере обобщены *Петром Ивановичем Лерхом* (1828—1884), который соединил музейные штудии с полевыми работами и классификацией уже отечественных материалов.



П.И. Лерх
(1828—1884)

П.И. Лерха коллеги называли «скромнейшим из русских ученых», который «по богатству сведений своих и обширной эрудиции мог бы с честью занимать кафедру в университете» (Тизенгаузен, Веселовский, 1884: 57). Но стесненное материальное положение и, видимо, полное отсутствие честолюбия привели к тому, что всю жизнь он довольствовался положением мелкого чиновника-канцеляриста, вынужденного служить сразу в нескольких местах для заработка. Но к этому скромному титулярному советнику, случалось, обращались за консультациями университетские профессора (Тихонов, 2003: 36—37).

Написать и защитить диссертацию П.И. Лерх так и не собрался. В разное время он служил протоколистом в Академии наук, помощником библиотекаря и библиотекарем в Санкт-Петербургском университете, а также секретарем-делопроизводителем в Императорской Археологической комиссии. В 1861 г. он еще параллельно исполнял обязанности библиотекаря, а с 1862 г. — секретаря Отделения западной и классической археологии РАО. Наконец, в 1877 г. с ним случился «удар» (инсульт) — видимо, на почве крайнего переутомления и семейных неурядиц. После этого он прожил еще несколько лет, но для науки оказался потерян окончательно. Скончался ученый 4 сентября 1884 г. в Германии, куда был послан лечиться.

П.И. Лерх окончил Санкт-Петербургский университет в 1850 г. — кандидатом по разряду восточной словесности (РА ИИМК, Ф. 1. 1873. № 10: л. 8 об.). По основной специальности он был востоковедом-курдологом, а заодно — блестящим знатоком восточной нумизматики. Интенсивная деятельность его в области первобытной археологии началась в 1860-х. Как и Л.Ф. Радлов, П.И. Лерх был очень образованным лингвистом, переводчиком и публикатором первого русского издания книги А. Шлейхера «Краткий

очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков» (1865–1866). Но одновременно его по праву считают первым в России археологом-первобытником европейского уровня (Формозов, 1983: 39; Тихонов, 2003: 34–37).

В 1863 г. П.И. Лерх начал публиковать в «Известиях» РАО свой обширный очерк первобытной археологии Европы (Лерх, 1863–1865, I–III). По объему это скорее не статья, а небольшая книжка. В ней кратко, но со знанием дела излагались основы «доисторической» археологии и перечислялись важнейшие открытия в области неолита и бронзы Северной и Западной Европы. Ее нельзя назвать компиляцией — из-под пера П.И. Лерха вышел не пересказ, а аналитический обзор, сопровождавшийся вдобавок подробным описанием категорий находок эпохи неолита и бронзы. Как вдумчивый учёный, автор критически сопоставил взгляды Й. Ворсё, Г.Ф. Лиша, Дж. Лёббока, Ф. Келлера и др. на проблемы происхождения бронзового века в Европе, взаимоотношения разных «стилей», связей северных европейцев с Ближним Востоком и Югом и т. д.

Подчеркнутое внимание было уделено автором открытиям скандинавских и швейцарских археологов 1840–1850-х гг. Его собственные представления об археологии явно сформировались под влиянием «скандинавского подхода», что неудивительно, если учесть, что исследования ученых «скандинавского севера» считали образцовыми К.М. Бэр и Л.Ф. Радлов. При этом П.И. Лерх подчеркивал преемственность своих взглядов на археологию с воззрениями К.М. Бэра. В его статьях часто встречаются уважительные ссылки на мнения последнего. Но особенно рельефно эта преемственность выступает в неопубликованной работе П.И. Лерха «Соображения об археологической поездке в северо-восточные губернии», представленной им в ИАК в качестве обоснования запланированных полевых исследований 1865 г. (РА ИИМК. Ф. 1. 1865. № 15, л. 1а–14).

Данный очерк представляет немалый интерес. Он не только содержит изложение научных позиций самого П.И. Лерха вкуче с характеристикой плана археологического обследования Российской империи, предложенного К.М. Бэром (см.: 3.6). Он бросает свет на взаимоотношения П.И. Лерха с ИАК и на политику самой комиссии в отношении исследования первобытных древностей России в 1860-х гг.

П.И. Лерх очерчивает в своей записке проблему изучения финских народностей в историко-археологическом плане. Отметив, что «языки финские, благодаря трудам Шегрена, Кастрена, Видемана, Савваитова, Рогова, Альквиста и других, изучены в научном отношении», он указывает, что история этих племен «разъяснена» лишь для периода, когда она оказалась тесно связана с историей Российского государства. Древнейшая их история совершенно не изучена (Там же: л. 1а об.). «Были ли финские племена самые древние обитатели европейского севера и на какой степени развития они находились до сближения с германскими и славянскими племенами?» — задает вопрос автор. Для ответа на него он предлагает начать исследование «рассеянных по северу европейской России, равно, как и за Уралом до Даурии памятников древности, в особенности <...> могил и городищ <...>». Необходимо «получить ясное понятие об об-

разе их сооружения и о сохранившихся в них остатках человека и его древнего быта <...>» (Там же: л. 2–3).

«В нашей историко-археологической литературе часто была речь об этнографическом тождестве Чуди и Скифов. — пишет далее П.И. Лерх. — Рассмотрение этого вопроса останется преждевременным, пока не будет систематическим образом исполнено обозрение европейской России и западной Сибири в археологическом отношении <...>» (Там же: л. 4). Подробно обрисовав в связи с этой задачей предложения К.М. Бэра, опубликованные за год до того, автор излагает свою собственную точку зрения:

«<...> Нельзя не сочувствовать мысли знаменитого ученого. Но нам кажется, что трехгодичный срок для археологических экспедиций, как их понимает Бэр, может только тогда оказаться достаточным, если в этих экспедициях будет одновременно участвовать значительное число ученых и художников. Кроме того, не следует забыть, что часть начертанной Бэром программы уже исполняется <...> Археологическою Комиссиею и что со временем ею и будет, как можно надеяться, исполнена вся программа.

Имея честь изъявить Императорской Археологической Комиссии готовность свою посвятить предстоящее лето объезду губерний Олонецкой, Вологодской и Вятской, для обозрения сохранившихся в Олонецком крае, далее около Белоозера, по рекам Ваге, Сыsole, Яренге, Вычегде, Вятке и в низовьях Камы могил и городищ, приписываемых Чуди, считаю себя обязанным представить указания на те местности, в которых мне известны могилы и городища <...>» (Там же: л. 7–7 об.).

Подробная записка П.И. Лерха с планом исследования северных губерний была встречена в ИАК очень благожелательно. В конце мая 1865 г. он получил ответ:

«Вполне разделяя изложенные Вами в особой записке соображения о важности исследований доисторических древностей северо-восточной России, Археологическая Комиссия с искренней благодарностью принимает <...> изъявленную Вами готовность заняться в течение предстоящего лета осмотром и разведкою т. н. Чудских могил и городищ <...>. Выбор местностей для Ваших исследований Комиссия предоставляет Вашему собственному усмотрению. На производство раскопок и приобретение древностей Вам будет отпущено авансом 597 рублей, о которых Комиссия Вас просит доставить отчет по окончании командировки. На путевые издержки Вы получите 550 рублей. Сверх того, Вам будет выдана казенная подорожная и Открытый лист. О допущении вас к раскопкам на казенных <...> землях в означенных губерниях сделано сношение с Канцелярией Министерства Государственных имуществ, Удельным департаментом и Горным ведомством. Вместе с тем, Комиссия отнеслась к начальникам всех трех губерний с просьбою об оказании Вам, в случае надобности, содействия в успешном исполнении возложенного на Вас поручения. На частных землях Комиссия просит Вас производить раскопки не иначе, как с предварительного письменного согласия владельцев <...>. Подписал за Председателя Императорской Археологической Комиссии Старший член И.Е. Забелин <...>» (Там же: л. 23–23 об, 24). В результате, 31 мая 1865 г. П.И. Лерх получил в ИАК 1147 рублей на свои летние работы.

Означенная сумма представляла собой в 1865 г. целое состояние. Основываясь на реалиях, описанных в русской литературе XIX в. (Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский и т. д.), можно сказать: она в разы превышала годовое жалованье мелкого чиновника Российской империи. Хотя указанная выплата П.И. Лерху была произведена в отсутствие графа С.Г. Строганова, маловероятно, что столь ответственное решение могли принять без его предварительной санкции. Вероятно, причин для такого решения было две. Во-первых, произведенные к тому времени В.В. Радловым (под эгидой ИАК) раскопки сибирских курганов (1862–1863 гг.) уже показали, что «чудские могилы» могут оказаться весьма богаты. Во-вторых, научное обоснование предстоящих экспедиционных работ, произведенное П.И. Лерхом на редкость исчерпывающе, вызывало уважение у всех, кто с ним сталкивался.

П.И. Лерх добросовестно выполнил свои обязательства. Он побывал в Соловках, Койхевице, на Выгозере, объехал Заонежье (Кижскую и Шунгскую волости), собрал там коллекцию каменных орудий и убедился на месте в неосновательности слухов о наличии там свайных поселений. Затем через Вытегру и Каргополь отправился в Вятку, произвел раскопки Подчуршинского городища при впадении р. Тоймы в Каму и остатков Ананьинского могильника в окрестностях Елабуги. Главным предварительным выводом его стало то, что все обследованные регионы «имели свой каменный век», причем, вероятно, «от употребления камня перешли прямо к обработке железа» (Лерх, 1865: 197). Собранные материалы по археологии неолита Русского Севера и Северо-Востока П.И. Лерх постарался, по мере возможности, включить в общий контекст европейского каменного века (Лерх, 1881).

К сожалению, отсутствие ярких, впечатляющих находок, видимо, сказалось на дальнейших планах ИАК в отношении работ на Русском Севере. Начатые П.И. Лерхом исследования продолжения не имели. Впрочем, комиссия охотно сотрудничала с ним и потом, давая ему иные поручения. Результатом стала его книжка об археологической поездке в Туркестан, с описанием раскопок Джонкента и обследования низовьев р. Сыр-Дарья (Лерх, 1870).

Работа П.И. Лерха, представленная им в качестве доклада на II Археологическом съезде, представляла собой первую попытку научной классификации и одновременно — функционального истолкования восточноевропейских неолитических находок. Автор выделил группу охотничьих и боевых орудий, а также тех, что употреблялись, по его мнению, для обработки дерева. Кроме того, он продемонстрировал участникам съезда найденный им на Подчуршинском городище обломок изогнутого костяного орудия с вкладышами и интерпретировал этот предмет как «скорняжный инструмент» — в контексте собранных этнографических аналогий и находок из зарубежных музеев. Точно так же, на этнографическом материале, им был описан порядок крепления каменных топоров к рукоятям. Отдельно П.И. Лерх охарактеризовал материал, из которого изготавливались орудия, подчеркнув одновременность бытования кремневых оббитых и сланцевых шлифованных предметов (Лерх, 1881).

Труды П.И. Лерха помогают ясно понять следующее: гуманитарный подход в археологии середины XIX в. отнюдь не предполагал пренебрежения к данным естествознания. Его особенностями скорее надо считать ясное осознание

«исторического характера» археологии и предпочтение ретроспективного пути от известного (то есть более позднего, этнографически и лингвистически исследованного) к неизвестному — более древнему, представленному лишь «вещественными памятниками». Этот путь предполагал опору, в первую очередь, на данные лингвистики. Основными понятиями в ходе исследования выступали «народ», «племя» и т. д. — этнографические единицы, историю которых предполагалось проследить от современности в глубь веков. В ходе анализа собственно археологических памятников («доисторических древностей») очень большое внимание отводилось комплексу методов естественных наук как вспомогательному средству исторического исследования.

П.И. Лерх прекрасно понимал важность приложения к археологическому материалу указанных методов. Вполне в русле «скандинавского подхода», уделявшего много внимания этой стороне исследований, он писал: «Современная археология, перешагнув пределы исторических эпох, знакомых нам по памятникам письменности, нуждается более прежнего в содействии различных других отраслей знаний, преимущественно, этнографии, языковедения, геологии, палеонтологии, химии, даже биологических наук. Но содействие это, по нашему взгляду, должно быть совокупное...» (Лерх, 1868а. III: 180).

В этой связи стоит указать, что П.И. Лерхом предлагалось провести химические анализы древних бронз и рудных месторождений нижнего Поволжья — с целью проверки предположений о том, что разработка древних копей «относится ко временам более ранним, нежели время хазарское»: «<...> Для археологии не лишено бы было интереса сделать химические анализы медных вещей, именно наконечников ножей и стрел, найденных в древних могилах Екатеринбургской губернии и сравнить результат этих анализов с данными, полученными при анализе бахмутских руд <...>» (Лерх, 1868: 105–106).

Материалы, полученные П.И. Лерхом в ходе разведок и раскопок, осмыслились им в эволюционистском ключе. В частности, ученый подчеркивал вероятность параллельного, независимого развития сходных форм каменных орудий на разных территориях и указывал на «преждевременность этнографических выводов» об их принадлежности одному народу. Вместе с тем идея эволюции в культуре вполне уживалась у него с другой, априорно отвоdivшей важную роль в историческом процессе миграциям и заимствованиям.

Можно предполагать, что за освоением П.И. Лерхом широкого круга музейных коллекций, полевыми работами и систематизацией их результатов должен был последовать серийный анализ отдельных категорий вещей. Однако ученый не успел осуществить его. С его болезнью и смертью в русской археологии оборвалось непосредственное развитие «бэровской традиции», характеризующейся: а) органичным сочетанием гуманитарных и естественнонаучных методов в рамках историко-археологического исследования; б) профессиональной увязкой полученных данных с данными сравнительной лингвистики. Правда, основные принципы указанного подхода были восприняты современником П.И. Лерха графом А.С. Уваровым и неуклонно проводились в его трудах по первобытной археологии. Но оба они — русский аристократ и скромный канцелярист — были учеными одного поколения, и первый лишь ненадолго пережил второго.

4.3. ИСТОРИКО-БЫТОВАЯ ШКОЛА В АРХЕОЛОГИИ: 1850–1880-е гг.

4.3.1. «Бытописание» или история культуры?

Историко-бытовое направление, изначально возникшее в рамках гуманитарного подхода, достаточно часто отождествлялось в отечественной историографии с собственно «национальной» археологией, занятой изучением русского человека, его культуры и т. д. В основе такого мнения лежало то, что А.С. Уваров определил «русскую археологию», как «науку, занимающуюся исследованием древнего русского быта по памятникам, оставшимся от народов, из которых сперва сложилась Русь, а потом Русское государство» (Уваров, 1878: 32). В 1870–1880-х гг. указанное направление стало в России доминирующим. Его главными теоретиками принято считать двух видных учёных — А.С. Уварова и И.Е. Забелина. Их обобщающие труды действительно определили содержание целого этапа развития русской археологической науки — этапа, который в современной научной литературе, как правило, именуют «уваровским».

Г.С. Лебедев отождествлял данное направление исследований с особой «бытописательской парадигмой» археологии. Со своей стороны, рискнул утверждать: «*бытописательской* парадигмы» в русской археологии не было. Была установка, провозглашённая А.С. Уваровым на III Археологическом съезде в Киеве, — изучение *истории культуры* на базе междисциплинарного исследования «всех памятников, какого бы то ни было рода, оставшихся от древней жизни» (Протоколы... 1878: XIX).

Следует оговорить особо: эквивалентом современного понятия «история культуры» в русском языке середины XIX в. являлась именно «история быта». Устаревший ныне термин «древний быт» был чрезвычайно распространен в исторической и археологической литературе 1860–1880-х гг. В дальнейшем он претерпел заметную смысловую эволюцию, в силу которой современный термин «бытописание» приобрел совершенно иной оттенок. Ныне в нём видится особый, не столько научный, сколько литературно-краеведческий подход, наподобие того, что характерен для творчества В.А. Гиляровского (1967), М.И. Пыляева (2004) и др. Указанный подход подразумевает описательность, яркую образность, повышенное внимание к бытовым мелочам, подчёркивание характерных, но гротескных деталей («чудаки-оригиналы») и т. п. Ничего общего с установками русской археологии времён графа Уварова он не имеет. Поэтому и применять к ней определение «бытописательская», на мой взгляд, неправомерно. Это затемняет истинную суть указанного периода развития археологической науки в России.

В отличие от «винкельмановского», историко-бытовое направление в русской археологии (ассоциируемое обычно с именами И.Е. Забелина, А.С. Уварова, Д.Я. Самоквасова и др.) не имело сложившихся традиций, уходивших корнями в XVIII в. В области классических древностей предыдущие наработки антиквариев изначально позволяли различать комплексы признаков, характерных для разных эпох и периодов. Основным предметом изучения являлась там отдельная вещь, которую необходимо было определить с точки зрения хронологии, стиля и относительной ценности на антикварном рынке. Разумеется, в археологии «народов, из которых сложилась Русь», такие наработки если и не полностью

отсутствовали, то были весьма невелики. В силу этого здесь не мог сложиться приоритет изучения вещевого материала над исследованием его исторического и палеоэтнографического контекстов. Скорее, наоборот, в первые десятилетия развития историко-бытового направления на первый план выступало именно изучение контекстов, комплексов находок — с точки зрения их хронологии, географической привязки и историко-этнографической реконструкции. Оно явно доминировало над исследованием самого вещественного материала, которого поначалу просто не хватало для серьёзных обобщений.

Закономерным было и то огромное значение, которое поначалу придавалось археологами «историко-бытового направления» таким отделам науки, как русская палеография, нумизматика, фольклористика, изучение письменных памятников, изобразительных материалов из них и т. д. В 1850–1880-х гг. все эти данные, взятые в комплексе, формировали основу — необходимый хронологический каркас и исторический фон для отрывочных (пока еще!) археологических материалов.

4.3.2. Попытки определения археологии как науки в 1860–1870-х гг.: А.С. Уваров, И.А. Забелин, П.В. Павлов

Обилие заимствованных теорий и мнений, сформировавшихся на материалах других стран, явно опережало реальные, позитивные знания об археологических памятниках в России. Это необходимо учитывать, анализируя позицию *Алексея Сергеевича Уварова* (1825–1884), которому принадлежит первая серьёзная попытка обобщения опыта и достижений отечественной археологии (Уваров, 1910).

Археология понималась Уваровым как «наука, изучающая быт народов по памятникам, <...> оставшимся от древней жизни каждого народа» (Уваров, 1878: 31). Тесная связь археологии и истории большинству исследователей казалась вполне очевидной. Термин «бытовая история» нередко вообще подменял собою понятие «археология». Однако сама по себе «бытовая история» воспринималась всё же не как органическая часть науки истории, а как особая, вполне самостоятельная отрасль знания.

«Археология отличается от истории не предметом исследований, — писал А.С. Уваров, — а способом исследования. Этот способ обращает внимание не столько на вещественные памятники по преимуществу, сколько отыскивает во всяком источнике, как письменном, так и устном, ту *детальную* его сторону, которая раскрывает нам подробности, хотя мелкие, но иногда такие важные, что они кажутся как бы ещё живыми остатками древнего быта» (Уваров, 1878). Таким образом, речь идёт на практике об историко-культурной реконструкции, о поиске утраченных деталей культуры, причём вещественные памятники, найденные при раскопках, используются наравне с иными видами источников, в том числе



А.С. Уваров
в последние годы жизни

памятниками языка и литературы. По представлениям того времени, археология органично включала в себя весь корпус вспомогательных исторических дисциплин (нумизматику, сфрагистику, палеографию и пр.). Подобный взгляд на неё разделяли граф А.С. Уваров, И.Е. Забелин, И.И. Срезневский, К.Н. Бестужев-Рюмин и др. Достаточно интересную и развёрнутую характеристику основных категорий археологии в том понимании дал в своих работах *Иван Егорович Забелин* (1820–1908).

«Именем «археологический» обозначаются только такие памятники и факты, — писал И.Е. Забелин, — которые прямо указывают, что они есть произведение *единичного или личного* человеческого творчества <...> (курсив мой. — *Н.П.*). Археология в любом памятнике имеет дело, прежде всего, с творчеством отдельного лица, единицы, между тем как история даже и в творчестве единичного героя находит общие родовые силы и направления и очень справедливо почитает единицу только выразителем общих стремлений и желаний. <...>. Наука археология имеет, как и наука истории, свой особый, определённый и самостоятельный предмет познания. Этот предмет есть *единичное творчество человека в бесчисленных, разнородных и разнообразных памятниках вещественных и не вещественных* (курсив мой. — *Н.П.*). Основная задача археологии как науки, заключается в раскрытии и объяснении законов единичного творчества, в раскрытии и объяснении путей, по которым единичное творчество воссоздаёт творчество родовое или общественное <...>». По мнению учёного, археология должна была рассматривать как «материальную сторону угасшей жизни», так и «сторону умственных сил» и даже «действительность нравственную» (Забелин, 1878: 1–18).

Непривычная терминология и устаревшая манера выражаться зачастую мешают ясному пониманию теоретических выкладок И.Е. Забелина. Их нередко цитируют, но не всегда уясняют до конца смысл сказанного. Между тем за устаревшей манерой действительно кроются и глубокий смысл, и неординарный ход рассуждений, дающий немалую пищу уму (ср.: Ардашев, 1909: 74–75). Изначально Забелин задаётся вопросом: что такое археология? Наука ли это? Если предмет ее — «древность», то это понятие абсолютно *беспредельно* по своему содержанию. Признать археологию просто наукой о «древностях» означает «первородный хаос» в определениях. Памятники археологии бесконечно разнообразны; они разновременны, отрывочны, неполны. «Никто еще ничего не слышал», по мнению Забелина, и о каком-то особом «археологическом методе» (Забелин, 1878: 1–2). Поэтому, отдавая должное «ясному» построению естественных наук, ученый ищет точку опоры в философии и именно с этой стороны подходит к раскрытию проблемы. Тут-то и появляется в его рассуждениях ключевое для него понятие «творчества».

Все науки, по Забелину, разделяются на два больших «отдела». В первый входят те, что изучают «творчество природы» (естествознание). Второй отдел — науки, изучающие «творчество человека» (гуманитарные). С этой точки зрения все остатки человеческой деятельности, изучаемые археологией, однозначно должны рассматриваться как плоды человеческого творчества. Но и сами по себе они неоднородны. По мнению Забелина, тут следует выделять: 1) результаты «действия единичного, действия свободной человеческой воли»; 2) результаты «действия родового, произвольного, которое становится как бы законом естества».

Здесь мы видим, как ученый, можно сказать, ошупью, интуитивно, но вплотную подходит к рассмотрению той *подосновы* культуры, которая сделала возможными такие явления, как «тип» и «типообразование». Однако в дальнейших своих рассуждениях Иван Егорович делает поворот, для нас достаточно неожиданный. В его понимании «сила родовая, не сознательная и не свободная», управляемая «естественным законом» (*sic!* — *Н.П.*), является предметом исследования отнюдь не археологии, а *истории*, так как именно история изучает законы развития социума, диктующего человеку стереотипы поведения (у Забелина этот социум назван «государством»). Археология же изучает именно «частности и мелочи жизни, памятники личного творчества человека»; здесь «не может быть ничего неважного или менее важного, ничего недостойного <...> для наблюдения <...>. Всякая мелочь и незначительность составляет здесь нить известного узла, которая одна, не найденная или отвергнутая, может затруднить изучение и рассмотрение самого узла <...>» (Там же: 10).

Таким образом, И.Е. Забелин демонстрирует чисто позитивистское, контовское понимание истории как «положительной» (позитивной) науки, исследующей непреложные законы развития общества, приравняемые даже к «законам естества». Об этой трактовке истории, очень характерной для второй половины XIX в., нам еще придется говорить, объясняя позиции Г. де Мортильи и его последователей. Однако в приложении к памятникам археологии И.Е. Забелин начисто отказывается говорить о «законах» и ограничивает сферу этой дисциплины, в сущности, описанием и изучением источников как таковых — иными словами, сбором информации, которая в дальнейшем пригодится для уяснения «законов» истории. «Единичное» и «родовое» творчество для него теснейшим образом взаимосвязаны: «Общественный организм есть высшая форма существования индивидуальной личности: в нем только она сознает свои силы, <...> свое индивидуальное достоинство» (Забелин, 1873: 6).

Основная задача археологии как науки, по Забелину, «заключается в раскрытии и объяснении путей, по которым единичное творчество воссоздаёт творчество родовое, или общественное, то есть историческое, в раскрытии и объяснении той живой, неразрывной связи, в какой постоянно находятся между собой творческие единицы и творческое целое рода или народа <...>» (Забелин, 1878: 17). Таким образом, археология и история находятся в том же соотношении друг с другом, как история *культуры* и история *общества*: «история культуры, в сущности, есть археология» (Там же: 6). В сущности, совершенно прав А.В. Жук, указавший, что у Забелина эти две дисциплины рассматриваются как, «говоря современным языком, два интерпретационных уровня в познании истории человечества» (Жук, 1987: 98).

А.С. Уваров, в отличие от И.Е. Забелина, не абсолютизировал «единичное» творчество, памятниками которого якобы являлись все найденные артефакты. По его мнению, в каждом памятнике отразились обе стороны человеческого творчества — и «личная», и «родовая». Говоря о художественной стороне находки, он использовал важнейшее понятие «стиля», разработанное на русской почве Н.П. Кондаковым (см. ниже), и определял его как «соединение тех характеристических признаков, которые составляют отличительный отпечаток произведений каждого самостоятельного народа и каждой особой эпохи» (Уваров 1878: 21–23).

Понимание археологии как *истории культуры* («истории быта») роднило обоих исследователей. То, что археология — это, в сущности, наука историческая, утверждали они оба. Но для А.С. Уварова «изучение древнего быта по памятникам <...> народа» было, в сущности, неотделимо от исследования самого древнего общества или народа. Неизбежно возникало представление о *параллелизме* истории и археологии, изучающих разные стороны одной и той же исторической действительности и тем самым взаимно дополняющих друг друга. Таким образом, «соотношение истории и археологии приобрело вид соотношения путей или способов познания единого процесса исторического развития» (Жук, 1987: 100).

Различие двух дисциплин А.С. Уваров искал в хронологии изучаемых событий (только археологии доступны времена, отстоящие от нас на «несметное число столетий!»), а также в особом «археологическом методе», существование которого начисто отрицал И.Е. Забелин. Справедливости ради стоит оговорить: сформулировать суть «археологического метода» более-менее внятно А.С. Уварову не удалось.

По мнению Н.Н. Ардашева, исследователя теоретического наследия А.С. Уварова и И.Е. Забелина, конечная цель исторического исследования виделась им обоим в воссоздании «нитей постепенного развития» народов и «пояснении общих законов природы, которые постепенно раскрывают нам первоначальную историю человечества» (Ардашев, 1911: 36–37). Но, на мой взгляд, в работах самого Уварова (в отличие от Забелина) трудно найти прямые указания на такое направление поиска. В целом создается впечатление, что влияние позитивистских идей на его творчество было минимальным.

Уваровское осмысление археологии как комплекса дисциплин, «параллельного» истории, встретило серьезного оппонента в лице профессора кафедры теории и истории искусств Киевского университета П.В. Павлова. На III Археологическом съезде (1874 г.) его выступление в прениях по основным докладам А.С. Уварова и И.Е. Забелина было одним из самых содержательных.

Скажу несколько слов о самом **Платоне Васильевиче Павлове** (1823–1895). В археологии это имя почти забыто, однако литературоведам и историкам общественной мысли середины XIX в. оно известно достаточно хорошо (Блинчевская, 1956; Эймонтова, 1986). В 1850-х гг. П.В. Павлов был молодым профессором Киевского университета Св. Владимира, где, в частности, читал курс «истории науки русской истории». В ту пору это был положительно любимец студентов, человек глубоко и разносторонне образованный, отзывчивый, большой знаток «русской археологии и древностей». На раннем этапе своей деятельности (до конца 1850-х гг.) он стоял на позициях «государственной школы», а на



П.В. Павлов
(1823–1895)

рубеже 1860-х гг. пришел к позитивизму. В его трактовке это означало: признание истории «положительной» наукой, основанной на «опыте»; расширение тематики исследований за счет изучения социальной и экономической истории; признание влияния природных факторов на историю человека и общества (Эймонтова, 1986: 218).

В 1860 г., П.В. Павлова избирают профессором Санкт-Петербургского университета. Переезд в Петербург становится для него роковым. Бурная общественная деятельность по организации воскресных школ в 1861 г. и связанные с ней неизбежные знакомства с «неблагонадежными» быстро приводят к установлению за Павловым негласного полицейского надзора. У него устраивают обыск, без объяснений отстраняют от преподавания в Военно-инженерном училище. В конечном счете этот человек, совершенно безобидный и по натуре, и по образу мыслей («прекраснодушный до невменяемости» — так назвал его В. Обручев), мечтавший лишь о том, чтобы *просвещением народа предотвратить кровавый мятеж*, подвергается высылке в административном порядке якобы за призыв к этому самому мятежу (Обручев, 1907).

Более 10 лет жизни ученого пропадают втуне: вначале неожиданный и резкий перелом существования приводит его к нервному срыву. В дальнейшем, по свидетельству современников, это был уже другой человек: более он уж никогда ни во что не вмешивался. По возвращении из ссылки несколько лет действовал запрет на преподавание, снятый лишь к 1874 г. Вот тогда П.В. Павлов и был избран вновь ординарным профессором Киевского университета, где так успешно работал на заре своей научной карьеры. В сущности, появление его на трибуне III Археологического съезда явилось едва ли не первым публичным выступлением Платона Васильевича после многих лет вынужденного молчания. К сожалению, оно не было оценено современниками по достоинству. Но с высоты наших дней, можно с полным основанием утверждать: оно было блестящим.

По мнению П.В. Павлова, все исторические науки, «взятые вместе в их развитии в прошедшем, составляют то, что называется историей цивилизации. *Исторические науки в их синтезе и в отдельности совершенствуются вследствие разработки их предмета по источникам; источники же исторических наук бывают письменные и неписьменные* (курсив мой. — Н.П.)» (Протоколы... 1878. С. XVIII–XIX).

Неписьменные источники П.В. Павлов делил на три категории: а) географические; б) этнологические или историко-антропологические; в) археологические или вещественные памятники. При этом в его трактовке археология «обнимает все исторические науки, насколько содержание их выражается в материальных памятниках» и имеет «свой особый археологический метод, задача которого — приходить к научным выводам путём сравнения однородных вещественных монументальных памятников» (Там же. С. XIX).

В 1874 г. точка зрения П.В. Павлова даже не обсуждалась всерьёз, хотя на тот момент это была, пожалуй, наиболее продуманная, наиболее продвинутая в философском плане научная концепция археологии — причём не только в России, но и в мировой науке. Отчасти это можно объяснить насторожённым отношением консервативной части археологического сообщества к самому П.В. Павлову — не только бывшему ссыльному, но и «человеку со странностями». Степень одиозности этой фигуры в добропорядочном обществе проясняет хотя бы то, что именно

он послужил прототипом либерального профессора-«маньяка», выведенного в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» (Достоевский, 1975: 312–313). По материалам протоколов съезда создаётся впечатление: его выступление просто *не слушали*.

Указанное впечатление подтверждает одна характерная деталь. В конце своего выступления П.В. Павлов даёт археологии следующее определение: «...наука древних *вещественных памятников*, в смысле произведений механических и изящных искусств, насколько в этих памятниках выразилась цивилизация в её развитии <...> (курсив мой. — Н.П.)» (Протоколы... 1878. С. XIX). В ответ на это А.С. Уваров замечает: «<...> действительно, мы *ipso facto* понимаем обыкновенно археологию в смысле истории искусства, но я полагаю, что можно принять более обширную задачу археологии» (Там же).

Налицо явное непонимание. Ведь «произведения механических и изящных искусств» — это вовсе не «памятники искусства»! Это широкое определение, способное охватить всю материальную культуру. Напрашивается вывод: коллеги не слишком внимательно отнеслись к выступлению П.В. Павлова. Впрочем, неприятие его концепции русскими археологами 1870-х гг. имело и другую, куда более глубокую причину: предложение ограничить область археологии изучением одних вещественных памятников шло вразрез с исследовательской практикой того периода.

Подводя итоги рассмотрения методологической дискуссии 1870-х гг., во многом определившей дальнейшие представления об археологии в России, необходимо заметить следующее. При всем различии взглядов А.С. Уварова и И.Е. Забелина на археологию реальное содержание их трудов в этой области отличалось единством подхода к материалу. На практике оба исследователя выступали на первом этапе исследования как источниковеды, прилагающие к вещественным памятникам методы исторической критики, разработанные в филологии, а затем — как историки, пытающиеся, с большим или меньшим успехом, сделать из материала исторические выводы. Целью археологического исследования для них обоим являлась, историко-культурная реконструкция прошлого каждого определённого народа. Эта общая историческая направленность скрадывала различия и прямые противоречия, существовавшие между А.С. Уваровым и И.Е. Забелиным.

С другой стороны, концепция П.В. Павлова представляла собой попытку подойти к сложившейся ситуации совершенно осознанно. Ключевым понятием для Павлова стал не предмет науки и не ее философское осмысление, а особый *вид источников*, требующий своих подходов и методов. При этом, безусловно, археология осознавалась им как историческая дисциплина. В этом подходе было, с одной стороны, нечто общее с позицией И.Е. Забелина, в сущности, разделившего археологию и историю как два интерпретационных уровня. Напротив, представление о необходимости специфических *методов* археологического исследования в какой-то степени сблизало П.В. Павлова с А.С. Уваровым. Но упомянутая общность, видимо, не осознавалась даже самими исследователями. На первый план выступали противоречия: ведь в подходе П.В. Павлова акцентировался чисто источниковедческий уровень исследования и как бы отсутствовал интерпретационный уровень. Археологический метод, предлагаемый им, был не чем иным, как методом серийного анализа артефактов — прообразом типологи-

ческого метода в археологии. Однако на том этапе археологического изучения России, когда все полевые работы ещё носили «точечный», не систематический характер, в распоряжении археологов, как правило, просто не было ни серийного, ни массового материала¹. Не было и сколько-нибудь разработанной хронологии вещественных древностей, даже для наиболее поздних, «исторических» эпох. Ставить во главу угла «сравнение однородных вещественных памятников» на практике оказывалось весьма затруднительно.

Напротив, архивные изыскания, привлечение письменных и изобразительных источников в одних случаях позволяли сравнительно точно датировать «древности», а в других — объясняли их назначение и структуру. Отсюда и вытекала однозначная трактовка А.С. Уваровым археологии как *общей истории культуры*, «учения о древнем быте человека», обнимающем «исследование *всех памятников, какого бы рода они ни были, оставшихся от древней жизни*» (курсив мой. — Н.П.)» (Там же). Фактически предмет науки определялся исходя из реальной познающей деятельности учёных, которые не только могли, но были вынуждены, ввиду состояния источниковой базы, вести работу на междисциплинарной основе. Вот почему концепция П.В. Павлова при всей ее логичности и непротиворечивости с трудом воспринималась его современниками — гуманитариями широкого профиля.

Ситуация качественно меняется к рубежу XIX–XX вв., в связи с накоплением новых данных, настоятельно потребовавших более узкой специализации учёных в области исследования вещественных источников. В этом направлении и развивались общие представления А.А. Спицына, чьи взгляды на предмет археологии и место её в системе наук обнаруживают много общего с идеями П.В. Павлова.

4.3.3. А.С. Уваров и наука о первобытности в России. 1870–1880-х гг.

Граф Уваров воспринимается современной историографией как родоначальник представлений о принципиальном единстве всех отделов археологии — от первобытной до позднесредневековой — и, соответственно, как теоретик «исторического» (историко-культурного) подхода к изучению каменного века в России (Васильев 2008: 19). По большому счету, он таковым и является. Именно «<...> благодаря Уварову археология каменного века вошла в сферу гуманитарных наук» (Формозов, 1983: 99). Но в этой связи стоит поставить другой вопрос: имеется ли в творчестве самого А.С. Уварова тенденция к противопоставлению «исторического» подхода «естественнонаучному»?

Конечно, по своему образованию, по характеру научной подготовки граф был гуманитарием до мозга костей (Материалы для биографии... 1910: 1–172). Азы смежных дисциплин естествоведческого цикла ему пришлось постигать уже в зрелом возрасте с помощью друзей и сотрудников из числа специалистов-естественников. К числу таковых относились Д.Н. Анучин, А.П. Богданов, И.С. Поляков, И.Д. Черский, которым Алексей Сергеевич выразил благодарность в «Предисловии» к своей монографии «Археология России. Т. 1. Каменный

¹ Исключение представляли собой лишь регионы Северного Причерноморья, с одной стороны, и Остзейского края и Финляндии — с другой.

век» (1881). С учетом этого, кажется особенно знаменательным, что В.В. Докучаев, подвергший жёсткой критике эту книгу А.С. Уварова, критиковал ее отнюдь не за пренебрежение естественнонаучными методами.

Весьма квалифицированный и подробный разбор книги А.С. Уварова с позиций археологии сегодняшнего дня был сделан А.А. Формозовым (1983: 87–102). Не повторяя того, что уже опубликовано, я хочу подчеркнуть одно: достаточно оценить сам объём естественнонаучных разделов в книге А.С. Уварова, чтобы понять, какое огромное значение придавал этой стороне исследований сам автор. Раздражение современников вызвало другое: откровенное предпочтение, оказанное автором «ледниковой гипотезе» и теории происхождения лёссов П.А. Кропоткина (Докучаев 1882: 12–14). И первое и второе в указанный период являлось предметом дискуссии среди самих ученых-естественников. В частности, В.В. Докучаев и И.С. Поляков, оба принимавшие непосредственное участие в раскопках А.С. Уварова на верхнепалеолитической стоянке Карачарово, придерживались на сей счет разных мнений. Между тем основным консультантом А.С. Уварова в указанных вопросах был как раз Поляков, а не Докучаев. Таким образом, речь идет не о пренебрежении естественнонаучной стороной исследования как таковой, а скорее о противоречиях в интерпретации нескольких спорных проблем.

В таком контексте небезынтересно узнать, как складывались на практике научные взаимоотношения таких, на первый взгляд, разных ученых, как А.С. Уваров и И.С. Поляков (см. о нем: 5.3.1). Этот последний, будучи профессиональным ученым-естественником, отталкивался в своих трактовках материала, в первую очередь, от естественнонаучных данных (наиболее понятных ему!) и от этнографических материалов. Порой его называют одним из первых русских «палеоэтнологов», поставивших себе целью «уяснить роль природы в судьбе человека и <...> обозначить изменения, произведённые человеком в природе» (Жук 1987: 18). Однако рискну утверждать: ближайшая цель, которую ставил себе ученый в своих археологических работах, была вполне созвучна мыслям А.С. Уварова. Этой целью было *воссоздание картины «древнего быта» каменного века* или, выражаясь современным языком, историко-культурная реконструкция первобытности по данным нескольких смежных наук. Попытки такой реконструкции на конкретных археологических материалах имеются и в трудах И.С. Полякова по каменному веку (см. напр.: Поляков, 1880: 30–37).

В изложении современной историографии позиции А.С. Уварова и И.С. Полякова зачастую выглядят непримиримыми (Васильев 2008: 20). Но характерно, что при жизни обоих ученых между ними не возникало никаких принципиальных разногласий. Обладая научной подготовкой в различных, но сопрягающихся областях, они не столько спорили, сколько дополняли друг друга в своей кипучей деятельности. В частности, А.С. Уваров неоднократно привлекал И.С. Полякова к совместным работам, и тот всегда с готовностью откликался на эти приглашения.

«21-ого июня 1878 г. — читаем мы в одной из его книг, — я приехал сюда [в с. Карачарово. — *Н.П.*] и остановился в усадьбе графа А.С. Уварова <...>. Я нашел здесь графа А.С. Уварова и его супругу, а также профессора В.Б. Антоновича в полной деятельности <...>. После моего приезда экскурсии и раскопки <...> на-

чали повторяться целую дружною компаниею, которая разделялась только в том случае, если граф Уваров с его спутниками предпринимал раскопки, касающиеся более новых времен, чем каменный век. <...>. В усадьбе у высокоуважаемого мною хозяина, вместе с самым радушным гостеприимством, я нашёл уже богатые коллекции из Волосова и окрестностей Карачарова <...>» (Поляков 1882: 80–81).

В феврале 1879 г. И.С. Поляков принял участие в чтении задуманного А.С. Уваровым курса публичных лекций по археологии в МАО. Для этого он специально, по просьбе устроителя, приехал в Москву из Петербурга (Уваров, 1910б: 200). Основные выводы А.С. Уварова, сделанные по материалам раскопок Карачаровской палеолитической стоянки, встретили поддержку И.С. Полякова. «Раскопка, произведённая в 1878 году около села Карачарова графом А.С. Уваровым и мною [sic! — *Н.П.*], — читаем мы в его книге, вышедшей годом раньше капитальной монографии самого А.С. Уварова, — с поразительной ясностью убедила нас в том, что некогда, во времена от нас чрезвычайно отдалённые, здесь, в Отечестве Ильи Муромца, человек существовал совместно с мамонтом, носорогом и другими ископаемыми животными. Доказательства были настолько убедительны, что подобный вывод неизбежно приходилось распространить и на иные пункты России <...>» (Поляков, 1880: 9).

В целом можно сделать вывод, что в первобытной археологии позиции как А.С. Уварова, так и И.С. Полякова сформировались под влиянием уже охарактеризованных выше «скандинавского подхода» и «бэрвской традиции» в русской науке. С этих позиций считалось совершенно нормальным, что археологические памятники должны изучаться гуманитариями и естествоиспытателями совместно, а полученные результаты становятся их общим достоянием. При этом находки ни в коем случае не вырывались из общего *контекста*, изучение которого считалось важным для дальнейшего воссоздания картины древнего быта или историко-культурной реконструкции. Методы сравнительно-исторического исследования и естественнонаучного анализа материала из раскопок рассматривались обоими учеными как взаимно дополняющие друг друга.

Таким образом, «исторический подход», нашедший себе воплощение в капитальной монографии А.С. Уварова (1881), представлял собой не что иное, как теоретическую разработку и практическое приложение к отечественным материалам скандинавского подхода к первобытным древностям, основоположниками которого были Х. Томсен, Й. Ворсё, С. Нильсен, Д. Вильсон, Ф. Келлер и др. (Trigger, 1989: 80–82). Разница заключается в том, что в середине XIX в. ни в Северной, ни в Средней Европе еще не были открыты и исследованы памятники эпохи палеолита. Начало их изучения совпало по времени с оформлением во Франции новой эволюционистской школы Г. де Мортилье («*palethnologie*»), сумевшей всецело «приватизировать» данную тематику (см.: 5.2.1; 5.2.3).

Во второй половине XIX в. традиции скандинавского подхода продолжали успешно развиваться в европейской археологии неолита и бронзы. Но только в России рубежа 1870–1880-х была предпринята фундированная попытка применить те же научные принципы к изучению палеолита и обосновать единый характер археологической науки. Такой попыткой и стала монография А.С. Уварова, не случайно оказавшая огромное влияние на отечественную первобытную археологию.

4.4. РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В РОССИИ: ШКОЛА Н. П. КОНДАКОВА



Н. П. Кондаков
(1844–1925)

Академик *Никодим Павлович Кондаков* (1844–1925), яркий представитель художественно-исторического подхода к памятникам, создатель археологической византистики (см.: Тункина, 2001; 2004), несомненно, являлся ведущим и самым серьёзным теоретиком археологии в России конца XIX в. Подход его к анализу археологического материала заметно отличался от иных, существовавших в то время в России. «Конечной целью исторической науки, — писал он, — должно быть изучение <...> разнообразия культур, на основании широкого исследования памятников вещественных, данных этнографии, народной словесности, языка и т. п., но пока всё это будет, археология должна озабо-

титься тем, чтобы извлечь возможно больше из своего собственного материала, то есть вещественных древностей или материалов, полученных из раскопок (курсив мой. — Н. П.).» (Кондаков, 1896: 7).

Предметом археологии (как и истории искусства) для Кондакова являлось не что иное, как формы предметов в их образовании и дальнейшем развитии. Главной задачей исследования признавалось изучение «стиля», «типической формы предмета в её историческом изменении» (Кондаков, 1896: 7; см. также: Лебедев, 1992: 243–247, 264–267). По сравнению с формулировками его современников — русских археологов «историко-бытового» направления, трактовавших предмет археологии как изучение «быта народов по памятникам» (А. С. Уваров) или изучение «единичного творчества человека в предметах» (И. Е. Забелин), такое определение являлось огромным шагом вперёд. Н. П. Кондаков интуитивно понял важное значение такого приёма, как установление характера и частоты сочетаний различных форм между собой. Суть его подхода заключалась в том, чтобы подвергнуть вещи сравнительному исследованию с точки зрения формы, техники, стиля, выявить их происхождение и характер развития и уже на этой основе сделать допустимые исторические выводы.

Для характеристики кондаковского наследия важно подчеркнуть: ещё в начале XX в. Никодим Павлович «не только реализовал исследовательские возможности своего метода на материале византийского искусства, но и намечил пути его применения к археологическим материалам, в особенности славяно-русским» (Лебедев, 1992: 266). Можно сказать, что он одним из первых в России понял и постарался научно обосновать истинное значение *вещеведения*, необходимость в археологии собственной изошрённой методики для работы с вещественными источниками. При этом упреки в «формализме», адресовавшиеся ему и его «школе» позднее, в эпоху увлечения социологическим подходом, по большей части несправедливы и основаны на поверхностном знакомстве с предметом.

Понятие *формы* у Кондакова является достаточно глубоким и ёмким. «Не только внешний вид предмета есть форма <...>, — читаем мы в одной из его

программных работ, — сам предмет есть только форма материи, обязанная своим происхождением, во первых, потребности, которую мы должны себе объяснить, а во-вторых, техническим и материальным условиям, создавшим и самую форму, и её орнаментацию, и вызвавшим её дальнейшее развитие <...>. Если мы находим, что известный предмет <...> заимствован, <...> то мы должны представить себе это перенимание в связи с обычаем, обрядом, назначением предмета, которое и должно быть выяснено прежде, чем мы будем обсуждать перемены в его форме, так как они могут происходить или от забвения основного обычая, или от перемены в нём...» (Кондаков, 1896: 7–8).

В историографии отмечалось неоднократно: будучи практикующим археологом и новатором в области методики исследования вещевого материала, Н. П. Кондаков всю жизнь сохранял «весьма устарелые» понятия об относительной ценности археологической находки. Точная фиксация условий находки никогда не выдвигалась им как непереносимое и основополагающее требование. «Массовый материал» для него как бы не существовал. Такое пренебрежение к нему помешало учёному распространить свой подход на все категории находок и более чётко разделить археологическую науку и искусствоведение. Это сделали за него в дальнейшем его ученики (Тихонов, 2001: 28–29). Но мне представляется, что подчеркнутое сосредоточение внимания, в первую очередь, на самих вещах, на археологических находках, являлось у академика не результатом его ретроградства, а скорее полемическим перехлёстом, реакцией на то положение дел в археологии, которое сложилось в России к концу XIX в. Перехлёсты подобного рода бывали свойственны Н. П. Кондакову просто в силу его темперамента.

«Древностями вещественными занимаются естествоиспытатели, этнографы, антропологи, историки, — писал учёный с немалой долей иронии, — словом, все те, кто наименее подготовлен к их изучению <...>. Когда производится раскопка кургана, исследователь обязан наблюдать все могущие оказаться свойства и особенности: геологические в насыпи, антропологические в костяках, этнографические — в обстановке могилы и прочем, и обо всём этом составляет подробнейшие дневники, но когда добыт уже самый материал, то есть вещественные древности, он перестаёт сам по себе занимать кого бы то ни было, кроме составителя каталога. <...>. Наоборот, всякий раз, когда эта же археология <...> перейдёт к историческому исследованию форм, стиля, бытового назначения, <...> когда появляются группировки предметов древности или со стороны бытовой, например, формы уборов, или техники, например, филигранны, эмали, инкрустации, или же стиля, например, в вопросе об орнаменте <...> оказывается, что вся эта масса доселе мёртвого материала оживает <...>» (Кондаков, 1896: 3–4). По мнению Никодима Павловича, археологической науке следовало бы «изучить памятники ради них самих» — лишь после этого она «станет самостоятельной и решающей» (Кондаков, 1887: 228).

Для европейской науки рубежа XIX–XX вв. было характерно бурное развитие того подхода к древностям, который в современной литературе нередко (и, на мой взгляд, неверно!) именуют «этнологическим». Появление этого подхода было неотделимо от прогрессирующей политизации археологии. По ходу его развития шло активное перерождение представлений об археологических материалах как

источниках по истории Отечества — в источники для обоснования государственных и политических притязаний этого самого Отечества. Однако Н.П. Кондаков подчёркнуто стоял в стороне от указанного течения.

Развитие культуры — материальной и художественной — понималось Кондаковым как непрерывная историческая связь явлений, которую никак не следует сводить к истории племени. Это чёткое разделение понятий культуры и этноса в его творчестве стоит отметить особо. В изданной Н.П. Кондаковым совместно с И.И. Толстым первой многотомной энциклопедии отечественных древностей подчёркивалось, что «в общую сокровищницу русской древности вносил свою лепту и огреченный скиф, и корсунский мастер, и генуэзский торговец в Крыму, и немчин в Москве». Поэтому народное искусство «одно раскрывает перед нами общую непрестанную преемственность» (Толстой, Кондаков, 1889: I—II).

Гиперкритическое отношение Н.П. Кондакова к достижениям доисторической и «курганной» археологии нельзя всецело объяснять ретроградством старого академика, до седых волос не уяснившего себе важности серийного анализа артефактов и недопустимости вырывания их из общего контекста находки. В действительности за едкими высказываниями Никодима Павловича стоит огромный опыт историка, сумевшего, благодаря своему знанию различных категорий источников, хоть отчасти «заглянуть в подтекст» экономики варварского мира, ощупью уловить характер и закономерности движения предметов ремесла от мастеров к потребителям. В этих высказываниях много сбивчивого, уловленного интуитивно, сформулированного не очень четко. Но это тот пласт исследования, который и в наши дни нельзя считать по-настоящему разработанным. Поэтому, на мой взгляд, ко многим словам Н.П. Кондакова стоит, наконец, прислушаться:

«Как было некогда заведено в первобытной археологии, каждая область исследуется сама по себе, по руководству одних и тех же теоретических и предвзятых взглядов: всюду предполагается натуральный, последовательный рост культуры, собственный ход совершенствования и размножения изделий; и доселе, видимо, еще господствует заблуждение, основанное на понимании варварского мира, как первобытной среды <...>».

Рознь во мнениях, толчая взглядов и враждебность, стремящаяся к первенству, одиночеству и преобладанию. Здесь доселе полная невозможность выработать себе общий взгляд, руководящие методы и найти точки опоры. Сколько толкуют о прогрессе, но, как только его надо понять по существу как непрерывную историческую связь явлений, его нить разом перерывается во всех тех случаях, где есть нация, на памяти истории выработавшаяся из варварского племени, а раз нить эта порвана, каждый уже тянет свой конец в свою сторону. Ученые <...> следуют внушениям неодолимого еще для науки узкого патриотизма, которым они пытаются сдабривать свои обзоры национальных древностей.

<...> Каждый скандинавский археолог <...> следует, необходимо, руководству того круга фактов, который ему наиболее доступен. На первое место он ставит, понятно, не римский мир, с необъятным разнообразием его художественных форм, как известно, отовсюду унаследованных, но узкую среду германо-римской орнаментики, то есть того *художественного рынка или базара* [sic! — Н.П.], который был открыт римскими фабриками и мастерами в разных пунктах Германии для ее варваров <...>».

Но в последнее время замечается уже коренной поворот в приемах исследования варварских древностей: признано, что переселение народов было переносом с одного конца Европы на другой своеобразной культуры, а потому наступило время и для исторического, сравнительного изучения варварских древностей <...>» (Кондаков, 1896: 3—5).

Формирование «школы Кондакова» как отдельного направления в русской археологии пошло наиболее активно с 1880-х гг. В этот период на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, на факультете восточных языков, а также в Историко-филологическом институте начинает читаться целый ряд специальных курсов, посвящённых «древностям» и отдельным разделам «археологии» (Э.А. Вольтер, Н.И. Веселовский, А.С. Лаппо-Данилевский, сам Н.П. Кондаков, а позднее его ученики — Я.И. Смирнов, С.А. Жебелёв и др.). Курсы эти читались по разным кафедрам — истории и теории искусства, кафедре сравнительного языкознания, кафедре русской истории и т. д. (Тихонов, 2003: 41—85; Платонова, 2004: 45—46). Появляются и обширные археологические введения к общеисторическим курсам. Иногда содержавшиеся в них обобщения представляли собой ценный вклад в развитие археологической мысли в России (как, например, археологическая часть курсов русской истории А.С. Лаппо-Данилевского, читанных в начале 1890-х гг.) (ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 153. Л. 2 об.—11; ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 160. Л. 273—275, 298—300 и др.).

Конечно, всё это ещё не было полноценным университетским преподаванием археологии. Но это было реальное начало, очень способствовавшее изживанию в археологии любительства и возникновению преемственности научных идей и подходов. Кроме того, следует указать на ещё один организационный фактор, связанный с университетом. Значение его для русской археологической науки трудно переоценить. Именно в последней четверти XIX в. в практику все шире входит обычай выделять магистрантам, оставленным при кафедре, стипендии на поездку за границу для завершения образования.

Такие поездки длились порою по многу месяцев и даже по несколько лет. По ходу их у молодых российских историков и искусствоведов находилась возможность лично участвовать в раскопках памятников Италии и Греции, работать в музеях, слушать лекции и консультироваться у ведущих археологов того времени — В. Дёрпфельда, А. Мау, П. Вольтерса, Т. Омолля и многих других. Таким образом, весьма основательная филологическая и историческая подготовка, которую давали русские университеты того времени, дополнялась возможностью получить исчерпывающие представления о современном уровне европейской археологии и её проблемах. Это в значительной мере компенсировало стажёрам недостаток *систематического* археологического образования в дореволюционной России, обусловленный отсутствием специальных кафедр и необязательным характером лекционных курсов.

Следует оговориться: развитие *общих представлений* об археологии в русской и зарубежной науке второй половины XIX в. шло, в целом, синхронно. В частности, если в России в указанный период наблюдались противоречия между различными понятиями и определениями археологии, то и в Европе дела обстояли немногим лучше. Когда А.С. Лаппо-Данилевский предпринял уже упомянутую выше попытку обзора по литературе всех существующих концепций, ему пришлось

столкнуться с тем, что на Западе, как и у нас, параллельно существуют самые различные позиции, и археология трактуется специалистами в широком диапазоне — от археологии как *истории искусств* до археологии как *науки о вещественных памятниках древности* и археологии первобытной — *доистории*, являвшейся уделом учёных-естественников (ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 160. Л. 6–17; ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 288. Л. 4–13).

Однако в области полевой методики развитие европейской науки в последней четверти XIX в. действительно шло опережающим темпом. «Первым примером научно поставленных раскопок», по словам С.А. Жебелёва, стало исследование Олимпии (1876–1881 гг.). Именно там на сцену впервые выступил будущий классик античной археологии В. Дёрпфельд, который в дальнейшем «снискал себе славу первоклассного знатока техники раскопочного дела и создал себе целую школу последователей не только среди немецких археологов.» (Жебелёв, 1923б: 65). К 1890-м гг. этот учёный уже успел в общих чертах разобраться в стратиграфии и хронологии Трои после кладоискательских раскопок Г. Шлимана. Он находился в зените своего успеха, и молодым русским антиковедам нашлось, чему поучиться и у него, и у других коллег за границей. «Он [Дёрпфельд. — *Н.П.*] положительно гениальный лектор. — писал в 1893 г. из Афин молодой Б.В. Фармаковский. — А как архитектор он сообщает такие вещи, которые нам, чистым археологам, и в голову бы не пришли <...>» (цит. по: Фармаковская, 1988: 49).

В Афинах в то время находился Германский археологический институт, а также Французская, Британская и Американская высшие археологические школы, при которых существовали обширные библиотеки для стипендиатов, читались лекции и т. д. Русского центра археологических исследований ни в Греции, ни в Италии не было, и это сразу же ставило приезжих из России в зависимое положение от иностранных коллег. К тому же в 1880 — начале 1890-х гг. уровень жизни русских стипендиатов за границей настолько отличался от остальных (не в лучшую сторону!), что поначалу Б.В. Фармаковский с горечью писал на родину:

«Здесь, в Афинах, воочию вижу, как низко ценят у нас служителей просвещения <...>. Мне только первому из русских удалось попасть в кружок Омоля. До сих пор на наших русских археологов смотрели с презрением, как на оборванцев, которыми отчасти русские и являются в сравнении с иностранными учёными <...>» (Там же: 44–45).

Однако уже к середине 1890-х гг. эти первоначальные противоречия быстро сгладились. Отношение европейских светил к их молодым русским ученикам становилось всё более сердечным и уважительным (а на стажировке в Греции, помимо Б.В. Фармаковского, побывали Я.И. Смирнов, Е.М. Придик, В.К. Мальмберг, Д.В. Айналов, М.И. Ростовцев и др.). Тогда же был, наконец, организован и первый русский археологический центр за рубежом — Археологический институт в Константинополе. А к концу 1890-х гг. в Россию, и в частности в Санкт-Петербургский университет, стали один за другим возвращаться специалисты, профессионально владевшие археологическим материалом и вдобавок сочетавшие это с подготовкой в других областях источниковедения. Результат не замедлил сказаться.

Из высказываний Я.И. Смирнова (самого любимого ученика Никодима Павловича) становится ясно, в каком направлении шло развитие «школы Кондакова» в 1890-х гг. Вернувшись из Афин после нескольких лет стажировки,

Я.И. Смирнов в письме к С.А. Жебелёву (1897 г.) описывал свой будущий курс лекций в университете так:

«<...> Что-либо вроде очерка вещественных памятников древнего мира, хотя бы Востока. На первый семестр, нечто вроде *общего хламоведения*. Художества и художественные школы и рост великих мастеров пусть развивают иные, я же полагаю нелишним *дать понятие о реальных остатках древности во всём подавляющем множестве ничтожных, в сущности, вещей* <...> [курсив мой. — *Н.П.*]. Теоретически мне такие реальные лекции казались бы не бесполезными, а общего курса истории искусства я ни за что читать не буду <...>» (цит. по: Тихонов, 2001: 30–31).

Таким образом, от изучения эффектных вещей, выхваченных из общего контекста памятников, археологи сознательно стремились перейти к изучению «реальных остатков древности во всём подавляющем множестве ничтожных, в сущности, вещей» — к тому, что сам Я.И. Смирнов шутливо определил как «общее хламоведение». Здесь большую роль сыграли те члены кондаковского кружка, которые параллельно учились у В. Дёрпфельда, Т. Омоля, А. Мау и других европейцев. У каждого из них было много наставников. Характерная деталь: когда на старости лет Б.В. Фармаковский решил перечислить всех тех, кого он в той или иной степени считал своими учителями, этот список включил 13 имён видных учёных из России, Германии, Франции и Англии (Фармаковская, 1988: 108). То же могли бы сказать о себе М.И. Ростовцев, Д.В. Айналов, В.К. Мальмберг и другие их коллеги. Но не случайно считают, что именно Н.П. Кондаков оказался для большинства своих «оперившихся птенцов» подлинным Учителем.

«Когда я, в 90-х годах, попал студентом 3-го курса в Петербургский университет, — писал об этом М.И. Ростовцев, — я был совершенным младенцем в области археологии, начинающим филологом-классиком. Впервые об истории искусства и об археологии я услышал от Н.П. <...>. Атмосфера его лекций была заразительна <...>. Если не прямо от Н.П., то от того кружка, который создан в Музее древностей, я воспринял его энтузиазм к древности, его любовь к памятникам, его метод к строгому и точному знанию <...>. Я впервые стал ощущать, что без археологии в истории древностей далеко не уедешь <...>» (цит. по: Зуев, 1997: 53).

По возвращении из-за границы **Борис Владимирович Фармаковский** (1870–1928) занял штатное место члена Императорской Археологической комиссии в Санкт-Петербурге. Получив полевую школу сначала в Одессе у Э.Р. Штерна, а затем в Афинах у В. Дёрпфельда, Т. Омоля и других видных археологов, он сумел синтезировать и применить этот опыт на практике — в ходе собственных раскопок древней Ольвии. В начале 1900-х гг. Б.В. Фармаковский начал изучение памятника широкими площадями, введя поквadratную разбивку раскопок (так называемый «квадрат Фармаковского» — 5 x 5 м, — признанный оптимальным при раскопках античных памятников и применяемый в античной археологии до сих пор). Раскопки закладывались в разных местах, с целью



Б.В. Фармаковский
(1870–1928)

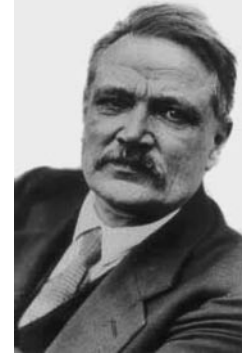


«Свободная Академия». Н.П. Кондаков в кругу друзей и учеников по поводу 70-летнего юбилея (ноябрь 1914 г.) Петроград.
 Слева направо сидят: Б.А. Тураев, В.Н. Бенешевич, Г.И. Котов, Д.В. Айналов, М.А. Капустин, Н.П. Кондаков, С.М. Ростовцева, С.А. Жебелев, М.И. Ростовцев; стоят: Г.Ф. Церетели, А.А. Васильев, Б.В. Фармаковский, Н.П. Окунев, В.А. Плотицкий, Н.А. Смирнов, Я.И. Смирнов, Н.Н. Глубоковский, А.А. Дмитриевский, В.Т. Георгиевский, Ф.И. Покровский, С.Н. Кондаков

выяснить топографию и хронологию каждого из слоёв города. Исследователь старался установить архитектурный облик Ольвии в различные эпохи, дать картину движения её границ на разных этапах истории, детально изучить древний некрополь и соотнести его с материалами поселения. Таким образом, уже в начале 1900-х годов Б.В. Фармаковский ввёл в практику те принципы изучения античного города, которым не суждено было устареть в течение всего XX в. В дальнейшем эти принципы вошли в наши учебники как образцовые, составившие основу *современной* методики исследований античности (Блаватский, 1967: 74–76). Исключительно высоким уровнем полевой методики отличались и раскопки Д.В. Милеева, с успехом перенесшего методы и подходы Б.В. Фармаковского на древнерусские памятники (Ёлшин, 2007).

Начало работ Б.В. Фармаковского в Ольвии совпало с началом знаменитых раскопок А. Эванса на Крите, в ходе которых развивались, собственно, те же принципы и тот же подход к памятнику. Таким образом, наметившееся было отставание русской античной археологии от зарубежной оказалось в считанные годы преодолено.

Идеи и методы Н.П. Кондакова в значительной степени определили развитие петербургской археологии начала XX в. (преимущественно античной и скифо-сарматской). Не менее велика его роль в иной сфере — организационной. Никодим Павлович был прирождённым лидером, вокруг которого вечно кипело научное творчество. Став уже сами известными учёными, члены кондаковского кружка по-прежнему продолжали собираться у своего учителя для обсуждения самых насущных проблем. «Дом Н.П. был настоящей «Свободной Академией», — напишет позднее М.И. Ростовцев. — Часто ли мы говорили об археологии, не помню. Вероятно, часто, так как все ею более или менее занимались <...>» (Там же: 66). В сущности, так продолжалось до самой смерти Н.П. Кондакова. Даже в эмиграции, в последние годы жизни, проведённые в Праге (1922–1925), престарелый академик вновь оказался в центре внимания (Вернадский, 2002; Тункина, 2004; Савицкий, 2006). Сначала вокруг него возникло «неформальное» сообщество, научный кружок византологов и историков-русистов. Затем он был преобразован в «Кондаковский семинарий» (с 1931 г. — «Институт Кондакова») со своим печатным органом на русском языке (Росов, 1999: 5). Вплоть до 1929 г. в *Seminarium Kondakovianum* охотно печатались наряду с эмигрантами и многие учёные, оставшиеся в Советской России. Он служил для разобщённых русских гуманитариев последней связующей нитью, последним мостиком, протянувшимся через границу «старого» и «нового» мира.



М.И. Ростовцев
(1870–1952)

4.5. Школа комплексного востоковедения в России и археология

Наряду с кондаковской «Свободной Академией», в Санкт-Петербурге существовал и другой профессорский дом, ставший для многих учёных тех лет своего рода «академией». Хозяин его, барон **Виктор Романович Розен** (1849–1908) — акаде-



В.Р. Розен
(1849–1908)

мик, декан факультета восточных языков — был не только одним из самых выдающихся европейских ориенталистов конца XIX в. (Веселовский, 1908; Якубовский, 1947; Шмидт, 1947; Крачковский, 1958: 98–100). Как и Н.П. Кондаков, он был ещё и Учитель — великий организатор науки и педагог.

Научные интересы арабиста В.Р. Розена ошутимо пересекались с интересами кавказоведов, индологов, семитологов и даже славистов. Тонкий источниковед, он доходил в анализе конкретного факта до работы чисто ювелирного характера. Примечания, сопровождавшие его публикации памятников арабской письменности, можно сравнить разве что с серией кратких монографий. Анализируя памятники, учёный ненавязчиво и тонко воссоздавал исторический контекст, сопутствовавший их появлению. При этом он был мастером синтеза, любил комбинировать и

обобщать. Учениками Розена, в той или иной мере, числили себя многие — арабисты Н.А. Медников и И.Ю. Крачковский, иранист В.А. Жуковский, семитолог П.К. Коковцов, индолог С.Ф. Ольденбург, кавказовед Н.Я. Марр, исламист В.В. Бартольд, византист А.А. Васильев, испанист Д.К. Петров.

Влияние Виктора Романовича на молодёжь казалось почти безграничным. Его уважали, обожали, побаивались. Делом его жизни было создание школы комплексного востоковедения в России, и за четверть века неустанной работы он её действительно создал. За внешней мягкостью, неизменным тактом и деликатностью барона скрывалась огромная внутренняя сила. Розен чуждался недоговорённостей, не стеснялся действовать резко, если считал нужным. Но для всякого, кто удостоился чести стать его учеником и другом (а одно автоматически вытекало из другого), часы, проведённые в прокуренном насквозь кабинете «барона», вспоминались потом, как самое дорогое в жизни.

О стиле взаимоотношений Виктора Романовича с учениками сохранилось немало колоритных воспоминаний. Любопытное наблюдение: ни один из молодых востоковедов, удостоенных чести быть приближенными к барону, за все годы общения с ним ни разу не бывал с ним в ссоре. Ни один не обижался на учителя, не выяснял с ним отношений, не расходился с ним навек. Между тем трудных, неуживчивых характеров среди будущих научных светил было предостаточно. Ведь в числе их находились и такие оригиналы, как П.К. Коковцов, и такие «вулканы», как Н.Я. Марр. Стоило барону (всегда в безупречно деликатной форме!) выразить кому-то своё неодобрение, будущие академики слушались его немедленно и без всяких обид.

«Требовательный к себе и другим, строгий без лицеприятия <...> критик, — вспоминал о нём арабист А.Э. Шмидт, — Виктор Романович неотразимо привлекал к себе всех тех, кто умел правильно расценивать его прямоту и откровенность <...>» (Шмидт, 1909: 11–17). Он незаметно, но достаточно быстро приручал к себе любого «провинциального дичка», из которого хотел воспитать учёного. Он

умел тактично и мягко войти во все мелочи личной жизни ученика (чтобы потом не менее деликатно помогать и словом, и делом) (Марр, 1909: 29). В кабинете Розена молодые люди засиживались допоздна, внимая хозяину, который, в своём неизменном кресле-качалке, с неизменной папиросой-самокруткой, вёл с ними неторопливые беседы «обо всём», исподволь расширяя их научные горизонты.

Становясь затем сами профессорами и академиками, ученики по-прежнему считали своим долгом досконально отчитываться перед В.Р. Розеном во всех своих делах и планах на будущее. Его неожиданная и безвременная кончина в 1908 г. явилась для петербургских востоковедов тяжелейшим ударом (Памяти барона В.Р. Розена... 1909; Памяти... В.Р. Розена... 1947).

Собственно археологические исследования занимали сравнительно небольшое место в работе руководимого бароном Восточного отделения ИРАО. В отличие от Н.П. Кондакова, В.Р. Розен сам не занимался раскопками памятников и анализом археологических коллекций. Молодые русские ориенталисты учились у него методологии комплексного исследования и умению работать с различными (в том числе и «вещественными») источниками для реконструкции исторического контекста анализируемого памятника. Тем не менее деятельность В.Р. Розена нельзя обойти стороной при исследовании истории отечественной археологии.

Влияние «школы Розена» на развитие археологической мысли в России отнюдь не исчерпывается результатами полевых работ его учеников и попыток анализа археологических данных в работах историко-филологического цикла. Самым существенным представляется то, что В.Р. Розен, как и Н.П. Кондаков, был теоретиком культурного процесса. В числе важных идей, высказанных им, была мысль о «культурном общении» как факторе и стимуле формирования новой культуры. По сути, бароном предлагалась гипотеза, по-своему объясняющая факт появления культурных инноваций. В этом же русле следовали догадки Розена о смешанном характере всех культур, об их многоэтнической природе (Платонова, 2002: 166–167).

По-видимому, в кругах петербургских гуманитариев эта идея в указанный период буквально «носила в воздухе». Ее истоки можно найти уже в работах Ф.И. Буслаева. Высказывалась она и Н.П. Кондаковым — применительно к русским древностям эпохи раннего средневековья. В «соединении, взаимном ознакомлении, а затем и слиянии» различных племён начальной Руси ему виделся «неиссякаемый источник <...> преуспеяния, жизненных сил и дарований нации» (Кондаков, 1896: 6–7).

В свою очередь, В.Р. Розен, на примере Арабского халифата, указывал на сложный, текучий, многоплановый характер культурного процесса в раннем средневековье, на полную бесплодность поисков тут единого «этнического определения» и единого корня. Позднее Н.Я. Марр вспоминал, что для его учителя был характерен «первенствующий интерес к узлам культурного общения различных народов». «Пути культурного общения, — писал он после смерти Виктора Романовича, — как бы мелкие и неуловимы они ни были — это главные стимулы брожения, основные, хотя и не всегда замечаемые источники прогресса <...>. К постановке вопросов о путях культурного общения и тянуло неудержимо выдающегося арабиста из тесных для него рамок специальных работ» (ПФА РАН.

Ф. 800. Оп. 1. № 942. Л. 1–2). Почти столетие спустя Л.С. Клейн отметил плодотворность указанного направления научного поиска в отечественной археологии, назвав его *post factum* «комбинационизмом» (Клейн 2005; 2007).

Стремление отойти в трактовке материала от чисто этнических интерпретаций культурных явлений, разделить «культуру и этнос», обнаружить источники развития внутри самой культуры, а не вне её, нашло воплощение в исследованиях петербургских востоковедов ещё при жизни их учителя. На материалах раскопок Ани, древней столицы армянских Багратидов, Н.Я. Марр старался показать сложный, смешанный характер средневековой культуры Закавказья, плодотворность взаимодействия там христианского (армянского) и исламского элементов (Платонова, 1998: 371–382).



Н.Я. Марр
(1864–1934)

В вопросе об уровне ведения Н.Я. Марром полевых работ мнения исследователей резко разделились, но в данный момент мне представляется вероятным, что резко негативная оценка работ Марра-археолога (Арциховский, 1953) базируется скорее на эмоциях, возбуждённых его позднейшим «новым учением об языке», чем на знании реальных обстоятельств и документов предреволюционного периода его деятельности. Во всяком случае, в глазах многих русских археологов 1900–1910-х гг. имя Н.Я. Марра стояло в одном ряду с именем Б.В. Фармаковского, и вряд ли это всецело можно объяснить их некомпетентностью в данном вопросе. «У нас в России раскапывателями в духе и стиле Дёрпфельда, — писал С.А. Жебелёв, — являются Б.В. Фармаковский (раскопка в Ольвии) и Н.Я. Марр (раскопка в Ани)» (Жебелёв, 1923б: 66).

Это совместное упоминание Б.В. Фармаковского и Н.Я. Марра в первом русском учебнике археологии представляется мне не случайным. Для Н.Я. Марра 1890–1910-х гг. (а именно тогда им велись раскопки в Ани) было характерно повышенное внимание к вопросам топографии и реконструкции архитектурного облика города. Его обмеры отличались точностью. Фотофиксация процесса раскопок всегда была на большой высоте. В ходе работ Марром ставились и решались вопросы относительной хронологии (стратиграфического соотношения) различных архитектурных объектов, мостовых, городского водопровода и т. д. Николай Яковлевич лично вёл дневники (часть их была недавно обнаружена автором этих строк в ПФА РАН). Подробные дневники велись и его учениками — начальниками отдельных участков (свидетельство тому — сохранившийся преждевременно погибшего Д.А. Кипшидзе, в дальнейшем позволивший Н.М. Токарскому полностью реконструировать облик пещерного квартала Ани) (Кипшидзе, 1972). И, наконец, при раскопках Марр отнюдь не пренебрегал массовым материалом, что бы ни писали об этом потом его недоброжелатели. Немногие уцелевшие описи анийских находок прямо свидетельствуют как раз об обратном. В них вносились самые «незначительные» предметы — железные гвозди, «черепки с простым круговым орнаментом» и т. п. На мой взгляд,

Н.Я. Марра тех лет вполне правомерно было называть «раскапывателем в духе и стиле Дёрпфельда». Не случись в 1918 г. несчастья — гибели значительной части анийского архива и почти всех коллекций — верно, никому бы и в голову не пришло сомневаться в этом (Платонова, 1998; 2002).

Н.Я. Марр, в отличие от Б.В. Фармаковского, не принимал участия в археологических работах за рубежом. Но, по-видимому, и новейший для той поры опыт полевых исследований, и уровень решаемых ими задач были ему хорошо известны в силу постоянного общения с коллегами-археологами в стенах Восточного отделения ИРАО. В 1890–1900-х гг. научный авторитет и организаторские способности В.Р. Розена позволили сблизить, привлечь к сотрудничеству в этих стенах не только всех петербургских востоковедов, но и специалистов из смежных областей — антиковедов и византинистов. Впоследствии С.А. Жебелёв называл важнейшей заслугой Виктора Романовича то, что именно он «положил начало дружескому объединению, на основе общих научных интересов «восточников» и «западников» <...>. Это объединение, сблизившее представителей различных, но идейно связанных <...> дисциплин, принесло в своё время добрые плоды <...>» (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 2. № 453. Л. 42 об.).

Одним из таких «добрых плодов» стала мысль о необходимости объединения различных подходов к археологическому материалу — этнолого-антропологического, историко-бытового («археологического») и художественно-исторического («кондаковского») — в стенах единой «Академии археологических знаний». Есть все основания считать, что, хотя такая академия и была основана лишь после революции (как Академия истории материальной культуры), вопрос о ней обсуждался в академических кругах ещё до октябрьского переворота (Платонова, 1989: 6–7). Забегая вперёд, следует отметить: в деле воплощения указанного проекта в жизнь ведущую роль сыграли именно ученики и последователи В.Р. Розена (Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, В.В. Бартольд) в теснейшем сотрудничестве с учениками Н.П. Кондакова (Б.В. Фармаковским, С.А. Жебелёвым и др.).

4.6. ПОПЫТКА ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО И КЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ: А.А. СПИЦЫН (1890–1920-е гг.)

Имя *Александра Андреевича Спицына* (1858–1931) стоит в почётном ряду классиков русской археологии (Антология... 1995: 154). Проработав в ИАК без малого 26 лет, он успел разобрать целые горы разнопланового археологического материала, поступавшего туда из разных уголков империи. Мало кто из русских археологов XX в. не обращался к его публикациям. Тем не менее в разговорах коллег порою проскальзывает лёгкое недоумение: неужели за 50 лет работы в археологии учёный так ни разу и не задумался всерьёз о сущности, о категориях той науки, которой он посвятил всю



А.А. Спицын
(1858–1931)

жизнь? Ведь А.А. Спицын не только не опубликовал ни единой методологической заметки, но и не коснулся этой темы попутно — в своих конкретных работах. Общие руководства по археологии, изданные им, касались исключительно методов полевого исследования и правил издания памятников (Спицын, 1908; 1910).

Что заставляло исследователя так абстрагироваться от теоретических проблем? Отсутствие интереса к ним? Сознательное самоограничение перед лицом иной, более насущной задачи? Или в действительности Александр Андреевич и ставил, и решал указанные проблемы по-своему, мы же попросту не знакомы с этой стороной его творчества? Чтобы не оставить такие вопросы без ответа, обратимся к сохранившимся спицынским рукописям.

4.6.1. Характеристика источников

Полное обозрение фонда А.А. Спицына в Рукописном архиве ИИМК РАН появилось в печати ещё в 1948 г. (Бич, 1948). С тех пор с этим фондом постоянно работали археологи самого различного профиля. Но некоторые материалы стали предметом исследования лишь недавно (Платонова, 2004; 2004а). Это черновые наброски и планы лекций А.А. Спицына в университете. Большие тетради, сплошь заполненные его мелким, очень трудно читаемым почерком.

Стоит оговорить заранее: сохранились именно *черновики и подготовительные заметки* к лекциям. В них содержится немало повторов, неудачных оборотов; сам текст совершенно не отредактирован стилистически. Порою видно, как учёный пытается на ходу отточить фразу, даёт ей несколько разных вариантов и т. п. Таким образом, до нас дошли не отработанные автором окончательные формулировки, а именно наброски, сделанные «для себя». Поэтому при первой публикации этих текстов я сочла возможным не приводить их целиком, а сделать ряд обширных тематических выборок, призванных отразить воззрения А.А. Спицына на археологию, её предмет и методы (Платонова, 2004: 134–149). Учитывая принципиальную новизну этих материалов для истории отечественной археологической мысли, следует прокомментировать их подробно.

«<...> Открытия идут за открытиями, — читаем мы в спицынских набросках к «Курсу археологии» 1909 г. — Не успеешь освоиться с одним новым разделом древностей, как на смену его выступает другой. Мы, члены ИАК, под потоком новостей чувствуем себя так, словно стоишь в тёплый, тихий зимний день под хлопьями мягкого, пушистого снега, непрерывно и равномерно падающего. Уже наслаждался, насмотрелся, а снег всё валится и валится. И домой ушёл, а он продолжает всё так же лететь, и нет ему конца. Мы, современные археологи, живём в героическое для нашей науки время. Не проходит года, чтобы не были открыты или совершенно новые древности, ещё не поддающиеся объяснению и учёту, или же древности, определяющие время и культурные влияния на уже известные культурные типы, или же расширяющие известные культуры на неожиданные области <...>»

К сожалению, обработка имеющегося уже материала отстает от притока материала, почему он в большинстве случаев остаётся мёртвым капиталом, ожидающим лучших дней. Материал этот уже тяготит русскую науку: он ещё не подвергнут хотя бы систематизации, не приведён в известность. Уже давно раздаются требования о необходимости университетских кафедр по археологии.

Здесь должен археологический материал приобретать научный вид, здесь должны возникнуть те школы, которые дадут строгих исследователей. Все понимают, что без науки археология есть не более как кладоискательство и любительство. Представителем этой свежей, увлекательной и заманчивой науки являюсь, волею судеб, я в Петербургском университете. Будущее покажет, насколько были основательны надежды русской археологической семьи на кафедру и насколько оправдана моя личная заветная мечта — иметь несравненно более учеников, чем я уже имею <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 95, л. 8–8об.).

Последние фразы отражают реалии 1909/1910 учебного года. С этого года А.А. Спицын, утверждённый без экзамена в звании приват-доцента Санкт-Петербургского университета, начал чтение лекций по археологии на историко-филологическом факультете. С января 1910 г. там был официально учреждён Археологический кабинет, и именно он стал им заведовать (Тихонов, 2003: 74–75).

В 1909 г. было разработано сразу несколько лекционных курсов, носивших, разумеется, «необязательный», факультативный характер, — ведь А.А. Спицын был всего лишь приват-доцентом. В числе их, помимо уже цитированного «Курса археологии», были «Введение в археологию» и «Задачи археологии и её материал»¹. «Введение...», как и «Курс...», содержит ряд любопытных пассажей, характеризующих взгляды Александра Андреевича на археологию своего времени и степень разработанности археологических материалов в России:

«<...> Всевозможных памятников старины в России неисчислимо количество <...>. Но когда выбираешь одиночные темы и начинаешь отслеживать для них материал, то становится ясным, что его не достанет для самых элементарных выводов (курсив мой. — Н.П.). Ясно, что ещё страшно много материала скрыто в земле. А добытый не классифицирован.

В этом материале, пожалуй, наши великие надежды. Сделанный мною здесь подсчёт его оказывается громадным, подавляющим, неисчерпаемым. Уже это одно даёт уверенность, что на этом материале будет разрешено множество проблем историко-этнологических <...>»

«<...> Мы идём вперед ошупью, случайными находками. Только недавно у нас получила движение мысль о систематических раскопках, имеющая, впрочем, ещё очень мало последствий <...>» (РА ИИМК. Ф.5. № 101, л. 9 об., 11 об.).

Приведённые высказывания, на мой взгляд, подтверждают предположение, что круг проблем, которыми учёный занимался вплотную, диктовался не столько его личными вкусами, сколько представлениями о благе и неотложных нуждах русской науки. По мысли А.А. Спицына, именно неполнота и ущербность источников были главным препятствием, затруднявшим разработку всякой историко-этнологической проблемы, взятой отдельно. Весьма выразителен в этой связи очерченный им образ бесконечного «снегопада» — вала новых материалов, обрушивавшегося из года в год на головы археологов. Этот непрерывный приток информации требовал непрерывной же систематизации всё новых и новых коллекций. В подобной ситуации человеку склада и характера А.А. Спицына,

¹ В последующие годы названия лекционных курсов могли меняться, но, видимо, их основное содержание оставалось прежним. Во всяком случае, среди рукописных материалов А.А. Спицына не сохранилось проспектов курсов, составленных после 1909 г.

по сути, не оставалось выбора. Он брался за то, что казалось ему самым необходимым, и считал это вполне в порядке вещей.

Но если систематизация безбрежного материала была, с его точки зрения, самой насущной задачей, это вовсе не означало, что он не задавался общими, принципиальными вопросами археологической науки. Сохранившиеся тексты не оставляют сомнений: Спицын не только живо интересовался этими проблемами сам, но и подробно излагал свое понимание их студентам университета.

4.6.2. Определение археологии, её предмет и задачи по А.А. Спицыну



А.А. Спицын
в молодости

«<...> Каждая наука, чтобы получить право на самостоятельное существование, — утверждал А.А. Спицын, — должна объявить: определённую задачу, отличную от задач других наук, свой особый материал и указать свои приёмы исследования.

<...> Тема эта меня занимала много раз, и только теперь в моих работах она получила должную определённость. Ход моих соображений принял должную простую форму, и вывод получился ясный.

Чем занимается или занималась археология? — Древностями, вещественными остатками старины <...>.

Что представляют собой памятники древности? — а) вещи; б) обстоятельства или условия их <...> нахождения:

обряд погребения, нахождение в одном жилом слое, нахождение в кладе.

Исследованные и классифицированные по содержанию, что памятники древности дают? — Свод самых разнообразных древностей, принадлежавших в разное время разным народам, то есть черты их внешней культуры.

Итак: *археология есть <...> наука о развитии внешней культуры народов <...> на основании изучения памятников древности.*

Но такая наука уже есть — история. В самом деле, история каждого народа состоит из изучения его прошлого в трёх отношениях: политическом, по внутреннему быту его и по внешнему быту <...>. *Археология и есть в точном смысле слова часть истории.* <...>.

Материал археологии — памятники древности. Этот материал требует особой специализации, так как <...> требует особых приёмов добывания, критики и обобщений. Историк при всём своём желании, занятый в огромной и сложной области письменных памятников, могущий овладеть только своею литературою, не может овладеть реальным материалом, расширять его и исследовать. Он делает, делает и будет делать своё: давать свод имеющегося в письменных памятниках материала по внешнему быту, в пределах этого материала. Это его специальная задача, в свою очередь, недоступная археологу, который не может овладеть материалом писаной истории и подвергнуть его должной критике со стороны текста.

Археолог не делает ненужной работу историка, напротив, вызывает её в усиленном размере, а если таковой не исполнено, то берётся за письменные материалы сам, так как они для него столь же необходимы, как и реальные. Везде выво-

ды археологии должны совпасть с надёжными выводами историка, подтвердить их или опровергнуть и заставить пересмотреть вопрос снова.

Итак: *археология есть часть истории, занимающаяся изучением развития внешнего быта народностей, преимущественно, на основании реальных остатков старины <...>* (курсив мой. — Н.П.)» (РА ИИМК. Ф. 5. № 95, л. 13–13 об.).

Здесь, с одной стороны, отчётливо видна преемственность со старой формулировкой А.С. Уварова, определявшего археологию как *науку, занятую исследованием древнего быта по памятникам* (Уваров, 1878: 32). Однако у Спицына, вместо уваровского «древнего быта» — чрезвычайно широкого понятия, включавшего как материальную, так и духовную культуру древности — появляется «внешняя культура» (или «внешний быт»). Это уже прямой эквивалент введённого несколько позже понятия «материальная культура». Таким образом, под «развитием внешней культуры» здесь подразумевается не что иное, как «история материальной культуры».

В рамках её, по Спицыну, проводится «изучение древностей со стороны формы, техники, стиля и со стороны состава древних культур и истории вещественного быта народов» (РА ИИМК. Ф. 5. № 101, л. 12 об.). В данном случае Александр Андреевич пытается охватить своим определением и старое, привычное понятие археологии как бытовой истории, и то, что сам он называет «чистой археологией» — *специальное знание о вещи, об артефактах как таковых. «Культура, — заключает он, — проявляется бесконечно разнообразно в материальных формах, которые и должны составить предмет археологии* (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: л. 25). В этой последней формулировке уже совершенно очевидно прослеживается влияние совсем другой традиции отечественной археологии — художественно-исторической школы Н.П. Кондакова.

Таким образом, А.А. Спицын проводит границы между различными историческими науками по характеру источников и особенностям методов их исследования. История, в его понимании, — это и специальная дисциплина, исследующая памятники письменности, и синтетическая, энциклопедическая наука, аккумулирующая данные, полученные из различных источников. В свою очередь, археология для Спицына — это одновременно и отдельная специальная дисциплина, и часть истории. Археология самостоятельна, ибо ведает своим уникальным материалом, применяет к нему специфические приёмы исследования и имеет свои собственные задачи. Но она — часть истории, ибо на её материале воссоздаётся один из разделов истории культуры и решаются историко-этнологические проблемы.

Как и П.В. Павлов, А.А. Спицын считал историю энциклопедической наукой, аккумулирующей данные, полученные различными дисциплинами. Он резко возражал против участвовавших к концу XIX в. попыток вывести археологию из исторического цикла и числить её по разряду антропологии.

<...> Она [антропология. — Н.П.], — указывал он, — стремится быть общей наукой о человеке, захватывая все науки о нём. По [Э.Ю.] Петри¹, антропология есть наука энциклопедическая, включающая в себя анатомию, физиологию,

¹ *Петри Эдуард Юльевич* (1854–1899) — доктор медицины. С 1887 г. — профессор кафедры географии и этнографии Санкт-Петербургского университета. Читал лекции по первобытной археологии в рамках общего курса антропологии.

учение о душе (психологию и логику), этнографию-этнологию-социологию, географию, лингвистику, историю, философию. По несколько высокопарному выражению Петри, антропология решает вопрос, что такое человек, откуда он и что его ожидает? Дальше идти, кажется, некуда <...>. *Каждая наука может основываться лишь на своём материале, изучаемом своими особыми приёмами, которые принадлежат только ей. <...>. Из основных своих настоящих занятий одно антропология должна предоставить археологии, другое — этнографии, третье — социологии и т. д., по принадлежности* (курсив мой. — Н.П.)» (РА ИИМК. Ф. 5. № 101, л. 17 об.—18).

Чёткое ограничение археологии областью вещественных памятников не являлось у Спицына результатом ограниченности диапазона его собственных возможностей как исследователя. Подготовка его как историка-источниковеда была вполне профессиональной и комплексной. В университете он мог, наряду с археологией, вести занятия по русской палеографии, истории летописания, истории актов боярского землевладения в Новгороде и т. п. (Тихонов, 2003: 75—76). Однако в теоретическом плане А.А. Спицын чётко разграничивал указанные области своих занятий по характеру источников и методов их исследования.

4.6.3. Разделы археологии по А.А. Спицыну

А.А. Спицын делил археологию на два отдела: *общую* (чистую) и *прикладную* (частную, бытовую). По его образному выражению, — «Экипаж археологии — парный» (РА ИИМК РАН. Ф.5. № 101, л. 12 об.). В первый отдел входило, собственно, вещеведение (хотя сам термин им не употреблялся), то есть описание вещей, их формальное, технологическое и стилистическое изучение, типология. Второй отдел археологии, по Спицыну, — методика добывания и первичной группировки археологического материала, установление позиций, соотношения предметов между собою, выделение и реконструкция отдельных комплексов.

Именно эта «частная» археология практически целиком поглощала собственные силы А.А. Спицына. Огромный накопленный материал, по его словам, «тяготил русскую науку», требуя систематизации. Однако «важнейшей» частью археологического знания ученый называл всё же не «прикладную», а именно «чистую» археологию. Правда, при этом он оговаривался: разработка данной области только начата:

«Изучение вещей — это основная работа археолога, от которой зависит успех всех дальнейших работ. <...>. Хорошее описание вещи — венец искусства, знаний и остроумия исследователя. <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 116, л. 7).

«Знатока дела, а также любителя старины вещь может интересовать сама по себе, как натуралиста дерево или растение, без всякого отношения к истории. Вещь представляет интерес в трёх направлениях — со стороны *формы, техники и стиля* (формула из истории искусства). Откуда вещь получена, при каких условиях найдена, исследователю не важно знать. Равным образом вещи, не представляющие интереса сами по себе, находятся вне круга его интересов. Интересны мастерство и эстетика.

Другого исследователя вещи интересуют не секретами техники своей или истории формы, или стилем, а для него первые вопросы: какого времени и на-

рода вещь, откуда она попала и какую судьбу имела? Для него она лишь черта характеристики или истории быта той или иной народности. Для него все вещи важны. Вещь незначительная может иметь более цены, чем драгоценная, раз она решает какой-либо вопрос о прошлом народа <...>. Чрезвычайно важны хронология и распространение таких вещей, почему историк проявляет самое изысканное внимание к обстоятельствам находки.

В результате своих работ исследователи первого рода имеют картину движения искусства и всякого мастерства, а вторые — историю народного вещественного быта. Археология первого рода есть *чистая или общая*, вторая — *прикладная или частная*.

Общая археология в настоящее время заслуживает наибольшего внимания, без хорошего развития её невозможна точная картина быта, так как важнейшие для неё вопросы о времени и месте изготовления вещи не могут быть решены. Чистая археология есть специальное знание о вещи, которого не может иметь историк. Историк никогда не может быть специалистом-археологом. Может быть, нам следовало бы оставить все другие наши занятия и отдаться исключительно этой стороне изучения вещей. <...>.

<...> Где наши хотя бы самые элементарные изыскания в технике и истории скани, зерни, черни, инкрустации и пр.? Их нет, потому что ещё нет достаточно-го материала. Вещи известны лишь в отрывках, а, кроме того, есть технические секреты, уже совершенно утраченные. Это знает всякий, кто принимался за такого рода исследования <...>.

<...> Чистая археология есть лишь наука будущего. Это не значит, что можно с ней не считаться. Наоборот, каждый археолог должен и вынужден бывает собирать для неё посильный материал; даже малые выводы по форме, технике и стилю могут быть уже чрезвычайно важны для прикладной археологии; важно даже простое описание различия в технике однородных вещей. К такому убеждению приходит всякий работающий археолог. <...> (курсив мой. — Н.П.)» (РА ИИМК РАН. Ф. 5. № 101, л. 11 об.—12).

В отечественной археологии начала XX в. «специальное знание о вещи» разрабатывалось, в первую очередь, для находок, имевших эстетическую ценность (произведений искусства). В этом деле большая заслуга принадлежала Н.П. Кондакову и его школе. По мнению А.А. Спицына, кондаковский подход следовало бы распространить на все без исключения категории археологических находок, однако не стоит, подобно ему, пренебрегать изучением контекста этих находок:

«<...> На верхах наших археологических знаний сложились две школы и два отношения к древностям. <...>. Старая <...> говорит: древности интересны сами по себе и только одни, и интересны не все, а те, на которых есть следы творчества и искусства. Вещей мало, дайте как можно больше вещей, чтоб можно было, пользуясь строгим методом, подвергнуть их сравнительному исследованию, получить общие выводы. Не лишено интереса, но не имеет важности знать судьбу вещей и обстоятельства их находки.

Вторая школа, выросшая из круга занятий практической археологии, <...> говорит: добытый материал, прежде всего, ведёт к характеристике народа, его оставившего. Чтобы иметь точную хронологию и картину быта, нужно обращать точнейшее внимание на обряд погребения и обстоятельства находки. Важны все

без исключения находки, самые незначительные, так как и они служат к характеристике быта. При раскопке памятник уничтожается и потому они должны быть использованы так, чтобы не было упрёков. *Изучение вещей самих по себе — дело очень серьёзное, но археолог не может ему исключительно отдаться, будучи озабочен своею ближайшею целью — исследования и систематизации.*

<...> Любопытно припомнить мои споры с Н.П. Кондаковым. Я ему чрезвычайно благодарен, так как не мог не оценить тех оснований, во имя которых он ставил свои требования. Я со временем даже исполнил ряд работ по основаниям истории искусства и таким образом вполне освоился с этой точкою зрения. Таким образом, я совместил в своих занятиях и ту, и другую точки зрения, признав законность их обеих. <...>

Ясно, что все древности, соединённые одною техникой, содержанием и стилем, должны составить определённую единицу, величину, вид, стройное целое, иногда весьма значительного объёма. Это целое соберёт весьма много вещей, <...> целую житейскую обстановку: жилище, одежду, предметы поклонения, украшения <...> (курсив мой. — Н.П.)» (РА ИИМК. Ф. 5. № 95, л. 10–11).

При некоторой сбивчивости, терминологической нечёткости последнего определения, тут ясно видна попытка А.А. Спицына представить археологический материал в целом, как ряд «единиц», *совокупностей*, в рамках которых различные категории древностей тесно взаимосвязаны и объединены в некую систему («стройное целое»). В связи с этим стоит отметить: хотя само понятие «культура» sporadически «всплывало» в археологической литературе еще с 1870-х гг., именно А.А. Спицын первым начал осознанно применять его на практике, как инструмент для реконструкции этнографических общностей древности (Спицын, 1899). Знаменитая работа Г. Косинны «Орнаментированные железные наконечники копий как признак восточных германцев» (которую нередко считают «точкой отсчета» указанного исследовательского подхода) вышла из печати лишь 6 лет спустя, в 1905 г.

Таким образом, концепция А.А. Спицына представляет собой попытку свети воедино две традиции отечественной археологической науки — историко-культурную и художественно-историческую. Первая развивалась трудами И.Е. Забелина, А.С. Уварова и их последователей. Ярчайшим представителем второй был Н.П. Кондаков. Именно он ввёл в русскую науку представление, что предмет археологии есть не что иное, как *формы предметов в их образовании и дальнейшем развитии*, интуитивно угадав значение такого приёма, как установление характера и частоты сочетаний различных форм между собой (Кондаков, 1887: 228; 1896: 7–8; Лебедев, 1992: 243–247, 264–267).

У А.А. Спицына художественно-историческое направление в русской археологии названо «старой» школой. Это вряд ли правомерно. В начале XX в. художественно-историческая школа Н.П. Кондакова была такой же «новой», как и историко-культурная, занятая разработкой систематики национальных древностей России. Просто корни этих направлений в отечественной археологии были различны.

Первая базировалась на винкельмановской традиции, в рамках которой вырабатывался и совершенствовался метод анализа собственного, неповторимого материала археологии — вещественных и изобразительных памят-

ников (пускай поначалу — исключительно произведений искусства). Вторая «школа» выросла из историко-бытовой («национальной») русской археологии второй половины XIX в. В отличие от винкельмановской, она не располагала предыдущими наработками антиквариев в области изучения вещей. Как уже упоминалось выше, здесь не могло сложиться приоритета изучения вещевого материала над исследованием его исторического и палеоэтнографического контекста. Скорее наоборот: на первый план выступало именно изучение контекстов, комплексов находок — с точки зрения их хронологии и историко-этнографической реконструкции.

Для А.А. Спицына было характерно стремление объединить достижения этих двух самостоятельных традиций, снять между ними все реальные и кажущиеся противоречия. Сам он был именно археологом-историком, историком культуры и по образованию, и по научным интересам. Ему было ясно: без «специального знания о вещи», без детальной разработки находок по формам, технике и стилю все попытки исторической реконструкции «внешнего быта» безнадежно повиснут в воздухе. Отсюда берёт начало его разделение археологии на два взаимосвязанных «отдела», отсюда подчёркивание исключительной важности формально-го и технологического анализа.

4.6.4. А.А. Спицын об О. Монтелиусе и типологическом методе

В архиве А.А. Спицына сохранился очерк об О. Монтелиусе, датированный 1922 г., когда, по случаю смерти классика мировой археологии, в РАИМК состоялось заседание, посвящённое его памяти. Очерк включает и живые воспоминания о встрече с Монтелиусом на Международном Археологическом конгрессе в Стокгольме (1912 г.):

«Монтелиуса мне довелось видеть не так давно, на Стокгольмском съезде. <...>. Он выступил здесь в зените своей славы и авторитета, и, казалось, в наивысшем подъёме своей творческой деятельности. Здесь всё было к нему обращено, всё перед ним преклонялось. Это был центр внимания съезда, его фокус. Люди постарше и позаслуженнее держались в непосредственной орбите светила; начинающие, молодёжь, располагались в почтительном отдалении, подальше, но ловили каждое его движение. Вторая персона съезда (на мой взгляд, весьма сомнительная известность) проф. Косинна, не имея собственный Олимп, не отставал от Монтелиуса ни на шаг.

Монтелиус казался патриархом среди многочисленной и дружной семьи, дубком среди густой молодой поросли. Высокий, стройный, внушительный и даже изящный старик, удивительно бодрый, Монтелиус держался на съезде с изысканным достоинством. Чутко прислушивались к его замечаниям, ждали с нетерпением его оживляющей шутки. Не только не подвергались критике его теории, но не вызвали сомнения. <...>. Его сложная хронология принималась окончательно и абсолютно. Монтелиус безмолвным согласием оказался забронованным от каких бы то ни было возражений; допускались лишь развитие его идей и пользование ими.

Тем бережнее относились к нему, что съезд явно был лебединою песнею в его практической деятельности; все знали, что Монтелиус оставляет Стокгольмский

музей <...>. Казалось, что самый съезд созван был с тайной целью почтить 75-летний юбилей этого, уже перегруженного лаврами, археолога-солнце. Ведь на Западе умеют быть внимательными к заслуженным учёным. <...>. Мы же не привыкли следить друг за другом, беречь друг друга. Теперь, когда жизнь с такой стремительностью опустошает фонд наших дарований, с особенной грустью приходится признать, что в России надлежащая оценка учёному-специалисту даётся лишь после его утраты <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 17, л. 1–3).

Типологический метод О. Монтелиуса А.А. Спицын ценил высоко, считал его универсальным. Но при этом он отчётливо сознавал как силу, так и слабость этого метода, подчёркивая: «типология хороша только там, где есть для неё достаточный материал» (Там же: л. 14). В спицынских набросках к лекциям мы читаем:

«Классификация (типология) есть изучение серий вещей в самих себе, без отношения к общему составу культуры, иначе — систематическое изучение определённых форм <...>. В результате такого изучения вещей является история развития разрядов вещей и стилей. Каждая отдельная стадия развития формы называется её типом. Если материал имеется обильный и непрерывный, то получится очень устойчивая картина, чрезвычайно пригодная для хронологии и для истории развития культур и определения их соотношения.

Типологические работы и неизбежны для каждого без исключения археолога, и всегда дают прекрасный результат. Но в то же время они <...> рискованны, по недостатку материала. Особенно опасны общие типологические картины, так как при недостатке данных приходится предполагать промежуточные формы и вообще вступать в область гипотез или вводить слишком отдалённый материал.

История форм топора, фибул, техники зерни, вообще история форм и техники в пределах мировой культуры — ещё недостижимая мечта. Несравненно более доступна типология в пределах одной и той же культуры и близких к ней <...>. Самая обыкновенная ошибка при изысканиях этого рода — определение сходства форм, где его нет или где сходство идёт из различных источников <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 116, л. 8 об.).

В своём очерке 1922 г. Александр Андреевич подчёркивал, что в О. Монтелиусе его «восхищает его трудолюбие, ширина и смелость мысли, восхищает то, что он не боится гипотезы, но ищет её. Всё вместе взятое сделало то, что единственно полную картину бронзового века мы имеем пока только в его работах» (РА ИИМК. Ф. 5. № 17, л. 14 об.).

Однако в том же очерке отмечено и другое:

«Весь материал Монтелиуса можно перекраивать и переустраивать на разные лады <...>. Нидерле совсем не принял схемы Монтелиуса, разделив бронзовый век на 2 периода <...>. Дешелетт (10 лет спустя) поступил со схемой Монтелиуса очень характерно и любезно: рассыпался перед ним в изысканных любезностях, а на деле совершенно пренебрёг ею, дав иную комбинацию вещам и иную хронологию. Он и имел на то право, так как должен был применить шведскую схему к французскому материалу <...>».

Мои собственные работы в западных музеях показали мне, что к схеме Монтелиуса необходимо подходить с осторожностью. В шведских кистях оказались вещи одновременно I и IV периодов Монтелиусовой хронологии <...>» (Там же. Л. 10).

Из приведённых цитат видно: А.А. Спицын не сомневался, что закономерности эволюции типов, положенные О. Монтелиусом в основу его хронологии, существуют реально. В то же время, с его точки зрения, существует целый ряд ограничений в использовании этого метода. Главным критерием его применимости служит «обилие и непрерывность» материала. Напротив, отрывочный характер источников довольно часто приводит к ошибкам. Особенно недопустимо, по мнению Спицына, привлечение отдалённых аналогий, ибо развитие типов идёт своеобразно в рамках различных культур. Наблюдаемое сходство может быть случайным и вызываться разными причинами.

4.6.5. Культура и этнос по А.А. Спицыну

Необходимость и правомерность *этнического* определения культурных остатков представлялась А.А. Спицыну очевидной (по крайней мере, для поздних исторических эпох). Археология для него была сравнима с «этнографией в истории». Если народности различимы в настоящее время, то почему же они не должны быть различимы в прошлом?

«У каждого народа есть множество вещей чужих, но ещё больше в жизнь им вкладывается своего, личного, изготовленного по собственному обычаю или сообразно местным условиям. Если в толпе, а особенно в доме, вы безошибочно отличите финна, цыгана, татарина, француза, еврея, киргиза, потому что каждый из них на свой лад, то как не различить их по предметам быта? <...>. Археолог имеет суждение не на основании одних только находок в погребениях, он судит по находкам на поселениях, принимая во внимание всякую подробность и мелочь, а особенно охотно — по обряду погребения, который у разных народов непременно иной <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 101, л. 10 об.).

Таким образом, культурная группа отождествлялась А.А. Спицыным с народностью. Там же, «где история не знает народов и племён, там <...> приходится именовать их по названию культуры» (РА ИИМК. Ф. 5. № 116, л. 10). Археологический материал являлся для ученого наиболее весомым при решении вопросов этногенеза: археология «владеет таким материалом, при наличии которого заключения остальных смежных наук являются лишь предположениями. Её материал точный, реальный <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 95, л. 14). Но всё же определение народности или племени есть «очень трудная и рискованная операция там, где не имеется достаточного запаса сведений. Одни и те же древности приписывают русским и финнам, радимичам и северянам, болгарам и татарам <...>» (РА ИИМК. Ф. 5. № 116, л. 10).

Следует, впрочем, отметить, что позиция А.А. Спицына в вопросах определения народности оказывалась на практике более чем взвешенной. Он с лёгкостью преодолел то, что Н.П. Кондаков называл «внушениями узкого патриотизма» (Толстой, Кондаков, 1889: I-II), и вполне разделял «позицию спокойного историка», сформулированную его коллегой и близким другом проф. С.Ф. Платоновым. Преданность интересам русской археологии отнюдь не побуждала Александра Андреевича создавать из неё «великую национальную науку» на манер Г. Косинны, которого А.А. Спицын назвал персоной «весьма сомнительной известности» (см. выше). Признание, к примеру, неславянского характера

заселения Новгородчины, Смоленска, Полтавщины или даже Киева накануне прихода варягов, по его мнению, ничуть не роняло чести и достоинства русского народа, коль скоро (в его понимании) этот вывод реально вытекал из источников (РА ИИМК РАН. Ф. 5. № 101, л. 10).

4.6.6. Идеи А.А. Спицына в отечественной археологии XX в.

Советская историографическая традиция нередко представляла А.А. Спицына таким подвижником-одиночкой, не имевшим ни учеников, ни постоянных сотрудников. Подобное представление противоречит фактам. Деятельность его как учителя и наставника молодых археологов была весьма плодотворной. Так, например, всем исследователям Северо-Запада России хорошо известно, что в начале XX в. здесь наблюдался подъём полевых исследований и велась целенаправленная работа по сбору материалов для археологической карты. Принято даже отмечать особую роль Н.К. Рериха в этом деле (Лапшин, 2001: 242). Безусловно, энергия молодого Н.К. Рериха сыграла тут немаловажную роль, однако недавние разыскания И.Л. Тихонова показали, что настоящим координатором работ по обследованию Северо-Запада в 1900–1910-х гг. являлся А.А. Спицын. Многочисленные и, на первый взгляд, разрозненные обследования и раскопки в действительности представляли собой реализацию плана, изложенного Александром Андреевичем в записке «О исследовании собственно русских курганных древностей», поданной в Совет ИРАО ещё в 1899 г. Записка содержала целую программу работ, причём предлагалось отказаться от бессистемных раскопок и сосредоточить усилия на выявлении типов погребальных сооружений и вещей, характерных для отдельных славянских племён, а также на установлении их хронологии методом полного изучения памятников на чётко ограниченной территории. Реализацией этой программы и явились работы 1900–1910-х гг., которые велись, по большей части, учениками Спицына по университету и Археологическому институту при его активном участии (Тихонов, 2003: 74–82).

Стремление А.А. Спицына иметь учеников и продолжателей своего дела неоднократно подтверждалось им самим. «Будущее покажет, — говорил он в 1909 г., — насколько были основательны надежды русской археологической семьи на кафедру и насколько оправдана моя личная заветная мечта — иметь несравненно более учеников, чем я уже имею» (см.: 4.6.1).

Александр Андреевич умел увлекать других и сам был прекрасным организатором. Однако, являясь душой всего дела, он не любил и, по-видимому, никогда не стремился стать официальным руководителем, начальником. Тем не менее участие его в делах учеников было постоянным. В личном фонде А.А. Спицына сохранились материалы, дающие представление о том, что, по меньшей мере, на рубеже 1900–1910-х гг. Александр Андреевич постоянно был окружён студенческой молодёжью и выпускаемыми постоянно работавшими в археологии под его руководством. Накануне Первой мировой войны ученики Спицына уже вполне профессионально вели раскопки во многих регионах — от Беломорья и Прииртышья до Северного Причерноморья (Тихонов, 2003: 77–80; Платонова, 2004а: 58–60). В позднейшей автобиографии А.А. Спицын отмечал: «Я избегал

обширных раскопок <...> и потому, что раскопки, а особенно отчёты о них, требуют большого времени, и потому, что заботился вывести в поле молодых археологов <...>» (Спицын, 1928: 340).

Впоследствии некоторые ученики А.А. Спицына полностью перенесли свои интересы в область русской истории (П.Г. Любомиров, С.Н. Чернов, П.А. Садиков, Н.Ф. Лавров). Последнее неудивительно, ибо десятилетие 1915–1925 гг. весьма не благоприятствовало археологическим исследованиям, и молодым выпускникам историко-филологического факультета волей-неволей приходилось выбирать из возможных специализаций более доступную. Других — быть может, самых талантливых археологов генерации 1910-х гг., принадлежавших к окружению А.А. Спицына — оторвали от науки эмиграция или гибель.

Среди этих последних следует особенно выделить два имени — А.В. Тищенко и П.А. Балицкий. Блестяще заявив о себе в начале 1910-х гг., оба они так и не успели развернуть свою деятельность из-за войны и революции. А.В. Тищенко, в котором многие коллеги видели тогда будущее светило русской археологии, ушёл добровольцем на фронт и в 1914 г. погиб. Погиб и другой ученик Александра Андреевича, молодой археолог К.А. Щероцкий. П.А. Балицкий после революции уехал на Украину (Саханёв, 1928: 346). Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Между тем есть некоторые основания приписывать П.А. Балицкому авторство неизданной брошюры «Способы и приёмы археологического исследования», в которой детально рассмотрен процесс полевого изучения памятников эпохи неолита-энеолита на юге России и дальнейшей камеральной обработки материала. Написанная, по-видимому, перед самой войной, она фрагментарно сохранилась в спицынском архиве (РА ИИМК РАН. Ф. 5. № 114, л. 1–39). Со страниц её перед нами встаёт блестящий молодой исследователь — дотошный, педантичный, строго и логически мыслящий...

Таким образом, «первая генерация» учеников А.А. Спицына рассеялась, не оставив в науке заметного следа. По-видимому, с этим и связаны ходячие представления о нем как учёном, не создавшем своей «школы». Советских археологов генерации 1920 — начала 1930-х гг. у нас как-то не принято называть его учениками. Обычно считалось: после революции у молодёжи появились иные «властители дум». На фоне их А.А. Спицын выглядел анахронизмом. Но на деле взгляды его на археологию как науку, определившиеся в 1900–1910-х гг., имели прямое и непосредственное продолжение в советское время — уже после разрушения этнолого-антропологической парадигмы археологии, господствовавшей в эпоху нэпа (см. ниже). Педагогическая деятельность А.А. Спицына в Петрограде после 1917 г. продолжалась ещё 10 лет, и многие из археологов советского периода успели у него поучиться. Стоит отметить: как минимум, четверо студентов, ставших в дальнейшем очень известными учёными, являлись для старого профессора не просто слушателями его лекций. То были ближайшие ученики, вхожие в его дом и до самой смерти Александра Андреевича поддерживавшие с ним постоянный контакт. Сегодня многие удивятся, услышав их имена: В.И. Равдоникас, Б.А. Латынин, Т.С. Пассек, П.Н. Третьяков¹. Учеником А.А. Спицына считал

¹ Сведения получены автором от дочери А.А. Спицына Надежды Александровны в 1988 г.

себя и Н.Е. Макаренко, перенесший свою деятельность из Петрограда на Украину в 1918 г. (Кузьминых, Усачук, 2010, в печати).

Не приходится удивляться, что целый ряд спицынских положений оказался вполне созвучен концепциям последующего периода развития отечественной археологии. Если ненадолго оставить в стороне разносную критику предшественников, содержащуюся в книге В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры», и внимательно проанализировать её, так сказать, «положительную» часть, то окажется, что ядром равдоникасовской концепции являются:

- а) представления об археологии как о *гуманитарной, исторической науке*;
- б) тождество археологии и *истории материальной культуры*;
- в) утверждение археологии в качестве *самостоятельной научной дисциплины*, со своим особым *методом*;
- г) подчёркивание важности изучения *массового материала* и необходимости учёта всех категорий памятников;
- д) выдвижение на первый план археологической *систематики*, а не «вещеведения» (реконструкция и последовательное изучение «культурных комплексов-разрезов») (Равдоникас, 1930: 15, 30–31).

Таким образом, конкретные представления об археологии, её предмете и методах, изложенные в 1930 г. марксистом В.И. Равдоникасом, если очистить их от идеологической шелухи, представляются не чем иным, как *преемственным развитием* взглядов, которые 20 лет излагались в университете его далёким от марксизма учителем (так и не будучи нигде опубликованы!). Впрочем, далеко не все разработки А.А. Спицына были восприняты его непосредственными учениками. К примеру, его методика, основанная на ретроспективном подходе к славяно-русским древностям, по которой расселение летописных племён реконструировалось по пережиткам их культуры в поздних курганах, П.Н. Третьяковым оказалась отвергнута. Но параллельно этот же самый подход был усвоен и творчески развит в Москве — в трудах А.В. Арциховского и позднее Б.А. Рыбакова.

К сожалению, спицынские представления о важности «специального знания о вещи» воспринятые им от Н.П. Кондакова, не смогли пустить корней в советской археологии в период господства вульгарного социологизма (разумеется, вне рамок классических и скифо-сарматских древностей, где они имели давние и глубокие традиции). Само понятие «вещеведение» в 1930-х гг. было настолько идеологизировано, что стало напрямую ассоциироваться с образом врага — к немалому ущербу для отечественной науки.

4.7. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АРХЕОЛОГИИ КАК ОТРАСЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ: А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

В конце XIX в. в России достаточно интенсивно шла разработка *теоретических основ и философии* исторической науки. Соответственно, не была забыта и археология, рассматриваемая как одна из наук исторического цикла. Уже упомянутое выше ключевое противоречие отечественной археологии — противоречие между

высоким уровнем академической и университетской науки, с одной стороны, и слабой первичной изученностью российских древностей, с другой — к концу XIX в. оказалось, в основном, преодолено. И именно для этого периода мы можем говорить о начале целенаправленной, полноценной разработки *теоретических основ археологии* на русской почве. Важнейшая роль принадлежит здесь трудам выдающегося русского историка академика *Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского* (1863–1919).

4.7.1. А.С. Лаппо-Данилевский — личность и творчество

Скажем вначале несколько слов о самом А.С. Лаппо-Данилевском. Будучи историком по призванию, этот исследователь отличался исключительной широтой научного кругозора. Он обладал поистине энциклопедическим образованием: помимо наук историко-филологического цикла, углубленно изучал юриспруденцию и экономику, а позднее, в интересах всестороннего обоснования своих философских идей, самостоятельно освоил полный курс физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.



А.С. Лаппо-Данилевский
(1863–1919)

На историко-филологический факультет А.С. Лаппо-Данилевский поступил в 1882 г. «Основным центром его занятий, — писал впоследствии его близкий друг И.М. Гревс, — стала русская история, хотя не забывались и другие, уже сделавшиеся любимыми области — история всеобщая, философия, археология, привязанность к которой возникла из интереса к доисторической культуре. Из такого сочетания занятий вырос первый научный опыт А.С. — исследование о «Скифских древностях», потом переработанный и напечатанный (в 1887 г.). Здесь как бы соединились русская история, античность и археология, а также — в смысле методы — изучение вещественных и художественных памятников и анализ письменных источников <...>» (Гревс, 1920: 54).

Как нередко бывает у высокоодаренных людей, обладающих чрезмерной критической направленностью мышления, это последнее качество нередко обращалось ученым против себя самого. «Строжайшая самокритика» часто заходила «за пределы, в каких она являлась плодотворною», и заставляла исследователя раньше времени разрушать свои собственные построения и гипотезы. Вероятно, именно поэтому он так и не смог закончить и защитить докторской диссертации, и был избран академиком ИАН, имея лишь научную степень магистра.

«В муках он творил, в муках переживал, <...> постоянно ощущал себя ниже взятой задачи <...>. Он был *трудный человек*: сам тяжело подходил, и к нему подойти было нелегко. Но кто бы мог заподозрить, что этот недоступный, по видимости, высокомерный человек, судивший и осуждавший (*accusativus*, придира, как говорили нерасположенные) был сам такого низкого мнения о себе, так ценил благое в других, так сердечно нуждался в общении <...>» (Там же: 61–65).

По признанию И.М. Гревса, А.С. Лаппо-Данилевского «любили немногие; не любили, пожалуй, многие <...>» (Там же: 65). Однако при всех трудных качествах своего характера он был прирожденным Учителем и активно формировал свое собственное направление в науке. Он «не вошел в историческую школу Петроградского университета, а поставил рядом с ней свою, особую, казавшуюся не исторической, а теоретической, выпадавшей из строя факультетского преподавания русской истории <...>» (Пресняков, 1920а: 24–25). Постоянными посетителями семинаров Лаппо-Данилевского были А.В. Тищенко (талантливый археолог, рано погибший ученик А.А. Спицына), а также будущие видные историки-источниковеды А.Е. Пресняков, С.Н. Валк, Б.А. Романов и др. Многие из них вспоминали об исключительной атмосфере этих семинаров, обусловленной особым обаянием личности Александра Сергеевича и особой направленностью его научного пути.

«Как бы ни были разнообразны ваши исторические интересы, — утверждал молодой Б.А. Романов, — они без труда найдут удовлетворение в многообразии университетского преподавания. Но если вы хотите получить строгое научное воспитание и внутренний культурный закал — идите в аудиторию Александра Сергеевича. Там вам не дадут мыслить не строго, там приучат вас уважать чужую мысль; там упорно вяжется культурная традиция, там неугасимый очаг честной мысли <...>» (Романов, 1920: 186).

«Чувство долга владело нами в занятиях <...>, — вспоминал С.Н. Валк. — Нам бывало стыдно, если кто-либо позволял себе строить свои заключения, не привлекая всего возможного материала. <...> И сам докладчик в тех случаях чувствовал себя виноватым, и сам А.С. не мог сдержать своего неудовольствия. Так вспоминается один из докладов незабвенного А.В. Тищенко, которого А.С. не допустил к обсуждению, так как не был использован весь надлежащий материал. Это блуждание материала, кирпичей нашего рабочего здания, просветляло нашу душу. Проработав тему, представив ее на суд А.С., мы творили в себе психологию научной уверенности <...>» (Валк, 1920: 193–194).

По словам А.Е. Преснякова, А.С. Лаппо-Данилевский вносил в научную работу «строгую культурную воспитанность мысли и воли, глубокую искренность и этическую настроенность. Этими чертами определялась его роль как университетского преподавателя и ученого деятеля. Он был не только учителем науки, но, прежде всего, воспитателем научности, неотделимой от общего культурного и этического воспитания духа и воли...» (Пресняков, 1920: 96).

4.7.2. А.С. Лаппо-Данилевский как археолог

Профессионализм А.С. Лаппо-Данилевского в области археологии не вызывал сомнения ни у кого из его современников. По словам того же А.Е. Преснякова, «археология осталась <...> одним из постоянных элементов его разностороннего научного кругозора. <...> [Он] внимательно следил за движением этой науки в России и других странах...» (Пресняков, 1920: 83).

В начале 1890-х гг. А.С. Лаппо-Данилевский был избран членом-корреспондентом ИАК. В его активе к тому времени имелся ряд конкретных археологических работ, была подготовлена монография о кубанском кургане Караго-

деоуаш (1894). Как отметил С.А. Жебелёв, она явилась «образцовой публикацией курганных находок», в которой автор, «широко используя типологический и сравнительный методы, достиг блестящих результатов» (Жебелёв, 1923: 141). Характерно, что уже тогда А.С. Лаппо-Данилевский «прямо указывал на необходимость изучения древних вещей в контексте их нахождения *in situ*, во взаимосвязи с устройством погребальной насыпи», тогда как «многие его современники-археологи ограничивались изучением только самих вещей» (Тихонов, 1998: 161). Позднее, в 1918 г., А.С. Лаппо-Данилевский был привлечен в комиссию по преобразованию ИАК в Академию археологии. Он был бы в числе «отцов-основателей» РАИМК, если бы не безвременная смерть в голодном революционном Петрограде.

Во второй половине XX в. значительная часть наследия А.С. Лаппо-Данилевского оказалась основательно забыта. В наше время потребовался целый ряд новых исследований и публикаций для того, чтобы заново оценить его по достоинству (Корзун, 1989). Подробная характеристика собственно археологических работ ученого принадлежит И.Л. Тихонову (1998). Это освобождает меня от необходимости детально освещать указанные работы. Остановлюсь лишь на нескольких важных моментах.

Уже упомянутая выше монография А.С. Лаппо-Данилевского «Скифские древности» (1887) явилась серьёзным вкладом в развитие русской скифологии. В ней молодой историк «стремился выделить этапы и особенности путей исторического развития западных и восточных скифов, показать их взаимоотношения с греческими колониями в Северном Причерноморье <...>» (Нечухрин, Рамазанов, 1996: 515). Однако основное внимание он уделил тому, что сейчас называется «историей повседневности», детально охарактеризовав нравы и обычаи скифов, их повседневные занятия, семейные отношения, верования, пищу, жилища, одежду, утварь, вооружение и т. п. В результате книга оказалась построена на удивление современно. Напомню, что в последние десятилетия и на Западе, и в России издаются обширные книжные серии, описывающие именно «повседневную жизнь» разных времен и народов.

Эта актуальность многих идей и подходов А.С. Лаппо-Данилевского для науки сегодняшнего дня уже неоднократно отмечалась исследователями его творчества (Там же: 515). Проявилась она и в небольшом этюде о делении первобытной культуры на периоды (Лаппо-Данилевский, 1891). Принимая в целом археологическую периодизацию Х. Томсена, ученый констатировал, что, хотя она и позволяет определить степень развития человеческих коллективов, «но не со всех сторон, а, главным образом, в техническом отношении, ибо *тот или иной характер материала и способа его обработки едва ли можно считать достаточно полным показателем всестороннего развития данной социальной группы* (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 13). Эта мысль об узко «технологическом» характере археологической периодизации и ошибочности эволюционистских посылок, по сути, отождествлявших развитие технического прогресса с «всесторонним развитием» человеческих коллективов, очень долго оставалась на периферии археологических исследований XX в. Лишь на рубеже XX–XXI вв. она получила новое развитие (ср.: Аникович, 2005).

Обращает на себя внимание и отчетливое понимание различия между хронологией и периодизацией человеческой культуры, продемонстрированное А.С. Лаппо-

Данилевским уже в этой, по сути, юношеской работе. Такого понимания порой не хватает ряду современных археологов, путающих культурно-исторические периоды с хронологическими. Между тем в уже цитированной работе 1891 г. автор подчеркивал: при единстве общей тенденции развития технологий (смена каменных орудий бронзовыми и затем железными), *длительность указанных периодов могла быть самой различной и зависеть от конкретных условий.*

Упомянутая выше статья И.Л. Тихонова охватывает, по преимуществу, первый период творчества А.С. Лаппо-Данилевского (1886–1904 гг.), когда ученый еще стоял на позициях позитивизма. В последующий период (1905–1919 гг.) происходит его обращение к неокантианству. По мнению автора, эта эволюция взглядов привела к «утрате интереса к первобытной культуре» и практическому прекращению научной работы в области археологии (Тихонов, 1998: 163). Однако, на мой взгляд, тут имело место не утрата интереса, а лишь перестановка акцентов в творчестве ученого. С позиций исследования истории археологической мысли в России, второй период творчества А.С. Лаппо-Данилевского едва ли не более интересен, чем первый. Как бы ни были важны его работы, посвященные конкретным проблемам нашей науки, наиболее серьёзный вклад в развитие русской археологической мысли он внес как теоретик.

4.7.3. А.С. Лаппо-Данилевский — теоретик археологии (первый период)

«Блюдение материала» не означало для А.С. Лаппо-Данилевского замыкания на эмпирическом уровне исследований. Стремление к «синтетическому исследованию» вообще было характерной чертой русской гуманитарной науки конца XIX в. Для указанного периода достаточно трудно говорить об узких специализациях учёных-гуманитариев. Формировались целые научные школы *комплексного источниковедения*. Именно такая широта подхода характерна и для творчества А.С. Лаппо-Данилевского.

В первый период деятельности А.С. Лаппо-Данилевского основу его взглядов на историческую науку в целом и археологию в частности составляла философия позитивизма. Вплоть до середины 1900-х он оставался верен ей в теории исторического исследования, признавая факторный подход в истории и формулируя предмет исторической науки как *изучение норм общественного развития, общих всему человечеству.*

Взгляды А.С. Лаппо-Данилевского на археологию были сформулированы после того, как в 1889 г. он капитально проработал всю накопившуюся литературу, касающуюся научных подходов в указанной области — отечественную и зарубежную. Эта работа производилась им в рамках подготовки лекционного курса, прочитанного в Санкт-Петербургском Археологическом институте в 1890 г. (ПФА РАН. Ф.113. Оп. 1. № 160).

Наброски и конспекты А.С. Лаппо-Данилевского к этому курсу, сохранившиеся в ПФА РАН, дают некоторое представление об отношении ученого к наиболее влиятельным, на тот момент, концепциям археологии как науки. Он весьма критически отнесся к позиции И.Е. Забелина, считавшего прерогативой археологии исследование «личного творчества» минувших поколений, в то время как предметом истории является исследование «родового», совокупного творче-

ства народа. В ответ на это Александр Сергеевич заметил, что область археологии, очерченная Забелиным, «слишком узка». На деле каждая археологическая вещь несет на себе отпечаток не только «личного», но и «родового» творчества, иначе говоря — тех стандартов, которые были выработаны данным обществом вкуче. «Чем древнее памятник, тем меньше в нём личного творчества, — указывал А.С. Лаппо-Данилевский, — <...> хотя он, несомненно, подлежит археологическому изучению» (Там же: Л. 9). Равным образом он решительно относил «предание», устное и письменное народное творчество к компетенции истории литературы, а не археологии.

Концепция А.С. Уварова тоже была подвергнута разбору в лекциях А.С. Лаппо-Данилевского. «Археология отличается от истории не предметом исследований, — писал А.С. Уваров, — а способом исследования. Этот способ обращает внимание не столько на вещественные памятники по преимуществу, сколько отыскивает во всяком источнике, как письменном, так и устном, ту *детальную* его сторону, которая раскрывает нам подробности, хотя мелкие, но иногда такие важные, что они кажутся как бы ещё живыми остатками древнего быта» (Уваров, 1878).

Анализируя этот взгляд А.С. Уварова на предмет археологии, А.С. Лаппо-Данилевский отмечал, что, следуя его трактовке, в область археологии следовало бы включить и историю религии, а также историю хозяйства, права и всей цивилизации вообще. Необходимость выявления «деталей», утраченных в современной живой культуре, тоже, по мнению оппонента, не являлась исключительной прерогативой археологии. «Детальный метод не имеет принципиальных, специфических особенностей. — писал он. — Историческая критика источников тоже основана на детальной обработке...» Ошибкой А.С. Уварова учёный считал то, что «вещественные памятники» не были выделены у того как главная и преимущественная область приложения методов археологии.

В начале 1890-х гг. А.С. Лаппо-Данилевский читает лекции по русской истории в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте (ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 153). Именно в этом лекционном курсе мы находим изложение основ археологии (в понимании автора) и её ближайших задач в России.

Археология рассматривалась А.С. Лаппо-Данилевским как историко-ведческая дисциплина, входящая в корпус исторических наук. Область ее он ограничивал исключительно вещественными памятниками, которые, однако, в его понимании, представляли собой *объективированные формы не только хозяйственного, но и духовного, и даже правового развития народа* (изваяние божества — объективированная форма духовного развития; орудие для охоты или земледелия — развития хозяйственного; предмет, служивший монетой, — развития правового). Таким образом, в трактовке исследователя, археологическому изучению подвергаются именно *материальные остатки прошлого*, однако специальная методика их анализа позволяет раскрывать за вещественными остатками богатейший мир идей.

Говоря о методах исследования памятников, А.С. Лаппо-Данилевский указывал на необходимость географического, геологического, палеонтологического и археологического определений места, где памятник был найден, а затем рассматривал методику *археологической классификации и критики источников*. Классификация, по его словам, могла быть двух видов — «расположение предметов

по систематическому преемству форм однородных памятников» (то есть построение типологических рядов!) и «топографическая группировка синхронных памятников». По словам автора, в ходе исследования было бы «желательно <...> совмещать и тот и другой способ».

Кроме того, уже в этих лекционных курсах начала 1890-х гг. А.С. Лаппо-Данилевский чётко сформулировал четыре основных подхода к анализу археологического материала — типологический, картографический, сравнительно-этнографический и технологический — и обосновал необходимость каждого из них как такового. Теории миграций и заимствований в археологии оценивались им вполне взвешенно: «Сходства в проявлениях быта народов могут быть результатом и не заимствований, а сходного, хотя и самостоятельного их развития, притом в самом заимствовании следует различать известные степени <...>» (Лаппо-Данилевский, 1891а: 149).

4.7.4. А.С. Лаппо-Данилевский — теоретик археологии (второй период)

В 1905—1906 гг. во взглядах ученого наступает перелом. С этого момента А.С. Лаппо-Данилевский переходит (хотя и с некоторыми оговорками) на платформу неокантианства, принимает неокантианское понимание предмета истории как «науки о культуре» (Лаппо-Данилевский, 1913: 292). Он обвиняет О. Конта в грубом реализме, догматическом утверждении тождественности социальных и естественных законов, а также в том, что он «укладывает обществоведение в «прокрустово ложе» законов позитивизма и объясняет человеческую жизнь «без остатка» действиями механических процессов <...>» (Нечухрин, Рамазанов, 1996: 524).

Как уже говорилось выше, А.С. Лаппо-Данилевский отводил археологии место в числе гуманитарных наук, изучающих общественные явления. «Сфера общественных наук слишком велика для того, чтобы могла служить предметом изучения для одной лишь научной дисциплины. — указывал исследователь. — Образовалось несколько таких дисциплин, изучающих эту сферу с разных точек зрения» (ПФА РАН. Ф.113. Оп. 1. № 288, л. 12). В числе их Александр Сергеевич называл лингвистику, археологию и дипломатику. При этом он подчёркивал, что для историка «вещественные источники» являются особо важными, они даже более важны для него, чем памятники языка. Классифицировать перечисленные науки следовало, по его мнению, *по характеру источников*.

Во второй период своей деятельности учёный стал всё более склоняться к тому, что место археологии — среди вспомогательных исторических дисциплин, и особо подчеркивал её источниковедческий характер. Однако с самого начала и до конца археология была для него наукой, изучающей, главным образом, *культурные остатки, полученные путём раскопок*.

В конце 1900—1910-х гг. ученый создает свой капитальный труд «Методология истории», выросший из лекционного курса, более 10 лет читавшегося им в Санкт-Петербургском университете. Второй частью этого труда стала «Методология источниковедения», включавшая в себя всестороннее рассмотрение *вещественных памятников как исторического источника*.

Именно в рамках данного лекционного курса А.С. Лаппо-Данилевский дополнительно классифицировал «остатки культуры» «по степени *объяснимости*

их такими факторами, которые продолжают действовать на глазах историка». В результате предметы древности оказались включены им в группу источников, в которых «жизненный процесс завершился», и можно только *догадываться* о назначении тех или иных культурных остатков по их внешнему виду или каким-то косвенным данным. Весьма характерным является указание исследователя на то, что «за материальными знаками предполагается наличие человеческой мысли», что любой источник есть «реализованный (то есть доступный чужому восприятию) продукт человеческой психики» (ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 1. № 288, л. 22—23).

Психика творца и исследователя не тождественны, предупреждал А.С. Лаппо-Данилевский. Интерпретация произведения культуры представляет собой лишь *попытку «перевода образа мыслей автора на образ мыслей историка»* (Там же: л. 53 об.). При этом интерпретация вещественных памятников включалась учёным именно *в методологию источниковедения, а не исторического построения*. «Объектом интерпретации часто служит источник, а не сам факт. Она определяет, что именно данный исторический источник может представлять для историка, в чём именно заключается свойственное ему и характерное содержание...» (Там же: л. 54 об. — 55).

Чрезвычайно интересным является замечание автора, что при изучении вещественных остатков культуры исследователь представляет себе назначение предмета «овеществлённым в его форме», а «интерпретация условного вещественного образа или символа уже довольно близко подходит к интерпретации символических знаков... В большинстве случаев <...> ассоциация устанавливается между некоторым значением и данной формой; но установление такой связи для историка оказывается иногда довольно затруднительным и требует многих предварительных разысканий <...>» (Там же: л. 66).

Таким образом, если в начале 1890-х гг. А.С. Лаппо-Данилевский сумел дать систематическое изложение задач и методов археологии, то в 1900—1910-х гг. он осветил проблему интерпретации археологического материала с философской точки зрения. Сегодня, в контексте уже *современной* науки, его формулировки столетней давности звучат достаточно органично. Глубине и взвешенности формулировок Александра Сергеевича могут позавидовать археологи наших дней.

Безусловно, взгляды А.С. Лаппо-Данилевского на археологию по целому ряду моментов далеко опередили своё время. Комплекс его представлений отражает уровень осмысления материала, качественно отличный от того, который мы привыкли считать характерным для начала XX в. в России, от и за рубежом. Решительное размежевание «остатков» и «предания» по характеру источников; исключение «предания» из сферы археологического изучения; выявление *многозначности исторического факта и зависимости его от исследователя*; чёткое осознание того, что *эволюционируют не сами «вещи», а комплекс представлений, характерный для их создателей*; необходимость изощрённой методики для *превращения вещи в исторический факт* — далеко не всё тут оказалось своевременно понято, причем не только современниками Александра Сергеевича, но и последующими поколениями археологов 1920—1970-х гг. Лишь в конце XX в. указанные представления были, наконец, восприняты и учтены в ряде теоретических работ по археологии (Клейн, 1995 и др.).

В контексте современной первобытной археологии чрезвычайно интересен тот водораздел, который был проведен А.С. Лаппо-Данилевским между исследованием «произведений природы» (или, выражаясь современным языком, природного контекста археологических памятников) и «произведений человека» (т. е. артефактов). Первые, с точки зрения Александра Сергеевича, есть результат действия сил природы, действующих по законам физики, механики и т. д. Вторые представляют собой объект, рассматриваемый с точки зрения причинно-следственной зависимости — плод деятельности человека, которая, в свою очередь, *реконструируется* историком как результат совместного действия различных факторов (ПФА РАН. Ф.113. Оп. 1. № 288, л. 21–21 об.).

«<...> Некоторые историки готовы включить в число источников и явления природы (в номотетическом смысле), поскольку они пользуются знанием о них для построения некогда бывшей исторической действительности. То есть явления природы служат историку фактором, действие которого в прошедшем предполагается тождественным или приблизительно одинаковым с тем, какое они обнаруживают на глазах историка. Переноса действие их в прошедшее, историк (подобно геологу) стремится объяснить им и прежде бывшие исторические факты <...>. Следовательно, явления «природы» физической или психической можно признать источником, из которого историк почерпает свое знание <...>».

С интересующей нас точки зрения рассуждение это нельзя признать методологически правильным. Явления природы <...> могут служить источниками для научного знания естествоведа, а не историка; естествовед изучает их и заключает о возможности действия в прошлом <...> тех же факторов, которые действуют и на его глазах. А историк лишь пользуется выводами естествоведа для построения исторической действительности... Такая научная операция должна рассматриваться не в методологии источниковедения, а в методологии исторического построения.

<...> Если историк пользуется выводами естествоведа, то он тем паче будет пользоваться выводами психолога <...>. Но методы их использования также следует отнести к методологии исторического построения <...>» (Там же: л. 18 об. — 19 об.).

Изложенные выше представления о необходимости *источниковедческой проработки разнородных данных специалистами разного профиля и дальнейшей увязки их между собой* уже в ходе исторической реконструкции вполне разделялись коллегой А.С. Лаппо-Данилевского по историко-филологическому факультету А.А. Спицыным. В своей обобщающей статье по палеолиту России ученый излагал это так: «<...> Палеолит есть особая специальная область археологии, столь близкая к естественным наукам, что еще долгое время она должна находиться в главном ведении натуралистов. Археологу доступно лишь изучение культурных остатков палеолитического периода, особенно изделий из кремня, но восстановление физических условий жизни этого времени <...> вне его компетенции <...>. Чем шире и глубже исследователь войдет в вопросы геологии, тем далее уйдет он от археологии. Чем успешнее подвинется он в археологии, тем более удалится от геологии. Дилемма палеолита решится в тот момент, к которому возмужают, идя параллельно в развитии, обе науки <...>» (Спицын, 1915: 133).

Завершая разговор о направлении исследований, созданном в исторической науке А.С. Лаппо-Данилевским, следует признать: оно, безусловно, находилось

в стороне от «магистрального пути» развития археологической мысли в России — как в дореволюционный период, так и, тем более, после октябрьского переворота. Не случайно его теоретические разработки издавались смехотворно малыми тиражами, главным образом как литографированные пособия для студентов (Лаппо-Данилевский, 1891а; 1900 и др.). Не представлял исключения даже капитальный труд «Методология истории» (1910; 1913).

В 1920 г. А.Е. Пресняков так написал о своем учителе А.С. Лаппо-Данилевском: «<...> Злая судьба оборвала его дело в полуделе. Его широкие начинания <...> покинута незаконченными <...>» (Пресняков, 1920а: 97). И тут же с горечью процитировал слова С.Ф. Ольденбурга, сказанные им в 1919 г. на заседании Исторического общества при Санкт-Петербургском университете: «Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России <...>. Длинные ряды «первых» томов, «первых» выпусков, которые никогда не имели преемников; широкие замыслы, застывшие на полуслове, груды ненапечатанных, полузавершенных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний <...>» (цит. по: Пресняков, 1920а: 97). На волне этих настроений, благодаря усилиям коллег и учеников, в 1923 г. в Петрограде удалось издать второе, переработанное издание «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского (1923).

В дальнейшем выдающаяся роль Александра Сергеевича в развитии русской исторической и археологической мысли стала упорно затухать. По мнению С.Н. Быковского, «Методологию истории» следовало бы рассматривать как «<...> труд значительный по своему объему, <...> но чрезвычайно засоренный не идущими к делу, бесполезными в практическом отношении, более того, вредными рассуждениями, идеалистическая основа которых вполне очевидна <...>» (Быковский, 1931: 2). Этот взгляд на долгие годы стал официальной точкой зрения советской историографии.

С высоты нашего времени необходимо признать: теоретические труды А.С. Лаппо-Данилевского по методологии истории и источниковедения в момент своего появления не имели аналогов в мировой науке. Лишь позднее, лет через 15–20 после первого издания «Методологии истории», в том же направлении стал работать в Великобритании Р.Дж. Коллингвуд, тоже представлявший собой историка, профессионально ориентированного в археологии. Методология истории Коллингвуда была разработана им совершенно независимо (см.: Коллингвуд, 1980). Ознакомиться с трудами своего предшественника А.С. Лаппо-Данилевского, изданными только по-русски, британский ученый не мог, а руководство советской исторической науки меньше всего заботилось о переводе их на иностранные языки. Впрочем, стоит отметить: в британской исторической науке XX в. труды Р.Дж. Коллингвуда в той же степени стоят особняком, что и труды А.С. Лаппо-Данилевского — в российской науке.

«Повторное открытие» трудов и идей А.С. Лаппо-Данилевского, совершившееся на рубеже XX–XXI вв., стало триумфальным. Произведенное им оформление методологии истории в самостоятельную дисциплину уже названо в современной российской историографии «главным проявлением развития отечественной исторической мысли <...> рубежа веков <...>» (Нечухрин, Рамазанов, 1996: 513–514; см. также: Шмидт, 1996; Ростовцев, 2004). Однако до сих пор не оценены до конца теоретические разработки А.С. Лаппо-Данилевского в области археоло-

гии, произведенные им в рамках курса методологии источниковедения. Остается надеяться, что в дальнейшем они не только займут достойное место в обзорных курсах по истории археологической мысли в России, но и окажут реальное влияние на современные научные разработки в указанной области.

4.8. АРХЕОЛОГИЯ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 1920-х гг.: П.Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

В 1920-х гг. отечественная археологическая мысль развивалась по целому ряду направлений, однако в силу исторических обстоятельств естественнонаучная платформа исследований на время стала в ней доминирующей (см. ниже). Тем не менее этот период ознаменовался появлением серьезных теоретических разработок, где констатировалось «отделение» этнологии (и первобытной археологии как ее неотъемлемой части) от цикла естественных наук. Указанные разработки принадлежали выдающемуся русскому этнологу **Петру Федоровичу Преображенскому** (1894–1937), трактовавшему этнологию как всеобщую историю культуры.



П.Ф. Преображенский
(1894–1937)

«Связь этнологического метода с методом естественно-научным, наметившимся под влиянием учения Дарвина, начинает все более ослабевать, — читаем мы в его обобщающей работе, чудом успевшей попасть в печать на рубеже Великого перелома. — Этнология историзировалась. Вместо того чтобы быть придатком географии, геологии, антропологии, она стала приближаться к истории. <...>. Историзирование этнологии началось не вследствие того, что историки стали этнологами: это развитие пошло как бы изнутри» (Преображенский, 1929: 21).

«Вместо построения равномерно располагающихся эволюционных схем, перед этнологом стоит задача построить историю культур. <...>. Ближайшей задачей этнологии как науки является именно историческая проверка ее источников и установление больших культурных комплексов и связи между ними» (Там же: 26).

Причину «историзации» науки о первобытном человеке и его культуре П.Ф. Преображенский видел в развитии идей культурно-исторической школы, выдвинувшей такие ключевые понятия, как «культурный круг» и «культурный комплекс». Отмечая недостаточную разработанность этих понятий с методологической стороны, отсутствие «внутренней координации признаков» и т. д., ученый констатировал необходимость точнее определить «то культурное единство, которое в немецкой исторической школе называется культурным кругом, а у американских этнологов — культурной площадью или ареалом» (Там же: 26–27). По его мнению, это единство не совпадает ни с единством лингвистическим, ни с единством расовым. Оно может выходить за пределы языковой группы или, напротив, заключать в себе несколько языковых групп. Оно также может совпадать и не совпадать с

распространением определенного расового типа: «<...> культурное единство <...> представляет собой величину совершенно особого рода» (Там же: 27).

Наиболее важными теоретическими проблемами современной этнологии П.Ф. Преображенский считал «проблемы корреляции и аккультурации» (Там же: 28). Напомню: идея о «культурном общении» или взаимопроникновении культур как факторе и стимуле формирования новых культурных общностей имела глубокие корни в российской науке. В конце XIX — начале XX вв. она разрабатывалась Н.П. Кондаковым, В.Р. Розеном и их учениками. В начале 1920-х гг. видный историк и этнограф А.Н. Генко определил «идею скрещения» как одну из универсальных идей, которая «заключает в себе ключ к пониманию всякого подлинного естественно-исторического и культурно-исторического становления...» (Генко 1923: 121). Однако первая попытка углубленной теоретической разработки такого явления, как *аккультурация*, на этнографическом и археологическом материале была предпринята П.Ф. Преображенским.

Взаимодействие и взаимопроникновение культур представлялось ему одной из основ процесса исторического развития человечества. Это означало, что в каждом конкретном случае требуется изучать условия, в которых происходит аккультурация, и заострять внимание на том, не появились ли в результате её какие-то элементы, которых не было раньше ни в одной из взаимодействующих культурных традиций? Вводя понятия «типа культурного взаимодействия» и «ёмкости культуры для восприятия», П.Ф. Преображенский подчёркивал различия в функционировании механизма аккультурации в случае восприятия инноваций различного рода — технических изобретений, хозяйственных форм и форм духовной культуры.

Подчёркивая важность проблемы культурных заимствований, исследователь отмечал, что если эволюционисты уделяли ей неоправданно мало внимания, то культурно-историческая школа трактует их слишком прямолинейно. Между тем, проблему заимствований в культуре нельзя понимать без учета «сложного механизма культурного взаимодействия, который при этом функционирует» (Преображенский 1929: 27). «Живая жизнь» во все времена состояла «не только в исполнении уже определённо и точно фиксированных норм, но и в их постоянном нарушении. <...>. В практическом отношении механизм корреляции культурных фактов и аккультурации может быть прослежен картографическим методом. <...>. При внимательном изучении таких соответствий можно определить центр распространения данной культуры и границы, где она начинает смешиваться с другой культурой. Если дать несколько таких картографических зарисовок за разные промежутки времени, то можно составить представление о <...> движении культур. <...>. Можно учесть движение определенных культурных форм и таким образом выяснить общую линию их эволюции» (Там же: 28–29).

Очерчивая ситуацию в области изучения верхнего палеолита, П.Ф. Преображенский подчёркивал, что все имевшиеся на тот момент научные классификации основаны на разработке исключительно западноевропейского материала, а «доисторическая археология других стран находится в зачаточном состоянии». Но трудно себе представить, что даже в Западной Европе имеющиеся схемы отражают собой действительно полную картину эволюции каменных орудий. Можно ли утверждать, что ориньяк генетически связан с солотре, а солотре

с мадленом? По мнению исследователя, здесь мы скорее «имеем дело с *различными культурными напластованиями, не всегда возникшими на европейской почве* (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 37–38).

Стоит отметить, что в мировом палеолитоведении идея аккультурации как определяющего фактора формирования европейского верхнего палеолита начала разрабатываться всерьез лишь в 1970–1980-х гг. (Allsworth-Jones, 1986). Но и среди современных археологов нередко наблюдается устарелое, «школьное» восприятие данного явления как прямого и одностороннего заимствования отдельных элементов развитых культур другими, «отсталыми» (см. об этом: Аникович, Аниюткин, Вишняцкий, 2007: 290–291). Против такой трактовки его ещё в 1920-х гг. выступал П.Ф. Преображенский.

Сам Петр Федорович искренне считал себя марксистом. Однако с наступлением «Великого перелома» его теоретические работы 1920-х гг. были признаны уже антимарксистскими. Прямого развития в советской науке они получить не смогли. После ареста и расстрела ученого в 1937 г. само имя его надолго оказалось забыто (Иванова, 1999). Тем не менее, влияние его разработок на отечественную археологическую мысль оказалось весьма значительным. Не следует забывать, что идеи П.Ф. Преображенского, настойчиво подчеркивавшего важность корреляции признаков в изучении культуры и трактовавшего саму «культуру», по сути, как совокупность этих признаков, были широко известны в среде русских археологов-палеоэтнологов 1920-х гг. Вряд ли случайно именно этот период ознаменовался у нас успешными попытками применения комбинаторных методов к классификации археологического материала — первыми в мировой археологии (см. 5.3.3).

4.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, следует сказать, что развитие отечественной археологической мысли в рамках гуманитарного цикла наук в последней трети XIX — первой трети XX вв. шло достаточно успешно, причем по разным направлениям. В теоретической области неоднократно наблюдалось «забегание вперед» — высказывание неординарных, плодотворных идей и обобщений, не находивших, однако, немедленного приложения к конкретным разработкам конкретного материала. Такого рода «забегание вперед» на разных этапах связано с именами П.В. Павлова, Н.П. Кондакова, А.С. Лаппо-Данилевского и др. Подобное явление объясняется наличием в русской археологической науке второй половины XIX — начала XX в. серьезного противоречия между высоким уровнем критического освоения новейших методологических и философских разработок, с одной стороны, и степенью практического освоения, систематизации археологических богатств России — с другой. Деятельность таких археологов, как А.С. Уваров и А.А. Спицын, была направлена, в первую очередь, на разрешение данного ключевого противоречия. Однако и труды ученых, кто по тем или иным параметрам опередил свое время, нельзя считать пропавшими втуне. Здесь, как правило, имел место фактор отложенной преемственности, в силу которого идеи, высказанные в более-менее далеком прошлом, начинали вдруг рассматриваться как вполне *современные* много десятилетий спустя.

ГЛАВА 5 АРХЕОЛОГИЯ КАК ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА В РОССИИ

5.1. ПАЛЕОЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В РОССИИ: ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О наличии в русской археологии конца XIX — первой трети XX вв. особого направления («палеоэтнологическая школа»), рассматривавшего науку о первобытности либо как дисциплину естественнонаучного цикла, либо как «промежуточную между естествознанием и обществоведением», было прекрасно известно современникам. Однако разносная критика этого направления с позиций вульгарного социологизма (Арциховский, 1929: 322–325; Равдоникас, 1930: 76–78; Совещание этнографов... 1929: 115–144) и его последующий организационный разгром (Всероссийское... совещание, 1932: 1–6; Платонова, 1997: 149–151; 2002б) привели к тому, что само существование данной научной школы стало замалчиваться в историографической литературе. В послесталинский период о ней вообще прочно забыли. Имена палеоэтнологов, переживших период репрессий (С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловский, Б.А. Куфтин, М.П. Грязнов и др.), попросту перестали ассоциироваться с указанным направлением в глазах последующих поколений учёных.

Вплоть до последних десятилетий XX в. коллеги нередко отождествляли российскую палеоэтнологическую школу с одной московской её «ветвью» — школой Б.С. Жукова. В 1929–1930 гг. именно Б.С. Жуков и его ученики стали главным объектом критики археологов-марксистов. Палеоэтнологи «ленинградской ветви», представленной в науке такими именами, как П.П. Ефименко, А.А. Миллер, С.А. Теплоухов, С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловский и др., почему-то не рассматривались критикой эпохи Великого перелома, как представители единого научного направления.

Последнее достаточно странно: все названные археологи были учениками Ф.К. Волкова, преподававшего в Санкт-Петербургском университете с 1907 по 1918 гг.; все отчётливо сознавали свою принадлежность к созданной им научной традиции; до 1930 г. все называли первобытную (и не только первобытную!) археологию не иначе, как «палеоэтнологией». Но факт остаётся фактом: в полемических выступлениях А.В. Арциховского и В.И. Равдоникаса палеоэтнологическая школа клеймилась как «идеалистичная и буржуазная» исключительно в лице Б.С. Жукова и его сорудников. Анализ её позиций в уже неоднократно упоминавшейся книге В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры» сопровождался характерным признанием: эта школа «имеет у нас *сильнейшее влияние, благодаря точности применяемых ею методов обработки археологического материала и внешней научности её построений...*» [курсив мой. — Н.П.] (Равдоникас, 1930: 76). Нападки того же автора на ленинградских палеоэтнологов (например А.А. Миллера), не сопровождались, однако, указанием

на их связь с «особо опасным» научным направлением. Впрочем, ленинградцев это не спасло. В скором времени все они стали объектами репрессий. Избежал ареста один П.П. Ефименко.

Становление палеоэтнологической школы в России происходило вне рамок таких «официальных» структур отечественной археологии, как Императорская Археологическая комиссия и столичные Археологические общества (РАО и МАО). Оно напрямую было связано с университетами — в первую очередь, Санкт-Петербургским и Московским — и шло в рамках физико-математических факультетов, где в 1880-х гг. на естественных отделениях были созданы кафедры географии и этнографии. Впрочем, в Санкт-Петербурге средоточием учёных данного направления с 1900-х гг. стал, помимо университета и созданного при нем Антропологического общества (РАОПУ), Этнографический отдел Русского музея императора Александра III — учреждение, которое, подобно ИАК, функционировало в рамках Министерства Императорского двора. В Москве ту же роль играли Музей антропологии, организованный А.П. Богдановым и Д.Н. Анучиным при университете, и отчасти — этнографический отдел ОЛЕАЭ.

5.2. ФИЛОСОФСКАЯ ПЛАТФОРМА ПАЛЕОЭТНОЛОГИИ: СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

Для пояснения философской платформы палеоэтнологии необходим краткий исторический экскурс в область зарубежной науки и философии. Выше уже упоминалось, что в европейской археологии зачисление науки о первобытности в разряд естественных дисциплин (в отличие от «художественно-исторической» археологии) уходит корнями в 1860-е гг. В предшествующий период (1830–1850 гг.) гуманитарный, исторический характер исследований древнейшего периода истории человечества еще не подвергался серьезным сомнениям, хотя изучение памятников уже тогда зачастую представляло собой результат совокупного труда естествоиспытателей и археологов-историков.

5.2.1. Габриэль де Мортилье и формирование естествоведческого подхода в археологии

Б. Триггер в своём обобщающем труде по истории археологической мысли постарался обосновать представления о взаимосвязи процесса ее развития с мировоззрением и общественным положением «среднего класса» в отдельных странах. Применительно к конкретным ситуациям его гипотезы в ряде случаев выглядят правдоподобно. В частности, опережающее развитие археологии в Скандинавских странах и Швейцарии 1830-1850-х гг. с их повсеместным устойчивым крестьянским укладом Триггер приписывает тому, что в этих тихих уголках Европы идея эволюции сама по себе вовсе не воспринималась как что-то крамольное, грозящее взорвать изнутри установленный мировой порядок (Trigger, 1989: 83–85).

Напротив, во Франции, Италии, Австрии, Англии — странах, потрясаемых революциями, национально-освободительными движениями и т. д., — связь эволюционной идеи с духовным наследием Просвещения рождала её неприятие

со стороны «официальной» науки первой половины XIX в. На практике лозунги «Свободы, Равенства, Братства» не раз оборачивались тут террором, войнами, государственными переворотами. Многочисленные антикварные и археологические общества в этих странах отличались стойким консерватизмом и настроенным отношением к любым разновидностям эволюционного подхода (Там же: 73–83). Трудно объяснить чем-то иным то холодное равнодушие, с которым во Франции много лет относились к сообщениям о находках Буше де Пертом орудий «допотопного» человека. Интерес к его открытиям проявили, в первую очередь, натуралисты из числа политических радикалов.

Именно таким человеком был *Луи-Лоран-Габриэль де Мортилье* (1821–1898), которому выпало ввести в науку понятие «палеоэтнология» (*palethnologie*), буквально означавшее этнологию/этнографию первобытности. Основатель этой новой дисциплины начал свой путь в науке как естествоиспытатель. В юности он занимался конхиологией — изучением наземных и пресноводных слизняков. Но успешной карьере помешала политика. Молодой учёный слишком деятельно участвовал в революции 1848 г. После монархического «декабрьского переворота», который возвёл на престол Наполеона III, он был вынужден эмигрировать из Франции.



Г. де Мортилье
(1821–1898)

В годы эмиграции Г. де Мортилье вплотную занялся палеонтологией и геологией, начав свои труды с систематизации коллекций Женевского музея. Позднее, после присоединения к Франции Ниццы и Савойи, изгнанник перебрался в Италию. Там, занимаясь уже полевыми инженерно-геологическими изысканиями, он наблюдал археологические открытия в ходе земляных работ (Анучин, 1898: 335). Ко времени, когда Г. де Мортилье, наконец, разрешили вернуться на родину (1864 г.), это был вполне сложившийся, авторитетный ученый, последовательный эволюционист, позитивист и ярый антиклерикал (воспитанный в иезуитском колледже, он на всю жизнь сделался врагом и иезуитов, и религии как таковой).

Сразу же по возвращении в Париж учёный основывает там научный журнал, назвав его: «Материалы для положительной и философской истории человека...» (*Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme. Bulletin mensuel des Travaux et Découvertes concernant L'Anthropologie...*). Об этом издании П.И. Лерх отзывался так: «Сопоставление двух понятий — *положительной* и *философской* историй — кажется нам не у места, именно по отсутствию в журнале материалов для философского рассмотрения истории человеческого рода. На месте издателя мы бы дали журналу заглавие «Материалы для сравнительной антропологии и археологии доисторических времён». Но дело не в названии, а в содержании <...>. Нельзя не сознаться, что оно весьма богато <...>» (Лерх, 1867: 95). Несомненно, «богатое содержание» журнала способствовало популяризации взглядов его основателя в европейской науке тех лет.

Как видим, русский рецензент-современник сдержанно оценил издание в плане его претензий на философское осмысление истории человечества. Однако в основе деятельности Г. де Мортилье, и в частности произведённой им замены «доисторической археологии» на «палеоэтнологию» лежала именно попытка кардинального *философского переосмысления* «начала мира» на базе новой, эволюционистской и позитивистской парадигмы науки.

5.2.2. Истоки формирования взглядов эволюционистов на первобытное общество

Разумеется, при близком рассмотрении эта новейшая научная платформа обнаруживает глубинную связь с «хорошо забытым старым», тем самым лишняя раз подтверждая, что в основе новых подходов зачастую лежат идеи, чья привлекательность для новых поколений заключается не только и не столько в их строгой научности или обоснованности, сколько в *созвучности* их наступившей новой эпохе. Действительно, мысль о том, что «общественно-политические формы имеют свою естественную историю, что они вытекают из некоторых основных свойств человеческого существа, развиваются под влиянием толчков, данных внешней природой, географическими условиями; что они должны повторяться с неизменной правильностью там, где образуются новые сходные условия» (Виппер, 2007: 14). Эта мысль не принадлежит науке XIX в., хотя и активно ею использовалась. Она начинает периодически всплывать и разрабатываться в философии и публицистике XVI–XVII вв. в связи с вопросами о правах личности в общественном союзе, о пределах принудительной власти и т. д. (Там же: 14–15). Именно тогда эти установки постепенно становятся привычными для образованного европейца.

Во второй половине XVII в. широкую известность приобретает материалистическая теория «человека-зверя» Т. Гоббса. Согласно этой теории, человек по природе — злобное животное, чье изначальное зверство сдерживается лишь принуждением. На заре своей истории человечество находилось, по Гоббсу, в «естественном состоянии», которое должно было представлять собой «войну всех против всех» — «*bellum omnium contra omnes*» (Гоббс, 1965: 158).

Немногом позже, в начале XVIII в., Дж. Вико в своем труде «Новая наука» впервые формулирует гипотезу о первобытной эпохе как «детстве человечества», когда люди не знали «ни Бога, ни закона», ни даже членораздельной речи, а лишь на четвереньках «ползали и карабкались по кустарнику и терну, покрытые грязью» (цит. по: Виппер, 2007: 21). Развитию хоть какой-то «общественности», способной обуздать животный индивидуализм этих существ, способствовало возникновение «религии ужаса» или, проще говоря — страха и поклонения непонятным явлениям природы.

Разумеется, обе эти теории были построены вовсе не на фактах реальной жизни современных архаических обществ охотников и собирателей, о которых в Европе XVII–XVIII вв. не знали почти ничего. Картина, обрисованная Дж. Вико, явилась результатом соединения очень тонкого для своего времени историко-филологического исследования (анализ мифов, народных обычаев, фактов языка), с одной стороны, а с другой — вполне бредовых, хотя и не ли-

шенных поэтического обаяния, «прозрений» автора. В целом же, указанный труд действительно, представляет собой едва ли не первую попытку науки Нового времени установить непреложные *законы* общественного, исторического бытия. Последнее виделось автору еще не как однолинейное «прогрессивное развитие», а как серия повторяющихся циклов. По словам Вико, «история может стать наукой столь же точной, как и геометрия...» (цит. по: Виппер, 2007: 19).

В свою очередь, теория Т. Гоббса о «естественном состоянии» человека является как бы отражением в кривом зеркале собственных проблем и пороков формирующегося буржуазного общества¹. Пожалуй, именно это и обусловило исключительную живучесть представлений о первобытном «троглодите», его «природной агрессии», «зоологическом индивидуализме» и т. п. в науке последующих столетий. Они до сих пор периодически возрождаются на новом уровне и неизменно претендуют считаться «последним словом» в исследовании первобытности. В России характерным примером такого подхода является творчество А.П. Назаретяна (1996; 2004 и др.). Критический обзор и анализ истоков этих представлений имеется в современной этнологической литературе, что позволяет мне здесь обойтись без их подробной характеристики (Салинз, 1999: 19–30; Артемова, 2008: 140–151).

Влияние обеих упомянутых теорий на позднейшие построения эволюционистов о первобытном обществе сегодня кажется совершенно очевидным. Впрочем, это была не прямая, а скорее «отложенная преемственность», ибо в XVIII в. массовое сознание образованных кругов Европы качнулось в противоположную сторону, и «человека-зверя» на время вытеснил «добрый дикарь», наивный и благородный. Почву для подобного восприятия подготовили многочисленные романы-утопии и романы-путешествия, где «добрый дикарь» оказывался желанной альтернативой развращенному европейцу. Таким образом, мы вновь наблюдаем тот же эффект «кривого зеркала», получивший на время прямо противоположную направленность. Особенно большое влияние на общество в указанном направлении оказали творения Ж.-Ж. Руссо.

Говоря о Руссо и его идилической трактовке «естественного состояния», прямо противоположной теории Т. Гоббса, я не могу пройти мимо свидетельства акад. К.М. Бэра, сославшегося в своем рассказе на малоизвестное издание биографии французского философа-просветителя, вышедшей в «*Revue des deux Mondes*» около 1850 г. (Бэр, 1865: 3). В ней подробно рассказывается, как в 1747 г. Дижонская академия наук объявила конкурс на сочинение о влиянии наук и художеств на нравы. Руссо, молодой и честолюбивый, в ту пору только что явился в Париж. Разумеется, он откликнулся на предложение и быстро написал трактат «О пользе прогресса» — на соискание премии. Но «один уважаемый литератор» подсказал неопытному юнцу — таким трактатом никого не удивишь: их написано уже великое множество. Куда интереснее попытаться показать *вред цивилизации*; это, несомненно, возбудит внимание... Ж.-Ж. Руссо послушался, написал противоположное, получил премию — и сразу стал знаменит.

¹ Здесь мы наблюдаем действие известного *принципа актуализма*, согласно которому каждое новое поколение находит и выделяет в истории то, что является актуальным для современности, и смотрит на прошлое под соответствующим углом зрения.

В дальнейшем философ остался верен взятому направлению. Чтобы оценить это направление должным образом, следует вспомнить о внутреннем состоянии Франции в середине XVIII в. Страна была больна: фантастическое мотовство аристократии, бессмысленные войны, безнравственность королевского двора... По язвительному замечанию К.М. Бэра, Руссо «захотел сделать людей четвероногими для их простоты и счастья» (Там же).

Широкое распространение идей Руссо во второй половине XVIII в. не остановило, однако, победного шествия теорий прогресса. Весьма различные по своему отношению к прошлому и будущему человечества, к религии и многому другому (как, например, теории Гердера, Монтескьё, Лессинга и Кондорсе), они были едины в своеобразной, тоже религиозной по своей природе вере «в естественную необходимость и неотразимость прогресса совокупного человечества» (Виппер, 2007: 132). В это же самое время (конец XVIII — начало XIX вв.) противниками теорий индивидуализма и прогресса (Ж. де Местр) в научный оборот было введено понятие «организм» применительно к человеческому обществу, народу, социальному целому. Целью этого был как раз призыв к личности смириться, всмотреться в «органическое» строение общества, вспомнить о «наличии традиции, привычки, силы несознанного, <...> о значении тех условий, которые связывают людей помимо их воли <...>» (Там же: 179).

В XIX в., с бурным развитием естественных наук, этот подход выразился в появлении целого ряда философских «органических теорий», представляющих учение об обществе как своего рода «физику», а историка — как натуралиста, исследующего законы процесса общественного развития в прошлом и способного непогрешимо определять его будущее (как, например, «физико-политический метод» Сен-Симона). Дальнейшее развитие указанный принцип находит в трудах ученика Сен-Симона О. Конта — основоположника позитивизма. Его «новая положительная философия» была призвана опираться исключительно на данные точных наук и открывать логическую систему во всех явлениях окружающего мира. Созданную им новую дисциплину — социологию — Конт воспринимал как некую высшую науку, способную выявить внутреннюю связь («*consensus*») сменяющихся систем жизни в ходе развития человечества. Разумеется, всемирная история при этом фактически подменялась, «преобразовывалась» в социологию — историю общественной мысли, общественных институтов, теорию политического управления и т. д.

Главной формулой позитивизма у О. Конта стало требование ставить в ходе исследования лишь строго научные задачи, отстраняя любые попытки объяснять явления какими-то внутренними, еще не познанными свойствами или сверхъестественными силами. Приверженность к точным наукам парадоксальным образом сочеталась у основателя социологии с выраженной неприязнью к изучению фактов, деталей, всевозможной «эмпирии» и «индивидуальности». Все это представлялось ему какой-то детской возней, несовместимой с настоящей наукой, которой пристали широкие синтетические обобщения. Отсюда проистекало и высокомерное неприятие им истории — вернее, того, что она собой представляла до появления на свет его «положительной истории». Вообще создается впечатление, что О. Конт считал истинную сущность мироздания уже понятой (им самим), а «законы», управляющие развитием общества, — уже выявленными (в его трудах). Он попросту не нуждался ни в каких новых фактах.

Теория О. Конта оказала огромное влияние на представления и научные подходы европейских антропологов и археологов третьей четверти XIX в. Не меньшее значение имели для них и труды другого основоположника позитивизма — англичанина Г. Спенсера. Им разрабатывалось, в частности, приложение идей дарвинизма (естественного отбора) к истории человеческого общества. Высказывания самого Ч. Дарвина на этот счет достаточно противоречивы, хотя и в его работах можно найти утверждения, что «в недалёком будущем, возможно, уже через несколько сотен лет, цивилизованные расы целиком вытеснят или уничтожат все варварские расы в мире» (Дарвин, 1896).

На этой основе выросло и развилось течение «социал-дарвинизма» в социологии и науке о первобытности. Оно не просто реанимировало старое положение Т. Гоббса о «войне всех против всех», но постаралось поставить его на прочный фундамент естествознания. Так, по утверждению Т. Гексли («Борьба за существование и ее отношение к человеку»), *как среди животных, так и среди первобытных людей*, «наиболее слабые и наиболее глупые обречены на гибель, в то время как выживают <...> те, которые лучше сумели приспособиться к обстоятельствам, но вовсе не лучшие в других отношениях. Жизнь была постоянной всеобщей борьбой, и, за исключением ограниченных и временных отношений в пределах семьи, гоббсовская война каждого против всех была нормальным состоянием существования» (цит. по: Кропоткин, 1922).

В третьей четверти XIX в. это считалось последним словом европейской науки и стало фундаментом общих представлений о первобытном обществе «французской школы», возглавлявшейся Г. де Мортилье и П. Брока (см. ниже). В России дело обстояло несколько иначе. Принимая в целом концепцию естественно-отбора, русские естествоиспытатели первыми в мировой науке поставили во главу угла проблему взаимопомощи как фактора эволюции (К.Ф. Кесслер, П.А. Кропоткин, Н.А. Северцов и др.). В этой связи можно привести характерную выдержку из работы П.А. Кропоткина, где автор упоминает об экспедиции, проводившейся им в 1866 г. совместно с уже упоминавшимся выше археологом и зоологом И.С. Поляковым. Она помогает уяснить некоторые особенности восприятия идей дарвинизма русскими учеными в тот период.

«Я помню впечатление, произведённое на меня животным миром Сибири, когда я исследовал Олекминско-Витимское нагорье в сообществе с таким выдающимся зоологом, каким был мой друг Иван Семёнович Поляков. Мы оба были под свежим впечатлением «Происхождения видов» Дарвина, но тщетно искали того обострённого соперничества между животными одного и того же вида, к которому приоткрыло нас чтение работы Дарвина <...>».

— Где же эта борьба? — спрашивал я его. Мы видели множество приспособлений для борьбы, очень часто борьбы общей, против неблагоприятных климатических условий или против различных врагов, и И.С. Поляков написал несколько прекрасных страниц о взаимной зависимости хищных, жвачных и грызунов в их географическом распределении. С другой стороны, мы видели значительное количество фактов взаимной поддержки, в особенности во время переселений птиц и жвачных; но даже в Амурской и Уссурийской областях, где животная жизнь отличается очень большим изобилием, факты действительного соперничества и борьбы между особями одного и того же вида среди высших животных

мне пришлось наблюдать очень редко, хотя я и искал их. То же впечатление выносите и из трудов большинства русских зоологов, и это обстоятельство, может быть, объясняет, почему идеи Кесслера были так хорошо встречены русскими дарвинистами, тогда как подобные взгляды не в ходу среди последователей Дарвина <...>, знакомящихся с животным миром преимущественно в самой Западной Европе, где истребление животных человеком совершилось уже в таких размерах, что многие виды, некогда общественные, теперь живут уже в одиночку» (Кропоткин, 1922).

5.2.3. Французская палеоэтнология: научный прорыв и осознание сложностей

Напомню, что печатный орган, основанный Г. де Мортилье в 1864 г., назывался «Материалы для положительной и философской истории человека...». Таким образом, здесь мы наблюдаем совершенно сознательное приложение основных принципов и подходов позитивизма к такой области знания, как изучение первобытности. В лучших контовских традициях Мортилье резко дистанцировался от «старой» археологии, тяготевшей к «метафизическим» и богословским трактовкам материала. Всё, что не могло быть непосредственно проверено опытом, позитивисты не считали наукой вообще. Это называлось «метафизикой», а то и «метафизическим бредом» (ср.: Эймонтова, 1986: 218–219).

Избегая самого термина «археология», часто ассоциировавшегося с историей искусства и классической древностью, Г. де Мортилье именует науку о культуре доисторического человека «палеоэтнологией», акцентируя при этом её «опытный» характер и тесную связь с новой эволюционной этнологией и естественными науками, — геологией и палеонтологией. Он ставит относительную хронологию изучаемых стоянок на прочный фундамент геологической стратиграфии. Основной принцип классификации — выделение ограниченного набора ведущих типов — был заимствован им из палеонтологии. Тем не менее его периодизация каменного века строится на собственно археологических данных — каменной индустрии, а не на сопутствующих палеозоологических материалах (как у его предшественника Э. Ларте). Последнее можно считать важнейшим прорывом в исследованиях каменного века.

Как истинный позитивист, Мортилье во всем ищет синтеза, проявления «всеобщего закона». В результате в научный оборот вводится его знаменитая «система», определившая пути развития археологии каменного века на столетие вперед. В палеолите выявляются стадии эволюционного развития, закономерно увязанные в единую цепочку. Эта периодизация была во многом априорной конструкцией, построенной на весьма отрывочных данных; как показало дальнейшее, в ряде звеньев она подлежала серьезному уточнению. Тем больше чести исследователю, чей талант и чутье (вкуче с удачным применением методов смежных наук) позволили ему избежать явных противоречий и уловить в археологическом материале реальные взаимоотношения и закономерности. Справедливость требует признать: за одно это важнейшее построение Мортилье достоин называться великим ученым.

В современной историографической литературе суть воззрений Мортилье и созданной им (вместе с антропологом П. Брока) французской палеоэтноло-

гической школы иногда определяется как система представлений о *природно-культурном единстве доисторической эпохи* (Жук, 1987: 18). Последнее выглядит очень близким по духу археологии конца XX в.: ведь сейчас палеоэкологические разработки воспринимаются как важнейшая часть археологического исследования. Порой они даже оттесняют куда-то на дальний план непосредственную работу с коллекциями. Однако во времена Г. де Мортилье понятия «экология» еще не существовало, а вопрос о взаимоотношениях человека и среды в первобытности вовсе не считался ключевым.

Не следует забывать, что, в отличие от целого ряда философов XVIII в., классики позитивизма считали главным двигателем прогресса отнюдь не природные факторы (климат, увеличение народонаселения, расовые различия и т. п.) и не социальные условия, а *ум человеческий* и его самопроизвольное развитие. Сам О. Конт не отрицал влияния природных и социальных факторов, но вовсе не считал их первостепенными. Плавное эволюционное развитие технологии каменного века от простого к сложному, на котором настаивал Г. де Мортилье, как раз и должно было отражать постепенное, очень медленное «умственное развитие» доисторического троплодита, изначально мало зависевшее от воздействия внешней среды. Так в чем же заключалось «природно-культурное единство»?

Французская палеоэтнология однозначно рассматривалась ее создателями в ряду «положительных», естественных наук, основанных на опыте. Но в том же ряду занимала свое место и «положительная история», исследующая законы развития человечества, познаваемые опытным путем. Уже в силу этого принципа история нередко именовалась в научной литературе второй половины XIX в. (в том числе, русской) — «естественной наукой», изучающей жизнь общества как единого «организма» (ср.: Забелин, 1873: 1–13). Вот об этом расхождении понятий нам следует помнить сейчас, анализируя археологическую мысль 150-летней давности.

Для наших современников «естественные» и «исторические» дисциплины расположены в разных плоскостях познания. А вот для Г. де Мортилье и его коллег «комплекс естественных наук» закономерно включал в себя позитивную науку историю, исследующую непреложные законы развития общества, приравняемые к «законам естества». Естественная история и история человека сближались почти до слияния. В этом и заключается смысл «природно-культурного единства».

Таким образом, в третьей четверти XIX в. причисление палеоэтнологии к естественным наукам вовсе не означало её отрыва от истории как таковой. Скорее, это была попытка «очистить» палеоисторию от всяческой «метафизики», утвердить ее положительный характер. Главный печатный труд Г. де Мортилье назывался «*Le Préhistorique*»: новая дисциплина трактовалась именно как «преистория» (= дописьменная история). Тем не менее в его работах четко прослеживается установка на обособление науки о каменном веке от последующей истории человечества. На причинах этого стоит остановиться особо.

Согласно представлениям археологов-естествоведов XIX в., наука о первобытности являла собой особый раздел — «естественно-историческое введение» к собственно человеческой истории. Древнейшая история материальной культуры выступала в этой системе как предмет «естественно-исторического познания» в едином контексте с физической антропологией. В совокупности они

должны были «изучить человека в состоянии перехода от естественного, первобытного состояния к жизни общественной и культурной (курсив мой. — Н.П.)» (Анучин, 1900: 25-27). Закономерным выводом из такой установки становилось разделение всех народов на «естественные» — «*Naturvölker*» (т.е. примитивные, объединенные физическими свойствами, *до-исторические*) и «культурные» (т.е. духовно развитые, объединенные культурными традициями, *исторические*). Детально разработанная марбургским филологом Т. Вайцем (Вайц, 1867; ср. также: Клейн, 2007), эта гипотеза стала дополнительной основой разделения археологической науки на две дисциплины — палеоэтнологию (часть общей антропологии) и собственно археологию (часть истории).

Разумеется, хронологические границы, до которых простирался предполагаемый период *перехода* человека из «естественного» состояния к культуре, во все времена представлялись настолько зыбкими, что мало кто вообще делал попытки их провести. Тем не менее данный комплекс представлений оказался очень живучим, ибо он закономерно вытекал из самых основ эволюционистского мировоззрения. Потому и значительная часть учёных второй половины XIX — начала XX в. молчаливо признала каменный век сферой компетенции естествоведов.

Таким образом, предметом изучения палеоэтнологии каменного века во времена Г. де Мортилье являлся все тот же хорошо нам известный по трудам философов и публицистов XVII—XVIII вв. гипотетический «естественный человек» в окружающей его природе. На первых порах он не только не знал «ни Бога, ни закона», но и не владел членораздельной речью, не умел разводить огонь и т.д. «Переходным периодом» от этого человека-животного к человеку разумному поначалу представлялся весь каменный век, и особенно палеолит. Изучавшая его наука закономерно объединялась в единый комплекс с физической антропологией, географией, зоологией и пр., но отделялась, как стеной, от археологии «культурных», цивилизованных народов.

В сущности, все характеристики этого «естественного человека» (или, скорее, недочеловека), дававшиеся учеными в XIX в., являлись сугубо априорными, не имевшими под собой серьезных оснований. Противник эволюционизма и русский церковный деятель И.Д. Беляев, строго говоря, бил в самую точку, задавая свои язвительные вопросы:

«Какие основания были у Мортилье считать третичные камни Буржуа, Рамеса и Рибейро орудиями не человека, а какого-то антропопифика? — Никакого, кроме личного произвола и желания найти подтверждение дарвинизма. Почему он камни этих трех ученых признал остатками трех эпох и выразителями трех стадий развития фантастического антропопифика? — Опять-таки без всякого основания, единственно, по требованию дарвинистической доктрины. Что побудило его принять шаткие основы для определения продолжительности археологических эпох и без достаточных данных уверенно исчислять их сотнями тысяч лет? — Опять тот же дарвинизм.

Желая изобразить первобытного человека обезьяноподобным, Мортилье утверждает, что человек шеллийской эпохи не имел способности членораздельной речи, т.е. в так называемой нолетской челюсти не нашли *apophyses geni*, без которого членораздельная речь невозможна. Но, не говоря о том, что единственный факт ничего не доказывает <...>, Мортилье не доказал, что шеллийские люди

имели именно такие челюсти, а в настоящее время Топинар, сам дарвинист, открыл и в нолетской челюсти *apophyses geni*, не замеченный сначала потому, что челюсть была дурно вымыта. <...>.

Мортилье утверждает, что люди палеолитического века не имели религии. Но теперь доказано, что в Ментоне и Солютре в палеолитическую эпоху хоронили мертвецов <...>, а это нужно признать выражением веры в загробную жизнь. По мнению Брока, люди Маделенской эпохи <...> имели талисманы, которые, по видимому, имели религиозное значение. Для первобытных эпох доказательства *a silencio* не имеют никакого значения. В земле сохранилась малая доля остатков житей первобытного человечества; миллионная часть ее найдена, а объяснена научно ничтожная частица миллионной доли <...>» (Беляев, 1889б: 270-272).

Но когда речь заходила уже не о каменном веке, а о человеческих сообществах эпохи бронзы или раннего железа, то, несмотря на их безусловную принадлежность дописьменному периоду, ученые все же не решались относить их к «*Naturvölker*». Гомеровские ахейцы и троянцы, сражавшиеся бронзовыми мечами, разумеется, были варварами. Но трудно заподозрить их в отсутствии духовного развития, в «звероподобности». Эволюция явно протекала здесь по иным, вне-биологическим законам, допускающим взаимодействие или стороннее заимствование культурных традиций. В связи с этим отмечу: говоря об эпохе бронзы, даже убежденные приверженцы однолинейного эволюционизма, включая самого Мортилье, вынуждены были придавать значение миграциям и культурным заимствованиям (ср.: Веселовский, 1905: 72).

Зато применительно к палеолиту французская палеоэтнология претендовала выявить в развитии культуры те же непреложные закономерности, какие естествовед открывает в живой природе. Здесь перерыв или нарушение принципа однолинейного прогрессивного развития в материальной культуре воспринимались Г. де Мортилье как покушение на святая святых эволюционного учения. Это обусловило, в частности, категорическое неприятие им и его сторонниками открытия монументального верхнепалеолитического искусства в пещере Альтамира (1879 г.), а позднее — длительный и ожесточенный характер дискуссии об ориньяке, вошедшей в историю археологии, как «ориньякская баталья» (Djindjian, 2006: 245-246).

Но, как бы то ни было, эта по-своему стройная и красивая схема дожила во Франции лишь до начала XX в. К тому времени выяснилось, что духовный мир доисторического «троглодита» был на деле куда сложнее, чем считали эволюционисты Золотого века. В 1902 г. во французской печати появилось знаменитое «Покаяние скептика» («*Mea Culpa*»), принадлежавшее перу ближайшего сотрудника Г. де Мортилье Э. Картальяка, публично признавшего подлинность уникальной пещерной живописи Франко-Кантабрийского района и принадлежность её именно верхнему палеолиту. В начале XX в. высочайшие художественные достижения той эпохи уже перестали вызывать у кого-то серьёзные сомнения (Дэвлет, 2006: 41). С другой стороны, представления Г. де Мортилье о плавном эволюционном развитии технологии камнеобработки от простого к сложному (и, в частности, от мустье к солютре) оказались разрушены вклинившимся между ними загадочным ориньяком, который появился в Западной Европе как бы ниоткуда и совершенно не к месту.

В результате палеоэтнологическая парадигма изучения «естественного человека», объединенного в сообщества по своим физическим свойствам, начала рассыпаться на глазах. В верхнем палеолите шаг за шагом выявлялись следы весьма сложных культурных явлений и традиций. «Животное» состояние человека стало отодвигаться куда-то в необозримую даль времён. После 1898 г., когда умер Г. де Мортилье, само понятие «*palethnologie*» практически перестало употребляться во французской археологической литературе, сменившись понятием «преистория». Упрощенные представления 1860-1870-х гг. о том, что законы развития общества сходны с законами «естества» и проверяются опытом, к началу XX в. оказались если не полностью отвергнуты, то заметно скорректированы.

Влияние позитивизма и вульгарного материализма, лежавших в основе таких воззрений, к концу XIX в. стало ослабевать и в Западной Европе, и в России. Значительно большее влияние приобретали иные, преимущественно идеалистические философские системы — А. Шопенгауэра, В.С. Соловьёва и др. Вполне актуально звучал лозунг: «от Конта к Канту» (Лосев, 1990: 89). Философия и методология истории, созданная А.С. Лаппо-Данилевским именно на базе неокантианской системы взглядов, впервые выявила специфику исторического познания и внесла огромный вклад в разработку представлений о материальных остатках прошедших эпох как источников для реконструкции исторической действительности.

Однако и сама позитивистская наука заметно меняет свое лицо уже к концу XIX в. Новые открытия в самых различных областях знания заметно подорвали доверие к жестким схемам ранних позитивистов, которые рассматривались своими авторами как непреложная истина. Дальнейшее движение в рамках позитивизма потребовало отказа от его догматических издержек, расширения эмпиризма, более последовательного проведения в жизнь идеала «описательной науки». Именно в этом направлении развиваются в конце XIX — начале XX вв. различные школы археологии — как естествоведческой, так и исторической. Не случайно их адепты с гордостью называли себя «фактопоклонниками». Схематизм и более-менее удачные априорные построения раннего периода в конце XIX — первой трети XX в. стали уступать место новым подходам, основанным на принципах сплошного (и, желательного, междисциплинарного) обследования территорий.

5.3. ПРЕДДВЕРИЕ «АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» В РОССИИ: 1860-Е — НАЧАЛО 1880-Х ГГ.

В свете сказанного выше не кажется удивительным, что в 1860-1870-х гг. в России постепенно формируется традиция изучения памятников каменного века учёными-естественниками с помощью методов, подсказанных им их основной специальностью. К числу таковых принадлежали И.С. Поляков, А.А. Иностранцев, В.В. Докучаев, К.С. Мережковский и др., имена которых ныне прочно вошли как в историю отечественного естествознания, так и в историю археологии. Исследование первобытности, не без успеха начатое учеными-гуманитариями

(П.И. Лерх, А.С. Уваров), стало привлекать к себе все большее внимание естествоведов, считавших себя в данной области настоящими профессионалами. Но, как уже говорилось выше, в этот период в собственно научных кругах России еще не наблюдалось выраженной конкуренции естествоведческого и гуманитарного подходов к первобытности. Термины «первобытная археология», «доистория», «антропология» имели параллельное хождение в литературе применительно к памятникам каменного века. Внимание на этом особо не заострялось. Ключевые памятники изучались гуманитариями и естествоиспытателями совместно; различные методы взаимно дополняли друг друга.

В отличие от Франции, где усилиями Г. де Мортилье и П. Брока уже в конце 1860—1870-х гг. было поставлено систематическое преподавание антропологии и палеоэтнологии — что и обеспечило формирование единой, стойкой научной традиции, — в России каждый из естествоиспытателей приходил в археологию своим собственным, неповторимым путем. Говорить в данном случае о наличии какой-то исследовательской «школы» нельзя. Можно лишь констатировать, что некоторые русские естествоиспытатели-археологи 1860-1880-х гг. находились в большей степени под влиянием «скандинавского подхода» (И.С. Поляков), другие — французской школы (К.С. Мережковский, отчасти Д.Н. Анучин), третьи отчетливо противопоставляли себя обеим научным традициям, хотя и применяли на практике их исследовательские приемы (А.А. Иностранцев, В.В. Докучаев).

В целом, 1870 — первая половина 1880-х гг. стали очень плодотворным периодом в истории отечественной первобытной археологии. В частности, они представляли собой короткий, но яркий период непрерывных открытий в области древнего каменного века в России. В 1871 г. была обнаружена первая палеолитическая стоянка Иркутский Госпиталь (Черский, 1872); в 1873 г. — стоянка Гонцы на р. Удае в Полтавской губ. (Каминский, 1878; Феофилактов, 1878); в 1877 г. — Карачаровская стоянка (Уваров, 1881: 118 и др.; 1884; Поляков, 1881: 390; 1882: 113-118). В 1879 г. И.С. Поляков открывает и исследует первую стоянку в Костёнках (Поляков 1880). В 1879-1880 гг. молодой естествоиспытатель из Петербурга К.С. Мережковский открывает палеолит Крыма — стоянки Волчий Грот, Сюрень 1, Качинский навес и т. д. (Мережковский, 1880; 1881). В 1881 г., по горячим следам И.С. Полякова, исследования Костёнок продолжают членом МАО А.И. Кельсиевым (1883).

Не менее плодотворными были работы тех лет и в области изучения нового каменного века. Русскими учеными в этот период проводились комплексные обследования обширных территорий Русского Севера и Северо-Запада, Поволжья, Урала, Сибири и т. д. В ходе этих разведок обнаруживались десятки местонахождений эпохи неолита (Уваров, 1881; Формозов, 1883).

5.3.1. И.С. Поляков и начало исследований каменного века на Русской равнине

Иван Семёнович Поляков (1845-1887) представляет собой для археологии второй половины XIX в. знаковую фигуру. Это автор первых научных монографий, посвящённых каменному веку России (Поляков 1873; 1880; 1882; см. также: Формозов 1983: 47-57). Им же написан соответствующий раздел в роскошном многотомном энциклопедическом издании «Живописная Россия» (1881). Первые



И.С. Поляков
(1845–1887)

книги И.С. Полякова опередили даже выход в свет капитального труда графа А.С. Уварова.

Это была в высшей степени незаурядная личность — судьба его заслуживает специального исследования. Сын бедного забайкальского казака и бурятки, уроженец глухой станицы Ново-Цурухайтуевской на границе с Китаем, он четырнадцати лет вышел оттуда «в большой мир»¹. В биографическом очерке о Полякове, принадлежащем перу Д.Н. Анучина, сообщается, что отец «дал ему семь рублей на дорогу и отправил с этими деньгами в Иркутск, для получения образования или приискания какого-нибудь занятия...» (Анучин 1952: 96).

Определенный в училище Военного ведомства, готовившее военных писарей, неординарный подросток быстро привлек внимание местных влиятельных лиц — директора училища полковника О.Ф. Рейнгаарда и инспектора М.В. Загоскина, одного из первых

сибирских публицистов. Важную роль сыграло и то, что проживавший в Иркутске сын пограничного пристава Разгильдеева, начальника отца Полякова, пригласил мальчика заниматься с домашними учителями, нанятыми для его детей.

Усиленные занятия самообразованием принесли результат. В 1866 г. И.С. Поляков, оставленный при училище в качестве учителя 2 разряда, вызывается принять участие в Олёкминско-Витимской экспедиции князя П.А. Кропоткина в качестве натуралиста-препаратора. В конечном счете он становится полноправным соавтором научного отчёта (см.: 5.2.2). После самостоятельного написания Поляковым зоологической части отчёта Сибирский отдел РГО в 1867 г. выдаёт ему субсидию для самостоятельных исследований в Восточных Саянах и Тункинской котловине. В августе того же года Иван Семенович получает Высочайшее разрешение уволиться от должности учителя «для поступления в одно из высших учебных заведений Российской Империи на собственный счет в виде изъятия из действующих правил» (Никонова 2004: 159).

Выпускнику Иркутского училища военных писарей (фактически — военной начальной школы) нелегко было попасть в университет. Долгое время И.С. Поляков перебивался частными уроками, одновременно готовясь к сдаче экзаменов за курс гимназии. «Несколько раз проваливался он по латыни, но, наконец, в Харькове, живя, по его словам, в весьма поэтической квартире, в которую <...> не иначе можно было попасть, как с крыши через окно, ему удалось выдержать экзамен <...>» (Анучин 1952: 98). Осенью 1874 г. И.С. Поляков заканчивает Естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского универси-

¹ В некоторых публикациях год рождения И.С. Полякова указан ошибочно: 1847. Поэтому иногда считается, что он покинул родной дом двенадцати лет от роду.

тета. Затем выдерживает экзамен на степень магистра зоологии. С января 1875 г. он становится сверхштатным (с 1879 г. — штатным) ученым хранителем Зоологического Музея ИАН.

В 1870-х гг. молодой учёный ведёт активные полевые работы на средства Академии наук и РГО — на Русском Севере, на верхней и средней Волге, в долине Оби, на Алтае, Урале, Кавказе и т. д. Бывает он и в зарубежных командировках — в Швеции, Дании, Австрии, Германии, Франции. Основным предметом его занятий служит зоогеография, но, помимо того, Поляков проявляет неизменный интерес к этнографии изучаемых регионов и всем имеющимся там остаткам каменного века. Географическое общество трижды удостоивало И.С. Полякова медали, причём в последний раз (1879 г.) малая золотая медаль была присуждена ему именно за труды в области истории древнего человека — в год открытия им палеолита Костёнок.

Оценивая труды Полякова в области палеолитоведения, С.А. Васильев отмечает, что их «стиль и содержание <...> ближе к традиционному жанру “учёных путешествий”», с частыми экскурсами в область географии, этнографии и т. д.» (Васильев 1999: 11). Конечно, это так, но справедливо и другое: «путевые заметки» И.С. Полякова весьма богаты содержанием и свежими, неординарными трактовками. Несомненно, учёный стоял у истоков целой серии новых подходов к изучению каменного века.

К числу их, в первую очередь, следует отнести первые опыты типолого-морфологической характеристики древних орудий, начатые им ещё в 1867–1868 гг. при обработке материалов дюнных стоянок Тункинской котловины. Как прирождённый систематизатор, Иван Семёнович уже в этой ранней работе сделал попытку выделить среди кремневых изделий отдельные типы и варианты и дать их описание (Поляков 1869: 140–142 и др.). Аналогичные попытки делались им и позднее, в частности применительно к кремнёвому материалу открытой им стоянки Костёнки 1/верхний слой. В частности, им был выделен и описан один из важнейших культуроопределяющих типов кремнёвых изделий данного комплекса — наконецник с боковой выемкой, названный «ланцетом» или «ланцетообразным орудием». Конечно, эти первые опыты весьма несовершенны: сказалась общая неразработанность терминологии и слабая изученность самого материала. Но так или иначе данное направление научной мысли должно быть отмечено. И.С. Поляков выступил здесь уже не как натуралист, из чистой любознательности изучающий в поле культурные остатки. Он сделал первые шаги по пути построения новой науки о первобытных древностях.

Являясь эволюционистом в биологии, учёный переносил эволюционный подход и в историю первобытности: «Человек, как все другие органические создания, подчиняется закону постепенного развития, — писал он, — <...> в своей собственной организации и деятельности восходит от низшего состояния к высшему <...>» (Поляков 1881: 382). Однако при этом он без колебаний признавал огромную роль миграций и культурного общения в истории человечества.



И.С. Поляков
в молодые годы

«<...> Если бы не посторонняя помощь, — писал он, — если б не приток свежих сил извне, наши обитатели каменного века до сих пор <...> продолжали бы свою жизнь в её более-менее первобытной форме <...>» (Там же: 401–402).

Важнейшим вкладом И.С. Полякова в первобытную археологию явилась разработка методики поиска стоянок палеолитического человека по признаку *совстречаемости культурных остатков с ископаемой мегафауной*. И.С. Поляков, горячий сторонник ледниковой теории П.А. Кропоткина, был убеждён, что территория России весьма благоприятна для поиска остатков палеолитической культуры. Их следует искать, в первую очередь, там, где обнаружены остатки мамонтов. Хорошо зная из литературы о нахождении «слоновых костей» на среднем Дону, Поляков в 1879 г. отправляется по заданию РГО в «антропологическую поездку» по центральным районам России. Село Костёнки он посещает целенаправленно, чтобы обнаружить здесь следы деятельности первобытного человека — современника мамонта. Именно так — не случайно, а в результате проверки научной гипотезы — Поляковым был открыт костёнковский палеолит.

Зоолог, археолог, этнограф И.С. Поляков был талантлив во всем, за что он брался. Но жизнь его оставалась при этом одинокой и неустроенной. До сорока лет он отличался железным здоровьем и работал без отдыха, на износ. В одном из писем к родным есть такие слова: «От вас, глубоко уважаемый мною отец, и от покойной моей матери я получил в наследство здоровое тело и голову, и честное ваше имя. Имя моё и ваше знают теперь во многих местах <...>» (цит. по: Петряев 1954: 183).

Но всему наступает предел. В 1881 — начале 1885 гг. Поляков провёл длительную экспедицию на о. Сахалин, посетив, по ходу дела, южный Китай, Японию и Сингапур. По возвращении в Россию оказалось, что его здоровье, прежде несокрушимое, пошатнулось. В результате в марте 1886 г. ученый приезжает в Москву в тяжелейшем состоянии: «У него не действовали ноги, он едва владел руками, голова была не в порядке: он сейчас же забывал, что говорил, и повторял иногда один и тот же вопрос до 17 раз без промежутков. Принятыми мерами он мало-помалу поправился и уехал в Петербург почти здоровым, но ему были строго запрещены научные занятия в течение года <...>» (Анучин 1952: 103).

Увы, одинокий человек, не имевший иных средств к жизни, кроме скромного жалованья, не мог позволить себе такой роскоши, как годичный отпуск. Остается лишь пожалеть, что, вернувшись в Европу, И.С. Поляков уже не застал в живых своего доброго друга графа А.С. Уварова. Поддержка этого влиятельного и независимого человека в трудный момент могла бы оказаться весьма ценной. Но сам А.С. Уваров безвременно скончался 25 января 1884 г., успев перед смертью устроить свое последнее детище — Исторический музей в Москве (Уваров, 1910; Белицкий, 1986: 57–68).

Даже поездку в Москву для лечения И.С. Полякову пришлось оформить как командировку от Академии наук. В очерке Д.Н. Анучина глухо упомянуты служебные неприятности, случившиеся у него по возвращении в Петербург. Поддержать его оказалось некому. В результате 5 апреля 1887 г. Иван Семенович скончался в приёмном покое Мариинской больницы. Он умер сорокадвухлетним, в самом расцвете творческих сил.

5.3.2. Историко-культурные реконструкции палеолита по материалам первых раскопок стоянок Русской равнины: И.С. Поляков и А.И. Кельсиев

Анализируя сегодня научное наследие И.С. Полякова, стоит обратить внимание на разбросанные по его текстам замечания и гипотезы, представляющие собой реконструкции «быта» обитателей верхнепалеолитических стоянок, открытых на Русской равнине. Представления о палеолитическом человеке, сложившиеся у Полякова на основе собственных раскопочных работ, а также участия его в раскопках А.С. Уварова, резко отличались от современных ему трактовок приверженцев однолинейного эволюционизма в археологии. Опираясь на эти данные, И.С. Поляков радикально порвал с распространенной традицией, представлявшей палеолитического человека как человека исключительно «пещерного»:

«Я <...> очень хорошо помню пещерную теорию первобытного жилья, — писал он, — помню <...> и то, что при обсуждении вопросов, касающихся глубокой древности человека, нужно прежде всего иметь в виду факты, а не теорию, хотя бы даже касающуюся пещерных жилищ, которую <...> в последнее время многие из занимающихся судьбами первобытного человека начали с увлечением переносить из богатых пещерами гористых стран Западной Европы на равнины Европейской России <...>. Вполне отдавая справедливость сообразительности людей палеолитического периода, способностям их пользоваться всеми теми удобствами, которые создавала им природа, в том числе и пещерами, <...> я однако же должен указать на три случая нахождения следов палеолитического человека в различных пунктах Европейской России, и во всех этих случаях человек жил на открытом воздухе; так было около Карачарова, около Гонцов на р. Удае, и то же мы видим в Костёнках. <...> Отсюда следует, что во времена глубокой древности не одни только пещеры служили жильём человеку и что он <...> должен был устраивать себе жильё, <...> наподобие нынешнего самоедского или остяцкого...» (Поляков 1880: 33–34).

С этих позиций И.С. Поляков трактовал стоянку Костёнки 1/верхний слой как более-менее долговременный поселок палеолитических охотников, предположительно, состоявший из жилищ типа «зимних чумов остяков, самоедов и тунгусов» (Там же: 33). Еще не располагая методикой, позволяющей зафиксировать при раскопках конструктивные элементы жилищ, он все же недвусмысленно определял «пепелища» как остатки, собственно, *жилого пространства*.

«<...> В таких именно местах, изобилующих костями и орудиями, появлялась зола и в большом количестве пережженные кости, угли, а также пережженные камни; очевидно, в таких пунктах человек жил и разводил огонь; здесь он сидел, отдыхал и грелся, также готовил себе пищу <...>» (Там же: 24).

Обитатели этого палеолитического поселка, по мнению И.С. Полякова, были охотниками на мамонтов. В этом он следовал за А.С. Уваровым, но обосновывал свое мнение куда серьезнее, чем его старший коллега, предполагавший, что мамонтов загоняли в «ловчие ямы» (Уваров 1881: 159–160). С точки зрения И.С. Полякова, искусственные ловчие ямы вовсе не являлись обязательным атрибутом охоты на мегафауну. Естественные обрывы балок и оврагов, а также покрытые настом болота, как нельзя лучше, могли служить для загона и забоя животных.

«Наши современники мамонта, живя в климате холодном, где господствовали зимы, изобиловавшие снегом, могли охотиться за мамонтом и его спутником носорогом весной, по насту, загоняя их в овраги, заполненные снегом, причем сами могли пользоваться лыжами. Одним словом, они могли располагать при охоте на больших млекопитающих теми двумя способами — ямами и промыслом по насту, который до сих пор господствует в лесной полосе Сибири и России, например, у Зырян и Остяков. <...>. Первобытные обитатели эпохи мамонта, как в нынешней Воронежской губернии, так и около Карачарова, должны были представлять прообраз нынешних Остяков и Самоедов по их жилищу, так как они жили не в пещерах, а на открытом воздухе <...>» (Поляков 1882: 118).

С методологической точки зрения, И.С. Поляков привлекал историко-этнографические параллели безупречно. В качестве аналогий им были выбраны народы, жившие в условиях, максимально приближенных к тем, что реконструировались по данным первых раскопок палеолитических стоянок Русской равнины — обитатели тундры и тайги, охотники по преимуществу. При этом ученый полагал: сходство может распространяться на целый комплекс признаков, в том числе и на характер домостроительства.

Гипотеза И.С. Полякова о палеолитическом домостроительстве явилась для XIX в. фатальным «забеганием вперед». Современники ее попросту не заметили, так она не вязалась с ходячими представлениями о палеолитическом «троглодите». Только В.В. Хвойко, в ходе раскопок Кирилловской стоянки в Киеве (1890-е гг.), предположил, что пятна темно-окрашенного культурного слоя в углублениях являются остатками шалашей. Однако вопиющий непрофессионализм его раскопок (ср.: Волков, 1900: 235–236), к сожалению, скомпрометировал в глазах современников и это важное наблюдение. В отличие от В.В. Хвойки, И.С. Поляков был, по понятиям того времени, профессионалом. Его предположение блестяще подтвердилось в середине XX в., когда на Костёнковских палеолитических стоянках оказались достоверно зафиксированы остатки жилищ (в том числе и, по-видимому, каркасных построек типа чумов).

Решающим аргументом в вопросе об охоте на мамонта служило для И.С. Полякова резкое, бросающееся в глаза преобладание костей этого зверя над остальной фауной Карачарова, и особенно, Костёнок 1. Впечатляло и количество особей: лишь в одном углу «пепелища» И.С. Поляковым были определены остатки, как минимум, десяти мамонтов (Там же). Таким образом, все жизнеобеспечение палеолитических сообществ, оставивших эти стоянки, основывалось на мамонте и только на мамонте. Единственно возможным способом его в данных условиях ученый полагал охоту: «<...> Человек того времени обладал, очевидно, аппетитом в большей степени, чем современный; *чем же он мог питаться, кроме мамонта? — Кости других животных около пепелищ составляют ничтожную величину <...>* (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 31–32).

Подобная трактовка на деле была достаточно нетривиальной для своего времени. По авторитетному мнению современника И.С. Полякова В.В. Докучаева, «<...> в распоряжении палеолитического человека находились только — сук от дерева, простые гальки и осколки от кремня, причем величина этих последних обычно не превышала 4–6 дюймов. Ко всем этим орудиям присоединялись свои собственные пальцы и кулак <...>. При помощи таких орудий едва ли и совре-

менный человек сумел бы одолеть даже обыкновенного волка и кабана <...>» (Докучаев 1882: 7). Из этих рассуждений отчетливо видно: и образ жизни палеолитического человека, и его принципиальные возможности казались автору ясными априорно, вне зависимости от той информации, которую могли дать новые находки. Исходя из указанных априорных представлений, ученый сформулировал непреложный вывод: если люди палеолитического периода и ели мясо мамонтов, то «исключительно падаль» (Там же).

В том же направлении, что и Докучаев, мыслил преемник И.С. Полякова по исследованиям в Костёнках **Александр Иванович Кельсиев** (?–1885), хранитель Политехнического музея в Москве и член МАО. Он наблюдал в раскопках то же самое, что и И.С. Поляков, но интерпретировал полученные данные с совершенно иных позиций. Стоянка представлялась ему вообще не поселением, а лишь местом, где палеолитический человек находил себе пищу в виде замерзших туш мамонтов. Места обитания людей той эпохи ученый, в полном соответствии с господствующей традицией, связывал с меловыми пещерами. Предположения своего предшественника о наличии на самой стоянке наземных жилищ он предпочел не заметить.

«Человек палеолитической эпохи, как по преимуществу пещерный обитатель, селился у подножия меловых скал еще и потому, что находил там трещины, расселины, пещеры, удобные для убежища <...>. *Описанные здесь находки освещают нам только картину питания <...>* (курсив мой. — Н.П.)» (Кельсиев 1883: 24–25).

Как же выглядела эта «картина»? Подобно И.С. Полякову, А.И. Кельсиев отталкивался от фактов: а) наличия в слое огромного количества костей мамонта; б) преобладания этого вида над всеми остальными. «До сих пор неизвестно никаких данных, разъясняющих древние способы овладеть мамонтами. — писал он. — <...> Ввиду чрезвычайной трудности <...> их умерщвления и расчленения, сколь бы огромны ни были поселки того времени, *изумительным является количество животных, потребное для единовременной трапезы...* (курсив мой. — Н.П.)» (Там же: 22).

Эта фраза о *единовременной трапезе* говорит сама за себя. Ученый не допускал и мысли, что перед ним остатки долговременного поселка. Исходя из этого, появление «кухонных остатков» неизбежно следовало признать результатом некоего единовременного акта. Какого?

«Мне кажется, что затруднение весьма упростится, — указывал А.И. Кельсиев, — если допустить, что катастрофы ледникового периода могли <...> губить и замораживать стада мамонтов, как это происходило в полярной Сибири; люди же палеолитической эпохи могли выбирать для поселков места, изобилующие <...> такими естественными запасами провизии, обеспечивающей вернее, нежели бродячие стада. *Подобно зверям и собакам, питавшимся*



В.В. Докучаев
(1846–1903)

оттаявшим трупом *Ижиганского мамонта*, <...> первобытные люди могли извлекать куски животных <...> и упитываться мясом лежалым и потому не столь твердым <...>.

Нахождение костей в разных пунктах <...> может быть истолковано так, что обитатели, ввиду приволья местности, исподволь меняли место еды, к чему они были вынуждаемы разложением брошенных остатков и удушливым запахом от них. Свежие куски от тех же оттаивающих трупов привлекались на другой пункт, и питание следовало в принятом порядке. <...>. (курсив мой. — *Н.П.*)» (Кельсиев 1883: 22–23).

Таким образом, налицо трактовка палеолитической стоянки как «мамонтового кладбища», постепенно поедавшегося приходившими сюда палеолитическими людьми. Следует признать: для 1880-х гг. это была, безусловно, интересная, оригинальная идея, подлежавшая обязательной разработке и проверке. Обосновывая ее, исследователь закономерно обратил внимание на «отсутствие опаленности» мамонтовых костей из своих раскопок. Разумеется, с высоты нашего времени это явление получает вполне правдоподобное объяснение. Ведь «кухонными остатками» археолог называл то, что служило в действительности строительным каркасом землянки или заполнением ямы-хранилища. А уж тут ожидать «обжога» суставных частей кости явно не приходилось. Кроме того, ныне уже можно считать достоверным: поздневалдайское оледенение, включая даже пик холода 20–18 тыс. л.н., вовсе не было для мамонтов периодом «катастроф».

На том этапе изученности материала, который был достигнут европейской археологией к началу 1880-х гг., приведенная реконструкция «древнего быта» смотрелась вполне убедительно. С точки зрения однолинейного эволюционизма, палеолитический человек вполне мог «упитываться» падалью (что, видимо, составляло его основное занятие) и мыслил исключительно примитивно. Он якобы даже не хранил свои орудия, а бросал их на месте, стоило ему удовлетворить сиюминутную потребность в этих предметах: «Орудие человек брал в щепоть и скреб сырое, отчасти уже размягченное гнилым мясом в ту сторону, куда была обращена плоская сторона (скребка. — *Н.П.*), и поскребки, быстро скоплавшиеся на ней, в рот или прямо с кремня, или подхватывая их пальцами другой руки <...>. По насыщении орудия оставались или просто брошенными на землю, или увязнувшими в недоеденном мясе <...>» (Там же: 24).

Трактовка материалов, принятая А.И. Кельсиевым, полностью вытекала из господствовавших в европейской науке представлений о звероподобном палеолитическом человеке, якобы не имевшем ни религии, ни настоящего искусства. В свою очередь, И.С. Поляков и А.С. Уваров воспринимали обитателей палеолитических стоянок вполне в бэрловском духе как *полноценных людей*. Для них обоих «простота изделий» древнего человека лишь до определенной степени отражала «простоту нравов» (Уваров 1881: 33). Резким контрастом идее «человека-зверя» звучали замечания И.С. Полякова о «сообразительности людей палеолитического периода», об «изяществе отделки» костяных орудий и даже о «значительном культурном развитии», которого достиг палеолитический человек «на равнинах Европейской России» (Поляков 1880: 34).

5.3.3. Естественноведческий подход к изучению неолитических стоянок в 1870–1880-х гг.: А.А. Иностранцев и его книга

В 1878–1882 гг. профессором Санкт-Петербургского университета, геологом *Александром Александровичем Иностранцевым* (1843–1919) и его сотрудниками проводились археологические наблюдения и сборы материалов эпохи неолита в ходе строительства обводных каналов Сясьской и Свирской систем. Результатом этих работ стала серьезная, великолепно изданная книга, представляющая собой не только образец комплексного исследования, но и образец чисто естественноведческого подхода к археологическим памятникам (Иностранцев, 1882; см. также: Формозов, 1983: 70–84; Тихонов, 1994; 1995; 2003: 105–108).

Исключительно профессионально оказались проанализированы в этой книге многие стороны природного контекста стоянок. Внимательно изучались остеологические и антропологические материалы, древесные остатки, петрография каменных изделий, даже химический состав неолитической керамики. На базе этих данных было установлено немало характерных деталей, важных для историко-культурной реконструкции — образа жизни неолитических насельников Приладожья, их одежды, домостроительства и т. п. Обобщенные затем А.А. Иностранцевым, эти данные оказались той «изюминкой», которая, собственно, и придала книге особую информативность и значимость. Но знаменательно: в «созвездии» специалистов-естествоиспытателей, приложивших свою руку к работе над материалом, не нашлось места ни одному археологу-историку.

Собственно археологическую часть исследования А.А. Иностранцев взял на себя, хотя сам же отмечал в заключительной части книги необходимость «совместной работы историков и натуралистов» над материалами каменного века. Это определило характер сделанных там обобщений. А.А. Иностранцев отрицал возможность разработки в первобытной археологии каких-то собственных, отличных от естественнонаучных методов анализа культурных остатков (Иностранцев, 1880а: 265–266). Вероятно, по сравнению с ним, Г. де Мортилье следовало бы признать «гуманитарием», ибо свою периодизацию французского палеолита он так или иначе построил исходя из представлений о закономерных стадийальных изменениях в области технологии камнеобработки. В свою очередь, А.А. Иностранцев не признавал никаких культурно-исторических периодизаций и, соответственно, не видел перспектив развития археологии как самостоятельной дисциплины. В этом с ним был совершенно согласен В.В. Докучаев, резко критиковавший А.С. Уварова, в частности за то, что тот считал возможным давать каменному веку подразделения на основании *формы* орудий. Сам Докучаев (кстати, со ссылкой на А.А. Иностранцева) утверждал «ненаучность» такого подхода (Докучаев, 1882: 1–2).



А.А. Иностранцев
(1843–1919)

Соответственно, деление каменного века на палеолит и неолит в работе А.А. Иностранцева оказалось отвергнуто, а вместе с ним отвергнута и самая возможность как-то упорядочить археологический материал, вписать его в общую (пусть приблизительную!) картину развития древних технологий. Более того, стремясь опровергнуть вывод Д. Леббока о большей древности «оббитых» орудий по сравнению с полированными, Иностранцев прибегает к любым аргументам, в том числе спорным и источниковедчески ущербным. В частности, в рассматриваемой монографии он приводит в качестве такого аргумента находку П.Н. Венюкова и Н.А. Соколова у д. Вельсы на р. Волхов. Здесь, в слоях, геологически более поздних, чем находки с каналов Приладожья, были обнаружены кремневые (т. е. оббитые) орудия вкуче с неолитической керамикой. Отсутствие полированных орудий в этой, несомненно, достаточно случайной выборке, показалось автору достаточно веским доводом, чтобы опровергнуть всю периодизацию Д. Леббока.

Вообще источниковедческая часть монографии А.А. Иностранцева довольно слаба даже для своего времени. Она не идет ни в какое сравнение, скажем, с полевой методикой И.С. Полякова, который отчетливо понимал необходимость наблюдения за раскопками, фиксации (хотя бы в виде словесного описания) взаимного расположения предметов в слое, их привязки к определенным объектам и т. п. Конечно, с современной точки зрения, и методика Полякова очень далека от идеала. Тем не менее, побывав на строительстве каналов в 1880 г., он сразу указал А.А. Иностранцеву на возможность смешения в коллекции материалов из нескольких стоянок (Поляков, 1881: 145–146). Ведь археологические находки добывались в различных местах, на участке трассы канала протяженностью несколько километров — от Новой Ладogi до д. Загубье. Добывались они рабочими-землекопами, практически без всякого контроля со стороны ученых. И весь этот материал, несомненно происходивший из нескольких разновременных памятников, все-таки до конца воспринимался автором монографии как единое целое — остатки одного поселения каменного века.

Таким образом, в ходе обобщения А.А. Иностранцевым археологических данных сполна сказались как сильные, так и слабые стороны чисто естествоведческого подхода к древностям. Профессионализм в области естествознания не обеспечивал автоматически профессионального подхода к анализу культурных остатков, хотя, без сомнения, многие русские естествоиспытатели смогли на деле стать профессионалами в археологии (И.С. Поляков, К.С. Мережковский, позднее — Д.Н. Клеменц и др.).

Как бы то ни было, монография А.А. Иностранцева стала ярким событием в отечественной археологии и до сих пор не потеряла своего научного значения. В каком-то смысле она была выполнена в традициях скандинавского подхода, требовавшего детальной проработки находок и их контекстов учеными-естествоиспытателями. Для своего времени указанная работа была произведена А.А. Иностранцевым и его сотрудниками исчерпывающе. Но резким отличием их труда от собственных разработок «скандинавской школы» являлся отказ от построения исследования на культурно-исторической основе и прослеживания каких бы то ни было собственных закономерностей развития материальной культуры.

5.3.4. Упадок интереса к первобытности в конце XIX в.: причины и следствия

К концу 1880-х гг. интерес к каменному веку в нашей стране стал постепенно затухать. Раскопки отдельных стоянок, обнаруженных случайно и разрушавшихся строительными работами, приняли вполне эпизодический характер. Материалы их нередко оставались невостребованными и пропадали.

Почему же исследования в области первобытной археологии, так удачно начатые в третьей четверти XIX в., потом надолго заглохли? Ответ на этот вопрос включает два аспекта — организационный и идеологический. На начальных этапах изучения каменного века в России разведочные работы, производившиеся учёными-одиночками, как правило, в комплексе с географическим и этнографическим обследованием региона, являлись оптимальной организационной формой. Но за первыми разведками должно было последовать снаряжение крупных экспедиций. Ведь, к примеру, раскопки палеолитических памятников — дело очень трудоёмкое и дорогостоящее. Препятствия к переходу исследований на эту новую ступень возникали в иной плоскости — чисто идеологической.

Первобытная археология второй половины XIX в. была тесно связана с естественными науками — геологией и палеонтологией. На том этапе развития естествознания это означало неизбежную связь её с либерально-революционными и атеистическими идеями. В России указанная связь проявилась особенно ярко не столько в научных, сколько в «околонаучных» кругах разночинной интеллигенции. Изучение первобытности — в любом её аспекте — имело прямой и непосредственный «выход» в историю, причём на такой принципиально важный её отрезок, как начальный этап истории человечества.

В связи с этим неизбежно вставали «ненужные» вопросы о движущих силах истории, о происхождении человека и т. п. Они напрямую затрагивали животрепещущие идеологические проблемы (ср.: Беляев, 1889). Поэтому, с усилением консервативных тенденций во внутренней политике России после убийства Александра II, власти охотно поддержали уже наметившуюся тенденцию к изоляции науки о первобытности от комплекса исторических наук. В этом аспекте стремления консерваторов и самих ученых-антропологов практически совпали.

Приведу пример: в 1888 г. кафедра географии и этнографии, первоначально организованная под руководством Д.Н. Анучина на историко-филологическом факультете, была переведена на физико-математический факультет (Д.Н. Анучин... 1900: 2–4). Совершилось это по просьбе и с полного одобрения самих ученых-естествоиспытателей, считавших, что упомянутой кафедре на гуманитарном факультете не место. В результате туда же, на естественное отделение физико-математического факультета, оказалось переведено преподавание доисторической археологии.

После этого перевода Д.Н. Анучин, который до того уже начал вести собственные археологические обследования, всецело сосредоточился в своей научно-преподавательской деятельности на проблемах физической географии и физической антропологии. Наукой о первобытности он продолжал заниматься лишь постольку, поскольку, будучи человеком энциклопедического склада ума, продолжал следить за литературой и за работой многочисленных научных обществ, в которых участвовал. Раскопок он не вёл, учеников-археологов не готовил. Таковые появились лишь на завершающем этапе его деятельности в тот

период, когда в Санкт-Петербургском университете уже начала складываться «школа Волкова» (см. ниже). Число же их просто несопоставимо с той плеядой ученых-географов, которую Д.Н. Анучин воспитал, создавая отечественную географическую школу (Богданов, 1941).

Очень похожая ситуация сложилась в указанный период и в Санкт-Петербургском университете, где на естественном отделении физмата также функционировала кафедра географии и этнографии. При всём огромном интересе её руководителей (Э.Ю. Петри, Д.А. Коропчевский) к доисторической антропологии и археологии, подготовка специалистов-«первобытников» на кафедре практически не производилась. Она началась лишь на рубеже 1900–1910-х гг. с приходом туда Ф.К. Волкова (Тихонов 1995; 2003; Платонова 2003; Руденко 2003).

Истоки данной тенденции не вызывают сомнений. Она, безусловно, инициировалась «снизу», самой научной интеллигенцией (учитывая растущий разрыв между «естественниками» и «гуманитариями»), и охотно поощрялась «сверху». Давление было неизбежным, особенно если учесть остроту политического противостояния в обществе. Ситуация самым негативным образом отразилась на ходе исследований в области первобытной археологии.

Конечно, даже в самые «чёрные годы реакции» противостояние не принимало таких диких форм идеологического террора, как позднее в СССР. Но этого и не требовалось. «Археология — наука богатых», — справедливо заметила однажды графиня П.С. Уварова. Совсем не обязательно *запрещать* изучение стоянок каменного века. Достаточно *не поощрять* их, то есть не финансировать. Возможностью производить раскопки за собственный счёт археологи, подобные И.С. Полякову или А.А. Иностранцеву, не располагали. Магистральный путь развития русской археологии рубежа XIX–XX вв. оставлял науку о первобытности в стороне.

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЕОЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ (1900–1910-е гг.)

5.4.1. Основоположники: Д.Н. Анучин и Ф.К. Волков

По иронии судьбы, заимствование термина «палеоэтнология» в России произошло в середине 1900-х гг. — то есть именно тогда, когда это понятие уже вышло из обихода на родине. Напрямую оно связано с деятельностью Ф.К. Волкова — ученика Г. де Мортилье, навсегда оставшегося верным убеждениям своей молодости.

Привлекательность палеоэтнологического подхода для молодёжи, учившейся в ту пору на естественных отделениях русских университетов, объясняется просто. В предшествующие 20 лет исследования первобытных памятников в России оказались, по большей части, свёрнуты в силу политической реакции. Применение естественнонаучных методик анализа, интенсивно применявшееся в русской археологии 1860–1880-х гг. и нашедшее самое блестящее воплощение в монографии А.А. Иностранцева, отошло на дальний план и само собой заглохло. В университетах доминировала классическая археология с её

строгим филологическим методом исследования, а также тесно связанная с ней археология варварских провинций Римской империи. Но в среде молодёжи начала XX в. уже назревало стремление дистанцироваться от этой области знания. Слишком многие ассоциировали её с надоевшей системой классического образования, закрывавшей двери университетов перед «реалистами», не державшими экзамена по греческому и латыни.

Напротив, палеоэтнологическая парадигма, возвращавшая права естественнонаучным методам и подходам, безусловно, воспринималась в начале XX в. как новаторская и оппозиционная господствующим тенденциям. По большому счёту, отечественная первобытная археология 1920-х гг. обязана своим развитием двум людям, без которых она просто не смогла бы состояться. Эти два человека — уже упоминавшиеся выше **Дмитрий Николаевич Анучин** (1843–1923) и **Фёдор Кондратьевич Волков** (1847–1918).



Д.Н. Анучин
(1843–1923)

Они принадлежали к одному поколению. Оба родились в николаевское время, оба начали интенсивную деятельность в науке в 1870-х гг. Оба происходили из провинции — Анучин из русской, Волков — из украинской глубинки. Оба окончили физико-математические факультеты университетов по естественному отделению. Оба дополнительно учились во Франции, были тесно связаны там с лабораторией П. Брока, что и оказало серьёзное влияние на их мировоззрение. Оба, вслед за П. Брока, всю жизнь считали антропологию синтетической наукой, «центром, куда сходятся, как в фокусе, достижения всех отраслей знания» (Штернберг, 1926а: 8). Оба оставили многочисленные труды в области физической антропологии, этнографии и археологии.

Представление об органической связи этих дисциплин, объединённых между собой единством предмета изучения — человека — до сих пор называется в русской науке «анучинской триадой». Однако с не меньшей настойчивостью эту связь обосновывал Волков. И тот и другой стали авторами курсов лекций по доисторической археологии, антропологии и этнографии — Анучин в Московском, Волков — в Петербургском университетах. Оба обладали энциклопедическими знаниями и являлись «центрами притяжения» для своих студентов. Оба мало сами занимались раскопками, но были превосходными знатоками всей мировой археологии.

Оба лишь ненадолго пережили Октябрьский переворот — Волков скончался в 1918 г., Анучин — в 1923. Оба оставили по целой плеяде разносторонне подготовленных учеников, широко развернувших свою деятельность в 1920-х гг. Но среди учеников Анучина доминируют географы, этнографы и антропологи, хотя есть и два блестящих «археологических» имени — Б.С. Жуков и Б.А. Куфтин. Учениками Волкова стали, в числе прочих, такие выдающиеся археологи, как А.А. Миллер, П.П. Ефименко, С.А. Теплоухов, С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловский и др. Именно этим учёным мы обязаны тем, по сути, беспрецедентным «прорывом», который произошёл в русской археологической науке на исходе последней трети XX в.

На этом сходство в судьбах двух мэтров кончается, и начинаются различия — не менее яркие и знаменательные. Взгляды Д.Н. Анучина на «антропологию» как синтетическую науку, включающую, в частности, комплексное исследование человека в первобытную эпоху, в общем, можно рассматривать в русле воззрений французских антропологов. Но всецело он никогда не примыкал к французской школе, занимая собственную позицию по многим проблемам антропологии и археологии, в том числе очень принципиальным, как, например, вопрос об «иерархии рас» или о системе Мортилье. О ней Д.Н. Анучин выражался так: «Мортилье принадлежит заслуга первой систематизации данных по доисторической археологии, установление известного ряда эпох по характеру и типу различных изделий человека. Классификация эта, правда, приложима только к Франции, да и там не пользуется всеобщим признанием. Тем не менее она составила важный шаг в науке, установив известную последовательность в развитии доисторической техники и искусства (курсив мой. — Н.П.)» (Анучин, 1898: 337).

Для сравнения можно упомянуть, что Ф.К. Волков до конца дней своих считал систему Мортилье всеохватной и основанной на «тщательнейшем и полнейшем изучении материала во всей его обширности, а не на каких-либо более-менее блестящих умозаключениях». Об «авторах отдельных поправок» он отзывался с нескрываемым раздражением (Волков, 1913: 300).

Различен был, в некотором смысле, и характер научной подготовки этих двух ученых. Ф.К. Волков являлся «чистым» естественником. Анучин же, помимо физико-математического, окончил историко-филологический факультет и вполне мог считаться профессионалом в гуманитарной области. Это сполна проявилось во многих его работах (Анучин, 1909; 1909а), в частности, в споре с Д.Я. Самоквасовым о кладах византийских монет первой половины I тыс. н.э. как источниках по истории славян и их возможных миграций из Центральной Европы на восток (Анучин, 1888).

Научная карьера Д.Н. Анучина протекала на родине более-менее стабильно. Он с самого начала стал преподавать в Московском университете. Чтение курса антропологии было начато им на историко-филологическом факультете в первой половине 1880-х гг. Реально занятия проводились при музее антропологии, организованном профессором А.Н. Богдановым на средства мецената фон Мекка¹. После принятия нового университетского устава 1884 г. он возглавил на историко-филологическом факультете новую кафедру географии и этнографии (позднее переведенную на физико-математический факультет) (Д.Н. Анучин... 1900).

По своей натуре и складу ученого Д.Н. Анучин был типичным «фактопклонником», что, видимо, и обусловило его обособленное положение в науке. Формируя русскую географическую школу в университете, он сам никогда не шел в русле какой бы то ни было школы. Он, безусловно, являлся убежденным

¹ В литературе долгое время считалось, что в 1870-х гг. в университете была организована кафедра антропологии, в дальнейшем ликвидированная (1884 г.). Но, как можно заключить по документам, эта кафедра так и не была утверждена университетским уставом. Приношу глубокую признательность И.Л. Тихонову за это сообщение, основанное на его архивных разработках.

дарвинистом, но жесткий схематизм ранних позитивистов изначально был ему чужд. Совершенно иной тип человека и ученого представлял собой Ф.К. Волков, который даже в 1910-х гг. упорно поддерживал в русской науке миф о непогрешимости Г. де Мортилье.

Научные заслуги Д.Н. Анучина на родине были оценены по достоинству еще при его жизни. Считалось, что ни один из современных русских учёных не обладает «такими обширными познаниями в археологии, этнографии, антропологии в соединении со сведениями по географии, истории быта, зоологии, как проф. Д.Н. Анучин» (Богданов, 1941). «В области этнографии, в том широком смысле, в каком её теперь понимают как науку о человечестве и культуре (курсив мой. — Н.П.), — говорил Л.Я. Штернберг в своей речи памяти Д.Н. Анучина в 1924 г., — он является подлинным патриархом, основоположником <...>. Человечество в его целом, с его физической и духовной природой, культура в её целом, как духовная, так и материальная, археология, не только историческая, но и доисторическая — в таком масштабе мыслил Дмитрий Николаевич ту науку, над которой он так много работал <...>. Для него этнография была не только интегральной частью триединой науки, <...> она была для него синтезом наук биологических и гуманитарных <...>» (Штернберг, 1926а: 7–8).

В дальнейшем, в учебниках и университетских курсах советского периода, имя Д.Н. Анучина всегда поминалось с уважением, хотя основа его научного мировоззрения — знаменитая «анучинская триада» — воспринималось лишь как некий историографический казус.

Напротив, имя Ф.К. Волкова оказалось вычеркнуто из учебников на полвека. О заслугах учёного, стоявшего у истоков научного палеолитоведения в СССР, стало можно упоминать в печати лишь с оговоркой, что его деятельность в целом оказала «вредное влияние на науку о палеолите» (Борисковский, 1953: 18–20). Только в украинской археологической литературе с 1960-х гг. начались робкие попытки говорить о Фёдоре Кондратьевиче без дежурной ругани в его адрес. Но в этом ключе можно было упоминать его лишь в связи с узким кругом конкретных проблем — таких, к примеру, как открытие и исследование им Мезинской палеолитической стоянки (Шовкопляс, 1965: 13).

Замалчивание общего вклада Ф.К. Волкова в славистику и в развитие археологии палеолита в России продолжалось до конца 1980-х. Лишь в последние 20 лет об учёном заговорили вновь, пытаются восстановить историческую справедливость (Платонова, 2003; Тихонов, 1995; 2003). Памятвая, что его научная и педагогическая деятельность в значительной степени определила облик ведущего научного направления в русской археологии 1920-х гг., остановимся подробнее на некоторых фактах его биографии.

5.4.2. Фёдор Кондратьевич Волков: этапы жизни и творчества

Ф.К. Волков (в украинских публикациях он выступал под псевдонимом Хведор Вовк, Влк и др.) был человеком непростой и нелёгкой судьбы. В жизни его и характере можно найти немало общего с Г. де Мортилье. Оба они были биологами по образованию. Оба отличались политическим радикализмом, одарённостью,

глубокой порядочностью, прямолинейностью и нетерпимостью к чужим мнениям. Оба в молодости увлекались революцией, а зрелость провели в изгнании. На раннем этапе деятельности Ф.К. Волкова (1870–1880-е гг.) политик и революционер явно доминировал в нём над учёным. Как писала впоследствии его дочь Г.Ф. Вовк, в молодые годы «<...> интересы його скеровані були на справи політичні. Політичні погляди дали напрям і науковим його студіям <...>» (Вовк, 1928: 87).

В 1870-х гг. Фёдор Кондратьевич являлся членом совета тайного общества «Громада», ратовавшего за «сохранение языка, обычаев и нравов украинского народа». В Вене и Женеве он организовал типографии, где печаталась запрещённая в России литература, и сам тайно переправлял её на родину. В 1879 г. ему грозили арест и ссылка. Спасением стало полное приключений бегство через румынскую границу. Лишь в 1890-х гг. Волков на практике отошёл от революционной деятельности, занявшись наукой.

В эмиграции учёный жил сначала в Румынии, затем в Швейцарии и вдобавок совершил несколько поездок по Центральной Европе, изучая этнографию украинского населения за рубежами России. В эти годы он много работал с этнографическими и археологическими коллекциями музеев Вены, Рима, Неаполя, Флоренции, Парижа, Берна, Женевы и Цюриха. В 1887 г. Волков поселился в Париже и начал заниматься в Антропологической школе, созданной в 1876 г. П. Брока и Г. де Мортилье (и уже в 1878 г. признанной университетским образовательным заведением). Все последующие годы он поддерживал тесные научные связи с Г. де Мортилье и его сыном Адрианом, а также с антропологами Э. Гами и Л. Мануври (Руденко, 2003: 361; Тихонов, 2003: 116–117).

По рекомендации Мортилье, Ф.К. Волков стал членом Антропологического и Доисторического обществ и одним из редакторов журнала *L'Anthropologie*. В этом журнале за 20 лет вышло несколько сотен его публикаций по этнографии, антропологии и археологии, включая многочисленные обзоры и рецензии. Все, представлявшие хоть какой-то научный интерес русские статьи по антропологии, этнографии и археологии немедленно рецензировались им. Ф.К. Волков знакомил зарубежную науку с открытиями в России и, напротив, старался всемерно популяризировать на родине достижения французской научной мысли. Из оригинальных трудов его 1890-х гг. стоит особо отметить крупную, монографического плана работу «Брачный ритуал и обряды на Украине» (Volkov, 1891–1892). По оценке С.И. Руденко, она содержала «исчерпывающие сведения» о предмете и его анализ в контексте мировой этнографии свадебного обряда (Руденко, 2003: 364). Указанная работа сделала Волкова широко известным в кругах европейских этнологов.

В начале 1900-х гг. учёный был занят исследованиями в области общей антропологии. В 1903–1905 гг. из печати выходит его монография «Скелетные видоизменения ступни у приматов и в человеческих расах». В этой работе были исследованы формы ступни различных пород млекопитающих, обезьян, антропоидов и различных человеческих рас. Выдержана она в духе классического социал-дарвинизма — поиска промежуточных форм между различными классами и доказательства влияния на них процессов отбора и «приспособления». За этот свой труд Ф.К. Волков получил Большую Почётную медаль П. Брока

и стал лауреатом премии Кана. В 1905 г. Парижский университет присудил ему научную степень доктора естественных наук. В России его ещё ранее избрали иностранным членом-сотрудником РАОПУ.

В упомянутой книге вполне откровенно проводилась идея «иерархии человеческих рас», и, в частности, выдвигались аргументы за то, что «скелет ступни у низших человеческих рас представляет в своей совокупности и в каждой кости, в частности, очевидные и многочисленные следы приспособления лазающих, имеющих предшественников в отношении передвижения на двух ногах» (Там же: 362). Выражаясь нелицеприятно, указанный комплекс идей есть не что иное, как расизм. Но для французской антропологии рубежа XIX–XX вв. подобные взгляды были вполне общепринятыми. Напротив, в русской науке как «иерархия рас», так и попытки объяснить этнические различия чисто физическими, антропологическими факторами вызвали стойкое неприятие ещё со времен К.М. Бэра. Неприемимым противником подобных взглядов являлся Д.Н. Анучин, впоследствии выступивший с жесткой критикой работ Ф.К. Волкова по антропологии украинцев (Анучин, 1918).

Параллельно Фёдор Кондратьевич работал и в области археологии. По предложению Д.Н. Анучина он перевёл на русский язык капитальную монографию Л. Нидерле «Человечество в доисторические времена» (Нидерле, 1898). В 1900 г. участвовал в организации Русского отдела Всемирной выставки в Париже и выступил там с публичными лекциями по антропологии и преистории. На Международном конгрессе доисторической археологии в Париже в 1900 г. им был представлен реферат о неолитической трипольской индустрии (Volkov, 1900: 57–60). Более обширная статья, опубликованная на ту же тему на русском языке, представляла собой вводный раздел большой незаконченной работы Волкова о неолитических памятниках Украины (Волков, 1900; Вовк, 1905; 1927; 1928). В ней подробно обсуждались вопросы методики исследования памятников каменного века.

Педагогическая деятельность Волкова началась в эмиграции. В 1901 г. он принимает предложение И.И. Мечникова и М.М. Ковалевского читать лекции по антропологии, археологии и этнографии в новой Русской школе общественных наук при Парижском Антропологическом обществе. Именно здесь, в Париже, учениками Волкова становятся С.С. Широкогоров и Н.М. Могилянский (в будущем известные этнографы), а также А.А. Миллер, внесший позднее заметный вклад в развитие отечественной археологии.

И всё же хлеб чужбины был горек Ф.К. Волкову. Научное признание и европейское имя в науке, тем не менее, так и не сделали его во Франции настоящим своим. Ни обширные знания, ни одарённость как педагога не могли доставить ему штатного места в университете или крупном музее. Чтение лекций в Высшей Русской школе велось им безвозмездно. Зарабатывать



Ф.К. Волков (Хведор Вовк)
(1847–1918)

на жизнь приходилось редакторской и переводческой работой, а более всего — уроками французского языка в русских семьях. С начала 1900-х Ф.К. Волков стал всё теснее общаться в своей работе с российскими учреждениями и научными обществами. Когда амнистия 1905 г. открыла ему обратную дорогу на родину, он сразу использовал эту возможность. Более того — предостерег от «невозвращения» своего ученика А.А. Миллера, когда тот — офицер запаса — получил в Париже приказ вернуться в Россию и в армию для подавления революционных мятежей (см. 5.5.2). В Санкт-Петербург они уехали вместе (Миллер, 1958: 128).

Выбор Северной столицы, как места жительства стал для Ф.К. Волкова — коренного украинца — не случайным. В основе лежали договорённости с Санкт-Петербургским университетом и Русским музеем. В университете именно в это время обсуждался вопрос о возобновлении преподавания антропологии и этнографии, прерванного после смерти Э.Ю. Петри и Д.А. Коропчевского. Решено было добавить к ним и курс доисторической археологии. По возвращении Ф.К. Волкова в Россию осенью 1906 г. А.А. Иностранцев выдвинул его кандидатуру в качестве преподавателя этих предметов (Тихонов, 2003: 117). В феврале 1907 г. Фёдор Кандратьевич оказался зачислен в состав приват-доцентов по кафедре географии и этнографии физико-математического факультета и допущен к чтению лекций.

Таким образом, учёному стукнуло шестьдесят, когда он впервые начал читать курс в университете. Здоровье уже крепко подводило его. Работа хранителя Этнографического отдела Русского музея в те годы была сопряжена с постоянными экспедициями с целью пополнения фондов. Он взваливает на себя эту огромную нагрузку, параллельно ведёт обработку коллекций, продолжает антропологическое обследование украинцев, начатое ещё в эмиграции, оживляет работу Русского Антропологического общества при Санкт-Петербургском университете, основывает и редактирует превосходное издание «*Материалов по этнографии России*», стоившее ему немалых трудов и нервов. Но всё же служба в музее тяготит его.

«Если бы была какая-нибудь возможность, — пишет он своему любимому ученику С.И. Руденко в 1909 г., — найти другой заработок, я с удовольствием ушёл бы из Музея, до такой степени всё это принимает какой-то чиновничий и канцелярский характер с явным и уже почти нескрываемым пренебрежением к каким-нибудь научным задачам, если они не могут продемонстрировать перед начальством распорядительность, быстроту и натиск! Обо всём этом противно и писать <...>» (Руденко, 2003: 365).

Зато чтение лекций для Волкова — «отдых». Его заветная мечта — организовать в Петербурге самостоятельную кафедру антропологии, а пока на кафедре географии и этнографии его стараниями оборудуется Кабинет, собираются антропологические коллекции, из Парижа выписываются (порою за его счёт!) инструменты, слепки, модели, налаживаются практически занятия по антропологии и археологии. В курсе лекций, который читает Ф.К. Волков на физмате, основная часть посвящена палеолиту. Затем в нём достаточно подробно освещаются неолитические древности (включая памятники Восточной Европы). Далее следуют общая проблематика эпохи бронзы и, наконец, в завершение — обзор древностей железного века, «преимущественно скифо-сарматских и древне-

русских курганных». В курсе общей или сравнительной этнографии Волковым рассматриваются «орудия и приёмы народной техники, орудия и способы передвижения, добывания и приготовления пищи, эволюция построек, разные формы одежды. Затем <...> обычаи, обряды и ритуалы религиозных культов <...>» (Тихонов, 2003: 117–118).

«<...> Стоит лишь вспомнить фигуру усталого, сгорбленного старичка, с закрытым ртом, возвращающегося <...> с 16-й линии Васильевского острова или ождающего трамвая, чтобы оценить, какая большая внутренняя сила была у Фёдора Кандратьевича. — писал о нём в 1918 г. его ученик Д.А. Золотарёв. — <...> Он умел быть не только учёным и преподавателем, он жил и нашими интересами, побуждая нас жить интересами своего Кабинета и науки. Его Кабинет на 16-й линии был для нас самым приятным местом обсуждения планов работ и различных начинаний <...>» (Золотарев, 1918: 356–357).

Так уже пожилым, большим, усталым человеком Ф.К. Волков, по сути, приступает к осуществлению важнейшего дела своей жизни. Он усиленно внедряет в умы студентов усвоенное им от Г. де Мортилье позитивистское понятие об *антропологии как синтетической науке о человеке* и о методах воссоздания физического и культурного облика человека на различных исторических этапах. В статье «Антропология и её университетское преподавание», опубликованной в 1915 г., Фёдор Кандратьевич писал, что «антропология, являясь одной из общественных наук, цель которой состоит в изучении человека, имеет своим предметом:

- а) положение человека в ряду прочих млекопитающих (*антропология зоологическая*);
- б) анатомические особенности человека различных возрастов, полов, рас, занятий и пр. (*антропология анатомическая*);



Практическое занятие Ф.К. Волкова по антропометрии

в) физиологические особенности в тех же условиях (*антропология физиологическая*);

г) учение о происхождении и развитии человечества в физическом и бытовом отношении во времена, предшествовавшие появлению исторических сведений (*антропология доисторическая или палеоэтнология*);

д) учение о народах, их этническом составе и происхождении и их быте материальном и психическом (*антропология этнологическая или этнология*);

е) учение о формах быта и их развитии (*антропология этнографическая или сравнительная этнография*);

ж) история и законы возникновения и развития человеческих общественных групп и отношений (*антропология социологическая*)» (Волков, 1915: 99–107).

Забегая вперёд, стоит отметить, что ключевой тезис Ф.К. Волкова: «палеоэтнология — наука естественная», по большей части, не был принят даже его учениками, хотя они охотно считали её «переходной от естествознания к обществоведению». Тем не менее, представление об археологии (палеоэтнологии) как составной части общей антропологии было усвоено ими прочно. В 1920-х гг. оно, по сути, стало доминирующим в русской науке.

В более ранней работе (ещё парижского периода) Ф.К. Волков достаточно чётко сформулировал своё *credo* в области методов археологического исследования:

«...Задача доисторической археологии заключается <...>, — пишет он, — в возможно более полном восстановлении типа, происхождения, миграций, бытовой обстановки, общественных отношений, верований культа и всей вообще соматической и психической деятельности <...> древних обитателей земли (курсив мой. — Н.П.). Производя раскопки, мы, с одной стороны, спасаем древние памятники, но, с другой стороны, безвозвратно и навсегда уничтожаем то, чего не сумели или не захотели спасти по небрежности <...>» (Волков, 1900: 235).

«<...> Всякая научно-производимая раскопка должна иметь задачей не только извлечение из земли древних предметов, но и возможно полное восстановление всей той культуры, остатками которой они являются перед нами (курсив мой. — Н.П.). Ввиду этого первой заботой археолога должно быть, прежде всего, определение самой структуры находки и затем её характера <...>» (Там же: 240).

«<...> Наши раскопки заключают в себе не меньше научного интереса, чем самые крупные из западноевропейских, и если они до сих пор не занимают соответственного их важности положения в науке, то только потому, что они неумело производятся, небрежно описываются и очень плохо издаются <...>» (Там же: 245).

Практическими рекомендациями Ф.К. Волкова по раскопкам памятников эпохи неолита на Украине было обязательное вычерчивание вертикальных и горизонтальных разрезов «культурного пласта», горизонтальная расчистка отдельных комплексов («площадок обожжённой глины») с изготовлением затем нескольких вертикальных разрезов, «очень тщательная статистика всех керамических предметов» и, наконец, необходимость брать при раскопках «всё без исключения (курсив мой. — Н.П.) — из черепков могут быть составлены сосуды, кости должны быть определены, равно как уголь и куски дерева, на комках глины могут оказаться отпечатки, в пепле — остатки сожжённых трупов <...>» (Там же: 242–243).

Таким образом, методические требования Волкова, сформулированные ещё в 1900 г., были очень высокими для своего времени. Но всё это ещё требовалось по-настоящему внедрить в умы студентов, *доказать* им необходимость такого ужесточения требований, по сравнению с общепринятой археологической практикой. В противном случае никакое новшество не смогло бы привиться надолго. В дальнейшем история раскопок Мезинской стоянки на Черниговщине показала, каким трудным и длительным явился этот процесс. Сам Ф.К. Волков, неизменно загруженный делами по Этнографическому отделу, практически не имел возможности лично присутствовать на раскопках. Работы в 1909 г. производились его учеником П.П. Ефименко, а в последующие годы — Л.Е. Чикаленко. Добиться от них на практике соблюдения всех своих методических требований Волкову оказалось совсем не просто.

По-видимому, единственным методическим требованием, соблюденным молодым П.П. Ефименко при раскопках Мезина, было требование взять весь материал без исключения (Сергин, 1987). В остальном его первые раскопки мало отличались от кладочислательских. Явно «не без проблем» проходило в дальнейшем и становление Л.Е. Чикаленко как полевого исследователя. В архиве Волкова сохранилась его деловая и немного ехидная записка с требованием «не забыть» выполнить такие-то и такие-то разрезы... Инерция мышления, ориентировка на общепринятое всегда имеют место в научной практике. Но факт: пройдёт совсем немного времени, и повзрослевшие ученики Волкова окажутся приверженцами наиболее точных методов исследования культурного слоя. В этом деле они пойдут намного дальше своего учителя.

По-видимому, Ф.К. Волкову всё же удалось в полной мере вложить в умы молодых палеоэтнологов, что «научнопроизводимая раскопка должна иметь задачей не только извлечение из земли древних предметов, но и возможно полное восстановление <...> культуры, остатками которой они являются...» (см. выше). Восстановление древних культур в исторической перспективе — вот основная задача, отчётливо сознаваемая этими исследователями в 1920-х гг. А такая задача на практике требовала совершенствования полевых методов. Поэтому марксисты В.И. Равдоникас и А.В. Арциховский, заявлявшие, что дореволюционная русская археология «за вещами не видит отношений между людьми», по сути, воевали тут с ветряными мельницами. Они обличали не реального противника, а некий придуманный для этой цели фантом.

О том, какими едкими, при всей своей интеллигентности, могли быть «методические замечания» Волкова, даёт представление следующий пассаж (речь идет о Кирилловской палеолитической стоянке): «<...> В тех чрезвычайно редких и требующих совершенно исключительного внимания случаях, когда нам приходится иметь дело с палеолитической стоянкой, мы довольствуемся общим геологическим разрезом местности, не заботясь ни о горизонтальном, ни о вертикальном разрезах самого археологического пласта, определяем его древность по глубине залегания и оставляем спорным вопрос о его до-, между- или после-ледниковом возрасте, оставляем найденные кости мамонта “на полах” по несколько дней, не зная, как их предохранить от разрушения, не ведём этим костям никакого подсчёта, почти ничего не знаем о костях других животных — и в конце концов должны только сердечно благодарить неутомимого Ч.В. Хвойку за то, что, благодаря его чешской



Волк взял быка за рога. Рисунок А.А. Миллера

любопытности и энергии, *всё* содержимое этой, одной из редчайших не только в России, но и по всей Европе, находки не ушло на планировку какого-нибудь Афана-сьевского яра или на постройку Днепровской дамбы <...>» (Волков, 1900: 235–236).

Замечательный рисовальщик А.А. Миллер не раз шуточно и метко изображал своего учителя. Один из его рисунков назван «Волк взял быка за рога». Он прекрасно передает характер Волкова. Перед нами пожилой человек, внимательно рассматривающий (с явно исследовательской целью) что-то в рогах огромного буйвола. Этот последний, как две капли воды, напоминает творение палеолитического художника (ср.: Семенов, 1997: 39).

Тем не менее следует признать: реально «взять быка за рога» в деле исследований палеолита России Ф.К. Волков так и не сумел. Конечно, он был уже не молод и вдобавок перегружен работой, в которой археология занимала далеко не первое место. Но, похоже, самым большим препятствием к постановке новых широких исследований оказалась приверженность ученого устаревшим схемам, которые, в его глазах, никогда не переставали быть истинными и, в сущности, не требовали никаких серьезных коррективов.

В этом плане весьма характерен следующий момент: выступая в 1909 г. в Русском Археологическом обществе с докладом об открытии Мезинской стоянки, Фёдор Кандратьевич включил в него общую характеристику палеолитических памятников России. В результате им было указано «пять, по крайней мере, пунктов, в которых сделаны находки палеолитического периода, хотя и не древнейших эпох его» и вскользь, мимоходом, упомянуты давние находки К.С. Мережковского в Крыму, целиком (без должных оснований!) приписанные автором «турасской эпохе», то есть мезолиту (Волков, 1913а: 300).

Проходит еще несколько лет, и в обширном приложении Ф.К. Волкова к русскому изданию книги М. Гернеса опять повторяется то же самое: всего пять стоянок более-менее достоверных; все памятники хронологически очень поздние — «гораздо позже, чем в Западной Европе, где в это время мог уже начаться и неолит»; наличие «геометрических форм указывает на переход к более поздней турасской эпохе» (Волков, 1914: 172–173).

А еще через год «грянул гром»: из печати вышла обширная статья А.А. Спицына «Русский палеолит» (1915). Написанная без всяких претензий на широкие обобщения и конечные истины, она тем не менее зримо продемонстрировала: инициатива планомерного изучения древнейшей эпохи на территории России уже в какой-то мере упущена и Ф.К. Волковым, и его окружением. Казалось бы, самая необходимая, простая и результативная операция — детальная свodka, описание и картографирование материалов — за истекшие годы так и не была выполнена ни им, ни его учениками. И вот нашелся тот, кто взял ее на себя — и не коллега-«антрополог», а археолог-историк, тот, кто, по понятиям французской школы, вообще не способен работать «научно».

Суждения А.А. Спицына о типологии и хронологии памятников восточноевропейского и сибирского палеолита оказались вполне деловыми и заметно расходились с точкой зрения самого Ф.К. Волкова, постоянно оглядывавшегося на устаревшие оценки, высказанные когда-то покойным Г. де Мортилье. Говоря о крымском палеолите, Спицын упомянул не только находки «турасской эпохи», но и открытие К.С. Мережковским мустьерского слоя в Волчьем Гроте. Стоянку Костёнки 1 он отнес к периоду более раннему, чем мадлен (вполне правомерно), и постарался аргументировать свое мнение типологически.

«Простой здравый смысл подсказывает, — писал он, — что русский палеолит не может быть простым повторением французского. Если, с одной стороны, несомненно, что схема Мортилье <...> по своей всеобщности, должна иметь применение и в России, то, с другой стороны, столь же очевидно, что схема эта неполна, так как она не прослеживает начала и конца культуры и кроме того между древним и новым периодом ее ощущается огромный пробел. В отдаленной России, а может быть особенно в Сибири, могут оказаться и искомые промежуточные формы. Во всяком случае, здесь должны быть предполагаемы иные условия жизни, не может быть одного и того же на Роне и на Амуре» (Спицын 1915: 134).

«<...> Совпадая типологически с западным палеолитом, русский едва ли совпадает с ним хронологически и, во всяком случае, может не совпадать. Свой палеолит мы должны изучать самостоятельно, прибегая к западному лишь для сравнения» (Там же: 172).

Ответом на публикацию А.С. Спицына немедленно стал «разгромный» отзыв Н.М. Могилянского — ученика Ф.К. Волкова по Парижу и его коллеги по Этнографическому отделу. Степень нетерпимости к чужому мнению, сквозящей в этой работе, просто поразительна. Статья резко выпадает из общего ряда дореволюционных российских публикаций научно-критического плана, которые бывали порой очень жесткими, но никогда не опускались до оскорблений. Главной целью рецензента было доказать: спицынская свodka выполнена непрофессионально и ненаучно. Это «прекрасный по идее почин», но его исполнение «способно отрицательно сказаться на деле изучения важной фазы в истории человеческой культуры» (Могилянский, 1916: 329). Подобная фразеология сопоставима разве что с позднейшими оценками самого Ф.К. Волкова в работах археологов сталинского периода.

Между тем, как отметил недавно С.А. Васильев, с современной точки зрения критика оказывается явно несправедливой. «Хотя А.А. Спицын и не был

«палеолитчиком» в полном смысле слова, его обзор, за исключением мелких неточностей, содержит вполне квалифицированную характеристику основных известных памятников палеолита на научном уровне того времени» (Платонова, Васильев, Мусин, 2009: 592). Работа А.А. Спицына, помимо ее объективной ценности как первой детальной сводки материала, содержала нетривиальные и, в общем, заслуживавшие внимания идеи (попытка классификации палеолитических очагов, мысль о костях мегафауны как «коксе палеолита» и т. п.). Все они оказались отброшены рецензентом однозначно и оскорбительно. Об общей тональности отзыва Н.М. Могилянского можно судить хотя бы по таким пассажам:

«<...> Главная беда в рассуждениях А.А. Спицына <...> — ему представляется необходимым разделить работу геолога и археолога, совершенно неотделимую. <...>

Тем и грандиозна концепция Г. де Мортилье, что она показывает нам общность исходных идей и их материального выражения в грубых каменных продуктах не только на Роне и на Амуре, а и в Патагонии, и в Палестине — словом, на всей обитаемой *genus Homo sapiens* планете — Земле. <...>

Взгляды А.А. Спицына должны посеять семена смуты (sic!) в умах его слушателей, студентов-филологов. <...>

Выносишь такое впечатление, будто бы А.А. Спицын вовсе просмотрел в труде Мортилье поразительные страницы и об эолите, т. е. о самых начатках культуры, и его гипотезу об антропопитеке как предшественнике человека на Земле. Ведь самое замечательное в этой гипотезе то, что выводил он ее не только из общей идеи трансформизма, но на основании изучения чисто археологического материала <...>.

До тех пор, пока исследователь не усвоит себе общего взгляда на задачи археологии в этом направлении как на доисторическую антропологию. <...>, пусть лучше оставит он нетронутыми стоянки палеолитического человека. <...>» (Могилянский, 1916: 331–333, 336).

Характерно, что из всех учеников Ф.К. Волкова именно Н.М. Могилянский, пожалуй, был наиболее далек от проблем древнего каменного века (как и археологии вообще). Он всегда оставался «чистым этнографом». Ни один из молодых палеоэтнологов, занимавшихся палеолитом профессионально (на тот момент это были П.П. Ефименко, Л.Е. Чикаленко и др.), не взялся за подготовку отрицательной рецензии на спицынский труд.

Подводя итоги, сказанному, можно констатировать: сводка А.А. Спицына создала ту источниковедческую основу, без которой любые дальнейшие суждения о памятниках уже выглядели поверхностными. И не пять стоянок оказалось на поверку на Русской равнине, а 25! А вместе с сибирскими и закавказскими памятниками — уже 29. Правда, некоторые из отмеченных местонахождений вызывали сомнения, но все же не менее 16 пунктов являлись достаточно обследованными. Поэтому за «сильными выражениями» рецензента на деле сквозили досада и недоумение: как же случилось, что такая работа оказалась проделана «чужим»?..

Между тем в Европе уже шла война, и особых перспектив на скорое продолжение исследований не оставалось. Революционные события в Петрограде 1917–1918 гг. не встретили сочувствия у старого «громадянина» Хведора Вовка. В это

время у него стало вырываться: «Помереть бы скорее!..» В *Личном деле* содержится медицинское свидетельство, выданное ему 7 июня 1918 г.; в нем говорится об истощении и тяжелой сердечной недостаточности (Арх. ГРМ. Ведомственный архив. № 177. Л. 110–111). Заручившись этим свидетельством, Ф.К. Волков поехал на родную Украину, предварительно завещав Украинской Академии наук свой научный архив и библиотеку. Но было поздно. 29 июня 1918 г. Федор Кондратьевич скончался в местечке Жлобин под Гомелем.

Известный современный археолог Г.П. Григорьев, любящий парадоксы, оценил деятельность Волкова так: «<...> Он выполнил главную задачу <...> — основал школу археологии палеолита, а опубликованные им самим труды не так уж важны и не столь полно определяют его позиции <...>» (Григорьев, 1998: 44). С некоторыми оговорками, с этим можно согласиться. Главным жизненным делом учёного действительно стало формирование *школы*. Деятельность Ф.К. Волкова восполнила серьезный пробел в отечественных исследованиях каменного века, образовавшийся в 1880–1900-х гг., когда соответствующее направление в России практически заглохло. Благодаря ему целое поколение русских археологов-первобытчиков приступило к собственным изысканиям, предварительно исчерпывающе освоив опыт западноевропейской науки. Будущее показало: они воспользовались этим сполна.

5.5. ПАЛЕОЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ (КОНЕЦ 1910–1920-Е ГГ.)

5.5.1. Поколение «первых учеников»

Если проанализировать установки палеоэтнологов нового поколения, пик деятельности которого пришелся на 1920-е гг., то вывод будет один: несмотря на искреннюю приверженность самого Ф.К. Волкова несколько запоздалому эволюционизму, несмотря на восторженное уважение к мэтру со стороны его учеников, теоретическая платформа русской палеоэтнологической школы не стала прямым продолжением традиции Г. де Мортилье. На первый план выступило не эволюционное развитие культуры в первобытную эпоху, а сопоставление археологических данных с данными географии и вопрос о соотношении культуры и природной среды. При этом позитивистские установки на выявление *законов* развития культуры и представление об археологии как об этнографии древности вполне сохранили свою актуальность. Но подходы к ним уже мало напоминали эволюционизм Г. де Мортилье. Они были близки к установкам американской «школы исторической этнологии» Ф. Боаса.

Следует отметить, что в оценке Ф. Боаса в 1920-х гг. оказались едины как палеоэтнологи, по-прежнему рассматривавшие свою науку как переходную от естествознания к обществоведению, так и убежденные этнологи-гуманитарии, подобные П.Ф. Преображенскому, еще в середине 1920-х считавшему «историзацию» этнологии закономерным, свершившимся фактом (см.: 4.8). На мой взгляд, это отражает наметившуюся тогда совершенно реальную тенденцию

к новому сближению и взаимному обогащению естественноведческого и гуманитарного подходов в археологии.

Изначальный принцип французской палеоэтнологии — представления о «естественном человеке», чья культура развивалась по законам, сходным с законами биологического мира — вслух не опровергался, но как-то позабылся, отступил на дальний план. В конце 1920-х гг. П.Ф. Преображенский вскользь упомянул этот тезис как совершенно устаревший и не соответствующий современному научному уровню. Не случайно уже курс палеоэтнологии Ф.К. Волкова, читавшийся на рубеже 1900–1910-х гг., включал не одну археологию первобытности (или эпоху *перехода* от *Naturvölker* к культурным сообществам), но археологию варварского мира и частично даже средневековья. Однако модернизация «схемы Мортилье», предпринятая в 1900–1910-х гг. А. Брейлем, вызвала у Волкова протест. В вопросе об эволюции палеолита он оставался «последним из могикан».

Ученики Ф.К. Волкова быстро преодолели эти устаревшие позиции учителя. В частности, П.П. Ефименко уже в 1915 г. выдвинул на первый план изучение *ареалов* верхнепалеолитической культуры и путей миграции отдельных культурных элементов. Тогда же им был намечен вопрос о выделении особой восточно-европейской фации верхнего палеолита и о различиях в темпах культурных изменений вследствие воздействия природной среды, стимулировавшей развитие культуры (Васильев, 1999: 19).

С другой стороны, уже в 1910-х гг. стали на практике налаживаться связи между палеоэтнологами школы Волкова и археологами-историками. В частности, Л.Е. Чикаленко посещал занятия по археологии на историко-филологическом факультете, которые вел А.А. Спицын. С.И. Руденко в 1916 г. сотрудничал с М.И. Ростовцевым в области исследования сарматских курганов у с. Покровка и Прохоровка Оренбургской губ. В дальнейшем, уже в ходе организации РАИМК в 1919 г., А.А. Миллером было выдвинуто требование распространять «научные методы» палеоэтнологии не на одно исследование первобытности, но на *все* разделы археологии. На этом эпизоде стоит остановиться подробнее.

При обсуждении структуры ГАИМК осенью 1919 г. были подняты принципиальные вопросы дисциплинарной принадлежности и методологии археологии железного века и средневековья. В частности, по мнению А.А. Миллера, изучение памятников древнейших и более поздних эпох следовало объединить в одном (этнологическом) отделении *на почве единого метода*. В ведении другого (археологического) отделения предполагалось оставить лишь памятники, «изучение которых происходит, преимущественно, в кругу данных письменных источников и истории искусств», иными словами — где археологическое исследование совершенно неотделимо от филологического (РА ИИМК. Ф. 2, 1919 г., д. 4, л. 41 об.). Но далеко не все «поздние древности» могли быть на практике отнесены к этому кругу¹.

¹ Действительно, трудно представить себе, что изучение, скажем, городищ железного века в лесной полосе России ведется «в кругу данных письменных источников». Даже средневековые памятники зачастую ставят исследователя перед жесткой необходимостью получать информацию исключительно из «немного» археологического материала и его контекста.

Оценивая эту позицию одного из ведущих палеоэтнологов того периода, можно заметить ее принципиальную близость к позиции ряда археологов-историков начала XX в., включая самого А. А. Спицына, утверждавшего, что археология различных эпох едина, при всей их возможной специфике. Она едина в силу того, что ведает своим особым материалом — вещественными древностями, и имеет свой особый метод их исследования (см. 4.6.2). А уж как называть эту единую науку — этнологией или археологией — это вопрос другой.



Б.Л. Богаевский (слева) и А.А. Миллер (справа).
Рисунок М.В. Фармаковского

Таким образом, исследователи как бы подошли к одному и тому же — хотя и с разных концов. Выступление Миллера ясно показывает, что в тот момент один из самых уважаемых палеоэтнологов — учеников Ф.К. Волкова уже, в принципе, был близок к тому, чтобы отказаться от представлений о «доисторической» и «исторической» археологиях как разных дисциплинах.

Но было нечто, довольно существенно отличавшее А.А. Спицына от А.А. Миллера. Эти исследователи принадлежали не только к разным научным школам, но и к разным поколениям. Они по-разному оценивали наработки отечественной археологии прошедшего периода и по-разному подходили к ее задачам на ближайшее будущее. Первый считал, что «русские древности (курганы, клады, городища) уже в некоторой мере приведены в ясность и систему (преимущественно в трудах А. А. Спицына), как и древности финские и литовские» (РА ИИМК. Ф. 2, 1919 г., д. 19, л. 84).

Второй был весьма невысокого мнения о «ясности и системе», достигнутой отечественной археологией. С его точки зрения, материалы разновременных и разнохарактерных археологических раскопок, накопившиеся на тот момент в музейных фондах, «по характеру первоначального оформления» не удовлетворяли «элементарным требованиям, предъявляемым к научному источнику» (Миллер 1927: 76). Параллельно с формулировкой новых задач и новых вопросов, которые следовало поставить перед материалом, вставала проблема *сбора и оформления нового корпуса эталонных источников* — этнографических и археологических. Из этого вытекала необходимость и новых раскопок уже современными методами.

По определению А.А. Миллера, конечное обобщение источников должно предваряться наблюдением «самой природы и механизма происходящих в материальной культуре изменений» (Там же). Таким образом, интерпретировать памятники следовало на основании тех общих или частных закономерностей, которые устанавливаются на материалах живой этнографической культуры.

На этом новом материале предполагалось изучить процессы диффузии и заимствования, этнического смешения и миграции, выявить их *законы* и просле-

дить характер отражения этих явлений в материальной культуре. В дальнейшем эту программу действительно удалось частично воплотить в жизнь. На практике на этнографическом материале в экспедициях второй половины 1920-х — начала 1930-х гг. шла отработка представлений о несовпадениях языковых и культурных характеристик этнической общности, о различных путях историко-культурного процесса, о явлениях смены языка при непрерывности в развитии материальной культуры и т. д.

Богатый методологический потенциал палеоэтнологии, проявившийся в 1920-е гг., во многом был обусловлен тем, что ее представители были профессионально ориентированы в этнографии/этнологии. Мировая этнологическая наука переживала в начале XX в. период подъема. Как справедливо указала О.Ю. Артемова, «<...> в предшествующий Октябрьской революции период развития русской этнологии не существовало не только барьера, но даже сколько-нибудь заметной границы между нею и западной этнологией (социальной/культурной антропологией). <...> Как и в западной науке, в русской этнологии к концу XIX — началу XX столетия среди некоторых специалистов стало развиваться весьма скептическое отношение к эволюционистским схемам. <...> Накануне Октября в российской этнологической печати нашли отражение теоретические представления о ранних этапах социальной эволюции, соответствовавшие передовым рубежам международного знания. И было еще одно крайне важное обстоятельство: существовала устойчивая традиция серьезной и объективной критики исследований отечественных и иностранных коллег. Так, каждый номер дореволюционного «Этнографического обозрения» имел специальный раздел «Критика и библиография» содержавший от 13 до 20 рецензий и занимавший половину или более объема журнала (весьма солидного). Неблагодарным, «черновым» — кропотливым, но дающим мало «пищи для личного честолюбия», — трудом по изложению и разбору чужих взглядов регулярно занимались Д.К. Зеленин, А.Н. Максимов, В.Ф. Миллер, Н.Ф. Сумцов, В.Н. и Н.Н. Харузины и другие выдающиеся исследователи» (Артемова, 2003: 200).

Создание корпуса эталонных источников предполагало совершенствование полевой методики и пристальное внимание к этой стороне исследования. Здесь очень пригодилось наследие «старой» дореволюционной палеоэтнологии, в которой азбучным было требование комплексности, то есть использования методов естественных наук для воссоздания древней географической среды, анализа материала, из которого изготавливались орудия, обязательного определения костных остатков человека и животных. В 1920-х гг. это наследие не было потеряно. Порою приходится удивляться, какой широкий спектр исследований производился тогда в обстановке нищих, полуголодных экспедиций.

Таким образом, масштабные полевые исследования второй половины 1920-х гг. в СССР, по сути, являлись для археологов не самоцелью, а лишь *средством на пути создания эталонной базы данных*. Это был сознательно определенный план действий, имевший целью реально вывести науку на новый этап. Прямые свидетельства такого направления развития исследовательской мысли содержатся в научных материалах А.А. Миллера, С.И. Руденко, Б.А. Куфтина, Б.С. Жукова, Г.А. Бонч-Осмоловского и др.

Признанным лидером в разработке методики раскопок многослойных поселений со сложной стратиграфией считался уже многократно упомянутый мною А.А. Миллер — один из старших учеников Ф.К. Волкова еще по Парижу. На его биографии целесообразно остановиться подробнее.

5.5.2. А.А. Миллер и методика раскопок поселений со сложной стратиграфией

Имя *Александра Александровича Миллера* (1875–1935), яркого представителя палеоэтнологической школы в русской археологии первой трети XX в., известно российским археологам и этнографам достаточно хорошо. Он заслуженно считается не только одним из основателей РАИМК (1919 г.) и учёным-кавказоведом широкого профиля, но и учителем целого поколения ленинградских археологов (Борисковский, 1980: 6; Платонова, 2002в). В числе его учеников было немало ярких имён — М.И. Артамонов, А.А. Иессен, Б.Б. Пиотровский, А.П. Круглов, Г.В. Подгаецкий, Б.Е. Деген-Ковалевский и многие другие. В конце 1920-х гг. они с гордостью называли себя «миллеровцами», «миллеровской школой». Именно наследие А.А. Миллера в области методического подхода к археологическому материалу, те навыки строгого и разностороннего анализа источников, которые внедрялись им в практику и воплотились позднее в таком понятии, как «ленинградская школа археологов» (хотя в 1960–1980-х гг. новые поколения археологов не всегда отдавали себе в этом отчёт).



А.А. Миллер
(1875–1935)

Об А.А. Миллере на рубеже 1920–1930-х гг. ходило немало легенд. К числу таковых следует отнести то, что он якобы происходил из среды высшей аристократии и был адъютантом великого князя Николая Михайловича (Борисковский, 1989: 255). По-видимому, тут нашло отражение то «аристократическое» впечатление, которое Александр Александрович производил на студентов в советское время. В действительности Миллер происходил из провинциального помещичьего рода. Получив хорошее домашнее образование, он уже в молодости прекрасно владел европейскими языками, хорошо знал русскую и европейскую литературу, историю искусства и музыку (Миллер, 1958: 127).

Первые шаги на жизненном поприще были сделаны им не по собственной воле, а под давлением обстоятельств. Согласно семейной традиции, Александр Александрович был отдан в Донской кадетский корпус, который окончил в 1893 г. первым по списку. За отличные успехи его направляют в Петербург, в Николаевское инженерное училище. В 1896 г. училище окончено с отличием — прекрасное начало для военной карьеры. Однако вскоре сам А.А. Миллер круто изменяет свою жизнь. Едва отслужив обязательные 3 года после выпуска, он неожиданно для всех своих домашних оставляет военную службу в Варшаве и уезжает в Париж (ПФА РАН. Ф. 155. Оп. 2. № 472. Л.9; Миллер, 1958: 127).

Во Франции Миллер поступает в Художественную академию Жюльена, но параллельно начинает слушать курс в Высшей русской школе общественных наук, основанной в Париже М.М. Ковалевским и И.И. Мечниковым (по специаль-

ности «Древний мир»). Именно там происходит его встреча с Ф.К. Волковым, оказавшаяся судьбоносной для Миллера. Под влиянием Ф.К. Волкова и его друга А. де Мортилье он поступает в Высшую Антропологическую школу (в Сорбонне), которую и заканчивает в 1904 г. по специальности «Доисторическая археология». Теснейшая связь с Волковым проходит через всю его дальнейшую жизнь. В 1900–1910-х гг. имена их постоянно встречаются вместе — в научных публикациях, в стенографических отчётах, в сатирических стихах, сочинённых товарищами (Семёнов, 1997: 37–41).

В 1905 г., в связи с революционными событиями, А.А. Миллера призывают обратно на военную службу. По свидетельству брата, он колебался тогда, возвращаться ли на родину? Ф.К. Волков, старый народник, сам пробывший в вынужденном изгнании 28 лет, отговаривает своего ученика и друга от такого намерения. В Россию они возвращаются вместе. По возвращении Миллеру, офицеру железнодорожных войск, приходится водить поезда особого назначения из Петербурга в Варшаву (Миллер, 1958: 127). В 1906 г., при первой же возможности, он выходит в отставку и вновь оказывается рядом с Волковым — на сей раз в Этнографическом отделе Музея императора Александра III, где ему предстояло в дальнейшем пройти путь от нештатного сотрудника до директора.

В этот период А.А. Миллер окончательно оставляет мысль стать профессиональным художником. Археологические раскопки впервые были начаты им ещё в 1903 г., но вплоть до конца 1910-х гг. археология не являлась основным полем его деятельности. Служба в Этнографическом отделе определила главное направление его исследований того периода — этнография Кавказа, музейное дело. То, что Миллер — археолог, археолог по преимуществу — это стало ясно позднее. Лишь после смерти Волкова в 1918 г. перед нами неожиданно предстаёт учёный со сложившимися взглядами, которому хватает и опыта, и убеждённости, чтобы в критический момент решительно всюду оказываться на первых ролях. На рубеже 1910–1920-х гг. А.А. Миллер — директор Русского музея, председатель Этнологического отделения РАИМК, профессор Археологического института и, по сути, — идеолог нового направления в отечественной археологии.

С именем А.А. Миллера фактически связан переворот в археологическом историковедении железного века. В 1920-х гг. он оказался одним из тех, кем на практике были разработаны новые методы исследования памятников со сложной стратиграфией. Предложенная им в результате исследовательская схема оказалась вполне исчерпывающей, даже с современной точки зрения (см. ниже).

Не менее важным представляется общий подход А.А. Миллера к проблемам археологии. К сожалению, исследователь не оставил нам обобщающих трудов. По свидетельству брата, важнейшая часть его архива, в которой находилась и рукопись монографии о Елисаветовском городище, пропала в Казахстане после его смерти в 1935 г. Однако в трудах его сохранились методологические экскурсы, вводящие нас в творческую лабораторию учёного. Они позволяют уяснить его позицию по целому ряду вопросов. Видимая «прерывность» развития древнего общества, фиксируемая по археологическим данным, проблема миграций, проблема независимого возникновения сходных явлений — все это живо интересовало Миллера. Обдумывая ход процесса смены культур, Александр Александрович абстрагировался от привычных шаблонов, готов был допустить возможность

быстрых «мутационных» изменений, но всё же главной проблемой для него оставалась возможность «обнаружить подобные превращения археологическим путём», то есть обосновать их фактами (Миллер, 1927: 15–19).

В этой связи возьму на себя смелость привести обширную выдержку из его отчёта о раскопках Кобыякова городища за 1924–1925 гг.:

«<...> Не имея до сих пор ни в русской, ни в иностранной археологической практике какого-нибудь образцового примера исследований земляных городищ (курсив мой. — Н.П.), пришлось этот сложный вопрос разрабатывать на месте, во всей ответственности за его применение. Вопрос высотных соотношений отдельных точек в раскопе стоял перед экспедицией в качестве основной проблемы. Задача эта разрешена была следующим образом: пронивелирована была вся поверхность городища, намеченная для раскопок, с высотными отметками на расстоянии 1 м. Получилась, таким образом, сетка метровых квадратов с высотными отметками. Эти высотные отметки связаны были с нивелировкой, произведённой в средину городища, <...> и, наконец, к Дону, к уровню стояния воды. Имея указанную сеть с номерацией пикетов двойными цифрами, <...> нетрудно было в любом месте трассированной поверхности углубиться путём раскопа <...>.

При раскопках я старался всегда иметь перед собой для изучения стратификации вертикальные, точно вымеренные обрезы. Это возможно, разумеется, лишь в тех случаях, когда уступы раскопа невелики по их проекционному залеганию... Уступчатый характер раскопок <...> довольно часто нарушался в интересах более полного исследования тех отложений, которые представляли остатки созидательной работы человека, а именно: когда в слоях римской эпохи мы встречали



«Из переживаний в Белом зале...» Подготовка юбилейной выставки ГАИМК 1927 г.: А.А. Миллер и А.М. Оранжирева. Рисунок А.А. Миллера



«Голос из ящика...» Подготовка юбилейной выставки ГАИМК 1927 г.:
А.А. Миллер и А.М. Оранжева. Рисунок А.А. Миллера

глинобитные полы или когда наблюдались какие либо отложения, в которых возможно было видеть <...> конструктивный элемент.

Ступенчатый характер раскопов 1924 и 1925 гг. <...> обуславливался, между прочим, и заботой о сохранности неисследованной части городища <...>. Грунт городища (мусор в основе) не может выдержать больших вертикальных обрезаов долгое время <...>.

При изучении <...> слоёв, помимо их зарисовывания и фотографирования, делались вырезки с соответствующими отметками, а также сделана была попытка воспроизведения стратификации с помощью зарисовки в красках. При производстве раскопок велись журналы, в которые вносились все необходимые сведения: пикеты исследуемых поверхностей, глубинные залегания, данные о слоях, а также перечислялись и находки.

<...> Находки классифицировались по типам и по признакам их значимости для дальнейшей лабораторной работы <...>» (Миллер, 1926: 110–112).

«<...> Изучение большого числа находок <...> требует участия в этом деле ряда исследователей разных специальностей. Часть таких работ уже произведена: кости млекопитающих из раскопок 1924 года <...> определены были В.И. Громовой, <...> отдельные вопросы техники керамического дела, как и металлургии, выяснены исследованиями Института Археологической Технологии <...>. Институту Археологической Технологии переданы для детального изучения: 1) кости рыб из архаических слоёв, 2) раковины, 3) остатки дерева, 4) обломки медных (или бронзовых) поделок из культуры 1, 5) кости млекопитающих из раскопок 1925 года, 6) вырезки из культурных слоёв.» (Там же: 108–109).

Современному археологу мало что остаётся добавить к этой продуманной и детально разработанной исследовательской схеме.

Исследователю не удалось завершить свои труды. 7 сентября 1933 г. он был арестован по делу «Российской национальной партии» и осуждён к 5 годам лагерей с заменой высылкой в Казахстан на тот же срок (Ашнин, Алпатов, 1994: 204). Официальная справка гласит, что умер он 12.01.1935 г. в Карагандинском концлагере «от паралича сердца».

5.5.3. Научный прорыв в исследованиях палеолита: Г.А. Бонч-Осмоловский

Другим талантливейшим учеником Волкова был **Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский** (1890–1943). Чтобы не создать у читателя впечатления единичности миллеровского опыта, рассмотрим подробно его деятельность в области раскопок пещерных палеолитических памятников.

В бытность студентом естественного отделения Санкт-Петербургского университета он занимался этнографией Кавказа и сумел собрать для Этнографического отдела Русского музея обильный, свежий материал по хевсурам. Однако на старших курсах интерес Глеба Анатольевича к полевой этнографии заметно ослабевает. Юношеский романтизм, толкавший его на «неведомые тропы», уже отступал в сторону, а научная зрелость все не приходила. В 1915 г., даже не сдав последних экзаменов, не защитив диплома, Глеб уходит добровольцем на фронт.



Г.А. Бонч-Осмоловский в 1916 г.

Окопная жизнь наградила его туберкулезом, и только это убергло Бонч-Осмоловского от участия в Гражданской войне. По окончании ее он вновь возвращается в Петроград, чтобы окончить университет по географическому отделению. Здесь Глеб Анатольевич стажировался в семинарии П.П. Ефименко по изучению кремневых индустрий. Налицо явная переориентация его интересов с «чистой этнографии» на археологию камня.

Палеолитические памятники были открыты в Крыму К.С. Мережковским в 1879–1880 гг. Затем коллекции частью оказались утрачены, частью депортированы. Немецкий ученый Р. Шмидт, шурфовавший крымские пещеры накануне Первой мировой войны, палеолита не обнаружил и сделал выводы: в древности Крым был островом; находки Мережковского недостоверны. Указанное мнение господствовало на Западе, когда проблемой заинтересовался недоучившийся этнограф, заброшенный революцией на юг России (Бонч-Осмоловский, 1926: 75–76).

Едва получив запоздалый диплом, Глеб Анатольевич отправляется в Крым. Приходилось спешить — ему стукнуло уже 32 года. Первый год разведок не принес впечатляющих результатов. На второй сезон — в 1924 г. — была проведена разведка



Г.А. Бонч-Осмоловский
(1890–1943)

около 20 пещер от Карасубазара до Инкермана. В конце августа начались раскопки могильника эпохи бронзы — силами нескольких симферопольских мальчишек, которых начальник сумел заразить своим энтузиазмом. Когда раскопки уже подходили к концу, 17-летний Е.В. Жиров¹, пробираясь по крутому склону, сбился с тропы и наткнулся на неизвестный грот. Глеб Анатольевич описал его так: «...Навес, широко раскрытый на юг. В задней стене — низкий ход в глубину скалы. Жара в пещере отчаянная. Солнце в ней отражается, как в вогнутом зеркале. Я так и ахнул: вот подходящая квартира для пещерного человека! Тут было тепло и в ледниковые времена!..» (Бонч-Осмоловский, 1925: 58). Это и был знаменитый грот Киик-Коба («Дикая пещера») в массиве известняков правого берега р. Зуи у с. Кипчак.

Шурфовка показала наличие в гроте культурных остатков эпохи палеолита. Раскопки начались сразу. Разборка велась послойно. После снятия верхнего гумуса

учёный разбил раскоп на квадраты. Слои с культурными остатками и органикой разбирались тонкими скульптурными шпателями и шильями. Грунт дополнительно просеивался на грохоте. Эта методика складывалась на ходу — собственный опыт раскопок у автора был минимальный, но определенная теоретическая подготовка у него имелаась.

Безусловно, Глеб Анатольевич был знаком с отчетами К.С. Мережковского, писавшего о послойном стратиграфическом изучении пещер, а возможно и с «Программой» раскопок костеносных пещер, изданной ОЛЕАЭ (Шуровский, 1878). В качестве «научных методов раскапывания» там упоминались: съемка плана пещеры; проведение центральной линии; послойное вскрытие небольшими участками с проведением параллельных разрезов.

Не стоит недооценивать и тот уровень информации, который давал своим студентам Ф.К. Волков. Хотя сам он не был археологом-полевиком, его рекомендации являлись обобщением самого передового мирового опыта. Выше уже упоминалось, что ученики Ф.К. Волкова — П.П. Ефименко, Л.Е. Чикаленко и др. — в ходе раскопок Мезинской стоянки нередко пренебрегали его указаниями (см.: 5.4.2). Сказывалась инерция мышления, ориентировка на общепринятое. У Г.А. Бонч-Осмоловского такая инерция отсутствовала. Он безошибочно выбирал все, наиболее перспективное в методическом плане, на ходу дополняя и совершенствуя приемы исследования.

¹ Жиров Евгений Владимирович — ученик Г.А. Бонч-Осмоловского, антрополог, сотрудник МАЭ. Погиб в блокаду.

Дополнительным источником опыта стало для Глеба Анатольевича общение с лидером московских палеоэтнологов Б.С. Жуковым, ставшим признанным авторитетом в деле полевого исследования стоянок каменного века. Приведу в этой связи небольшую выдержку из его программной работы: «Работая с 1916 г. над проблемами неолита, — писал Б.С. Жуков, — <...> я должен был сразу столкнуться с необходимостью для меня и моих сотрудников уточнения и унификации методики раскопок, уточнения методов обработки найденных коллекций. Вместе с тем нам было необходимо получить новый, достаточно большой и достаточно полный материал с изучаемой территории — *материал, который можно было бы положить в основу* (курсив мой. — Н.П.), <...> обращаясь от него к материалам раскопок других исследователей, как к подсобным аналогиям. С 1923 г. такие работы мною систематически развивались и расширялись <...>» (Жуков, 1929).

В Антропологической комплексной экспедиции под руководством Б.С. Жукова, организованной Палеоэтнологической лабораторией Антропологического института при МГУ, использовались такие приемы, как покатная разбивка раскопа; послойная разборка напластований; нивелировка поверхности и находок; последовательное вскрытие небольших площадей с подробной фиксацией разрезов; изготовление поквартальных карточек; взятие массового материала целиком, без изъятий. В этом легко убедиться, просмотрев краткие отчеты Жукова в Научном архиве Государственного музея антропологии при МГУ (опись X). Там же сохранились образцы поквартальных карточек, по которым велась фиксация материала в поле. К сожалению, весь личный архив этого безвременно погибшего учёного, по-видимому, утерян.



Разборка культурного слоя в Крымской экспедиции Г.А. Бонч-Осмоловского (стоит первым слева — Г.А. Бонч-Осмоловский)

Все указанные приемы последовательно вводилось Г.А. Бонч-Осмоловским в практику работ Крымской экспедиции. Нивелировка от условной горизонтали была начата им с 1925 г. Карточную систему фиксации он ввел в 1926 г. В ходе раскопок с самого начала учитывались все находки кремня, кости, древесного угля: «В палеолите нет бросового материала!..» (Бонч-Осмоловский, 1940: 12).

Последовательное вскрытие небольших участков и подчеркнутое внимание к вертикальной стратиграфии являлись общей практикой палеоэтнологической школы. Глеб Анатольевич не отказался от этого приема и позднее, в 1930-х гг., в пору всеобщего увлечения раскопками широкой площадью. При этом он вводил корректив: «каждый неделимый объект в виде скопления костей, ямки, погребения <...> должен вскрываться целиком, хотя бы он и заходил на соседние участки...» (Там же: 9).

В ходе раскопок 1924 г. в Киик-Кобе было выявлено 2 палеолитических слоя («верхний и нижний очаг»). Их разделял т. н. «межочажный слой», но местами верхний очаг непосредственно перекрывал нижний. Именно на таком участке был обнаружен скорченный костяк примерно годовалого ребенка. Хотя и с большим трудом, Глеб Анатольевич сумел вынуть его и закрепить. 19 сентября, уже при зачистке скального дна раскопа, в нем обнаружилось продолговатое углубление.

«...Гляжу — глазам не верю! — описывал этот момент учёный — Искусственное углубление в скале... да это могила!

Рассуждать долго не стали. Все столпились вокруг меня. Я стал осторожно расчищать яму... Могила пуста!..

Я продолжаю расчищать. Подхожу к концу могилы. Надежды нет.

И вдруг под шилом показалась одна кость, потом другая. Женя воскликнул: «Человек!» Ребята застыли, затаив дыхание.

Я сел, закурил и сказал: «Ну, ребята, дело серьезное. Придется остаться еще дня на два. Очистить и вынуть кости — мудрено...»

В могиле оказались кости человеческих ног...» (Бонч-Осмоловский, 1925: 61).

Так в первый же год исследований Киик-Кобы, в ходе малоподготовленных, разведочных раскопок, в руки начинающего исследователя попал материал, определивший весь его дальнейший путь — остатки погребения неандертальца. Стоит отметить: в ту пору мировая наука располагала данными всего о пяти достоверных находках *Homo neanderthalensis*. Равным образом не было известно случаев их *преднамеренного* захоронения.

Сказать, что вслед за этим открытием к Г.А. Бонч-Осмоловскому пришло признание, значит сильно погрешить против истины. Уникальность находки, в купе с неопытностью раскопщика, рождали вокруг недоверие и зависть. «В связи с моими раскопками и открытием погребения в Крыму, — рассказывал Глеб Анатольевич в 1930 г., — стали возникать слухи, что в действительности никакого погребения нет, что, может быть, там просто свинья. Погребение стояло под гипсовым футляром в подвале (ЭОРМ. — *Н.П.*), вскрывать его было опасно. Тем не менее, ввиду возникших слухов, пришлось его вскрыть, причем подтвердилось, что оно подлинное...» (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. № 76, л. 19).

В письме к В.В. Бунаку от 30.03.1925 мы читаем:

«Многоуважаемый Виктор Валерьянович,

Мне было крайне досадно, что в прошлый свой приезд в Москву я не застал там Вас. Я хотел посоветоваться с Вами по целому ряду вопросов, касающихся обработки сделанных мною находок <...>.

Измерение костей человека, которое я производил, руководствуясь Волковым и внося туда дополнения по Булю, почти закончено <...>¹

<...> Кремень мною разобран и изучен, но только сейчас удалось приступить к литературной его обработке. К сожалению <...> многих книг я не могу достать, а в имеющихся описании орудий носит поверхностный характер <...>. Несомненно, закончить исследование можно будет только, побывав за границей <...>.

Весь материал поступил в Русский музей. Остатки животных обрабатываются директором Зоологического музея Академии наук А.А. Бялыницким-Бирулей, древесный уголь — проф. Палибиным; кремень и кости человека обрабатываю я; первый — под руководством П.П. Ефименко, вторые — вместе с М.П. Грязновым, под общим руководством С.И. Руденко <...>.

Копию прилагаемой описи и кратких сведений я пересылаю проф. Хрдличке по указанному Вами адресу <...>» (Арх. авт.).

Как видно, в ЭОРМ поначалу не были уверены в том, что «вчерашнему студенту» можно доверить систематизацию столь важного материала. Но из упомянутых «кратких сведений», опубликованных потом в РАЖ, видно, что автор раскопок отстаивал право на самостоятельность суждений (Бонч-Осмоловский, 1926а). Вопрос о необходимости «руководства» более не вставал.

Ответ из Москвы, составленный по всем правилам академической учтивости, не заставил себя ждать:

«Многоуважаемый Коллега, Глеб Анатольевич!

Организационный Комитет по созыву Второго Съезда зоологов, анатомов и гистологов <...> обратился ко мне с предложением привлечь к работам Съезда русских антропологов <...>.

Полагая, что Вы разделяете убеждение в огромной важности <...> успешного проведения этого первого за последние 14 лет объединения русских антропологов, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой принять участие в работах антропологической подсекции...

Свидетельствую глубокое уважение

В. Бунак» (Арх. авт.).

Это приглашение на Съезд стало, по сути, первым признанием высокого научного уровня «новичка». А в июне 1925 г. из Москвы в Крым отправилась экспертная комиссия Главнауки, образованная по инициативе Антропологического института при 1 МГУ. Возглавил ее тот же В.В. Бунак. Членами комиссии стали В.А. Городцов и Б.С. Жуков.

Из «Журнала работ» комиссии следует, что приезжие специалисты осмотрели разрезы, заслушали объяснения Г.А. Бонч-Осмоловского и согласились

¹ С 1924/25 учебного года Глеб Анатольевич начинает вести практикум по остеометрии и соматометрии на кафедре антропологии Географического института. Косвенно это свидетельствует и о его собственной квалификации антрополога. Зная характер заведующего кафедрой С.И. Руденко, трудно представить, что он мог допустить к студентам плохо подготовленного преподавателя.



Экспертная комиссия (В.В. Бунак, В.А. Городцов, Б.С. Жуков с сотрудниками экспедиции).
Стоят (справа налево) — В.В. Бунак, Б.С. Жуков, Н.Л. Эрнст;
сидят — В.А. Городцов и сотрудники Крымской экспедиции

с его главными выводами. Все трое признали четвертичный возраст костей из ямы под нижним слоем. Все нашли возможным считать это углубление «за искусственно разработанное»¹. Все признали раскопки Киик-Кобы «удовлетворительными с методической и технической сторон» (Бонч-Осмоловский, 1940: 168–169). О такой серьезной поддержке Глеб Анатольевич мог только мечтать. Она долженствовала раз и навсегда уничтожить самую почву для сомнений в его компетентности как археолога.

Стараниями Глеба Анатольевича, сообщения об уникальных находках в Крыму быстро появились в печати. Информация о них прошла и за границей. Связующим звеном между Г.А. Бонч-Осмоловским и А. Хрдличкой, редактором *American Journal of the Physical Anthropology*, стал В.В. Бунак. Другая заметка была послана в *L'Anthropologie*. В результате, когда в 1926 г. Глеб Анатольевич сумел-таки добиться командировки во Францию, его имя уже было «на слуху» у ведущих специалистов. Путешествие началось 1 июля по завершении раскопок в Сюреньских скальных навесах.

«<...> Провинция Дордонь, местечко Les Eysies. — вспоминала жена Глеба О.Г. Морозова, сопровождавшая мужа в этой поездке. — Оттуда мы объездили на велосипедах все пещеры, все стоянки доисторического человека на скалистых

¹ При этом В.В. Бунак и Б.С. Жуков были склонны признать, вслед за Г.А. Бонч-Осмоловским, связь могильной ямы с нижним слоем. По мнению В.А. Городцова, она относилась к верхнему слою. Позднее и сам автор раскопок встал на указанную точку зрения. Но в современном палеолитоведении его первоначальная версия рассматривается как более достоверная (Герасимова, Астахов, Величко, 2007).

обрывах <...>. В Париже Г.А. виделся с А. Брейлем, М. Булем и несколько позже с Д. Пейрони. Я присутствовала при встречах с аббатом Брейлем. Толстый пожилой аббат размахивал крыльями своей черной сутаны. Это был жизнерадостный и галантный человек. Он конфузил и смешил меня, расхваливая рисунки кремней <...>. Эти встречи были исполнены дружелюбия, доверия и взаимного интереса <...>» (цит. по: Платонова, 2005: 306)

В отчете самого учёного о зарубежной командировке говорится следующее:

«<...> Моя работа <...> разделялась на изучение древнепалеолитических культур (главным образом, кремневой индустрии), рассеянных по местным музеям, и скелетов неандертальской расы <...>.

При обработке кремневой индустрии я применял статистический метод, состоявший в тщательной классификации и подсчете орудий. Применение этого метода дало мне ряд интересных наблюдений и подтвердило мои предположения о кризисе классификации Мортилье в части, касающейся древнего палеолита. Того же мнения придерживается большинство французских ученых...

Чрезвычайно много дало мне изучение на месте древнепалеолитических стоянок: Ля Микок, Ле Мустье, Лоссель, Ля Ферраси и др. <...> Всего мною были проработаны ок. 50 коллекций по кремню и кости, и произведены соответствующие подсчеты и зарисовки <...>

Основными результатами моей поездки явились:

- 1) полное признание научного значения киик-кобинских находок со стороны западноевропейских ученых.
- 2) подтверждение с их стороны культурно-хронологических определений слоев пещеры Киик-Коба и вновь раскопанных в 1926 г. стоянок Крыма <...>.
- 3) принадлежность человеческих костей из Киик-Кобы к неандертальской расе категорически подтверждена виднейшими авторитетами в этой области — проф. Булем и Г. Мартеном.

4) благодаря участию в раскопках в Ложери От с Д. Пейрони и в Ля Кина с Г. Мартеном, мне пришлось убедиться, что французские методы работ в этой области значительно отстают по технике и учету материала от принятых у нас. Это объясняется отчасти необычайным богатством их палеолитических стоянок <...> (курсив мой. — Н.П.)» (Арх. авт.).

Итогом командировки стало появление первой обобщающей археологической работы исследователя — «К вопросу об эволюции древне-палеолитических индустрий» (Бонч-Осмоловский, 1928). Французский перевод статьи был отослан в Париж А. Брейлю. В ответном письме, в частности, говорилось:

«<...> Вы очень хорошо использовали Ваше слишком короткое пребывание у нас <...>. Основной наш метод довольно хорош, но в нем есть серьезные недостатки, из-за которых некоторые важные моменты не могли получить объяснения <...>. Например, мне кажется, он не дал возможности понять леваллуа-мустьерскую технику раскалывания <...>. Вопрос о технике раскалывания, который претерпевает революцию, является первоочередным. <...> Если бы Вы захотели дать в *L'Anthropologie* заметку о Киик-Коба и др. в размере листа, она там была бы очень хорошо принята...»¹ (Арх. авт.).

¹ Перевод Н.В. Тагеевой с коррективами автора.

На содержании упомянутой статьи 1928 г. стоит остановиться подробнее. Материалы Киик-Кобы рассматриваются в ней на широком европейско-ближневосточном фоне. Излагая свою трактовку, Глеб Анатольевич четко разделяет понятия «стадия культуры» и «геологическая эпоха» и специально оговаривает: его выводы касаются только *культурной хронологии* памятника (Бонч-Осмоловский, 1928: 148–149).

Этот момент очень важен. В другой статье, оставшейся неопубликованной, указанная проблема рассмотрена еще подробнее. Там он, в частности, пишет:

«По-видимому, различное содержание, вкладываемое в понятие датировки, и послужило основной причиной наших разногласий с Ефименко <...>. Отсутствие <...> данных о последовательных сменах четвертичной фауны в Крыму заставляет меня отказаться от хронологической увязки этой культуры (нижнего слоя Киик-Кобы. — *Н.П.*) с геологическими факторами и с соответствующими западноевропейскими стадиями. Ефименко же пытается, на основании отрывочных фаунистических сведений, разрешить и этот весьма важный вопрос, причем палеоэтнологическая терминология принимает у него явный геологический оттенок <...>» (Арх. авт.).

Эта четко очерченная позиция ученого помогает уяснить природу предлагавшихся им «удревненных» датировок Киик-Кобы. Разумеется, глубокая древность даже «верхнего очага», относимого им к микокской традиции, казалась ему вполне вероятной. «Культура микок» трактовалась тогда как «восточная фация ашеля» (Бонч-Осмоловский, 1928: 148–149). А мысль о «сверхпозднем» переживании среднепалеолитических традиций в Крыму, ныне получившая реальные обоснования, показалась бы в те годы абсурдной¹. Однако Глеб Анатольевич подчеркивал: приведенные им *культурно-хронологические выкладки не позволяют устанавливать абсолютную датировку* памятника. В отличие от П.П. Ефименко, он ясно видел различие между археологической периодизацией и хронологией как таковой².

Главной «изюминкой» статьи 1928 г. явилось то, что в ней он предложил — впервые в мировой науке о палеолите — «рассматривать <...> индустрии не как собрания отдельных орудий, а как комплексы, отражающие соответствующие стадии культурного развития». При этом он подчеркнул необходимость ориентации не на «руководящие ископаемые», а на весь инвентарь, на «самые употребительные, т. е. чаще всего встречающиеся орудия», с точными количественными подсчетами и построением графиков (Там же: 149–150).

В СССР данный подход начал реализовываться в полной мере лишь с 1960-х гг. На Западе — с рубежа 1940–1950-х, с появлением обобщающих работ Ф. Борда. Ныне приоритет Г.А. Бонч-Осмоловского в разработке, по крайней мере, теоретической базы «системы Борда», представляется несомненным, хотя каждый из них шел к этому своим путем (Васильев, 1994: 203–204). Выводы Ф. Борда о развитии

¹ В современной науке нижний слой Киик-Кобы трактуется как микромустье зубчатое и относится к раннему вюрму. Верхний слой ныне определяется как киик-кобинская фация микока, или пара-микок. Датировка его спорна: от ~55–40 до ~30 тыс. л.н. (Герасимова, Астахов, Величко, 2007).

² К сожалению, данный вопрос оказался в дальнейшем безнадежно запутан в советском палеолитоведении лет на 30 — вплоть до предложений датировать литологические пласты по характеру археологических находок.

техники изготовления орудий в целом оказались близки положениям Г.А. Бонч-Осмоловского. Только Бонч-Осмоловский устанавливал технические приемы и навыки раскалывания кремня не путем эксперимента, как Борд, а путем детального изучения всего комплекса орудий, осколков, заготовок и т. д. Анализ киик-кобинских индустрий в статье 1928 г. представляет собой, в сущности, первый опыт теоретической проработки и практического применения нового, *технологического метода* анализа каменных артефактов. С появлением в печати этой работы начинается подлинная зрелость Г.А. Бонч-Осмоловского как археолога.

Будучи сторонником идеи неразрывности человека и природной среды, исследователь в дальнейшем сделал попытку смоделировать необходимые условия изменений хозяйственного уклада человечества при переходе к производящему хозяйству. Он считал таковыми совпадение двух моментов — благоприятных сдвигов природной среды и обострения внутренних противоречий охотничьего общества (относительная перенаселённость). Таким образом, выражаясь современным языком, учёный строил модель «демографического взрыва», обусловленного экологическими изменениями. «Подобная концепция, — замечает С.А. Васильев, — в кое-каких существенных моментах совпадает с гипотезой Л. Бинфорда о «постплейстоценовых адаптациях» <...>» (Васильев, 1994: 202–207).

Подобно известному французскому исследователю А. Мартену, Г.А. Бонч-Осмоловский может считаться непосредственным предшественником такого направления, как «археозоология». Изучая нарезки на костях животных из культурных слоёв, он реконструировал процесс разделки добычи палеолитическими охотниками (Бонч-Осмоловский, 1931: 25–27).

Трудно не согласиться с С.А. Васильевым, что уже в публикации 1928 г. Г.А. Бонч-Осмоловский по ряду позиций опередил мировое палеолитоведение на 20–25 лет (Васильев, 1994: 206). Впрочем, многие его современники упорно не догадывались об этом. Вот высказывание В.И. Равдоникаса, застенотографированное в марте 1930 г.: «<...> Материал он давал по раннему палеолиту в СССР блестящий, и в этом его несомненная заслуга. В области же синтеза, обобщающих построений Бонч-Осмоловский не дал ничего» (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. № 76, л. 14).

5.5.4. Методологический поиск палеоэтнологической школы накануне Великого перелома

Выше уже упоминалось: многое роднит российскую палеоэтнологию 1920-х гг. с «американской школой исторической этнологии» Ф. Боаса. По-видимому, наблюдаемые между ними идейные переклички не случайны. Ф. Боаса у нас оценивали в то время как «наиболее крупного и разностороннего учёного из всех американских этнографов и лингвистов» (Богораз-Тан, 1926: 128). Проводниками его идейного влияния в России были выдающиеся русские этнологи первой трети XX в. В.Г. Богораз-Тан и Л.Я. Штернберг. Особенно подчеркивалась в то время плодотворность установки Ф. Боаса на «изучение диффузии в пределах ограниченной территории для того, чтобы *познать динамику самого процесса диффузии*» (курсив мой. — *Н.П.*)» (Штернберг, 1926: 29–31).

Именно такая установка была кратко, но исчерпывающе изложена *Сергеем Ивановичем Руденко* (1885–1969) в небольшой информационной заметке, опубли-

ликованной в 1928 г. «Динамика культуры», прослеживаемая на материале живой этнографической общности, представлялась этому исследователю ключом к расшифровке загадок археологии (С.Р. [Руденко С.И.] 1928: 77–78). Прямым свидетельством влияния Ф. Боаса на развитие отечественной этнологической науки служит то, что первые в России «региональные монографии», посвященные отдельным народам в определенных географических ареалах, начали создаваться в начале XX в. при непосредственном сотрудничестве с ним. Энтузиастом и продолжателем идеи создания таких монографий в СССР 1920-х гг. тоже явился виднейший палеоэтнолог С.И. Руденко.

Наследием предреволюционного периода в науке 1920-х гг. было определение палеоэтнологии как составной части синтетической науки о Человеке, её неразрывная связь с этнографией и физической антропологией, а также представление о двух важнейших методах работы — *археолого-типологическом и стратиграфическом*. Положение о том, что *каждый их этих методов, взятый в отдельности, является недостаточным*, было сформулировано, в частности, С.И. Руденко в курсе лекций по палеоэтнологии, подготовленным и читавшимся им в Петроградском университете ещё при жизни Ф.К. Волкова. Традиционным являлось повышенное внимание к географической среде обитания древнего человека, а также к *технике изготовления и функциям* археологических предметов. Однако на практике исследователи 1920-х гг. внесли много нового в каждое из этих направлений.



С.А. Теплоухов
(1888–1934)

Так, совокупное использование археолого-типологического и стратиграфического методов, соединённое с отчётливым региональным подходом, позволили *Сергею Александровичу Теплоухову* (1888–1934) на материалах выбранного им эталонного микрорайона выстроить культурно-историческую периодизацию памятников Минусинской котловины от неолита до средневековья. К 1929 г. им была разработана и опубликована первая научная классификация памятников с выделением 12 последовательных культур или ступеней их развития (Теплоухов, 1929: 41–68.). Работы С.А. Теплоухова произвели переворот в археологии Сибири. На его периодизацию так или иначе опирались все исследователи этого региона, вплоть до самого последнего времени.

В 1920-х гг. С.А. Теплоухов, и в меньшей степени С.И. Руденко, стали учителями *Михаила Петровича Грязнова* (1902–1984), которым в 1928–1929 гг. был произведен один из самых успешных опытов применения комбинаторных методов к классификации археологического материала в науке первой половины XX в. Впрочем, по справедливости, нельзя забывать и другую, тоже пионерную попытку корреляционного анализа в археологии — содержательный, изящный этюд П.П. Ефименко, посвященный хронологии рязано-окских могильников (Ефименко, 1926). Однако труд Ефименко — это все же, в первую очередь, типологический анализ серии памятников, с элементами корреляционного подхода. В отличие от него, работа М.П. Грязнова всецело построена на комбинаторном методе. В этом плане ее следовало бы считать приоритетной в мировой археологии (ср.: Шер, 1992).

В 1928 г. М.П. Грязнов обрабатывал материал сравнительно небольшой (425 экз.) коллекции бронзовых кельтов — всё случайных находок, обнаруженных на поверхности развеваемых ветром дюн, в обрывах рек и оврагов, при разных земляных работах. Как можно заранее понять, коллекция представляла собой совокупность смешанного материала, заранее исключавшую возможность априорного установления каких-то линейных закономерностей. Поставив целью расположить этот материал в хронологической последовательности, М.П. Грязнов пошёл по пути выяснения *взаимной обусловленности* изменений отдельных признаков. Он сравнил кельты между собой по 40 признакам орнаментации, 19 признакам формы и трём признакам техники. Выполненное таким образом исследование оказалось «обозримым и проверяемым, <...> в любом звене, от начала до конца, как это принято в естественных науках, но как ни в археологии, ни в этнографии в то время ещё никто не делал <...>» (Шер, 1992: 86–92).

В мае 1929 г. молодой исследователь отправил полностью готовую публикацию, названную им «Опыт применения корреляционного метода в палеоэтнологии», в сборник, запланированный к изданию в Москве, в Государственном музее Центральной Чернозёмной области. По времени это совпало с целым рядом событий — «чистка» АН СССР, начало раскручивания «Академического дела» и т. д. Спустя 8 месяцев, в январе 1930 г., М.П. Грязнову пришёл ответ, что «работа имеет узко-научное значение» и, соответственно, опубликована не будет.

В том же 1930 г. был арестован С.И. Руденко. Позднее, уже в 1933 г., оказались арестованы и С.А. Теплоухов, и сам М.П. Грязнов, но в дальнейшем он сумел вернуться в Ленинград и даже опубликовал описанные выше материалы в составе своей монографии (Грязнов, 1941). Но так или иначе в мировой науке «стартовой точкой отсчёта» применения математических методов в историко-культурном исследовании и поныне остаётся 1940 г. — публикация А. Крёбера «Статистическая классификация», вышедшая в США. Между тем на сохранившемся машинописном экземпляре статьи М.П. Грязнова имеется официальная пометка о сдаче в издательство *20 мая 1929 г.* (Шер, 1992).

Одним из важнейших результатов полевых работ другого виднейшего палеоэтнолога — *Бориса Сергеевича Жукова* (1892–1933) — на Верхней Волге и Оке также явилось построение культурной стратиграфии — периодизации памятников от мезолита до эпохи раннего железа. В ходе изучения материала этот исследователь стремился «усложнить характеристику культур, вводя наибольшую детализацию признаков каждого культурного комплекса» и выявлять «закономерности развития <...> неолитических культур, которые вскрывают сущность процесса их модификации». Особенности этого процесса, по его мнению, были напрямую обусловлены влиянием *географических факторов*: «1) характером природных ресурсов данного района и 2) характером территориального положения <...> района в отношении речных артерий».

Признав керамику самым показательным материалом, в котором наиболее чётко отражаются «эволюционные сдвиги и локальные влияния», Б.С. Жуков вынужден был обратить внимание на «неразработанность методов её морфологического изучения». В дальнейшем им и его сотрудником *Михаилом Вацлавовичем Воеводским* (1903–1948) была сделана попытка выделить *серию главнейших признаков*, характеризующих эту категорию материала. В этот список вошли:

состав глиняной массы, техника изготовления, характер наружной и внутренней поверхности сосуда, его форма, элементы орнамента, их расположение и т. д. По ходу исследования производилась оценка значимости тех или иных признаков для типологической характеристики керамики. Учитывалась и их корреляция с различными сторонними факторами (качеством глины, наличием определённых примесей, особенностями почвы, в которой залежали сосуды и пр.).

Всякая выборочность при работе с керамикой в палеоэтнологической лаборатории Б.С. Жукова заранее исключалась. Керамический материал «брался послойно по участкам и притом полностью, без оставления каких-либо объектов на месте». Неолитические сосуды по возможности тщательно склеивались и реконструировались. В целом можно сказать, что, по-видимому, не только российская, но и мировая археологическая практика ещё не знала примера столь продуманного подхода к анализу массового керамического материала.

Выводы, сделанные Б.С. Жуковым после тщательной проработки основных источников, были достаточно широки. Он выделил ряд новых культур и смешанных (у него — «гибридных») культурных комплексов, установил их относительную хронологию, определил ориентацию внешних связей и характер историко-культурных районов на различных этапах. Однако по ходу изложения результатов исследователь был склонен отождествлять древние культурные общности с этническими, что и сделало его лёгкой мишенью для марксистской критики, а в дальнейшем дало повод для обвинения в расизме.

В 1929 г. Б.С. Жуков со своими учениками — О.Н. Бадером, М.В. Воеводским, Е.И. Горюновой и др. — подготовил к печати обширный том «Трудов Антропологической комплексной экспедиции», в который входили как публикации отдельных памятников, так и методологические обобщения исследования неолита лесной зоны. Но арест его, последовавший в 1930 г., привёл к тому, что набор был рассыпан¹.

После смерти Б.С. Жукова в 1933 г. его периодизация волго-окского неолита была предана забвению. Ученики В.А. Городцова, занимавшиеся теми же памятниками, не принимали во внимание концепцию своего давнего оппонента. Однако дальнейшие исследования Д.А. Крайнова 1960–1980-х гг. подтвердили, что именно Б.С. Жуков во многом был прав.

5.6. РАЗГРОМ ПАЛЕОЭТНОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

5.6.1. С.И. Руденко и «руденковщина»

Разгром палеоэтнологического направления на рубеже 1920–1930-х гг. шёл целенаправленно и поэтапно. Начало ему положили арест С.И. Руденко в Уфе в августе 1930 г. и почти одновременный арест Б.С. Жукова в Москве. Оба учёных формально были задержаны по «Академическому делу». Так началась долгая,

¹ Выходные данные уничтоженной книги: Палеоэтнологическая лаборатория Антропологического института 1 МГУ. Сер. 1. Труды антропологической комплексной экспедиции. Т. 1. Нижний Новгород (в печати).

растянувшаяся на два года агония двух важнейших центров отечественной палеоэтнологии — Этнографического отдела Русского музея в Ленинграде и Палеоэтнологической лаборатории 1 МГУ в Москве. Разгром Этнографического отдела принял особенно грандиозный размах. Ведь именно там к 1930 г. оказались собраны воедино такие научные силы, каких, по справедливости, хватило бы на несколько исследовательских институтов. Здесь работали А.А. Миллер, П.П. Ефименко, С.А. Теплоухов, Г.А. Бонч-Осмоловский, М.П. Грязнов, Д.А. Золотарёв, Б.Г. Крыжановский, Ф.А. Фиельструп и др. Руководил отделом с середины 1920-х гг. С.И. Руденко, показавший себя блестящим организатором науки из среды этнологов нового поколения. Вот это имя и было избрано в качестве главного «жупела» теми, кто раскручивал кампанию борьбы со «старой наукой». 1930–1933 гг. в Ленинграде прошли под знаменем «борьбы с руденковщиной».

Л.С. Клейн, поместивший в своей книге интересный очерк о С.И. Руденко, написал о нём следующее: «В 1953–1954 гг. он основал лабораторию археологической технологии в Институте археологии в Ленинграде и до самой смерти заведовал этим подразделением. Он стал организатором внедрения методов естественных наук в археологию, редактировал сборник «Новые методы археологической науки». Для Руденко «новые методы» — это вовсе не социологические изыски, а методы естественных наук в археологии: радиоуглеродный, термомагнитный, дендрохронологический и т. п. От него и через него проходит связующая нить от естественнонаучной традиции палеоэтнологов к экологическим интересам нового поколения в археологии. В лаборатории под его руководством работали и формировались как исследователи Я.А. Шер, П.М. Долуханов, в этнографической секции Географического общества его помощником, преемником и учеником был Л. Н. Гумилёв. Многие побаивались едкой руденковской критики. Этот маленький колкий старичок с моржовыми усами был для молодых археологов, тяготеющих к естественнонаучным методам, живой легендой и доказательством возможности сопротивления судьбе» (Клейн, 2010, в печати).

Приведённый отрывок содержит, несомненно, очень яркую характеристику человека, выброшенного из отечественной археологии в 1930 г. и потом, через 20 лет, всё же сумевшего протянуть «связующую нить» через поколение исследователей. В 1956 г. С.И. Руденко действительно сумел добиться восстановления лаборатории на месте уничтоженного в 1937 г. (и уже забытого к тому времени!) Института археологической технологии ГАИМК. Однако для вящей полноты образа хотелось бы параллельно привести ещё один отрывок по-своему не менее яркий и содержательный. Этот текст относится к 1931 г. и взят он из резолюции по дискуссии о «руденковщине»:



С.И. Руденко
(1885–1969)

«С именем Руденко связана целая эпоха в деятельности ленинградской антропологии, археологии, этнографии и музееведения, охватывающая десятилетие 1920-х гг. В эти годы Руденко занял ряд руководящих постов в научных учреждениях Ленинграда, организовал вокруг себя группу учеников и последователей <...> Занимая крупные административные должности,.. располагая громадными денежными средствами и обладая возможностью выпускать в свет много изданий через издательство АН, свободное от политконтроля... Руденко использовал все преимущества <...>, чтобы проводить в жизнь реакционную идеологию <...>. В течение всего десятилетия 1920-х гг. <...> в его руках находилось формирование кадров научных сотрудников Этнографического отдела Русского музея, КИПС, целого ряда <...> академических экспедиций, а также научная подготовка молодёжи в лице студентов антропологического отделения <...> университета <...>

<...> Результатом <...> десятилетнего засилья руденковцев явилась крайняя общественная, политическая, идеологическая и методологическая отсталость научных сотрудников <...>. В среде сотрудников Руденко культивировались буржуазная идеология, расовая теория, формально-сравнительный метод исследовательской работы, а также развивались антиобщественные стремления, явления буржуазного разложения, политическая безграмотность, отсутствие советской общественности, полнейшая отчуждённость от рабочего класса, кастовая замкнутость <...> деспотический зажим <...> неравномерное распределение денежных ассигнований <...>, бытовое гниение, выразившееся в ежегодном устройстве пьяных попок в стенах Этнографического отдела Русского музея <...>.

Получивши с 1925 г. возможность значительно расширить свою экспедиционную деятельность, Руденко вместе с тем расширил свои финансовые операции, которые... стали одной из форм вредительской работы. К концу 1920-х гг. Руденко определённо проявил себя в роли классового врага <...>» (Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. № 362. Л. 6—7).

Как становится понятным из этого документа, крупные средства, отпускавшиеся правительствами союзных и автономных республик на комплексное антропологическое обследование регионов во второй половине 1920-х гг., просто не давали покоя деятелям «переломной» эпохи. Приведённый текст, как ни один другой, помогает составить представление об истинном масштабе личности С.И. Руденко и степени его влияния в научном мире 1920-х гг.

Подробные данные о работе С.И. в Академии наук содержатся в его показаниях, данных на следствии. Поскольку формально он был арестован по «Академическому делу», следователей интересовал именно этот участок его деятельности. Собственный рассказ Руденко вполне соответствует тому представлению, которое складывается после чтения «резюмации». С.И. Руденко был учёным секретарём КИПС, причём, по-видимому, вынашивал план превратить эту академическую комиссию в Институт изучения человека. Он довёл до конца дело по составлению этнографической карты Сибири, одновременно курируя работу всего картографического отдела комиссии. Являясь членом КЭИ (Комиссия по экспедиционным исследованиям АН СССР), он проводил комплексное изучение Казахстана и Башкирии.

«<...> За всё время моей работы в АН, — читаем мы в уголовном деле. — я был уверен, что то дело, которое я делаю, нужное и полезное <...>. Единственное, что

меня всегда угнетало — это невозможность посвящать этому делу столько времени, сколько оно от меня требовало. Помимо Академии, мною основная работа <...> велась по Русскому музею и университету <...>. До последнего времени я бывал в Академии всего 3—4 раза в неделю <...>. Кроме того, я не мог отказаться от научной работы, на что у меня уходило вечера и ночи <...>.

<...> Входя в непосредственное соприкосновение с республиками, я ясно видел, в какой мере им в их строительстве нужна помощь Академии. Наконец, меня привлекал тот масштаб работы по моей специальности, при котором только и можно было провести ряд исследований, имеющих не только теоретический интерес, но и практическое значение <...>» (Архив УФСБ. № П—32333. Д. 9. Т. 5. Л. 337—349).

В показаниях С.И. Руденко, по сути, оказалось сформулировано то самое *credo* исследователя, которое уже знакомо нам по его цитированным выше публикациям. Комплексное исследования территорий, создание антропологических станций, упор на практическую полезность работ, оперативная публикация материала, отчётность перед правительствами республик, включающая рекомендации по ряду неотложных проблем.

«При организации исследований (в Казахстане. — *Н.П.*), — писал С.И. Руденко, — я учитывал, что расовая диагностика и изучение (одной) духовной культуры вряд ли удовлетворят разрешению тех практических вопросов, которые тогда стояли в хозяйственной и национальной политике Казахстана. Вопросам расовой конституции, распространения социальных болезней, хозяйственному быту должно быть уделено преимущественное внимание <...>.

<...> План комплексного исследования Башкирии, предложенный правительством последней... определял задачи и масштаб работ <...>. Предполагались исследования не только специально антропологические, но и археологические, этнографические и лингвистические <...>. Меня привлекала конечная задача комплексного исследования Башкирии, её естественно-историческое районирование. По мере развёртывания работ Башкирской экспедиции, я всё более убеждался в неотложности и актуальности тех заданий, которые она на себя принимала. Мне хотелось довести эти работы до конца <...>» (Там же. Л.338—340).

Рекомендации С.И. Руденко, разумеется, шли вразрез с политикой сталинского режима, окончательно определившейся в 1929—1930 гг. Он объективно фиксировал сложности, а порою ухудшение жизни населения в годы советской власти, обращал внимание властей на *внутренние процессы, возникающие <...> на почве экономических факторов и взаимоотношений*, отмечал перспективность развития крупного хуторского хозяйства. Эти социоантропологические экскурсы выглядели в эпоху повсеместного раскулачивания крестьян вопиющей крамолой. Обличители С.И. были, со своей стороны, не так уж неправы, заявляя, что «научная работа Руденко представляет собой <...> политическую агитацию <...>» (Бернштам, 1932: 27).

С.И. Руденко был арестован 8 августа 1930 г. В течение полугода следователь напрасно добивался от него показаний о причастности к «контрреволюционной организации, возглавлявшейся акад. Платоновым». Но С.И. не внёс своей лепты в это громкое «дело», сфабрикованное ГПУ. Сломить его оказалось непросто. Постановлением тройки П.П. ОГПУ в ЛВО от 10 февраля 1931 г. он был осуждён

к 5 годам лагерей. Следствие сочло доказанным, что С.И. Руденко «занимался систематическим вредительством в области экспедиционных исследований». Это вредительство «выражалось в бездельной трате государственных средств на экспедиции, лишённые научного и практического значения» (sic!). Помимо этого, в обвинении фигурировали дежурные политические обвинения — в контрреволюционной пропаганде, организации антисоветского движения на окраинах и т. д., и т. п.

Блестящие археологические исследования С.И. Руденко на Алтае, где его экспедицией в 1929 г. был раскопан 1 Пазырыкский курган, оказались прерванными почти на 20 лет. В дальнейшем, когда в 1953 и 1960 гг. вышли в свет его капитальные труды, посвящённые культуре Горного и Центрального Алтая в скифское время, мало кто из современников понимал, что основные идеи автора и методика исследований в действительности принадлежат 1920-м гг. А в 1930–1933 гг. трудно было даже представить себе С.И. Руденко вернувшимся в советскую науку.

5.6.2. Судьбы ведущих палеоэтнологов на Великом переломе

Пока установка на «практическую полезность» антропологических обследований ещё стояла на повестке дня, пока существовала нужда в их конкретных результатах, российская палеоэтнология могла не только существовать, но и быстрыми темпами развиваться. Однако, начиная с отмены нэпа и объявления политики раскулачивания, ситуация резко изменилась. Советов «буржуазных ученых» о том, как наладить дальнейшее развитие регионов, правительству более не требовалось. Ответ на вопрос «как жить дальше?» был найден: в 1929 г. молотовская комиссия Политбюро по раскулачиванию наметила арестовать около 60.000 «потенциальных противников», около 150.000 сельских семей выслать на север и около 1.000.000 хозяйств лишить имущества и земли (Максудов, 1991: 66–67).

Перемена экономической политики диктовала резкие перемены в отношении к этнологической науке. Объективные, независимые комплексные исследования регионов более не требовались. Напротив, их следовало немедленно прекратить, а заодно и припомнить дерзким их «рекомендации», где с сухой объективностью упоминалось об ухудшении экономического состояния населения за последние 10 лет (Руденко, 1927: 8–9; Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. № 362; 363). Первыми жертвами среди археологов стали именно палеоэтнологи с их установкой на обязательное исследование динамики живой культуры и выявление законов ее развития эмпирическим путем. Отныне разрешалось лишь *иллюстрировать* конкретными примерами те законы, которые давно были установлены классиками марксизма (Решетов, 1994: 197–199; Платонова, 1997: 147–151).

Борьба с «руденковщиной» в Этнографическом отделе Русского музея представляла собой нескончаемое нравственное истязание. Всё выглядело примерно так: сначала от сотрудников требуют докладов с публичным отречением от прежних методов работы и от прежнего руководителя. Требуют один раз, потом ещё и ещё. Наконец, все, кроме двух сотрудников, заставляют себя произнести дежурные фразы осуждения. Нет, говорят им тогда, вы *уклонились*, вы *не осветили научные работы Руденко с общественно-политической точки зрения!* Критикуя, вы *завуалиро-*

ванно его защищали! Похоже, *перестройка в советский музей встречает у вас трудно преодолимые препятствия* (Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. № 362. Л. 7; № 363. Л. 3–4).

Это были не пустые слова — за ними всерьёз маячит призрак тюрьмы. Б.Г. Крыжановский заупрямился в своей «завуалированной защите» — и вскоре был арестован. Тогда в феврале 1932 г. сдают нервы у его содокладчика С.А. Теплоухова, и он, наконец, приносит письменное отречение от старого друга. «Нет, — говорят ему, — в вашем заявлении *нет развёрнутой критики ваших ошибок*». Теплоухов уничтожен — ведь он же *пересмотрел свою классификацию на Саяно-Алтайской выставке! Если этого мало, он не отказывается поставить «проработку» своих трудов на Методологическом бюро!..* Через два года этот человек, чьи труды составили эпоху в сибирской археологии, повесится в тюремной камере.

Гибель С.А. Теплоухова — это всего лишь один из эпизодов так называемого «Дела Российской национальной партии». В конце 1933 г. все ведущие сотрудники ЭОРМ будут обвинены в принадлежности к «контрреволюционной фашистской организации», являвшейся «блоком украинских националистов и великодержавных шовинистов», объединившихся на почве общей ненависти к советской власти (sic!). Дело это, сфабрикованное ГПУ, по некоторым источникам, готовилось как грандиозный показательный процесс над отечественной интеллигенцией. Разгром Этнографического отдела является одной из самых чёрных страниц истории нашей археологии.

Научные материалы погибшего С.А. Теплоухова сохранились в архиве РЭМ. В 1937 г. их передала туда его сестра, сама высланная из Ленинграда в Коми-Пермяцкий округ. Передала с одним условием: опубликовать только под настоящим именем автора. Музей принял от нее этот дар (Архив РЭМ. Ф. 3. Оп. 1. № 35. Л. 24).

Б.С. Жуков отбыл трёхлетнее заключение по «Академическому делу». Во время его пребывания в лагерях «Госмедиздат» каким-то чудом выпустил в свет пятое издание его книжки «Происхождение человека». «Антропологический журнал» немедленно напечатал рецензию на неё, принадлежавшую перу его ученика Н.Н. Чебоксарова — будущего крупного советского антрополога. По словам ученика, «положительные стороны» книги — свежесть материала, ясность изложения, популярность, не переходящая в вульгаризацию, «отступают перед несомненным фактом, что Жуков объективно находится во власти враждебной <...> концепции». Следовательно, и вся книжка в целом, «неприемлема и вредна» (Чебоксаров, 1932: 130–133). Б.С. Жуков, по-видимому, погиб в лагере. Впрочем, мне довелось слышать другую версию, по которой он заболел и умер сразу же по возвращении из тюрьмы.

Г.А. Бонч-Осмоловскому повезло больше. Он тоже вернулся из сталинских лагерей. Бывшим арестантам запрещалось проживать в главных городах. Поэтому Глебу Анатольевичу пришлось уехать на лесной хутор, за 100 км от Ленинграда. Там он и начал работать над давно задуманной им серией монографий «Палеолит Крыма». Это было капитальное новаторское обобщение его десятилетних полевых работ. Первая монография — археологическая — к тому моменту оказалась почти готова. Автор написал её ещё до ареста, а его ученикам С.А. Трусовой и С.Н. Бибикину удалось сохранить материалы, пока их учитель сидел в тюрьме. Работать за 100 км от города, вдали от библиотек и хранилищ, было тяжело.

Полулегальные приезды Глеба Анатольевича в Ленинград были чреватые новым арестом. Однако в 1940 г. книга «Палеолит Крыма. Том 1. Грот Киик-Коба» всё-таки вышла в свет, а рукопись второго тома была завершена полностью. Но блестящим исследованиям Г.А. Бонч-Осмоловского в Крыму уже не суждено было возобновиться. Тюрьма и потом война, блокада, эвакуация окончательно подорвали его здоровье. Он умер в Казани в 1943 г., прямо за рабочим столом, от инфаркта. Третий том «Палеолита Крыма», завершённый В.В. Бунаком, вышел из печати посмертно. Книгам Бонч-Осмоловского, как и трудам Руденко, суждено было стать связующей нитью, переброшенной через поколения из 1920-х гг. уже к современной археологической науке (Платонова, 1995: 121–144; 2005).

Ученик С.А. Теплоухова и С.И. Руденко М.П. Грязнов мог считаться счастливее других. На его долю пришлось всего лишь полтора года тюрьмы и ссылки. Вернувшись оттуда и получив возможность работать, этот человек, которому уже в 1928 г. пророчили стать «русским Монтелиусом», на много лет с головой ушёл в область археологического источниковедения, первичной обработки материала. В дальнейшем М.П. Грязнов станет, вместе с С.А. Семеновым, одним из первопроходцев трасологического метода в археологии. Его искусство анализировать вещь будут сравнивать со знаменитым дедуктивным методом Шерлока Холмса. Он оставит большую школу археологов-сибиреведов. Однако мало кто из учеников сможет сравниться с учителем в широте и разносторонности научной подготовки, полученной в 1920-х гг. (Глушков, 1992: 56–77).

Сравнительно «счастливым» сложилась и лагерная судьба самого С.И. Руденко (см. об этом: Платонова, 2008). Основательная научная подготовка учёного-естественника, которую он имел, в конечном счёте облегчила его участь. В северных лагерях С.И. начал работать в области инженерной гидрологии и в результате пробыл там ровно три года вместо десяти. Первое письмо, написанное им из Майгубы, датировано 6 марта 1931 г. А в марте 1934 г. было получено уведомление от Главного Управления лагерей, что С.И. Руденко «вследствие честной и ударной работы» сооточно освобождён.

«Мне передали соответствующий документ с красными литерами <...>, — вспоминал Сергей Иванович. — Это означало, что мне разрешена прописка в любой... точке Союза, в том числе в Ленинграде и Москве. Естественно, первой мыслью было немедленно ехать в Ленинград. С этой мыслью я пошёл к бывшему заключённому, теперь вольнонаёмному помощнику начальника Управления Корештейну. Он мне не посоветовал уезжать из лагерей: «Сейчас время неподходящее, и к нам нередко возвращаются обратно уже освободившиеся». Впоследствии я узнал, что Д.А. Золотарёв, освободившийся... ранее меня, снова попал в лагерь, но в другие, и там скончался от дизентерии. Корештейн предложил мне остаться вольнонаёмным с назначением меня старшим инженером строительного отдела Беломоро-Балтийского комбината НКВД. 16 марта состоялось назначение <...>» (ПФА РАН. Ф. 1004. Оп. 1. № 577, л. 49).

Однако возвращение в Ленинград в 1934 г. всё-таки состоялось. Уже с осени этого года С.И. был переведён туда на работу и стал помощником начальника отдела гидрологии и водного хозяйства Ленинградского Бюро ББК НКВД. Попав таким образом домой, он решил напомнить о себе коллегам-археологам. Все эти годы, находясь в лагерях, С.И. Руденко был прекрасно осведомлён обо всём,

что творилось тогда в науке и в тех учреждениях, где он прежде работал. Знал он это, благодаря письмам и встречам с женой Ниной Михайловной, которая была ему самым преданным другом и помощницей. Разумеется, лагерная переписка велась ими отчасти на эзоповом языке. О подробностях борьбы с «руденковщиной» в Русском музее, о фактическом разгроме этнографического отдела в 1933 г. С.И. узнавал в основном не из писем, а при встречах. И его беспокоила судьба ценнейших алтайских коллекций, хранившихся там.

«Последние новости из жизни я знаю <...>, — писал он жене 27 февраля 1932 г. — Чем же кончился вопрос с отставкой лошадок и какая судьба ждёт археологию и мои коллекции, в частности? Откроется Саяно-Алтайская выставка или нет, и останутся ли археологические коллекции или перейдут в Эрмитаж?..» (ПФА РАН. Ф. 1004. Оп. 1. № 418, л. 31).

Работа в лагерной «шарашке» была для С.И. Руденко не настолько обременительной, чтобы он не нашёл возможности хоть какое-то время уделять своим любимым занятиям. Жена привозила ему из Ленинграда необходимые материалы и книги. Работоспособность и внутренняя собранность учёного были феноменальными. Если вспомнить рабочий график Руденко в конце 1920-х гг., вспомнить его признание в том, что науке приходилось посвящать вечера и ночи, становится ясным: никакой Беломорканал не мог вымотать его до конца.

«На днях закончил работу над дневником Сибирской экспедиции, — читаем мы в письме С.И. от 27 декабря 1933 г. — Теперь осталось только смонтировать его и можно будет передать тебе. Пусть вылѣживается и приобретает особый вкус, который свойственен не только старому вину, но и старым манускриптам». (Там же: л. 127 об.).

Таким образом, мысленно С.И. Руденко все эти годы не отрывался от археологии. А в 1934 г. у него, наконец, появилась возможность прийти в Эрмитаж, куда действительно оказались переданы коллекции, собранные в его экспедициях (вспомним, что раскопки уникальных Пазырыкских курганов начались в 1929 г., — всего за год до его ареста).

Работая в Бюро ББК, — вспоминает Руденко, — я зашёл в Эрмитаж и просил Орбели предоставить возможность мне работать с вещами из алтайских раскопок <...>. Орбели мне ответил: «Об этом переговорим» — и спросил, где я сейчас работаю? Мой ответ, что в Бюро ББК НКВД, на него, по-видимому, не произвёл благоприятного впечатления. Несмотря на многочисленные мои звонки по телефону в Эрмитаж с просьбой сообщить, когда Орбели сможет меня принять, был неизменный ответ, что он занят и принять меня не может. Тогда я решил прийти без предупреждения. Ожидал его прихода в проходе в приёмной перед кабинетом директора. Орбели пришёл и проследовал в свой кабинет, пройдя мимо <...> и не заметив меня. Я попросил секретаря доложить обо мне. Секретарь прошёл к Орбели и сказал, что директор занят и принять меня не может. После этого, проходя на работу мимо Эрмитажа, я неоднократно встречался с И.А. Орбели, на мои приветствия он не отвечал. И так, мы с ним перестали быть знакомыми. Коллекции, переданные в Эрмитаж, оказались <...> недоступными. То же произошло с моим ближайшим коллегой П.П. Ефименко. Неоднократно встречался я с ним на Дворцовой площади, но он меня не узнавал...» (ПФА РАН. Ф. 1004. Оп. 1. № 577, л. 52).

Безусловно, в середине 1930-х гг., когда ещё свежа была память о «руденковщине», когда кругом с удвоенной силой продолжались аресты, неожиданное появление С.И., словно из другого мира могло вызвать у многих лишь страх и растерянность. Из этого человека только что делали фетиш буржуазной науки, образец врага, с которым надо бороться. И вдруг он, как ни в чём не бывало, возникает из небытия!.. А потом ещё захочет печататься, захочет оформиться на работу?! Пожалуй, сейчас нелегко осознать до конца, насколько всё это было серьёзно.

Система НКВД «отпустила» С.И. Руденко лишь в конце 1939 г. Однако возможности вернуться к работе в археологии или этнографии не было, и Сергей Иванович продолжал работать там, где имя его не казалось таким одиозным — в Государственном Гидрологическом институте. Великую Отечественную войну он встретил, будучи старшим научным сотрудником этого института. А зимой 1942 г. его, наконец, приняли на работу в ИИМК АН СССР. Приказ о зачислении С.И. Руденко в штат датирован 18 февраля 1942 г. Подписал его в блокадном Ленинграде полумёртвый от голода С.Н. Бибиков, замещавший в тот момент директора института (РА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 5. № 262, л. 3–6). Видимо, требовалась именно такая, в полном смысле слова экстремальная ситуация, чтобы возвращение Сергея Ивановича в археологию стало, наконец, возможным.

5.7. П.П. ЕФИМЕНКО: РАЗРЫВ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ



П.П. Ефименко
(1884–1969)

Знаковой фигурой среди российских археологов 1920–1930-х гг. является *Петр Петрович Ефименко* (1884–1969) — ученый, до начала 1930-х гг. стоявший на платформе палеоэтнологии, а затем официально вставший на позиции марксизма и социологизма. Он оказался единственной крупной фигурой среди петербургских учеников Ф.К. Волкова, кто избежал ареста. На примере Петра Петровича можно показать, как трансформировалась научная традиция на рубеже 1920–1930-х гг., а одновременно — как в творчестве самого этого ученого происходило ее «выживание» и возрождение.

Общие взгляды П.П. Ефименко на цели и задачи первобытной археологии, реализованные им в 1930–1950-х гг., действительно претерпели значительную трансформацию в период Великого перелома, под давлением непростых обстоятельств. Поэтому стоит хотя бы кратко описать, как развивались они до этого момента.

По своему мировоззрению П.П. Ефименко, несомненно, был материалистом и демократом, воспитанным на идеях Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева (Формозов 2004: 115). В юности, учась в Харьковском университете, он участвовал в революционном движении, вступил в партию меньшевиков. Из-за участия в студенческих беспорядках 1905 г. он был вынужден покинуть Харьков. После

амнистии он продолжил учёбу в Петербурге, где, по-видимому, с 1909 г. серьёзно занялся наукой. Во всяком случае, после 1908 г. сведений о его участии в революции уже нет.

Это были годы, когда в Санкт-Петербургском университете под руководством Ф.К. Волкова фактически создавалась русская палеоэтнологическая школа. Ефименко стал одним из старших учеников мэтра. В 1909 г. он был послан своим учителем исследовать Мезинскую палеолитическую стоянку на Черниговщине. Работы провёл неумело, зато собранные материалы поразили всех, и в первую очередь самого раскопщика. Ф.К. Волков писал об этом в письме к С.И. Руденко:

«<...> Мне, разумеется, не удалось вырваться из Петербурга вовремя, а потому я послал в Мезин Петра Петровича и Сахарова одних, а они к моему приезду уже всё и кончили. Не говоря уже о массе всевозможного палеонтологического материала, они почти сразу наткнулись на богатейшие залежи, где оказались обработанные кости и поделки из слоновой кости. Эти последние заключают в себе иглы, куски мамонтовых бивней с надрезами и т. п. и, наконец, такие вещи, которых никто до сих пор не находил и которые вызвали всеобщее изумление даже в Париже, где я показал их на Конгрессе по поводу 50-летнего юбилея Парижского Антропологического общества. <...>. Спеша копать, Пётр Петрович наскоро напихал в 13 ящиков массу костей, кремней и просто магмы, и теперь ведёт раскопки у нас на 16-й линии, и находит целую массу кремнёвых орудий, поделок из кости, и даже кончик ещё одного *phallus*'а. Само собой разумеется, что Петр Петрович совсем и голову потерял над всем этим <...>» (Руденко, 2003: 364).

Увлечение палеолитом, сохранилось у П.П. Ефименко на всю жизнь, хотя учитель «отлучил» его от раскопок Мезина, избрав руководителем раскопок более близкого ему по духу Л.Е. Чикаленко. Ефименко был обижен, но виду не подавал. Все 1910-е годы он упорно, систематически работал, изучая палеолитические памятники и в России, и за границей. «С 1909–1910 по 1920 год, — указывал он позднее в одном из своих публичных выступлений в ГАИМК, — вероятно, в России был единственный человек, который работал по палеолиту, и этим человеком был я. Правда, были и Спицын, и Хвойко, и Щербаковский, но дело в том, что я попал в довольно счастливую обстановку. Мне удалось, благодаря тому что моим учителем был Волков, сразу же, со студенческой скамьи, ясно осознать: для того, чтобы продвигать вопросы нашего палеолита, необходимо полностью освоить опыт западноевропейского <...>. За границей и имел возможность поработать во многих десятках крупнейших музеев <...>» (РА ИИМК. Ф. 2. 1937. № 35, л. 107об.–108).

Пожалуй, говоря так, Петр Петрович не ошибался. Уже в начале 1910-х гг. именно он стал автором «первых профессиональных исследований по палеолиту в полном смысле этого слова» (Васильев 1999: 11). Развитие культуры палеолита, несомненно, виделось ему в эволюционистском ключе, как и его учителю Ф.К. Волкову. Однако уже в работах 1915 г. начинают проскальзывать совсем иные идеи и подходы.

«В основе доисторической археологии как науки, имеющей дело с непрерывной и последовательной сменой форм, в которую укладывается прогресс человеческой

техники и быта <...>, — читаем мы в статье Ефименко о каменном веке Палестины, — лежит плодотворная идея эволюции <...>. Вторым, не уступающим по важности своей моментом для доисторической археологии является изучение областей (areal) распространения и путей миграции отдельных элементов культуры и целых культурных комплексов, воздействия одних областей (высших) на другие (отсталые), иными словами, изучение той реальной обстановки, в которой осуществлялся неустанный и неуклонный прогресс человеческой культуры <...>» (Ефименко 1915а: 63).

Таким образом, в середине 1910-х гг. в основе подхода П.П. Ефименко к археологическому материалу лежали представления о «непрерывной и последовательной смене форм», обусловленной как саморазвитием культур, так и их постоянным взаимодействием. В работах 1920-х гг. он уже напрямую говорит о сосуществовании разных «культурных типов» в палеолите и соотносит их с разными географическими ареалами (Ефименко 1928).

Стимулы к развитию культур Ефименко усматривал в тот период в изменениях природной среды. К этой идее подталкивала его сама логика развития русской палеоэтнологии, всегда рассматривавшей археологические данные в контексте данных физической географии и в тесной взаимосвязи с ними. Указанный подход к исследованиям имел глубокие корни на русской почве в трудах К.М. Бэра, И.С. Полякова, А.А. Иностранцева, Ф.К. Волкова и др. В то же время, в своем раннем творчестве Ефименко органично сочетает этот подход с углубленными занятиями типологией. В конечном счете именно он разработал основы русской номенклатуры палеолита и дал первые квалифицированные типологические описания материалов отдельных памятников.

Однако в 1929–1930 гг. наступил кризис. В ГАИМК был брошен лозунг: «За марксистскую историю материальной культуры». От археологов в приказном порядке потребовали перестроиться и разрабатывать только «марксистские методы». Сопrotивление этой установке было чревато потерей работы, потерей возможности заниматься наукой, а то и чем похуже — тюрьмой.

Характер и суть процесса превращения марксизма из методологии в набор жестких догм, обязательных к исполнению, получили четкое и исчерпывающее определение в работе О.Ю. Артемовой. По ее мнению, вследствие «того особого влияния, которое оказали на К. Маркса и Ф. Энгельса Л. Морган и некоторые другие представители эволюционистского направления в этнографии», советская историческая наука вступила «в своего рода симбиоз с классическим эволюционизмом. В русле классического эволюционизма социальное развитие человечества мыслилось в виде однолинейного, сугубо поступательного процесса и общества на ранних стадиях социальной эволюции представлялись весьма единообразными, характеризующимися определенным набором социологических и культурных универсалий» (Артемова, 2003: 200–201).

В результате этого концепция Морган — Энгельса стала в полном смысле канонической. Стали обязательными представления о последовательной смене таких стадий как: 1) промискуитет; 2) групповой брак с двумя последовательно сменяющимися друг друга формами семьи — кровнородственной и пуналуальной; 3) материнский род, как социально-экономический, производственный коллектив и постепенно создававшаяся в его недрах парная семья; 4) отцов-

ский род и патриархальная семья, которая появляется только на стадии классового образования.

Первобытнообщинный строй трактовался как эпоха полного социального равенства. Однако «это представление каким-то странным образом уживалось с понятием матриархата — господства женщин в классической первобытности. Таким образом, теоретическая мысль в нашей стране (в сфере изучения эволюции социальных институтов) не просто затормозилась, но — в известном смысле — оказалась отброшенной в 70–80-е годы XIX в. И это в то время, когда в мире в целом этнология сделала огромный шаг вперед» (Там же: 202).

Спорить со схемой, изложенной выше, или пытаться внести в нее поправки на основе конкретных научных данных в начале 1930-х гг. было весьма затруднительно. Оставалось либо уйти из науки (варианты: быть выброшенным из нее; уйти из жизни), либо включиться в процесс и так или иначе постараться «возделывать свое поле», ища новые направления, не противоречащие напрямую господствующей идеологии. Именно такой путь выбрал в конечном счете П.П. Ефименко.

Сам он, старый меньшевик, несомненно, был марксистом по убеждениям. Однако марксизм долго «не совмещался» в его сознании с наукой о палеолите. «<...> В 1927–1928 году я стоял совершенно в стороне от марксизма. — говорил он впоследствии. — Мне представлялось странным: ну, хорошо, марксизм, прекрасно, но как его применить к палеолиту, к нашему материалу, к камню? Мне представлялось это совершенно различными вещами — общее мировоззрение, научная методология и совершенно специфическая область знания <...>. В следующие годы начинается процесс освоения, настоящего освоения марксизма. Это очень тяжёлая работа <...>, ибо нелегко, исходя из анализа материала, углублять те положения, которые дали нам основатели марксизма <...>» (РА ИИМК. Ф. 2. 1937. № 35, л. 108–109).

Что же означало на практике это «углубление положений» марксизма на археологических материалах? В ходе «марксизации» и социологизации археологии было выработано представление об идеологическом враге — «буржуазной археологии», якобы направленной только на описание и систематизацию вещей и упорно не желающей вскрывать социальные отношения древних обществ. Указанная «чисто вещеведческая» дисциплина якобы служила классовым интересам буржуазии, отвлекая пролетариат от революционной борьбы и оправдывая колонизаторскую политику.

В противовес этому, основной задачей советской археологии провозглашалось раскрытие социально-экономических отношений, выражающих основные закономерности исторического процесса. Единственной теоретической основой для этого являлся, разумеется, марксизм-ленинизм, а методом — марксистская диалектика. Разумеется, в этой схеме уже не находилось места для рассуждений о сколько-нибудь серьёзном влиянии природных факторов на развитие культуры. К собственно научным методам, применяемым в археологии — в первую очередь, типологическому — отношение было в лучшем случае настороженным, а чаще резко отрицательным, как к идеологической диверсии, изобретённой буржуазными вещеведами в своих целях (разумеется, гнусных!).

На деле проблема упиралась не в идеологию, а именно в методику. Ни один хоть сколько-нибудь серьёзный западный исследователь каменного века не отказался бы узнать сам и поведать человечеству, каковы были социальные отношения людей — современников мамонтов и шерстистых носорогов. Вопрос заключался в том, *как* это сделать? Как добиться результатов — не голословных, а *научных*, то есть доказательных?

П.П. Ефименко, прошедший в своё время школу Ф.К. Волкова, конечно осознавал невероятную сложность этой проблемы и постарался справиться с нею как мог. Не случайно именно он, как справедливо заметил потом П.И. Борисковский, «имел самое непосредственное отношение к созданию и первым шагам трасологии», активно поддерживая начинания своего аспиранта С.А. Семенова в разработке принципиально нового метода анализа каменных орудий (Борисковский 1989: 258). Ведь прежде чем говорить о социально-экономическом значении орудий труда, нужно хотя бы понять, *что же делали этими орудиями те, кто их изготовил?*

Но самые заметные успехи были достигнуты в области полевой археологии. Палеоэтнологами повсеместно применялась методика поквadratного («кессонного») вскрытия культурного слоя. При этой методике каждый квадрат прокапывался на всю глубину, до исчезновения находок. Встреченные предметы фиксировались и тут же снимались. Задачи проследить планиграфию палеолитических стоянок, выявить остатки жилищ и других объектов, по сути, даже не ставились. Высказанные когда-то, много лет назад, предположения И.С. Полякова и В.В. Хвойко о характере палеолитических жилищ долгое время просто не принимались всерьез.



Раскопки П.П. Ефименко на палеолитической стоянке Костёнки I в 1934 г.
(«первый жилой комплекс» широкой площадью)

В начале 1930-х гг. П.П. Ефименко начинает работать по-иному — не квадрат за квадратом, а широкими площадями. Непосредственным толчком в данном направлении стала для него находка его ученика С.Н. Замятнина, который в 1928 г. зафиксировал в обресе ямы в Гагарино профиль палеолитической землянки, а затем исследовал остатки жилища в плане (Праслов, 1999). Так, значит, фиксация таких объектов возможна! Надо только искать их... Цели, на которые был направлен метод широких площадей, несомненно, связывались с очерченными выше глобальными задачами. Как подлинный учёный, Ефименко прекрасно понимал: прежде чем рассуждать о социальных отношениях, нужно хотя бы узнать, *как был организован посёлок* тех, чьи социальные отношения предполагается раскрыть?

Новый подход позволил проследить взаимную связь находок в плане, выявить различные конструктивные детали, и в частности остатки жилищ. Указанная методика при всех её издержках оправдала себя при раскопках, проводившихся П.П. Ефименко в Костёнках, на стоянке Полякова. В 1931–1936 гг. там были открыты остатки сложного жилого комплекса, включающего крупные хозяйственные ямы и землянки, множество более мелких ям-хранилищ, очаги сложной конструкции и пр. Перед археологами возникла наглядная и очень яркая картина долговременного поселения, сложного образа жизни древних охотников, не вписывающаяся в привычные представления о бродячих дикарях, не знавших оседлости. Это было действительно новое слово в мировой археологической науке.

Но подлинно научный путь решения сложной проблемы невероятно труден и долог, а результаты всегда скромны. Идеологическое руководство требовало прямо противоположного — немедленных и ошеломляющих результатов, таких, о которых «буржуазная наука» и мечтать не смеет! Научность? Всё просто: подлинно научным подходом является лишь неуклонное следование основополагающим принципам марксизма-ленинизма.

Социальный заказ надо было выполнять. И П.П. Ефименко ухватился за идею о возникновении в эпоху верхнего палеолита родовой организации: «У нас имеются все основания думать, что история верхнепалеолитического общества является не чем иным, как историей возникновения и развития того, что следует за первобытной кровнородственной семьей — родового или родоплеменного строя, характеризующегося экзогамией и матриархальной организацией родовых групп <...>» (Ефименко 1938: 344).

Опорой социологических построений для Ефименко послужило совмещение схемы стадий общественного развития Моргана — Энгельса с периодизацией палеолита по системе Мортилье — Брейля. В первой трети XX в. указанная система: ориньяк — солютре — мадлен — азиль, разработанная для верхнего палеолита Западной Европы, являлась единственной более-менее обоснованной хронологической схемой. Однако советский археолог начала 1930-х гг. мог использовать эту схему на практике, лишь обрядив её «в марксистские бармы» и основательно перетолковав всё её содержание.

Археологическим обоснованием наличия рода послужило у Ефименко открытие на палеолитических стоянках долговременных жилищ (свидетельствующих, по его мнению, не просто об определённой оседлости, но и о родовом строе), а также находки женских статуэток, якобы свидетельствующих о матриархате.



На раскопках в Костёнках в 1931 г.
Слева направо: А.Г. Данилин, П.П. Ефименко, П.И. Борисковский

Привлечены были также некоторые этнографические данные, напрямую связываемые автором с археологическими источниками (Ефименко, 1931).

Конечно, эти построения представляли собой прямое забвение принципов строго научной критики источников и стремления к осторожному обобщению добытых фактов. Однако не забудем, что стремление связать воедино формы женских статуэток, условия их залегания и свидетельства этнографии явилось одной из первых попыток создать научную методику реконструкции социальных отношений в палеолите по археологическим данным.

С современной точки зрения, эту попытку можно считать неудачной. Однако результатом её стал опыт, который науке XXI века стоит учитывать. Ведь и сейчас мы ещё очень далеки от успешного решения указанных задач. Между тем новейшие попытки социологической интерпретации палеолитических материалов (в частности в англоязычной литературе) зачастую мало чем отличаются от наивного отождествления палеолитических жилищ с родовым строем, а женских статуэток — с матриархатом.

Куда хуже обстояло дело с классификацией верхнепалеолитических памятников и построением их периодизации. Блестящий эрудит, знаток западной научной литературы, П.П. Ефименко не мог не ориентироваться на лучшие достижения французской школы палеолитоведения. Французские палеолитоведы основывали свои выводы на типологии каменных орудий и геологической стратиграфии. П.П. Ефименко, в свою очередь, брал за основу французскую схему, но стремился усмотреть за ней нечто большее: *проявление общеисторических закономерностей развития первобытного общества*. Саму же схему Мортилье — Брейля он оценивал как «отвлечённое построение, далёкое от исторической действительности» (Ефименко, 1953: 314).

Предполагалось, что изменения форм каменных и костяных орудий в эпоху верхнего палеолита происходили более или менее одинаково, по крайней мере, в пределах Евразии. Иными словами, эти изменения отражают *стадии исторического развития*, единые для всего человечества. В результате основным ступеням французской периодизации было голословно придано социологическое значение. Так, по Ефименко, «ориньяко-солотрейское время» характеризовалось «более или менее оседлым типом охотничьего хозяйства», «мадленское время» отличалось «своеобразным хозяйственно-бытовым укладом охотников-номадов», а «азильское время» — упадком охотничьего хозяйства верхнепалеолитического общества (Ефименко 1938: 328–329). Так возникла *стадиальная концепция* развития верхнепалеолитической культуры.

Но как распределять по «фазам» и «ступеням» конкретные верхнепалеолитические стоянки? У французских археологов для этого использовались два чётких критерия: стратиграфия и типология каменного и костяного инвентаря. При стадиальном подходе характер кремнёвого инвентаря как массового материала, якобы непосредственно отражающего общеисторические закономерности развития производительных сил, выдвигался на первый план, а геологическая стратиграфия представлялась менее значимой для атрибуции памятника. Ни сам П.П. Ефименко, ни его последователи даже не пытались выработать сколько-нибудь чёткие технико-типологические критерии для сравнения коллекций, сопоставления их с западноевропейскими материалами и последующего распределения по стадиям. Причина проста: это могло быть сделано только на основе углублённых разработок типологического метода, а подобные занятия в 1930–1940-х гг. не только не поощрялись, но представляли собой реальную опасность. Поэтому на практике сопоставление восточноевропейских материалов с западноевропейскими и друг с другом производилось по интуиции, по смутному ощущению «похожести». Пожалуй, наиболее определённым признаком сходства выступала так называемая «солотрейская ретушь», за которую в те годы принималась любая двусторонняя покрывающая ретушь. Наличия в коллекции предметов с такой обработкой было достаточно для отнесения её к «ориньяко-солотрейскому времени».

С 1930-х до середины 1950-х гг. стадиальная концепция оставалась в советском палеолитоведении незыблемой. Она утвердилась настолько, что даже некоторые учёные-естественники стали датировать литологические горизонты по облику содержащихся в этих горизонтах археологических материалов, а не наоборот (Громов, 1948).

Нужно отметить, что сам создатель «стадиальной парадигмы» оказался куда менее последовательным её проводником, нежели большинство его коллег и соратников. Уже в 1930-х гг. П.П. Ефименко был склонен рассматривать «ориньяк» и «солотре» как «лишь варианты в развитии техники обработки кремня», свойственные ранней фазе верхнепалеолитической эпохи (Ефименко 1938: 326). Позднее, не отказываясь в принципе от стадиальной концепции, он закономерно пришёл к идее существования в верхнем палеолите археологических культур, синхронных, но заметно различавшихся между собой по характеристикам археологического материала (Ефименко 1958: 435). Всё это отнюдь не кажется удивительным, если вспомнить о пути, который П.П. Ефименко прошёл в науке

до 1930 г. Так в работах одного из основателей «стадиальной парадигмы» уже прорастали зёрна её разрушения.¹

5.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведём некоторые итоги. Теоретико-методологическую платформу палеоэтнологии ныне приходится восстанавливать по крупицам. Её попросту *не успели* систематически изложить в печати. Те, кто так или иначе выжил, должны были подводить итоги уже тогда, когда догматически понятый марксизм стал единственно возможной теорией науки.

При характеристике того нового, что отличало послереволюционную русскую палеоэтнологию от предшествующего периода, необходимо отметить следующее. В 1920-х гг. заметно уменьшается разрыв между различными отделами археологической науки. На необходимость распространения *на все области археологии* тех изоциренных методов, которые отрабатывались палеоэтнологами применительно к каменному веку, настойчиво указывал А.А. Миллер. Правда, в 1919 г. ему не удалось провести в жизнь свою идею об объединении исследований по «доисторической» и «исторической» археологии (вкуче с общей этнологией) в рамках Этнологического отделения РАИМК. Однако уже в 1925 г. новая попытка в том же направлении увенчалась успехом (см.: Платонова, Кирпичников, 2010).

Таким образом, развитие палеоэтнологической школы в СССР 1920-х гг. шло, в общем, в направлении ее постепенной интеграции с «исторической археологией». Ключом к расшифровке загадок археологии представлялась «динамика культуры», реконструированная на материалах живых этнографических общностей, но исчезла пропасть между такой «динамикой» в каменном веке и в более поздние эпохи. Это представляло собой важный шаг на пути признания археологии единой исторической наукой.

Работы по составлению археологических карт, широко развернувшиеся во второй половине 1920-х гг., тоже нередко именовались «палеоэтнологическими». В основе такой приверженности данному термину лежало представление о неотрывности исследования материальной культуры древности от изучения живой этнографической культуры. На практике почти все ведущие палеоэтнологи проводили в экспедициях параллельное археологическое и этнографическое обследование регионов (А.А. Миллер, Г.А. Бонч-Осмоловский, С.И. Руденко, Б.С. Жуков и др.). Современные кустарные ремёсла, конструктивные особен-

¹ В заключение стоит отметить, что путь, избранный П.П. Ефименко, привел отнюдь не к угасанию или маргинализации исследований по первобытной археологии в СССР. Его результатом стало формирование российской исторической школы палеолитоведения, которая, в конечном счете, аккумулировала достижения обеих предшествующих традиций — исторической, идущей от Уварова — Полякова — Спицына, и палеоэтнологической школы Волкова. Международный авторитет этой школы во второй половине XX в. был неизменно очень высок. Огромная заслуга принадлежит тут ученику П.П. Ефименко А.Н. Рогачеву. Однако анализ этой научной традиции выходит за рамки настоящей работы.

ности домостроительства, народный костюм становились объектами самого пристального внимания. Посемейное антропологическое обследование и анализ миграционных и ассимиляционных процессов, наблюдавшихся в историческое время, рассматривались как «ключ» к пониманию аналогичных процессов в древности. Наряду с древнейшими памятниками эпохи камня начались раскопки многослойных поселений со свитой слоёв от неолита до средневековья, а также различных погребальных памятников I–II тыс. н.э., финских могильников XVIII в. и т. д.

Палеоэтнологи 1920-х гг. не просто декларировали необходимость восстановления облика древних культур — они разработали целый ряд методов для практической работы с источником. В первую очередь тут следует упомянуть усиление интереса к работе с массовым материалом и введение в археологию понятия «цельного комплекса» — будь то «комплекс каменной индустрии» Г.А. Бонч-Осмоловского, «комплекс керамического материала» Б.С. Жукова и т. д. При сравнении материалов специалисты начали оперировать не отдельными характеристиками предметами, а *комплексами*. Разумеется, в конце 1920-х гг. это понятие ещё только вводилось в практику, как и начатые тогда же первые попытки статистической обработки материала (М.П. Грязнов, Г.А. Бонч-Осмоловский, П.П. Ефименко и др.).

Внимание палеоэтнологов к функциональной стороне и технике изготовления каменных орудий обусловило появление в 1920-х гг. ключевых положений: 1) о важности изучения *процесса раскалывания кремня* для характеристики кремнёвых индустрий и 2) о необходимости «рассматривать комплекс инвентаря не в плане типологической статистики, а в динамике изготовления, использования и выбрасывания орудий из камня». Как отмечает С.А. Васильев, эти теоретические посылки близки «новой» или «процессуальной» археологии 1960–1970-х гг. Однако принадлежат они русскому исследователю палеолита Г.А. Бонч-Осмоловскому. Научное наследие этого учёного отличается исключительным богатством мыслей, далеко опередивших своё время. К примеру, ему принадлежит идея сравнивать не только целые орудия, но и их отдельные *рабочие элементы*. По мнению Л.С. Клейна, в аналогичном направлении работал только современник Г.А. Бонч-Осмоловского Ирвин Рауз, назвавший эти типичные элементы «модами»¹. В СССР данное направление археологической мысли, ставящее во главу угла морфологические элементы орудий, получило продолжение лишь в 1960–1980-х гг. — в работах И.И. Коробкова и А.А. Синецына.

Таким образом, уже в первых серьёзных разработках, появившихся в печати во второй половине 1920-х гг. и обобщивших опыт палеоэтнологических исследований предыдущего периода, наблюдается значительный «прорыв» именно в области методики анализа и классификации археологического материала. Работа «на одном научном поле» с этнологией/этнографией и естественнонаучными дисциплинами обогатила археологические исследования 1920-х гг. важными методологическими новациями. Обрыв этой научной традиции, произведенный «силовыми методами» в начале 1930-х гг., несомненно, сильно обеднил отечественную археологию.

¹ Автор выражает признательность Л.С. Клейну за это указание.

ГЛАВА 6

ПОПЫТКА ОБЩЕЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ И СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ АРХЕОЛОГИИ: В.А. ГОРОДЦОВ И ЕГО ШКОЛА (1890—1920-е гг.)



В.А. Городцов
(1860–1945)

Как трудно представить себе обширное здание без фундамента, так и русскую археологию сейчас невозможно представить без *Василия Алексеевича Городцова* (1860–1945) — гениального самоучки, самостоятельно сделавшего себя учёным. Его полевая деятельность составила эпоху в археологических исследованиях Европейской России и Украины (в особенности бронзового и раннего железного века). Его педагогическая деятельность накануне революции стимулировала большой прогресс типологических исследований в нашей стране, что, несомненно, явилось в 1920-х гг. одним из факторов, определивших лицо отечественной науки. И сам Василий Алексеевич, и его ученики внесли немалый вклад в развитие археологической мысли. К сожалению, единственное более-менее полное биографическое исследование о В.А. Городцове, имеющееся на сегодняшний день, затрагивает лишь ранний период его деятельности (Жук, 1992; 2005). Между тем он представлял собой человека такого масштаба, чьи личностные качества вполне могли наложить (и наложили!) немалый отпечаток на историческое развитие отечественной археологии. Поэтому характеристику школы Городцова совершенно необходимо предварить очерком о самом её основателе.

6.1. ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРОДЦОВ — ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 1917 г.

В.А. Городцов происходил из провинциального духовенства — того самогословия, которое во второй половине XIX в. дало России особенно много выдающихся представителей творческой интеллигенции. Отец его был дьяконом в церкви с. Дубровичи Рязанского уезда. Средств на образование детей в бедной многодетной семье катастрофически не хватало.

Первой ступенью в учёбе Василия Алексеевича становится бурса — Рязанское духовное училище, куда он был отдан десяти лет. Затем Городцов попадает в семинарию, из которой однако выходит самовольно, окончив два класса (свидетельство от 15 октября 1879 г.), что приравнивалось по тем временам к шести классам гимназии или реального училища.

Военные реформы 1860–1870-х гг. давали разночинцам достаточно широкие возможности для достижения офицерского звания. Вот такой жизненный путь и выбирает себе на первых порах В.А. Городцов. В мае 1880 г. он принят в службу рядовым на правах вольноопределяющегося, а уже в сентябре успешно выдерживает экзамен в Московское пехотное юнкерское училище. Однако в дальнейшем учёба пошла у него средне, «на троечку», да и по поведению он вскоре попадает во второй (низший) разряд. Вероятно, московская жизнь способствовала отвлечению внимания юноши от военной науки. В результате училище оказалось окончено им по второму разряду (что сильно замедлило в дальнейшем продвижение по службе) (Жук, 1992: 24–26).

Между тем Василий Алексеевич очень быстро становится превосходным младшим офицером — деятельным, инициативным, способным к ответственному решению. Можно предположить, что по его характеру ему больше импонировали самостоятельные действия на своём участке, чем спокойное, без хлопот, существование. Поэтому его неизменно назначают возглавлять какую-либо отдельную команду, существующую автономно, вначале это команда сапёров, а затем — так называемая «охотничья» (или, выражаясь современным языком, — полковая разведка). По уставу полагалось во главе охотничьих команд ставить «лиц предприимчивых, энергичных, отличных в строевом отношении, крепких здоровьем и вполне способных действовать по собственному почину» (Там же). Имеются многочисленные свидетельства о том, что Городцов был неизменно на очень хорошем счету у командования. Однако, как ни парадоксально, даже это стремление к самостоятельности в конечном счёте оказывалось фактором, замедлявшим его дальнейший служебный рост. Специфические требования к полевым охотникам — разведчикам делали весьма желательным бессменное руководство ими в течение длительного времени. Городцов провёл на этом посту 10 лет. Вакансии проплывали мимо. Продвижение по службе фактически приостановилось. В 30 лет Василий Алексеевич имел лишь чин поручика, и было уже ясно, что большой военной карьеры ему не сделать. Между тем его понемногу начинают интересовать древности его родного края. Он посещает заседания Рязанской учёной архивной комиссии, в 1888 г. производит раскопки на неолитических стоянках, расположенных у родного с. Дубровичи. Пройдёт немного времени, и это увлечение археологией превратится в настоящую страсть, в подлинную цель его жизни.

Поставив себе целью постичь археологию, Городцов начинает в бешеном темпе заниматься самообразованием. Его любознательность поражает, а трудолюбивость и вовсе превосходит все ожидания. «Сотни прочитанных книг конспектировались, все виденные в музеях коллекции зарисовывались, тут же комментировались. Круг интересов В.А. Городцова быстро расширяется — это история, геология, палеонтология, этнография и, конечно, археология и музейное дело. В 1880-х гг. он занимается планомерным поиском древних памятников в Окском бассейне <...>» (Студзицкая, 1988: 5–6).

В 1892 г. полк, в котором служил Городцов, переводят в Ярославль. На новом месте он продолжает начатое дело. Его выбирают секретарём, затем правителем дел Ярославской учёной архивной комиссии. К тому времени им уже открыты сотни новых археологических памятников. Он начинает работу по составлению

археологической карты Поочья. Параллельно делает геологические наблюдения, проявляя себя как способный естествовед. Его доклады в Москве привлекают всё большее внимание. Его полевые исследования получают финансовую поддержку МАО.

В 1899 г. появляется его исследование «Русская доисторическая керамика» (Городцов, 1901), которое по праву считается первым «опытом универсальной классификационной системы для описания глиняных изделий» в русской науке (Лебедев, 1992: 258). По сути, именно с этой его работы началось применение типологического метода к изучению российских древностей и популяризация указанного метода в нашей стране. Так Василий Алексеевич впервые проявил себя как учёный, стремящийся представить археологию «не только как собрание определённых фактов о древностях, но и как науку с определённой системой взаимосвязанных компонентов, имеющих заданные функции» (Геннинг, 1982: 71).

В 1901 г. В.А. Городцов приступает к широкому исследованию курганов эпохи бронзы в бассейне Северского Донца. Результатом этих работ становится создание им *хронологии бронзового века* указанного региона, основанной на стратиграфических наблюдениях, а также на типологическом анализе погребальных сооружений и курганных находок. Так осуществляется первое в русской науке построение *культурной стратиграфии*. Итоговую работу В.А. Городцова «Культуры бронзовой эпохи в Средней России» (Городцов, 1915) станут называть «блестящей» даже его недоброжелатели. В 1903 г. наконец начинает воплощаться в жизнь и его мечта — его приглашают в московский Исторический музей на должность штатного хранителя.

В музее Городцов немедленно впрягается в работу. Тут же появляется его набросок «Проект устройства музея по отделу доисторических и курганных древностей». В нём учёный признаёт необходимым по возможности быстро систематизировать все накопившиеся коллекции, сделать подвижной карточный каталог, устроить специальные кладовые для размещения археологического материала со специальным планом расположения полок и т. д. (Белозерова, 1988: 15). Под его руководством всё это на удивление быстро проводится в жизнь. В 1906 г. Василий Алексеевич окончательно покидает военную службу — выходит в отставку в чине штабс-капитана. В Историческом музее его тут же назначают старшим хранителем. Однако репутация «самоучки» — человека без образования — именно теперь даёт о себе знать особенно болезненно. Каковы бы ни были успехи В.А. Городцова в поле или на музейном поприще, к преподаванию в университете его не допускают.

Преподавание в высшей школе, как и присуждение учёных степеней в университетах и Академии наук было сопряжено в России с соблюдением весьма жёстких формальных требований. Образование, полученное за границей, котиновалось до 1917 г. гораздо ниже отечественного. Иностранцы учёные степени не признавались. Требования к диссертациям были, в целом, значительно выше европейских. Не лишне вспомнить в этой связи, что Ф.К. Волков, ставший доктором Сорбонны в 1905 г., получил соответствующую степень в России лишь в 1916 г. Сложным было до 1918 г. и положение А.А. Миллера, имевшего высшее военно-инженерное образование, но не имевшего университетского. Однако

ситуация, в которой оказался В.А. Городцов, вовсе не имевший высшего образования, была особенно трудной.

Ещё на военной службе проявилась основная черта его характера — стремление к первенству. Он всегда и во всём — прирождённый лидер. И вот, казалось бы, теперь его цель достигнута. Он приобщился в высокой науке, его способности оценены по достоинству... Мираж! Корпорация столичной профессуры никогда не признает его своим! И причина отнюдь не в социальном происхождении. Очень многие академики и профессора того периода — такие же разночинцы, как он¹. Причина именно в отсутствии систематического образования, которое для них неизбежно означает пробелы и односторонность в научной подготовке. Как переживал всё это В.А. Городцов, отнюдь не страдавший низкой самооценкой, можно только догадываться.

В 1907 г. как будто находится выход из безвыходного положения. Возникает проект создать в Москве Археологический институт по образцу петербургского. У истоков его стояли бывший министр народного просвещения В.Г. Глазов и археограф А.И. Успенский. В археологии эти люди ничем особенным себя не проявили, зато имели средства и, что немаловажно, хорошие связи при императорском дворе. Читать курсы первобытной и «бытовой» археологии в институте они пригласили В.А. Городцова.

Что в действительности скрывалось за этим приглашением, позволяют уяснить дневники и воспоминания самого Василия Алексеевича (ГИМ ОПИ. Ф. 431. № 347. Л. 23–39). Отношение к В.Г. Глазову и А.И. Успенскому в кругах не только либеральной, но и консервативной московской интеллигенции было весьма настороженным. Мало кто из людей с именем с ходу согласился бы с ними сотрудничать. Накануне учредительного собрания В.А. Городцову пришлось выслушать весьма «крепкие аттестации» в адрес своих будущих работодателей. Да и само собрание, по сути, оказалось сорвано. Наиболее уважаемые археологи — Д.Н. Анучин, М.К. Любавский, Д.Я. Самоквасов, графиня П.С. Уварова — попросту хлопнули дверь.

— Это будет не институт археологии, а лавочка для продажи дипломов! — бросил, уходя, Д.Я. Самоквасов.

По убеждению В.А. Городцова, в нём говорила в тот миг личная обида. Однако справедливости ради Василий Алексеевич признаёт в своих воспоминаниях, что «пророчество» Самоквасова в какой-то степени оправдалось. Возможно, в другой ситуации Городцов и сам поостерёгся бы связывать своё имя с деятельностью «этих господ». Но, в отличие от университетских профессоров, ему было некуда деться. «Горячее желание быть у археологического очага» пересилило (Там же).

Дела во вновь созданном Московском Археологическом институте пошли однако недурно, и немалая заслуга в том принадлежала самому В.А. Городцову. Очень быстро он проявляет себя как превосходный лектор. Вокруг него начинает группироваться талантливая молодёжь. Среди первых учеников Городцова есть

¹ Отец Н.П. Кондакова в юности был крепостным крестьянином. Потомком крестьян в третьем поколении являлся А.А. Спицын. Ф.К. Волков родился в семье простого казака, дослужившегося до первого офицерского чина, и т. д., и т. п.

блестящие археологические имена — В.В. Гольмстен, П.С. Рыков, Н.К. Ауэрбах. К числу выпускников института принадлежали также Ф.В. Баллод, В.Б. Арендт, Д.Н. Эдинг, Е.Н. Клетнова и др.

В своей работе со студентами Василий Алексеевич без устали доводил до них своё учение о типологическом методе. По его глубокому убеждению, именно в этом методе заключалась самая суть археологии как науки. «Расцветом» типологических исследований в СССР 1920-х гг., о котором писал ярый недоброжелатель Городцова В.И. Равдоникас (1930: 49), мы обязаны, в первую очередь, его повзрослевшим ученикам. Методика полевых исследований, также детально им разработанная, для своего времени могла считаться удовлетворительной. Однако на практике требования Городцова в этом плане заметно отставали не только от складывавшейся уже тогда методики палеоэтнологических исследований (дореволюционные раскопки А.А. Миллера), но и от бывших в ходу требований Императорской Археологической комиссии. Иллюстрацией к последнему тезису может служить переписка смоленского археолога Е.Н. Клетновой со своим учителем В.А. Городцовым, с одной стороны, и с А.А. Спицыным — с другой (Алексеев, 1991: 121–136). В 1920-х гг., по мере дальнейшего совершенствования полевой методики, это противоречие между палеоэтнологами и постаревшим Городцовым заметно усилится. Однако даже в мелочах он не захочет признать, что кто-то опередил его.

Противоречия между школой В.А. Городцова и археологами-первобытниками (палеоэтнологами) до революции редко выплёскивались на поверхность. В числе учеников Д.Н. Анучина было мало собственно археологов; те, кто специализировался в этой области — и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — всерьёз заявили о себе уже после 1917 г. Однако «школы» развивались изолированно, практически без оглядки друг на друга, и уже это являлось предвестником будущих баталий.

Ни Д.Н. Анучин, ни Ф.К. Волков не обращали внимания своих учеников на плодотворность типологических разработок В.А. Городцова. Они явно предпочитали изучать методологию «по Монтелиусу» и другим классикам западноевропейской археологии. Попытки Городцова разработать свою собственную методологию археологии рассматривались как нечто вторичное. Его стремление ввести новую, отличную от западной систему понятий и терминологию — просто раздражало. В результате конкретные работы Василия Алексеевича вызывали у коллег уважение, теоретические — до поры до времени — принимались в расчёт лишь его собственными учениками.

Есть основания думать, что сам В.А. Городцов в 1910-х гг. делал попытки преодолеть указанное противоречие. Уже работая в МАИ, он начал понимать, что исключительно гуманитарный характер института делает подготовку археологов недостаточной. Поэтому он делится с Д.Н. Анучиным мыслью о создании нового *института антропологии и доисторической археологии*. Однако эта попытка сближения ни к чему не привела. Для самого же В.А. Городцова разработка проекта нового института кончилась плохо. Она вызвала резкий конфликт с директором МАИ А.И. Успенским, закончившийся уходом В.А. из института в 1915 г. Университетская корпорация по-прежнему оставалась вежливо-неприступной. Продолжить свою преподавательскую деятельность Городцову удалось только в так называемом Московском Народном университете им. Шанявского.

Так он встретил Октябрьский переворот — неумолимый труженик, полупризнанный гений, сумевший на практике взрастить на русской почве ростки типологических исследований. Один из наиболее знающих и ориентированных в отечественном материале специалистов. Учитель и организатор по призванию, отвергнутый российской высшей школой. В 1918 г. он начинает сотрудничать с советским правительством по вопросам охраны памятников. Одновременно выясняется, что правительство переезжает из Петрограда в Москву, и здесь, в Москве, ему необходим постоянно работающий орган, курирующий археологию в Советской республике. Во главе этого органа — археологического отдела Коллегии по делам музеев и охране памятников (сокращённо — Главмузея) — оказывается известный археолог В.А. Городцов.

6.2. ШКОЛА В.А. ГОРОДЦОВА И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК В 1917 — НАЧАЛЕ 1930-х гг.

В.А. Городцов оказался одним из немногих археологов-теоретиков 1920-х гг., действительно успевших высказаться в печати до наступления Великого перелома. Именно в советский период его теоретические взгляды оформились окончательно. Логическим завершением этого стал выход ряда специальных работ, посвященных археологической классификации и типологическому методу (Городцов, 1923; 1927). Интенсивная педагогическая деятельность учёного в университете (и туда ему открыла дорогу советская власть!) привела к тому, что в отечественной археологии сложилось направление, рассматривавшее её как самостоятельную дисциплину со своим предметом и методом. Это направление, в сущности, было очень близко спицынскому, но обладало некоторой спецификой. В трактовке В.А. Городцова археология представляла собой науку о вещах, о феномене их развития (ср.: «чистая археология» А.А. Спицына). При этом Городцов утверждал (чего никогда не позволил бы себе Спицын!), что археология — наука не только самостоятельная, но и точная, вполне способная одними собственными средствами установить законы существования и развития вещественных памятников.

Пожалуй, подобные утверждения были бы к месту в первой половине XIX в., когда Сен-Симон разрабатывал свой «физико-политический метод», а Конт в тиши своего кабинета создавал универсальные схемы единственного возможного устройства человеческого общества. Однако в первой трети XX в., когда в мировой науке уже утвердилась неопозитивистская парадигма, представления об археологии как «точной» науке выглядели явно устаревшими. Тем не менее поначалу они не встретили противодействия. Дело в том, что отношение к Городцову со стороны советских правительственных кругов было в 1920-х гг. очень благоприятным. Сразу после переезда правительства в Москву его официально назначают на пост заведующего Археологическим отделом (позже — подотделом) Главмузея (впоследствии — Главнауки). Это оказалось чем-то вроде должности «главного археолога» страны. Заседания отдела происходили не где-нибудь, а в Историческом музее, в собственном кабинете Василия Алексеевича.

Инициатива создания такой правительственной структуры исходила, скорее всего, от самого В.А. Городцова, а вовсе не от советских чиновников (которые, как будет показано ниже, в тот период не выдвигали никаких проектов самостоятельно). Василий Алексеевич умел, когда нужно, «действовать по своему собственному почину». В результате деятельность Археологического отдела очень скоро вызвала тревогу и недовольство в академических и университетских кругах. В те же самые месяцы 1918–1919 гг. в Петрограде, не утратившем ещё своего «столичного» мирозерцания, быстрыми темпами шла реорганизация Российской государственной (бывшей Императорской) Археологической комиссии и дальнейшее её преобразование в Академию археологических знаний (позже поименованную Академией истории материальной культуры). Такая академия планировалась учёными в качестве головного коллегиального органа при правительстве, призванного решать вопросы, связанные с исследованием памятников. В протоколе заседания РГАК от 16 января 1919 г. имеется запись о том что «Археологический отдел Коллегии расширяет свою деятельность в ущерб Археологической комиссии. Но это исходит не от Коллегии или Народного Комиссариата просвещения, а от руководства археологического отдела» (курсив мой. — Н.П.). Университетско-академическая корпорация, взявшая в свои руки организацию новой академии, настаивала на жёстком разделении функций, на том, что «научное руководство и научное изучение памятников (курсив мой. — Н.П.) должно остаться за Комиссией в силу прав, предоставленных <...> уставом» (РА ИИМК. Ф. 2. № 3, л. 5). Вновь и вновь возбуждается вопрос о таком размежевании, но, в конечном счёте, это ни к чему не приводит. Поэтому параллельное существование Академии и Археологического отдела, где властно правил В.А. Городцов, в 1920-х гг. неоднократно оказывалось источником недоразумений. Вопрос о представлении отчётов о раскопках и о праве выдачи Открытых листов постоянно служил предметом спора.

В начале 1920-х гг. В.А. Городцов, помимо председательства в Археологическом отделе, сосредоточил в своих руках руководство Московским Археологическим институтом (затем преобразованным в Археологическое отделение ФОНА МГУ), а также Археологическим отделом ИАИ РАНИОН. Там его окружали влиятельные в то время историки-марксисты «старшего» поколения (В.М. Фриче, В.К. Никольский и др.). Вкупе с непосредственным начальником В.А. Городцова по линии Главнауки — супругой грозного наркома Наталией Ивановной Седовой (Троцкой) — они всячески способствовали популяризации его идей и провозглашали в печати его «смычку» с марксизмом. Марксист В.К. Никольский в 1923 г. открыто использовал хронологическую систему В.А. Городцова как основу для построения *марксистской истории первобытной культуры* (Никольский, 1923: 314). Основанием тому служил приоритет, который создатель этой «замечательно изящной и стройной», по его словам, системы отдавал «таким важнейшим показателям культуры, как орудия труда».

Терминологическая разногласия с уже принятыми зарубежными хронологическими системами, могущая привести к путанице, равно как и определённая искусственность построения В.А. Городцова с его неизменной «трёхчленностью» на каждом этапе, ничуть не смущала марксистов. Городцов, в свою очередь, написал одобрительное предисловие к книге В.К. Никольского, закончив

его цитатой со словами: «<...> Отбросьте старые воззрения, когда их ошибочность доказана, примите новые воззрения, если они оказываются более точными» (Городцов, 1923а: 7–20). Таким образом, истинными друзьями Городцова, первыми, кто сполна оценил его теоретические построения, оказывались не коллеги-археологи, а марксистские социологи и философы старшего поколения — в основном, старые члены РСДРП(б) и РСДРП(м), бывшие политические эмигранты.

Как добродушно заметил один из них (В.М. Фриче) на юбилее В.А. Городцова в 1928 г., этот «ближайший попутчик» марксизма так и не удосужился за десять лет взять в руки «Капитал» Маркса (Фриче, 1928: 5–8). Непосредственного влияния марксистской теории в его построениях не было никогда. Стремление сформулировать ряд «универсальных закономерностей культурно-исторического развития и исследовать механизм распространения культурных явлений на археологическом материале» (Лебедев, 1992: 353–355) пришло к нему из другого источника — классического позитивизма.

Тем не менее, поиск генеральных законов развития культуры в творчестве В.А. Городцова не мог не импонировать русским марксистам старшего поколения в первые послереволюционные годы. Высказывания классиков марксизма не являлись тогда непререкаемой догмой. Г. Кунова еще признавали за марксиста и переводили на русский язык (кстати, именно по его книгам изучал марксизм в середине 1920-х гг. Н.Я. Марр!). Создатель Института Маркса и Энгельса Д.Б. Рязанов, публикуя в 1922 г. первый перевод книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства», указывал в предисловии, что со времени опубликования труда Л. Моргана прошло уже 45 лет, и 30 лет прошло с момента написания книги Энгельса. Поскольку «за этот период времени наука, исследующая доисторическую жизнь человечества, сделала большие успехи, <...> [то] как работа Моргана, так и работа Энгельса не могли не устареть в некоторых своих частях». «Красный профессор» В.К. Никольский, горячий поклонник творчества В.А. Городцова, приводя эту цитату, спокойно писал в своей книге «Очерк первобытной культуры», что «брошюра» Энгельса в настоящий момент «совершенно устарела» (Никольский, 1923: 202).

Последняя редакция «законов развития и соотношений археологических явлений», появившаяся в трудах В.А. Городцова 1923–1927 гг., звучала для марксистского уха вполне прогрессивно. Эти «законы» слегка напоминали уже входившие тогда в обиход прямые репродукции законов диалектики на конкретный материал конкретной дисциплины. Более же глубокое проникновение марксизма в область древней истории и археологии сознательно откладывалось до того момента, как в советских университетах будет подготовлена «смена» всем действующим буржуазным учёным.

Явной приметой времени в трудах В.А. Городцова советского периода является нотка откровенно пренебрежительного отношения к науке Запада, не сумевшей подкрепить типологический метод настоящей «научной теорией» (1927 г.). Не исключено, что усиление «антизападных» мотивов у В.А. Городцова объясняется влиянием той общественной среды, с которой Василий Алексеевич был тесно связан по службе своей в Главнауке. Идеологический миф о «советской» науке, вооруженной лучшей в мире теорией, уже был тогда создан и интенсивно



Б.С. Жуков
(1892–1933)

внедрялся в сознание молодой смены, которой предстояло вскоре смести с пути и «старых» археологов, и «старых» марксистов.

Над антизападными высказываниями старого учёного впоследствии немало поиздевался В.И. Равдоникас (Равдоникас, 1930: 42–48). Однако гораздо раньше они подверглись резкой критике со стороны палеоэтнолога Б.С. Жукова, упрекавшего В.А. Городцова в незнании современной иностранной литературы, в недостатке комплексного подхода, в стремлении к излишней оригинальности в построении классификаций и т. д.

Вряд ли стоит рассматривать эту критику, как реакцию только на научные высказывания В.А. Городцова К сожалению, как уже не раз показывала практика, «научные вопросы в чистом виде не решаются». Вежливо-уничижительный тон высказываний Б.С. Жукова в адрес того, кого он сам считал «маститым и неутомимым исследователем», того, чью работу о хронологии бронзового века в России он называл «блестящей» — этот тон явно был результатом накопившегося раздражения не столько против Городцова учёного, сколько против Городцова — руководителя Археологического отдела Главмузея, вдобавок претендующего на роль ведущего теоретика археологической науки.

Рецензия Б.С. Жукова на книгу В.А. Городцова «Археология. Ч. 1. Каменный период», переизданную в 1925 г. в дополненном и переработанном виде, явилась началом первой открытой дискуссии между приверженцами различных направлений в археологической науке 1920-х гг. Поэтому стоит остановиться на ней подробно. Оставляя в стороне большинство мелких замечаний и упреков со стороны рецензента, приведём лишь самое основное.

«Выход труда В.А. Городцова, — писал Б.С. Жуков, — <...> ярко знаменует тот кризис, который переживает в наши дни изучение культур доисторических племён и народов, оторванное от естественно-исторического и этнологического базиса, от общего учения об эволюции человека и <...> о формировании этнических групп <...>».

В обновлённом виде, «Археология» оказалась написана в полемическом тоне по адресу последователей «Буль-Обермайеровской (?) классификации» «вроде аббата Брейля, Р. Шмидта и Г. Осборна» (с. 127) и содержащую предостережения по отношению к «широко распространённой (?) классификации Мортилье» (с. 278). <...>. «История развития знания археологических памятников» (с. 76–84), начинающаяся, по автору, от ассиро-вавилонян, египтян, индусов и других китайцев, обрывается в книге В.А. Городцова на «знаменитом французе» Буше де Перт, после которого приводится скудное перечисление нескольких имён западных учёных, преимущественно конца XIX в., а также нескольких русских исследователей, и ни слова не говорится об исследованиях более современных. Эти недоумения по отношению к развитию и новейшим достижениям науки на Западе и к некоторым, очевидно, одиозным для автора именам, как имя Г. Обермайера или Марселлина Буля <...>, а также их по-

следователей, с которыми автору «не приходится считаться» (с. 127), должны возрастать у читателя при обзоре сносок автора с <...> обильным перечислением, преимущественно, устаревшей западной литературы <...>. Выпады автора по отношению к названным исследователям <...> и частые упреки кого-то в «ошибках» имеют в виду «хронологическую классификацию», выдвигаемую автором и приложенную к книге.

Эта схема <...> в которой В.А. Городцов примыкает к взглядам Пенка на соотношение четвертичной геологической и культурной эпох, отличается произвольным <...> делением каждой «эпохи» на три «поры» (по разнообразным принципам, как явствует из смысла пояснений) и введением наименований: «археологическая» (предложенного М. Ферворном и ныне оставленного даже его германскими последователями <...>) — для эпохи культур Шелль и Сент-Ашель, «мезолитическая» (широко принятый на Западе термин для периода культур, переходных от древне- к ново-каменному периоду Европы) — для эпохи культур Мустье и «палеолитическая» — для остальных эпох древне-каменного периода. Такое подразделение устанавливается <...> не на основе морфологического анализа форм орудий и технических приёмов (что имело бы некоторые основания), но исходя из того, что древне-каменный период был очень длителен, и его поэтому следует подразделить (с. 182). Основание как будто недостаточное, чтобы понятие «средний» вклинить между «древнейшим» и «древним» <...> и вносить этим путаницу в научную терминологию. Не меньшую путаницу в уме читателя должно породить название <...> «тёсаный» <...> для каменных орудий, изготовленных путём обколачивания камня в направлении от края к середине, то есть как раз обратное обтёсыванию, например, дерева <...>».

Основной для изучения каменных культур морфологический анализ орудий (блестяще и уже давно разработанный на Западе) отсутствует в «Археологии» В.А. Городцова, равно как и нет в книге ни чётко устанавливаемой методологии (нельзя признать за таковую изложение «методов археологии» на с. 14–21), ни установления русской номенклатуры орудий, согласующейся с номенклатурой французскою, сделавшейся международной. Между тем это один из больших пробелов в русской науке, недооценённый автором <...>».

Отмеченные особенности книги, вместе с её значительной устарелостью (например, в ней отсутствуют данные по переходным от палеолита к неолиту культурам, широко исследованным в настоящее время на Западе), её схематичность, тяжёлое, местами несколько наивное, местами вычурно искусственное изложение не дают права «Археологии» считаться основным руководством <...>» (Жуков, 1925: 206–209)

В.А. Городцов в ответ опубликовал возмущённое «Письмо в редакцию», в котором обвинил своего оппонента в желании «затушевать ту огромную научно-теоретическую работу», которая выполняется им уже в течение 35 лет. Резкое возражение вызвал у него и тезис Б.С. Жукова, что в его книге наблюдается оторванность от естественноисторического и этнологического базиса.

«<...> Напротив, — утверждает Василий Алексеевич, — в моей работе так ясно и отчётливо проводится теснейшая связь со всем естественноисторическим циклом наук, имеющим то или иное отношение к жизни племён и народов каменного периода, что не заметить такой связи <...> могут только люди или совсем

слепые, или уж очень плохо видящие <...>. Обермайер и сам уже отказался от тех погрешностей, которые поставлены ему на вид в нашем труде. Сильно изменил свои взгляды, и именно в сторону указанного Пенком и мною направления в своём последнем труде и М. Буль (см. *Les hommes fossiles...* Paris, 1923, 2-е изд.), где он очень искусно маскирует отступление от ранее приводимых им взглядов на классификацию культур каменного периода к классификации Пенка и моей <...>.

Устаревшая классификация Мортилье составлена при неверном допуске в четвертичном периоде только одного оледенения <...>. Жуков не постеснялся утверждать, что в моей «Археологии» отсутствует морфологический анализ каменных орудий и методология. Между тем в моей работе ясно приводятся основные деления времени на эры по признаку наличности индустрии, на периоды — по признаку вещества руководящих типов орудий труда, на эпохи — по признаку технических приёмов обработки, а на поры — по признаку *морфологических* изменений тех же руководящих типов орудий труда <...>. Морфология каменных орудий из всех русских исследователей только одним мной изучалась опытным путём, приведшим к открытию секрета выработки почти всех типов кремнёвых орудий. Об этом существуют отчёты и в русской, и во французской литературе <...>.

Что касается археологической методологии, то она впервые разработана именно в моей «Археологии. Ч.1». Археологическая методология мной преподавалась в кабинете искусствознания при бывш. Народном университете им. Шанявского как систематический курс теоретической археологии. <...> Очевидно, он (Б.С. Жуков. — *Н.П.*) примыкает к устаревшей школе русских археологов, воспитанных на отвергнутой автором «Археологии. Ч.1» мортельевской классификации, и для него тяжелы восприятия научных нововведений <...>» (Городцов, 1926: 462–464).

Этот «обмен любезностями» с обеих сторон грешил целым рядом издержек. В.А. Городцова, действительно, трудно было упрекнуть в пренебрежении циклом естественноисторических дисциплин при изучении археологического материала. При раскопках он внимательно анализировал характер почв, проявляя себя, в отдельных случаях, способным почвоведом. Он хорошо ориентировался в проблемах современной ему четвертичной геологии. Неоднократно упоминаемая геологическая схема Пенка — это, разумеется, ледниковая стратиграфия Альп, разработанная австрийскими учёными А. Пенком и Э. Брикнером к началу XX в. и основанная на выделении четырех оледенений: гюнцского в плиоцене, миндельского, рисского и вюрмского в плейстоцене. Именно эта схема стала основой принятой в наши дни четвертичной системы. Несомненно, В.А. Городцов изначально верно оценил значение этих работ по стратиграфии альпийских ледниковых отложений, но определение ее как «*системы Пенка и моей*» (sic!) выглядит, по меньшей мере, странным.

Равным образом В.А. Городцов не игнорировал в своих трудах этнографические параллели. Говоря об «отрыве от естественноисторического и этнологического базиса», Б.С. Жуков мог иметь в виду лишь одно: археология в подаче В.А. Городцова выступала не как часть единой науки о человеке, а как самостоятельная научная дисциплина, способная установить некие *законы вещного мира исключительно на собственном материале*. Типология по Городцову — это точный универсальный метод, позволяющий «читать» памятники, как иероглифическую надпись, уста-

навливать их объективное содержание и делать исторические выводы. Такое понимание своей науки было чуждо палеоэтнологам 1920-х гг.

Безусловно, в работах В.А. Городцова нет пренебрежительного отношения к комплексу естественноисторических дисциплин. Его понимание археологической науки — это, в сущности, дальнейшее (и предельное!) развитие в ней принципов классического позитивизма, четко сформулированных П.В. Павловым еще в 1870-х гг. Археология определяется Городцовым как «естественная» и «точная» наука. Однако она является таковой не в большей степени, чем «положительная история» О. Конта, тоже якобы основанная на «непреложных законах бытия». Поэтому научный подход В.А. Городцова, несомненно, основан на гуманитарной концептуальной платформе — из чего, впрочем, абсолютно не вытекает какое бы то ни было пренебрежение или недооценка комплекса естественно-исторических дисциплин и их роли в археологии.

Глубинное родство концепции В.А. Городцова с социологическим подходом классиков позитивизма, несомненно, облегчило восприятие его учениками марксизма и обусловленного им «нового» социологического подхода. Воспитанное не только Городцовым, но и семинарами В.М. Фриче, это поколение учеников Василия Алексеевича в 1929 г. уверенно заявило (устаами А.В. Арциховского), что археология из всех наук тесно связана лишь с *историей и социологией*, но отнюдь не с этнологией/этнографией. Роль последней в анализе археологического материала вполне можно свести к отдельным удачным иллюстрациям.

Такое противопоставление социологии и этнологии, в сущности, являлось совершенно не оправданным, ибо социология во многом является производным этнологии и не может без нее существовать, как любая теория не может существовать без фактологической базы. Однако здесь сказались особенности исторического момента. Застарелая конфронтация В.А. Городцова с московскими палеоэтнологами и неприкрытая враждебность его учеников к их лидеру Б.С. Жукову несомненны. Тем не менее объективно их «борьба с буржуазной этнологией и палеоэтнологией» диктовалась не только желанием свести счеты с давними оппонентами, а гораздо более глубокими причинами (см.: 7.1; 7.3.2). В результате была надолго похоронена важнейшая, обозначающаяся в 1920-х гг. исследовательская тенденция к возможно более глубокой координации археологии и этнологии с целью «расшифровки» археологического материала, уяснения реального содержания понятий диффузии, миграции, параллелизма в культуре и т. п.

«<...> [Процесс диффузии] вовсе не так прост, как это кажется диффузионистам. — писал в 1926 г. Л.Я. Штернберг. — Результаты в этом направлении показывают, что процесс диффузии — отнюдь не простой процесс механического заимствования, а процесс динамический, процесс индивидуального усвоения одних элементов и отбрасывания или совершенно до неузнаваемости преобразования других. При этих условиях даже рядом живущие народности могут одни и те же институты иметь в совершенно различных формах <...>».

<...> Проблема диффузии и проблема параллелизмов — проблемы, совершенно независимые друг от друга <...>. Диффузия культуры есть такой же несомненный факт, как миграции народов, и поиски в эту сторону — одна из основных задач этнологии. Эти поиски <...> расширяют перспективы древнейшей истории человечества. Но из этого не следует, что всякий параллелизм — обязательно

результат диффузии и что всякое самостоятельное творчество в культуре невозможно <...>» (Штернберг, 1926: 29–31).

В приведённых высказываниях заключена квинтэссенция того подхода к анализу материальной культуры, который сформировался у целого ряда ведущих отечественных исследователей в 1920-х гг. Однако с 1929–1930 гг. советское правительство более не нуждалось в услугах социантропологов. Изучать живую культуру той же колхозной деревни, истинные ее взаимосвязи, противоречия и т. д. позволить было нельзя. Изучать следовало не то, что было, а то, что *должно было быть* с точки зрения идеологов Великого перелома.

Что касается замечаний Б.С. Жукова к терминологии и построению хронологической системы В.А. Городцова, то их справедливость подтвердило время. Новая система понятий, которую пытался ввести автор «Археологии. Ч. 1», так нигде и не привилась. Система Г. де Мортилье в основе своей вовсе не была отвергнута, хотя на разных этапах в неё вносилось много дополнений и уточнений. Позволительно задать вопрос: был ли рецензент, в конечном счёте, прав в своей уничтожающей оценке указанного труда?

На этот вопрос нельзя ответить утвердительно. Уместнее вспомнить слова поэта: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи...» Появление систематического курса археологии, изданного В.А. Городцовым на правах рукописи ещё в 1908–1910 гг., знаменовало собой этап в истории русской науки. По мнению Г.С. Лебедева, автор, по сути, дал тут «первую развёрнутую *археологическую версию* мирового культурно-исторического процесса, в котором вполне определённое место нашли основные археологические культуры, к тому времени выделенные на территории Российского государства и получившие обобщённые <...>, в основном верные характеристики <...>» (Лебедев, 1992: 254–255). Более того, предложенный В.А. Городцовым методически строгий подход к исследованию материала на всех уровнях — от полевых работ до полной его систематизации и построения колонки культур — стал той базой, от которой реально должны были отталкиваться все отечественные археологи первой четверти XX в.

Но верно и другое. В 1910–1920-х гг. археологическая наука в России стремительно шла вперёд. В 1926 г., публикуя свой ответ Б.С. Жукову, В.А. Городцов лишь формально был прав, заявляя, что ни в области методологии, ни в области морфологии каменных орудий ничего лучшего пока не написано. В действительности, к тому времени ничего ещё не было *издано*. Но новые труды создавались, существовали в виде рукописей, доводились до сведения коллег в форме докладов. Б.С. Жуков, сам активный участник этого процесса, безусловно, был в курсе новых веяний и достижений своего времени. Появление явно устаревшей на этом фоне работы В.А. Городцова казалось тем более досадным, что книга претендовала на роль общего руководства по изучению каменного века.

Пройдёт всего полтора года, и из печати выйдет работа П.П. Ефименко «Некоторые итоги изучения палеолита СССР» (Ефименко, 1928). Здесь профессионально, на европейском уровне, с соблюдением международной терминологии и с учётом мирового опыта изучения палеолита будет дана периодизация палеолитических памятников Европейской части Советского Союза. А в портфеле редакции журнала «Человек», опубликовавшего эту статью, уже лежала другая клас-

сическая работа, принадлежавшая перу Г.А. Бонч-Осмоловского — «К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий». В ней впервые в мировой науке прозвучит тезис о «рассмотрении индустрий не как собраний отдельных орудий, а как комплексов, отражающих определённые стадии культурного развития» (Бонч-Осмоловский, 1928). Выше уже упоминалось, что в ней, за 20 лет до Ф. Борда, будет поставлен вопрос о соотношении сырья и техники, о том, какой отпечаток накладывает сырьё на характер каменной индустрии и т. д. (см.: 5.5.3).

Следует сразу отметить, что оба названных исследователя отнюдь не страдали «боязнью широких обобщений», о которой в 1930 г. с возмущением писал В.И. Равдоникас. Оба готовили капитальные монографии по проблемам отечественного палеолита. Но монографии П.П. Ефименко «Первобытная Евразия», подготовленной им к печати в 1928–1929 гг. (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 2. № 410), так и не суждено было увидеть света. Автору пришлось переработать её до неузнаваемости, чтобы издать затем под названием «Дородовое общество». Г.А. Бонч-Осмоловский, уже к началу 1930-х гг. подготовивший первый том своих крымских обобщений, сумел издать книгу лишь в 1940 г. В промежутке были — арест, тюрьма, концлагерь. Самому рецензенту Городцова — Б.С. Жукову, погибшему в 1933 г. — повезло еще меньше. Коллективная монография, подготовленная сотрудниками его Антропологической комплексной экспедиции и включавшая методологические обобщения исследований неолита лесной зоны, просто не успела выйти в свет. Набор был уничтожен. Несколько оттисков корректуры пропали (см. 5.5.4). Можно надеяться, что когда-нибудь хоть один из них всплывет в архиве.

Таковы были вкратце три возможных варианта судьбы, которая постигала в эпоху Великого перелома ведущих российских археологов 1920-х гг. и их работы. Не приходится удивляться, что, с точки зрения последующих поколений, В.А. Городцов действительно являлся в тот период единственным теоретиком на общем фоне «эмпиризма» и безыдейности. Он так или иначе успел высказаться в печати. А о подлинном характере и результатах работы других ведущих специалистов потомство либо не знало совсем, либо относилось к совсем иному времени — к 1940–1950-м гг. Именно тогда вышли в свет принципиально важные монографии вернувшихся из тюрем С.И. Руденко, Г.А. Бонч-Осмоловского, М.П. Грязнова, основанные в значительной степени на их разработках 1920-х гг.

Важнейшим моментом в творчестве В.А. Городцова явилось опубликование в 1927 г. брошюры «Типологический метод», Эта книжка, изданная в Рязани смехотворно малым тиражом, была очень быстро переведена на английский язык и уже в 1930 г. вышла в США (Gorodcov, 1933). Положения, изложенные в ней, заметно повлияли на развитие американской археологии второй четверти — середины XX в. В.А. Городцов уподобил археологическую систематику биологической, построил жёсткую схему с универсальной иерархией признаков, «по образцу естественно-исторического видового метода» (Городцов, 1927: 3). Основу классификации составил понятие *тип как совокупность предметов, сходных по материалу, форме и назначению*. Назначение предмета (выражаясь современным языком — функции) было основой деления на *категории*. Вещество (совр.: «материал») — основой деления на *группы*. Форма, присущая нескольким типам — на *отделы*. Наконец, форма, присущая только одному типу, лежала в основе деления на собственно *типы*.

Анализируя систему, выстроенную В.А. Городцовым, Л.С. Клейн отмечает её чрезмерную жёсткость и искусственность, не вполне соответствующую целям исследовательской группировки материала, которая должна отражать *реальную* сеть взаимосвязей (Клейн, 1991: 43–44). Однако указанное противоречие в настоящий момент следует считать в какой-то степени преодоленным в мировой науке благодаря разделению понятий *условного типа* и противостоящего ему *эмпирического* или *культурного*. «Следовательно, — замечает Г.С. Лебедев, — методологические поиски В.А. Городцова составляли вполне закономерный и достаточно результативный этап развития научного мышления» (Лебедев, 1992: 271).

«Типологический метод» стал последним серьёзным теоретическим выступлением В.А. Городцова в печати. К тому времени он был в большом почёте. Хотя при реорганизации ФОНА МГУ в историко-этнологический факультет (1925 г.) руководство археологическим отделением ушло из его рук, он остался профессором и продолжал играть в университете видную роль. В Институте археологии и искусствознания РАНИОН, в археологическом отделе ГИМ его роль была ведущей. По мнению «красного профессора» В.М. Фриче, теоретические позиции В.А. Городцова представляли собой «как бы смычку между естественнонаучным мировоззрением XIX в. и историческим материализмом наших дней, переход от позитивизма к марксизму» (Фриче, 1928: 6). Городцов по-прежнему руководил соответствующим подразделением Главнауки. Однако ситуация, сложившаяся в археологии, всё-таки не нравилась ему, и он был не прочь радикально её перестроить.

Его раздражало существование в Ленинграде Академии истории материальной культуры, упорно настаивавшей на своём праве обязательной экспертной оценки каждого отчёта о раскопках. Раздражало то, что не существует единого генерального плана раскопок по всей стране. Став крупным правительственным чиновником, он и сюда привнёс свою любовь к систематике, к жёсткой схеме. Ему хотелось поделить всю территорию Союза на квадраты, планомерно обследуемые археологически. Ещё в 1920 г. он пытался выдвинуть план «меридиональных и широтных маршрутов, исследования по которым могли бы дать наиболее важные профили археологических наслоений, пересекающие более-менее равномерно всю территорию СССР в пределах Восточной Европы. По выполнению всего маршрутного плана предполагалось создать новый план ещё более широких плантажных работ для обследования площадей, на которые разбилась территория СССР маршрутными линиями первого плана работ...» (Городцов, 1927: 62–65). К указанному своему плану Василий Алексеевич пытался вернуться и позже, в 1927–1928 гг.

Другой грандиозный план, выдвинутый им впервые в 1923 г., заключал в себе ни много, ни мало проект переустройства всей археологической службы в стране и выстраивание её структуры в виде правильной пирамиды археологических обществ различного уровня, открытых во всех городах Союза. Вершину пирамиды должно было представлять «Центральное археологическое бюро при Отделе по делам музеев и охране памятников», а фактически на тот момент — лично он, В.А. Городцов (ПФА РАН. Ф. 800. оп.4. № 4328. Г—274. Ч. 2. 1921–1924. Л. 41–43). С открытием указанного бюро, «все другие учреждения, прикосновенные к охране и научному исследованию археологических памятников»

должны были *автоматически закрыться и быть распущены*. Указанный документ (проект декрета и «декларации», составленных В.А. Городцовым) был заново извлечён из-под сукна уже в 1926 г. и всерьёз поставлен на обсуждение. Резко отрицательный отзыв, написанный Б.В. Фармаковским, поступил из ГАИМК.

«Три штатных члена Бюро, — писал возмущённый Фармаковский, — являются судьями по всем многочисленным специальностям, которые должны обнимать археологические исследования такой колоссальной и разнообразной по культурам территории, какой является СССР. Очевидно, проект не учитывает значения специального знания и не считается с требованиями современной науки <...>. Организация вся не целесообразна: ни одно установление в ней никакого серьёзного дела сделать не может. Говоря коротко, создаётся <...> пост своего рода археологического монарха, в его распоряжении состоит Центральное бюро с большой агентурой, основная задача которой — не пускать работать никого без ведома главы бюро и отбирать все добытые научные материалы в его распоряжение <...>» (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4330. Г—276. Ч. 4. 1926–1929. Л. 6–7).

Недоброжелательность в отношениях между ГАИМК и Городцовым в 1920-х гг. имела в своей основе борьбу за власть. Вероятно, подспудно её стимулировала и давняя обида Василия Алексеевича на университетско-академическую корпорацию, всю жизнь относившуюся к нему, самоучке, с недостаточным уважением и не допускавшему его до революции в высшую школу. Ни в коем случае не следует усматривать здесь какого-то третирования В.А. Городцова со стороны руководства ГАИМК как «буржуазного учёного» и т. п. Последнее ни разу не имело места вплоть до скандального публичного выступления В.И. Равдоникаса в 1929 г. Однако доклад В.И. Равдоникаса обозначил собой наступление уже иной эпохи. Он и в самой Академии произвёл эффект разорвавшейся бомбы.

Вплоть до того момента дела обстояли скорее наоборот. В.А. Городцова окружали в Москве влиятельные друзья, провозглашавшие его «смычку» с марксизмом и публично заявлявшие, что в ГАИМК, напротив, ни единого марксиста нет. Академия не возражала.

1929 год оказался поворотным и для самого Городцова, и для его молодых учеников, из которых, некоторые всерьёз заинтересовались марксизмом и возможностью проследования социологических закономерностей на археологическом материале. Резко обострившаяся в верхних эшелонах власти внутрипартийная борьба, ликвидация «партийных уклонов» вызвала отход «старых марксистов» от дел и замену их совершенно новыми силами. На повестку дня встал вопрос о том, чтобы ликвидировать последнюю призрачную автономию научных учреждений, предельно централизовать науку и сделать её полностью управляемой. Повсюду нашлись люди, достаточно энергичные и беспринципные, чтобы воспользоваться новой ситуацией. Обновлённое руководство ГАИМК, состоявшее теперь уже из партийных функционеров, начало обличать в грехе антимарксизма дотоле влиятельного московского лидера. Впрочем, никто не поддержал его и в Москве. В.А. Городцов был представлен своего рода эталоном буржуазного учёного и уволен со всех своих постов. Его ученикам пришлось от него отречься (Арциховский, Киселев, Смирнов, 1932: 46–48).

Забегая вперёд, можно отметить, что эти несчастья всё же не оказались роковыми ни для самого Василия Алексеевича, ни для его учеников. Ни один

из бывших аспирантов ИАИ РАНИОН не был арестован, напротив, их охотно приняли в Московское отделение реформированной ГАИМК. Сам Городцов некоторое время был вынужден работать в Ленинграде, в МАЭ, — это оказалось единственным учреждением, где решились дать убежище опальному старому учёному. Однако уже в 1934 г. он перебрался обратно в Москву, в ГИМ. Его жизнь понемногу наладилась, в 1939 г. он даже был принят в ряды КПСС. Скончался В.А. Городцов в Москве в 1945 г., окружённый почётом и неподдельным уважением со стороны молодых археологов, для которых он представлял собой живую легенду. Ученики его, которых он научил систематике, составили именно ту научную силу, которая сформировала новую, «советскую» археологию в СССР.

В современной историографии, упоминая «школу Городцова», обычно имеют в виду именно тех его аспирантов выпуска 1929 г., которые впервые выступили тогда на научную арену с твёрдым намерением создать «марксистскую археологию». В числе их были, несомненно, выдающиеся представители отечественной науки — А.В. Арциховский, С.В. Киселёв, А.Я. Брюсов, А.П. Смирнов, М.Е. Фосс и целый ряд других. Каждый из них оставил после себя немало учеников, также причисляющих себя к указанной школе.

Напротив, старшие ученики Василия Алексеевича, преимущественно выпускники МАИ, «классифицируются» далеко не так однозначно. Требуется всякий раз уточнять, у кого же они учились, прежде чем отнести их к этому направлению. Причина тут — различие исторических судеб поколений. Старшие ученики Городцова — В.В. Гольмстен, П.С. Рыков, Н.К. Ауэрбах и др. — гораздо полнее и не столь выборочно, как советская молодёжь, унаследовали разносторонние интересы своего учителя. Ставя во главу угла систематику и типологию, они отнюдь не чуждались углубленного изучения этнографии и естествознания. Поэтому они были способны найти общий язык с исследователями, стоявшими на платформе палеоэтнологии (яркие примеры — Н.К. Ауэрбах, работавший в Сибири в тесном контакте с палеоэтнологом Б.Э. Петри и его учеником Г.П. Сосновским, а также В.В. Гольмстен, исследовавшая ряд памятников совместно с П.П. Ефименко).

Таким образом, можно наблюдать, как в 1920-х гг. происходило своего рода сближение и взаимное обогащение двух основных научных направлений в русской археологической науке. Указанный процесс был особенно заметен в провинции, где старшие ученики Городцова фактически стояли во главе первых региональных школ, и к решению научных вопросов не примешивалась борьба за власть.

Молодое поколение, учившееся у В.А. Городцова в 1920-х гг., а затем вынужденное от него отречься, в главном все-таки осталось ему верным. Стержнем археологии для ученых этой генерации всегда был типологический метод, причём именно в городцовской редакции. Сохранение этого ядра — типологического метода — во многом способствовало сохранению археологии как таковой в работах советских исследователей 1930–1940-х гг.

ГЛАВА 7

СТРУКТУРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 1920-х — НАЧАЛЕ 1930-х гг.

7.1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЛОЖЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ (1917–1930 гг.)

Структура археологической службы в СССР 1920-х гг. радикально отличалась от той, что имела место в царской России. Сразу после революции вся она оказалась коренным образом перестроенной. Однако эта перестройка отнюдь не была инициирована «сверху». Как я постараюсь показать ниже, центральная власть в лице руководства Наркомата просвещения вплоть до 1924 г. скорее санкционировала, чем реально направляла процесс преобразования археологических научно-исследовательских и музейных структур. Идеи такого преобразования в действительности уходили корнями в русскую научную мысль и культуру предреволюционного периода (Платонова, 1989: 5–16). Собственно, начало этого процесса опередило октябрьский переворот 1917 г. Реформы в области науки реально начались уже после февральской революции (Знаменский, 1988: 185–191, 322–324 и др.). По своим традициям отечественная археология 1920-х гг. неотделима от эпохи так называемого Серебряного века в России.

Изменения общественно-политической ситуации и перестройка структур самой науки на данном этапе шли очень динамично. В рамках его можно выделить несколько очень узких периодов, для каждого из которых было характерно единоеобразие исторических условий и единые в целом тенденции развития археологии в СССР.

1917–1924 гг. — организационный период.

Он может быть назван также периодом *определения структуры* археологической науки в России — СССР. Важнейшими моментами его являются следующие:

а) создание летом 1917 г. особой *Комиссии РАН по изучению племенного состава России* (КИПС), поставившей задачу комплексного этнолого-лингвистического и археологического обследования всей страны, а также организация первого *историко-археологического института* (Кавказского) в системе Российской Академии наук (Научные учреждения... 1927: 125–126; ПФА РАН. Ф. 800. № 4173. Г-92. 1917. Ч. 3).

б) упразднение Археологической Комиссии и создание в Петрограде академии археологии, получившей в окончательной редакции устава название РАИМК (*Российская Академия истории материальной культуры*). Это была первая научно-исследовательская структура в России, в рамках которой оказалось провозглашено принципиальное единство методов исследования объектов первобытной, восточной, классической и «бытовой» (исторической, преимущественно средне-

вековой) археологии, а также особая важность методов естественных наук при изучении памятников любой эпохи. Последнее нашло отражение в организации отдельного *Института Археологической технологии* в составе академии (1919 г.) (РА ИИМК РАН. Ф.2. 1919. № 1–2).

в) основание *археологических отделений* на факультетах общественных наук Петроградского и Московского университетов (1922 г.).

г) учреждение особых *отделов или секций палеоэтнологии* (то есть археологии в современном российском понимании) при всех крупнейших музеях, а также создание таких новых центров, как *Государственный музей Центральной Промышленной области* (1919 г.) и *Центральный музей народоведения* в Москве (1924 г.).

д) организация *Института археологии и искусствознания РАНИОН* (Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук) в Москве (1923 г.).

е) начало формирования широчайшей сети *малых краеведческих музеев и обществ*, в задачи которых входила охрана и обследование памятников археологии местного края. В указанный период просветительская краеведческая работа оказалась настоящей экологической нишей для провинциальной интеллигенции, недовольной революционными преобразованиями в обществе. Количество краеведческих обществ множилось с исключительной быстротой. Первый Всероссийский съезд краеведов прошёл в Петрограде в 1923 г. Тогда же при Академии наук было создано *Центральное Бюро краеведения*, взявшее на себя научное руководство работой провинциальных организаций.

Можно констатировать, что уже к середине 1924 г. эта принципиально новая структура археологической службы была, в основном, создана. Она включала два крупных научно-исследовательских института (РАИМК в Ленинграде и ИАИ РАНИОН в Москве), около десятка крупнейших столичных музеев, имевших археологические отделы и секции, а также более 300 провинциальных краеведческих музеев. Формально и вся музейная сеть, и исследовательские учреждения были подчинены Главному Комитету по делам музеев и охране памятников при Наркомате просвещения, однако грубого вмешательства властей во внутреннюю жизнь науки в указанный период ещё не было. Подготовка археологов велась в университетах на археологических отделениях ФОНов. Параллельно археологию продолжали преподавать на антропологических и этнографических отделениях физико-математических факультетов, что было начато задолго до революции. В комитетах и комиссиях Академии наук велась подготовка крупных комплексных экспедиций по обследованию окраин СССР, начавшихся с 1924 г.

1925–1927 гг. — период обозначившихся противоречий.

Противоречия между наукой и властью, впервые отчётливо проявившиеся на данном этапе, касались сферы методологии археологической науки, её организации и кадровой политики. Главным методологическим противоречием являлось то, что археологическая мысль 1920-х гг. шла по пути *поиска закономерностей развития живой этнографической культуры и экстраполяции их на культуру археологическую* (см.: 5.5). Однако дальнейшее развитие её в таком направлении было возможно лишь при одном условии — что отечественная наука в целом останется неподконтрольной (по крайней мере напрямую) действующему диктаторскому режиму. Только в этом случае российские этнологи могли беспрепятственно ве-

сти исследования *современных* культурных и социальных процессов, давая им по возможности объективную оценку. В условиях нэпа такая перспектива многим представлялась вполне реальной. В ходе начатого комплексного антрополого-археолого-этнографического обследования окраин СССР особый упор делался на *практическую полезность* (по сути — прикладной характер) этих работ:

«С перемещением административных и экономических центров, с изменением границ <...> нынешние республики представляют организмы, не всегда в надлежащей мере себя осознавшие и хозяйственно сложившиеся. Правительства республик испытывают настоятельную потребность возможно быстрее получить сводку... того, что известно о природе и населении их страны <...> с тем, чтобы наметить пути наиболее правильного хозяйственного и культурного строительства <...>. Наметить путь дальнейшего развития народного хозяйства возможно только тогда, когда <...> известно прошлое и установлена причинная связь и зависимость между прошлым и настоящим. Отсюда понятно устремление антропологических отрядов в область палеоэтнологии, причём здесь они обычно от практических вопросов переходят в область разрешения научных проблем и эволюции культур в пределах данной <...> области...» (С.Р. [С.И. Руденко], 1928: 77–78).

Этот пассаж, принадлежащий перу С.И. Руденко (см. о нем: 5.5.4; 5.6), отражает собой вполне реальную ситуацию, сложившуюся в русской науке в указанный период. На короткое время после объявления «новой экономической политики» советская администрация была вынуждена в делах управления руководствоваться разумом. Это сразу стимулировало поиск средств анализа социальной действительности и социальных прогнозов. Тогда-то в послереволюционном СССР и нашлись средства на исследования такого масштаба, какие не выделялись и в лучшие времена правительством Российской империи. Учёные постарались воспользоваться случаем и «отработать» свое. Приведённый выше текст — это прямая декларация лояльности и готовности сотрудничать с новой «колониальной администрацией», но... в обмен на полную свободу действий в собственной области.

Поскольку часть археологических работ 1925–1927 гг. производилась в рамках антропологических экспедиций, дополнявших собой комплексное *экономическое* обследование регионов археологические исследования оказались включены в число изыскательских работ, производившихся ВСНХ и Госпланом с целью изучения производительных сил СССР. Всё это явно пошло ей на пользу, ибо вызвало заметный приток финансирования. Однако именно это явилось и поводом для первого вмешательства советских плановых органов в дела археологической науки. В 1925–1926 гг. от археологических учреждений стали требовать *учёта запросов политики сегодняшнего дня* — пока ещё только экономической политики.

В середине 1920-х гг. начинают созываться Всесоюзные конференции по изучению производительных сил СССР, ни одна из которых не обходится без соответствующих докладов по этнологии, археологии и антропологии. Постоянно действует Бюро Съездов Госплана СССР, одна из секций которого называется «Человек», ибо *человек — это тоже производительная сила* и нуждается в специальном изучении. Она имеет подсекции — этнолого-лингвистическую и антропологическую. Первой руководит востоковед И.Н. Бороздин, а членами ее, в частности, являются В.А. Городцов, Н.Б. Бакланов, А.С. Башкиров и крупный деятель

отечественного краеведения М.Я. Феноменов. Антропологической подсекцией руководит В.В. Бунак, один из ее членов — Б.С. Жуков. В рамках этих органов Госплана прорабатываются проекты крупных комплексных экспедиций. С высокой трибуны звучат слова В.В. Бунака, что «экономические обследования <...> отдельных районов вне связи с этнографией и антропологией являются малопродуктивными и нецелесообразными» (Бунак, 1927: 81–82).

Таким образом, начинает понемногу формироваться новая оценка указанных отраслей знания, как *практически полезных* и даже необходимых в грядущем экономическом строительстве. Большой вклад в это дело вносят постоянные комиссии Совнаркома и АН СССР по вопросам комплексного исследования территорий (Монголо-тибетская комиссия, Особый комитет по изучению союзных и автономных республик, в дальнейшем преобразованный в Комиссию экспедиционных исследований АН СССР и т. д.). В рамках их разворачиваются масштабные исследования. Первой снаряжается Монгольская экспедиция П.В. Козлова. В составе ее уже в 1924 г. С.А. Теплоухов вместе с Г.И. Боровкой раскапывают первый «мерзлотный» курган в Ноин-Ула, давший уникальные материалы (Золотарёв, 1928: 256–258).

Однако параллельно в указанный период уже наблюдается действие прямо противоположных тенденций. Так, в 1925 г. в СССР была открыта первая аспирантура по археологии, что действительно сыграло большую роль в деле подготовки специалистов. Но одновременно этот шаг имел отчётливую идеологическую направленность. Руководство Наркомата просвещения даже не скрывало, что *новое поколение учёных-марксистов, окончивших аспирантуру, должно стать могильщиком «старой» археологии* — таков был поставленный ему социальный заказ.

Именно в этот период — в 1925–1927 г.г. — появились первые признаки того, что так называемого «нового учения об языке» (или «яфетидология») Н.Я. Марра — пользуется поддержкой со стороны официальных идеологов марксизма (см. 7.5). В дальнейшем это «учение» породит *теорию стадильности* в археологии, которая представит собой желанную альтернативу всем остальным направлениям развития археологической мысли в СССР.

Таким образом, практически во всех важных для науки аспектах период 1925–1927 гг. — разгар нэпа — предстаёт ареной разнонаправленных тенденций. Однако следует оговорить, что, несмотря на всё это, научная жизнь протекала в те годы исключительно напряжённо и плодотворно.

1928–начало 1929 гг. — период усиления противоречий.

В это время обозначилась резкая перемена политики правительства СССР в отношении науки: переход от сотрудничества со старыми специалистами к резкой конфронтации. Широкие программы комплексного обследования территорий в основном оказались свёрнуты. Эпоха нэпа кончилась, и, как уже говорилось выше советское правительство перестало нуждаться в услугах «социантропологов». Кому нужны социальные исследования и прогнозы, если в стране пошли в ход массовые высылки? Всякое беспристрастное исследование того, что теперь стало происходить с народом, следовало немедленно запретить, удушить, заклеить навеки. Логика отрицания передовой русской этнологии, развивавшейся в эпоху нэпа (в археологии — борьба с палеоэтнологией), вытекала из новых исторических условий совершенно однозначно. Попытка выводить

законы развития культуры эмпирически, непосредственно из материала, без априорного приложения к нему марксистской догмы, считалась теперь грехом непростительным, и за него исследователям приходилось платить. Чем точнее становились их методы, тем объективно опаснее они считались.

В мае 1929 г. состоялась первая из так называемых «методологических» дискуссий, истинной целью которых было отнюдь не обсуждение, а публичное шельмование отдельных научных направлений и идей. В археологии на первых порах такому шельмованию подверглась палеоэтнологическая школа, признанная «суррогатом в квадрате» буржуазной социологии. В конечном счёте, свободная теоретическая мысль в археологии оказалась под запретом почти на полвека.

Конец 1929–1930 гг. — период разгрома и ломки организационных структур.

Данный период принадлежит уже следующему этапу развития отечественной археологии — этапу, для которого характерна её предельная политизированность. Краеведная, музейная археология оказывается практически разрушена; широкая сеть провинциальных краеведческих организаций ликвидирована, ведущие столичные специалисты подвергаются репрессиям (см.: 7.4). Структура археологической службы кардинально меняется: исчезает её традиционная децентрализованность и биполярность. ИАИ РАНИОН в Москве расформирован. Ликвидируются оба московских этнографических музея, произведены первые аресты в этнографическом отделе Русского музея в Ленинграде. Между тем все это были крупные археологические центры. Преподавание археологии на физико-математических и географических факультетах уничтожено. Археологические отделения на этнологических факультетах упразднены (как и сами факультеты!). Археология и этнография вообще изъяты из университетов и переданы в ведение «историко-лингвистических институтов», созданных теперь в Москве и Ленинграде. При этом качество образования резко понижается. Повсеместно продолжается разгром палеоэтнологической школы в археологии, признанной чуждой марксизму и вредной. В Академии истории материальной культуры начинается слом всех научно-организационных структур. Из островка свободной науки она фактически превращается в идеологический центр, призванный утверждать в своих стенах марксизм и теорию стадильности.

7.2. РОССИЙСКАЯ/ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

7.2.1. Начальный этап: 1918–1919 гг.

Днём основания Российской (с 1925 г. — Государственной) Академии истории материальной культуры считается в науке 18 апреля 1919 г., когда на заседании Малого совета Совнаркома Российской Советской республики был утверждён и подписан В.И. Лениным «Декрет об учреждении РАИМК». Однако важно понять, что утверждение этого декрета явилось лишь очередным (хотя и важнейшим) шагом по пути создания принципиально новой структуры археологической науки и археологической службы в России.

На деле организация РАИМК прошла не менее четырёх этапов. Первый из них завершился в октябре 1918 г., когда наркомом просвещения А.В. Луначарским утверждён новый устав Российской Государственной Археологической комиссии. Время с конца 1918 по апрель 1919 г. явилось периодом подготовки проекта новой «Академии археологии» или «Академии археологических знаний», как первоначально называли новую академию сами авторы этой идеи. Далее в течение четырёх месяцев РАИМК существовала только на бумаге, так как выборы в неё были произведены лишь 6–7 августа 1919 г. После 7 августа начался длительный этап становления — определения структур, подбора сотрудников и пр. Для каждого из этих этапов архивные источники позволяют с достоверностью очертить круг лиц, непосредственно причастных к событиям.

Преобразование АК осенью 1918 г. было актом отнюдь не формальным и имело длительную предысторию. Прежняя комиссия официально являлась «органом и учёного, и административного характера». Однако в области охраны памятников она чаще всего не располагала необходимыми полномочиями, достаточными для принятия эффективных мер (Фармаковский, 1921: 1–6). Расширению же учёной деятельности мешала малочисленность штатных членов, частично восполнявшаяся лишь поразительной их работоспособностью. Ограниченность собственных штатных возможностей постоянно побуждала АК налаживать тесные связи с другими организациями — Русским археологическим обществом (РАО), Петербургским археологическим институтом (ПАИ), Академией художеств, Петербургским университетом и т. д. Особенно хорошей школой научного сотрудничества стали долговременные взаимоотношения АК и РАО (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 2. № 453, л. 42).

Можно предположить, что представление об оптимальной структуре научных учреждений, как крупном научно-исследовательском центре с примыкающей широкой ассоциацией учёных обществ, комиссий и музеев (которое, собственно, и воплотилось в проекте РАИМК) довольно закономерно вытекало именно из опыта сотрудничества АК и РАО. Знаменитый тезис о необходимости работать *на началах коллективизма* выдвигался на учёных собраниях в 1918 г. с прямой ссылкой на «давнее обсуждение этого вопроса в стенах РАО» специалистами-востоковедами совместно с античниками (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 20, л. 77). Таким образом, вопрос о реорганизации археологической службы в стране считался в то время давно назревшим. Однако на практике новое научное строительство смогло начаться лишь после того, как революция смела с его пути отжившие структуры бюрократического управления.

Именно тогда, после февраля 1917 г., в среде научной интеллигенции активизировалось так называемое «корпоративное учредительство». Выдвигались проекты новых союзов, обществ, институтов и даже министерств. Яркими фигурами в этом движении в предоктябрьский период стали Н.Я. Марр, М.И. Ростовцев, А.Н. Бенуа, С.Ф. Ольденбург — в недалёком будущем деятельные участники преобразования АК (Знаменский, 1988: 177–179, 185–191, 277, 322–324).

Прежняя структура и состав комиссии вплоть до осени 1918 г. оставались неизменными. В неё входило всего 8 штатных членов и около полутора десятков «сверхштатных». После октября 1917 г. АК оказалась включена в систему наркомата просвещения (НКП). Непосредственное руководство ею в правительстве

осуществляла Всероссийская коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины (Главмузей). Руководителем её отделения в Петрограде стал правительственный комиссар Г.С. Ятманов (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 20, л. 65).

Уже первый сохранившийся протокол собрания АК от 8 мая 1918 г. подтверждает, что работа по её реорганизации началась гораздо раньше. Выступивший на собрании архитектор К.К. Романов заявил, что «*Коллегия... уже осведомлена о предположении Археологической комиссии по части расширения деятельности, сочувствует этому предположению и ждёт соответственного проекта...*» (курсив мой. — Н.П.). Б.В. Фармаковский и А.А. Спицын «довели до сведения собрания, что ими заканчивается проект нового устава». П.П. Покрышкин уточнил, что «проект предварительного расширения в комиссии реставрационного дела им уже составлен и внесён в Коллегию...». В тот же день на заседании встал вопрос об избрании нового штатного члена АК вместо скончавшегося Н.И. Веселовского. Голосование прошло единогласно — на освободившееся место оказался избран акад. Н.Я. Марр (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 1, л. 1–1об.).

В июне 1918 г. в АК поступило отношение Главмузея («Коллегии»): «Признавая необходимым ближайшим образом ознакомиться с прошлой и предстоящей деятельностью Археологической комиссии и имеющимися предположениями о необходимых для неё реформах (курсив мой. — Н.П.), Коллегия <...> сочла желательным посетить для этой цели Археологическую комиссию и заслушать ответственно с её стороны доклад по настоящему предмету...» (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 20, л. 65). Таким образом, становится очевидным, что инициатива в деле намеченной реорганизации исходила от самих учёных, а отнюдь не от новых советских чиновников.

В указанный период в комиссии уже были подготовлены предложения о перестройке работы отдела монументальных древностей (рук. П.П. Покрышкин), античных древностей (рук. Б.В. Фармаковский) и русских древностей (рук. А.А. Спицын). Были заново организованы отделы восточных древностей (рук. Н.Я. Марр) и доисторических древностей. Временным руководителем последнего стал А.А. Спицын, но уже в октябре появилась другая кандидатура — А.А. Миллер. Осенью 1918 г. в состав совета АК, помимо всех её штатных членов, были введены В.В. Бартольд, Ф.А. Браун, А.А. Васильев, С.А. Жебелёв, А.А. Ильин, А.С. Лаппо-Данилевский (заочно), А.И. Малейн, А.А. Марков, А.А. Миллер, С.Ф. Ольденбург, С.Ф. Платонов, К.К. Романов, М.И. Ростовцев (заочно), Н.П. Сычёв, Б.А. Тураев, М.В. Фармаковский. В связи с отъездом за границу председателя АК графа А.А. Бобринского, на его место вскоре был избран Н.Я. Марр. Заместителем (товарищем) председателя остался В.В. Латышев (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 1, л. 2, 4, 6, 12; № 20, л. 39, 51–62, 111).

Руководители отделов АК с особенным вниманием останавливались в этот период на таких вопросах, как *изучение рядовых археологических объектов, перспектива их сплошного обследования и издания карт*. Известный деятель архитектурной, церковной археологии П.П. Покрышкин заявлял: «Следует с величайшей осторожностью относиться к известной идее классификации памятников на первостепенные, второстепенные и т. д. Такое деление может повлечь за собой <...> гибель памятников, кажущихся второстепенными». Касаясь вопроса о выработке законопроекта по охране древностей, он заявлял: «Давно пора на чём-нибудь остановиться

и действовать. Ведь закон вообще никогда <...> ничего не довёл до совершенства, и не законом жизнь создаётся, но <...> всякий закон является венцом тех требований, которые предъявляет сама жизнь.» (РА ИИМК. Ф.1. 1918. № 20, л. 72 об.).

Эти документы достаточно красноречиво показывают, что ставшие расхожими после книги В.И. Равдоникаса обвинения АК в пренебрежении к массовому материалу, погоне исключительно за красивыми находками и, как следствие этого, в избирательном подходе к памятникам, тоже являются не более чем мифом (по крайней мере, для 1910-х гг.) (Равдоникас, 1930: 38–40; Худяков, 1933: 109–110; ср.: Мусин, Носов /ред./, 2009). Необходимость расширения состава и изменения структуры комиссии была осознана учёными именно потому, что на повестку дня встали вопросы изучения массового материала и производство тотальных разведок — задачи, непосильные для узкого круга специалистов, как бы самоотверженно они ни работали.

В течение лета 1918 г. в комиссии отчётливо выделилась группа лидеров, активно взявшихся за дело её реорганизации. Очень важную роль сыграли в указанный период Н.Я. Марр, Б.В. Фармаковский и П.П. Покрышкин. Н.Я. Марр писал: «Общие условия жизни русского государства побуждают нас не только ставить, но и не медлить решением вопросов о новых путях деятельности Российской Археологической комиссии...» Неизбежное углубление археологической специализации требовало, по его мнению, перестроить работу организационно и вести её далее уже на коллективной основе (РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 20, л. 72 об.).

В результате к октябрю 1918 г. проект нового устава был разработан. В нём предусматривалось значительное расширение её состава, создание высшего руководящего органа в виде совета и формирования новых тематических отделов. Все вакансии должных были замещаться путём закрытой баллотировки. В области охраны памятников предусматривалось размежевание функций с археологическим отделом Главмузея. Этот последний, по мысли авторов устава, должен был располагать всеми административно-исполнительными функциями, в то время как АК брала на себя роль научно руководящего органа. Данный устав был подписан наркомом А.В. Луначарским 17 октября 1918 г. (Фармаковский, 1921: 7–8; РА ИИМК. Ф.1. 1919. № 3, л. 5).

При всей важности достигнутых результатов, члены АК отнюдь не считали дело преобразования структуры археологической службы в России завершённым. По свидетельству Б.В. Фармаковского, «вновь созданное учреждение *никоим образом не представляло удовлетворительного разрешения давно обсуждавшегося вопроса* (курсив мой. — Н.П.). С самого начала предполагалось, что реорганизованная Археологическая комиссия займётся разработкой вопроса о нормальной и отвечающей всем нуждам постановке дела археологического исследования в Республике и составит проект соответственных учреждений...». Действительно, вопрос о дальнейшем преобразовании комиссии в академию ставился Н.Я. Марром перед А.В. Луначарским ещё в начале октября 1918 г. (Пескарёва, 1981: 27; РА ИИМК. Ф. 1. 1918. № 1, л.16 об.).

Обстановка, окружавшая АК в конце 1918—начале 1919 г., была очень динамичной, а порою и угрожающей. Возникали не только многочисленные, не согласованные между собой проекты новых учёных объединений, но — что важнее — попадали под угрозу объединения старые. Жизнь РАО совсем замер-

ла, и оно казалось близким к полному распаду. Пособие от казны, поступавшее обществу прежде, теперь прекратилось. Его небольшие капиталы были аннулированы. Из здания на Литейном проспекте, 17, прежде занятом РАО, его выселил наркомат юстиции. Такая ситуация была не редкой (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 2. № 453, л.109). Не случайно осенью и зимой 1918/1919 г. интенсивно стали разрабатываться проекты создания ассоциаций учёных комиссий и обществ при едином академическом центре. Всем этим организациям надо было срочно обрести своё место в непривычных, меняющихся условиях.

Между тем жизнь становилась день ото дня тяжелее. По воспоминаниям дочери штатного члена АК А.А. Спицына, зимой 1918/1919 г. и отец её, и вся семья едва не умерли с голоду: «...Папа был совсем не добытчик <...>. Ученики помогали. Как-то достали рюкзак свёклы — ели без соли. Брат был в Красной армии. <...> Я воровала дрова. Ходили ломать пустые дома. Папа специализировался по полям — ломом <...>. Мы бы умерли, но пришло спасение — академический паёк...» (записано автором 22 января 1988 г.).

В «Удостоверении», выданном 5 апреля 1919 г. «профессору, члену Государственной Археологической Комиссии А.А. Спицыну»¹, значилось, что он «состоит в списке 12-ти лиц, которым, по ходатайству Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины и по распоряжению заведующего распределительной частью т. Молвина присвоена дополнительная выдача по месячной норме для академиков». Удостоверение было подписано учёным секретарём отдела И.А. Орбели.

Первым пайком, по свидетельству Н.А. Спицыной, оказался «хвост какой-то рыбы». Потом стали выдавать хлеб, муку, крупу, яблоки (записано автором 22 января 1988 г.). Стоит обратить внимание на дату удостоверения — всего за полторы недели до подписания декрета об академии. Таким образом, подготовка нового проекта и устава велась в стенах комиссии именно тогда, когда, по меньшей мере, часть её членов была на грани голодной смерти. В ту зиму от холода и голода скончался член совета АК акад. А.С. Лаппо-Данилевский, тяжело заболел и товарищ председателя комиссии акад. В.В. Латышев (его место временно занял А.А. Миллер). Однако работа АК не прекращалась. 17 марта 1919 г. состоялось «чрезвычайное собрание». На нём выступил Н.Я. Марр и «указал на крайнюю желательность спешного разрешения давно назревшего вопроса об *объединении всех учреждений и ассоциаций, имеющих отношение к археологии, в Российскую Государственную академию археологических знаний* (курсив мой. — Н.П.)». Проект Положения и декрет о РГААЗ к тому времени уже были разработаны полностью (РА ИИМК. Ф. 1. 1919. № 3, л. 9). 27 марта 1919 г. Н.Я. Марр с этими проектами спешно выехал в Москву.

При рассмотрении вопроса об академии в Главмузее в проект был внесён ряд коррективов. Информировав об этом совет АК 27 мая 1919 г., Н.Я. Марр указал, что в уставе была сделана поправка, согласно которой «направления научной и научно-практической деятельности Академии ставится в связь с вопросами, выдвигаемыми современным строем страны, *хотя он, Н.Я. Марр, протестовал против такой редакции, так как научная работа не стоит в связи с политическим*

¹ В настоящее время этот документ хранится у наследников Н.А. Спицыной.

устройством государства <...> (курсив мой. — Н.П.)» (РА ИИМК. Ф. 1. 1919. № 3, л. 18 об.).

Переименование РГААЗ в РАИМК произошло также в ходе обсуждения проекта в Главмузее и далее на заседании Совнаркома. Источники недвусмысленно свидетельствуют, что ни один из членов совета АК, являвшихся настоящими авторами проекта, не имел даже в мыслях противопоставить «старой» археологии «новую» историю материальной культуры. Такое название было придумано А.В. Луначарским и М.Н. Покровским, скорее всего, в противовес так называемой «Вольной Академии духовной культуры», основанной Н.А. Бердяевым (Бердяев, 1990: 220–222). Однако оно было воспринято специалистами как неожиданная и счастливая находка, ибо снимало многие терминологические противоречия, успевшие накопиться в русской науке в связи с очень широким толкованием понятия «археология» и параллельного хождения термина «палеоэтнология».

Новое название снимало все возможные недоразумения, связанные с объединением в ней традиционно археологической тематики (восточная, классическая, скифо-сарматская, средневековая археология) с искусствоведческой и этнологической. Для всего этого как бы изыскивалась единая платформа. Впервые в истории русской археологии палеоэтнологи объединились с археологами на благо отечественной науки. Как формулировал в дальнейшем А.А. Миллер, ставший одним из основателей РАИМК, «по первоначальному проекту Академии положено было за основание: *всестороннее изучение материальной культуры в вещественных памятниках, как древности, так и в живом быту...*» (курсив мой. — Н.П.). Определено было также и три главнейших направления работы, могущие быть охвачены, в конечном счёте, *единым методом*. Эти три направления обусловили наличие в академии трёх отделений — *этнологического, археологического и художественно-исторического* (Пескарёва, 1981: 30).

Структура академии определялась постепенно. В составе трёх отделений образовывались разряды, комиссии и подкомиссии. По ходу этого процесса вспыхивали споры, из которых некоторые представляют для историка немалый интерес. Таков был, к примеру, спор между заведующим 1 отделением А.А. Миллером и учёным секретарём РАИМК И.А. Орбели о пределах компетенции отделения этнологии.

Точка зрения А.А. Миллера, на которой мне уже приходилось останавливаться при характеристике искусствоведческой археологии 1920-х гг. (см.: 5.5.1), заключалась в том, что этнология не должна трактоваться «в замкнутых формах науки о расах и их отличиях физических и культурных». Сам он видел необходимость распространить *метод исследования*, выработанный палеоэтнологами на материалах эпохи камня — далеко за пределы этой области. Специфика изучения более поздних эпох — появление этнической терминологии и абсолютных дат — по его словам, нисколько не могла «послужить основанием утверждению, что эти древности должны быть исследуемы совершенно иным методом». Их изучение, независимо от датировки, следовало бы производить как изучение «вещественных памятников этнологии, то есть *во всей совокупности культурно-исторических фактов*, принимая во внимание данные сравнительной этнографии, антропологии и т. д. Лишь в такой постановке можно обеспечить для этой категории древностей правильный подход, и *этим дело подвинуть далее той*

формы изучения, которую можно назвать лишь описательной» (курсив мой. — Н.П.) (РА ИИМК. Ф. 2. 1919. № 4, л. 35–37). Введение именно в отделение этнологии разрядов «древностей» (с последующим подразделением их по географическому признаку) А.А. Миллер считал «крайне желательным и диктуемым назревшей потребностью изменить весь метод их исследования».

Заведующему 1-м отделением возражал И.А. Орбели, традиционно относивший к понятию «этнология» этническую антропологию, сравнительную этнографию и первобытную археологию. Разряды «древностей», по его мнению, должны были числиться в составе отделения археологического. Несогласность позиций в данном вопросе привела к тому, что упомянутые разряды несколько раз меняли своё место в структуре РАИМК.

Стремление поставить изучение археологических памятников на твёрдый фундамент выверенных, точных методов проявилось в создании в составе академии *Института археологической технологии* (первоначальное название — Институт экспериментальной археологии). В нём должны были изучаться «с естественнонаучной точки зрения все вопросы, возникающие в недрах Академии, но не разрешимые при условии применения одних лишь филологических, археологических и историко-художественных методов» (РА ИИМК. Ф. 2. 1919. № 4, л. 39). В ИАТ были основаны отделения — химико-технологическое и художественно-реставрационное. Шла организация групп по исследованию технологии керамики, стекла, фаянсов, эмалей, строительных материалов, ювелирного дела и т. д. В течение осени 1919 г. в институте непрерывно читались доклады по основной тематике его работы, а 3 декабря административно-организационный комитет уже постановил приступить к печатанию 1 тома «Трудов» ИАТ.

В целом можно констатировать, что в 1919 г. в России был создан крупный научный центр, стремившийся объединить на базе общего *методологического подхода* все важнейшие направления археологического и историко-культурного исследования. Наряду с традиционной археологической тематикой важное место стало занимать технологическое изучение древних материалов, которое, в свою очередь, ввело в оборот понятие эксперимента в археологии. Наряду с влиятельными археологами-историками (Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, В.В. Бартольд, И.А. Орбели, С.А. Жебелёв, А.А. Спицын и др.), заметную роль в жизни Академии с самого начала стали играть палеоэтнологи (А.А. Миллер, Д.А. Золотарев, позднее П.П. Ефименко). Таким образом, на практике были сделаны шаги к преодолению традиционной оторванности первобытной археологии от исследования более поздних эпох. Палеоэтнологи привнесли с собой в академию общую установку на обязательное изучение *живой культуры* при отработке методологии изучения древних памятников. Значение этой установки для археологической науки 1920-х гг. в СССР трудно переоценить.



И.А. Орбели
(1887–1961)

7.2.2. Николай Яковлевич Марр — организатор археологической науки



Н.Я. Марр в последние годы жизни

Фигура Н.Я. Марра является одной из самых парадоксальных в русской науке первой трети XX в. Современные представления о нём нередко являются отражением старых мифов, творившихся вокруг этого человека (а отчасти и им самим!) — вначале для прославления его, позднее — для низвержения.

Легенда, созданная ещё при жизни Марра в начале 1930-х гг., представляла его великим учёным, совершившим переворот во многих областях знания и практически в одиночку разработавшим проект новой академии археологии (РАИМК/ГАИМК), якобы так и не оцененный по достоинству его окружением. Таким образом, сводились на нет заслуги таких соратников Марра, как С.Ф. Ольденбург, П.П. Покрышкин, Б.В. Фармаковский, С.А. Жебелёв, А.А. Миллер, В.В. Латышев и др., сыгравших на деле огромную роль в деле создания новой академии и инфраструктуры отечественной археологии в целом (Целевая установка... 1931: 1; Худяков, 1932: 150—161). Признать их заслуги в 1930-х г.г. означало бы согласиться, что «перестройку» старой археологии после революции целенаправленно осуществляла вовсе не советская власть, а та самая научная интеллигенция, университетско-академическая корпорация, которую народный комиссар А.В. Луначарский не раз обвинял в нежелании «дать широким массам дорогу к знаниям».

Реакцией на грубое мифотворчество 1930—1940-х гг. стало, в свою очередь, полное отрицание каких бы то ни было заслуг Н.Я. Марра перед отечественной археологией. Таким пафосом отрицания оказалась пронизана статья-памфлет А.В. Арциховского, вышедшая на волне развенчания марровского «нового учения о языке». В ней Марру, тогда уже покойному, были предъявлены обвинения в безграмотном ведении раскопок, пренебрежении к находкам и фактическом разрушении культурного слоя древнеармянской столицы — Ани, которую он исследовал с 1892 по 1916 гг. (Арциховский, 1953: 53—65). Можно констатировать, что и сейчас, когда оценки стали более взвешенными, отношение к Н.Я. Марру как археологу и организатору отечественной археологической науки в после-революционный период остаётся скептическим. Зачастую его считают скорее языковедом, производившим раскопки. Выдвижение его на пост председателя Археологической комиссии в 1918 г., как правило, объясняется причинами, далёкими от науки. Считается, что сразу после Октября этот человек якобы «сразу пошёл на сотрудничество с большевиками и, следовательно, мог отстоять комиссию от любых неприятностей» (Клейн, 1995: 33—34).

В настоящее время можно по-иному ответить на этот вопрос. Конечно, коллеги, единодушно избравшие Н.Я. Марра своим руководителем в 1918 г., искали в его лице человека, способного отстоять их интересы в «коридорах власти», не допустить развала археологической науки в России. Был ли он при этом близок большевикам? Ни в коем случае.

«Левыми взглядами» академик Марр не отличался никогда вопреки распространённой легенде. Вплоть до середины 1920-х гг. его отношение к новой власти оставалось лояльным и только. Знаменательно, что даже авторы «канонических» жизнеописаний Марра (В.Б. Аптекарь, В.А. Миханкова) так и не смогли найти в его биографии ни одного эпизода, свидетельствующего о его идейной близости большевикам в период революции и Гражданской войны. Поведение Марра, действительно сотрудничавшего с Главмузеем, ничем не отличалось от поведения многих интеллигентов, всерьёз озабоченных судьбой культурного наследия в России и прилагавших все усилия к его спасению в период Гражданской войны и разрухи.

Что же выдвинуло Николая Яковлевича на первый план в переломном 1918 г. и поставило его «у руля» российской археологии? Ответ до смешного прост: блестящие организаторские способности. Эта сторона его таланта, прекрасно известная в своё время его коллегам по Археологической комиссии, во второй половине XX в. оказалась прочно забытой. Скандальная слава Марра — автора «нового учения об языке» стёрла память о его научно-организационной деятельности в археологии в 1900—1920-х гг. Между тем она была напряжённой и результативной на удивление.

Накануне революции Н.Я. Марр был признанным авторитетом в области восточной археологии, награждённым Большой Золотой медалью имени графа А.С. Уварова за раскопки в Ани. Выше уже говорилось, что анализ сохранившейся полевой документации и прочих материалов, связанных с его раскопочной деятельностью, не подтверждает хлестких обвинений в безграмотном ведении работ, выдвинутых позднее его недоброжелателями (см.: 4.5). Его способности и энергия организатора помогли ему в 1910-х гг. превратить пустынное городище Ани, затерянное в глухой армянской провинции, в мощный археологический центр, которому не хватало лишь официального постановления правительства, чтобы стать Кавказским археологическим институтом (Платонова, 1998: 374—376). С самого начала Н.Я. Марр сумел заинтересовать перспективой своих исследований широкие круги армянской интеллигенции, что вызвало щедрый поток пожертвований. Его стараниями на городище оборудуются археологический музей и библиотека, налаживается экскурсионное дело. Земли, на которых располагалось городище, передаются в собственность Археологической комиссии — случай беспрецедентный для царской России. Для того чтобы провести это решение в жизнь, потребовалась многолетняя «бумажная война», так как, по существу, подобный акт был невозможен. В Российском законодательстве не было параграфа, который позволил бы узаконить такую передачу казённых земель. Однако Марр добился по этому случаю «ВЫСОЧАЙШЕГО повеления». Более того, Археологическая комиссия получила дополнительный участок земли для сдачи его в аренду крестьянам и обеспечения Анийского музея доходами (РА ИИМК. Ф. 1. 1904. № 79, л. 109, 132).

Можно с полной уверенностью утверждать, что ни один археолог в царской России не мог похвалиться такой блестящей победой над весильной бюрократией, как Николай Яковлевич. И когда в 1914 г., благодаря своим связям с министром народного просвещения Л.А. Кассо, он ухитрился провести в Государственную Думу закон о ежегодном отпуске из государственного казначейства 5000 руб. на свои раскопки (сумма огромная, по тем временам!) (Там же: л. 142—143), вряд ли

это кого-то всерьёз удивило. Способность к преодолению препятствий и отсутствие страха перед чиновниками были неотъемлемыми качествами Н.Я. Марра. Однако к этим чертам его хрестоматийного образа следует добавить тончайшее чутьё конъюнктуры и незаурядные дипломатические способности, помогавшие Марру оставаться в почёте во все времена и при любом правительстве без ущерба для своего имиджа независимого и несдержанного на язык учёного.

Роль Н.Я. Марра в проведении в жизнь проекта об археологической академии в 1918—1919 гг. была огромной, если не сказать — решающей. Он бестрепетно умел открывать двери новых «коридоров власти» и на удивление быстро договаривался с чиновниками по существу. Не случайно в июне 1919 г., когда с Марром от переутомления произошёл нервный срыв и он подал заявление об уходе с поста председателя АК, коллеги почти единодушно решили, что принять эту отставку нельзя. Показательно, в данном случае, прозвучала речь С.А. Жебелёва, заявившего на Совете АК, что он «вполне понимает то тяжёлое состояние, в котором оказался Н.Я. Марр, переобременённый <...> крайне нервной работой административного характера, но <...> с другой стороны, Н.Я. Марр положил столько труда и сил на проведение в жизнь намеченной реформы и так тесно связал себя с нею, что теперь остаётся или отказаться вообще от <...> реформы и тем самым погубить и организуемую Академию, и ликвидируемую Комиссию, или же убедительно просить Н.Я. Марра взять своё прошение обратно...» (РА ИИМК. Ф. 1. 1919, № 3, л. 23).

Спустя год после организации РАИМК Н.Я. Марр всё же сложил с себя полномочия её председателя и уехал в заграничную командировку. В период с 1918 по 1921 гг. ему пришлось испытать целый ряд тяжелых потрясений, последствием которых, по-видимому, стало психическое расстройство. В начале 1918 г. он получил известие о гибели полевой документации Ани за 16 лет раскопок при перевозке её из Петрограда в Историко-Археологический Институт РАН в Тифлисе. В середине 1918 г. ему сообщили о турецком разгроме и гибели созданного им археологического музея в Ани, где хранились все коллекции из его раскопок, начиная с 1903 г. (ПФА РАН. Ф.800. № 4173. Г—92. 1917. Ч.3, л. 21).

В это же самое время сын Н.Я. Марра Юрий пропал без вести на Кавказе и лишь в конце Гражданской войны выяснилось, что он жив и служил переводчиком в армиях англичан и грузинских меньшевиков (конечно, эти факты биографии Ю.Н. Марра тщательно скрывались потом его родными). Наконец, в 1921 году Николай Яковлевич узнал о гибели в Крыму любимого старшего сына Владимира. Все эти потрясения подорвали психику старого учёного, и без того не отличавшегося уравновешенностью. В результате он постепенно оказывается во власти вырвавшейся из-под контроля научной фантазии, и на свет появляется «марризм» — пресловутое «новое учение об языке», оказавшее достаточно вредное воздействие на развитие всего комплекса гуманитарных наук в СССР (см. 7.5).

В 1923 г., вернувшись из-за границы, Н.Я. Марр возвращается на пост председателя РАИМК. Конечно, это уже не тот человек, что был даже в 1918—1919 гг. Он уже совершенно не способен к систематической научной работе. Однако прежние навыки и хватка организатора не изменили ему. Н.Я. Марр и больной продолжал оказывать неоценимые услуги РАИМК/ГАИМК. Его деятельность там вплоть до 1930 г. заслуживает самого пристального внимания.

Возвращение Марра в Академию вряд ли было случайным. Он считал РАИМК своим детищем, между тем положение её к 1923 г. стало совсем незавидным. Именно тогда в Главмузее под пером В.А. Городцова родился проект «Центрального Археологического бюро» (см.: 6.2), означавший, в случае утверждения, немедленный роспуск Академии. Центральная власть в начале 1920-х гг. относилась к РАИМК достаточно насторожённо, совершенно справедливо видя в ней прибежище старой петербургской интеллигенции, чуждой марксизму.

Едва вернувшись на пост председателя, Н.Я. Марру пришлось объясняться с московским и местным начальством, доказывая «благонадёжность» Академии и отражая выпады, направленные против неё. Он хитрил, привычно и безошибочно подыскивал верные слова, понятные советским чиновникам:

«Академия <...> есть высшее научно-исследовательское учреждение *со специальным заданием*, — пишет он в 1923 г. заведующему Главнаукой Ф.Н. Петрову. — Специальное её задание — научная охрана всех памятников исторической культуры страны <...>. Страна <...> богатейшая в мире по остаткам памятников материальной культуры всех эпох и многих этнических и национальных культур, не может существовать без Академии истории материальной культуры. Это богатство обязывает страну, <...> *то же богатство при правильном учёте <...> — часть нашей материальной значимости, кредита*. Обладая музеями мирового значения, страна <...> не может, не нанося ущерба правильному развитию музеев и вообще культурного и материального строительства, обойтись без Академии истории материальной культуры. Подбор сил в Петрограде дал возможность в революционное время организовать учреждение на наследиях бывшей Археологической комиссии, *с которой академия имеет мало общего...*» (курсив мой. — Н.П.) (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4326. Г—272, л. 47—47 об.).

Таким образом, можно наблюдать, как именно в этот период Н.Я. Марром постепенно начинает твориться легенда о РАИМК, как чуть ли не «революционным» учреждением. Поначалу легенда эта предназначена специально для начальства. В своих отписках «наверх» Марр уверяет, что академия и сама желает и готова работать по-новому. Что же до отсутствия в советской России «археологов с марксистским пониманием», то в РАИМК, по его словам, этот вопрос смогут решить — подготовят таковых своими силами, научат марксистов археологии!

Разумеется, «наверху» и сами не знали толком, как именно «по-новому» должны работать археологические учреждения. Поэтому простора для различных толкований тут было достаточно. Скорее всего, недоброжелатели РАИМК руководствовались в своих нападках классовым чутьём, которое их редко подводило. Следующим шагом уже местной, ленинградской власти оказывается «прикрепление» к академии члена Ленсовета В. Егорова, который, ознакомившись с делами в ней, пришёл к выводу, что «Академия, в общем, ведёт большую <...> работу, но имеет ряд крупных недостатков, которые собственными силами устранить не может». К числу таковых недостатков тов. Егоров отнёс, во-первых, «*принципиальное отрицание основной задачи, поставленной В.И. Лениным*» (sic!). В Академии, по его словам, «нет истории материальной культуры, а есть только *подготовка материалов для неё*». Далее инспектору явно не импонировало «систематическое уклонение от вопросов *материальной культуры* в область верований, фольклора, лингвистики, внешней истории», а также отсутствие «коллективно

организованной работы». Впрочем, справедливости ради, он признал, что в ряде подразделений РАИМК коллективный характер разработки научных тем действительно имеет место, и упомянул в этой связи разряды античной археологии (рук. Б.В. Фармаковский), русской архитектуры (рук. Н.П. Сычёв) и Институт археологической технологии (рук. А.Е. Ферсман и М.В. Фармаковский).

Заключение, сделанное членом Ленсовета и переданное им по инстанциям, включало важную рекомендацию: «учредить особый Комитет содействия академии в составе, определённом без участия самой академии, из марксистов — учёных, педагогов, литераторов и общественных работников, и на него возложить задачу преобразования» (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4328. Г—274. Ч. 2, л. 65—65 об.).

Всё это весьма напоминало «перевод на марксистские рельсы», на практике постигший российские археологические учреждения в 1929—1930 гг. Причём весь набор будущих обвинений, по сути, уже определился. Указанный документ датирован 1924 г. Возможно, именно Н.Я. Марру принадлежит заслуга того, что рекомендации советских функционеров не получили дальнейшего хода еще в середине 1920-х гг. Таким образом, русские археологи получили несколько лет относительно спокойной работы.

В докладной записке, адресованной в Ленинградское ГУБОНО в начале 1925 г., Марр последовательно опровергает все заключения В. Егорова, обвиняя его, в свою очередь, в формальном подходе к делу и желании «сделать фетиш» из коллективного метода работы. «Вопрос о коллективном принципе научной работы, — писал он, — является новостью в нашей научной практике. Старая наука чуждалась этого метода, и переходный период далеко не изжит...» Дальнейшие ответы на замечания инспектора звучат резко и определённо. Этнологическое изучение материальной культуры *требует* углубления в области фольклора, верований, внешней истории и т. п. Академия в целом занимается построением истории материальной культуры; не вина академии, что эта наука находится на стадии накопления материала. Мотивов для нового преобразования нет, а потому «отпадает», по словам Марра, и предложенный Егоровым «Комитет содействия» (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4329. Г—275. Ч. 3, л. 3—4 об.).

Возможно, будь на месте Н.Я. Марра кто-то другой, власти не посчитались бы с его мнением. Однако Николай Яковлевича к середине 1920-х гг. уже начали считать «своим». Его «новое учение» было очень быстро оценено по достоинству советской пропагандой. С его словам прислушивались. Он же — следует отдать справедливость — продолжал всеми силами оберегать созданный им и его коллегами островок свободной науки, каковым являлась РАИМК/ГАИМК до 1929 г. Лишь в годину Великого перелома, уже лишённый всякой реальной власти в учреждениях, которыми руководил, он был вынужден полностью сдать позиции (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4331. Г—277. Ч. 5). Вероятно, болезнь Н.Я. Марра способствовала на рубеже 1920—1930-х гг. прогрессирующей деградации его личности.

Несколько слов должно быть сказано о роли Н.Я. Марра на первом этапе «перестройки» археологической науки, явившемся, по сути, подготовкой ее «перевода на марксистские рельсы» в 1930 г. На первый взгляд, его позиция приводит исследователя в растерянность своей двойственностью. Как ни странно, «своим» его считали обе стороны. ВАРНИТСО — политизированная организация, занявшая погромную позицию по отношению к АН СССР и многое сделавшая, чтобы АН оказалась «под

стеклянным колпаком», на первых порах своего существования считала «близкими» лишь академиком Иоффе и Марра (Перчёнок, 1991: 173). В то же время абсолютно несомненно, что академики ОИФ — старые товарищи Н.Я. Марра — абсолютно доверяли его порядочности. Приватные совещания в трудную годину 1928—1929 гг. собирались именно на его квартире.

После первого провала «партийных кандидатов» на выборах в АН СССР вопрос о дальнейшей судьбе Академии наук стал очень жёстко. Реально её вполне могли просто ликвидировать как структуру, не отвечающую запросам времени. «При ВСНХ уже создалась *другая академия*», — заявляли тогда М.Н. Покровский и В.В. Куйбышев. И именно так стоял вопрос об этом на заседании Совнаркома, куда спешно явились из Ленинграда после провала выборов академики С.Ф. Ольденбург, А.Е. Ферсман, Н.Я. Марр, С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, А.Н. Крылов и В.И. Комаров. Неблагоприятную обстановку тогда переломило (и, возможно, спасло Академию наук!) только выступление Марра. Когда он кончил, то сам уже не помнил, что именно он говорил, но по воспоминаниям других свидетелей его речь об Академии наук и о той важнейшей роли, которую она выполняет, была бешено эмоциональной, резкой и убедительной. Она подействовала на присутствующих высших чинов государства (председательствовал А.И. Рыков), как холодный душ. После этого лишь один В.В. Куйбышев (тайно и явно грезивший заполучить всю академическую науку в систему ВСНХ) подал голос за разгон (Перчёнок, 1991: 188; ПФА РАН. Ф. 518. Оп. 2. № 15, л. 15—15 об.; № 157, л. 163 об.—164). Остальные проголосовали против.

Все это заставляет вспомнить предыдущую деятельность Н.Я. Марра на посту председателя РАИМК/ГАИМК. Он входил в любые кабинеты, говорил с чиновниками на их языке, делал бюрократические отписки и — уберегал ГАИМК от ненужных потрясений. Так было до 1929 г., и забыть об этом нельзя. Но когда уже после раскрутки Академического дела Академия наук была сломлена, именно Н.Я. Марр стал членом ее нового Президиума. Он же поддержал своим авторитетом и планы обновления ГАИМК в 1929 г. и «перетряски кадров» (хотя не был их инициатором).

Эту двойственность, в сущности, может объяснить лишь одно: Н.Я. Марр редко ошибался в своих предвидениях близкого будущего. Его чутьё конъюнктуры было абсолютным, а его психопатическое состояние не притупляло, а, скорее, обостряло его. Он не предавал своих друзей, не присоединял своего голоса к их растерзанию: не предал С.А. Жебелёва во время организованной против него травли; пришел в дом к С.Ф. Ольденбургу, когда тот после получения приказа наркома А.И. Рыкова о своём увольнении неделю лежал в прострации в ожидании ареста. Но он считал абсолютно бесполезным продолжать борьбу, когда процесс шёл неизбежно и неотвратимо. По сути, «общественный» вывод из его



М.Н. Покровский
(1868–1932)

«теории» был именно таков: сопротивление бесполезно; надо так или иначе вписаться в процессы сегодняшнего дня. За скобку тут выносилось недоговоренное: тому, кто не впишется, грозит уничтожение.

Сегодня, оглядываясь назад, хочется назвать этого человека не только самой парадоксальной, но и одной из самых трагических фигур российской науки XX в.

7.2.3. «Чистка» ГАИМК

Работа так называемой «Комиссии по чистке» в стенах ГАИМК началась в апреле 1930 г., то есть в период раскручивания пресловутого «Академического дела», по которому оказались репрессированными многие известные историки, краеведы и археологи. Ещё до начала работы комиссии новый заместитель председателя академии Ф.В. Кипарисов, фактически принявший у Н.Я. Марра всю реальную власть, провёл массовое увольнение сотрудников. Личный состав ГАИМК в одночасье сократился вдвое. Впрочем, не стоит усматривать здесь лишь проявление злой воли новой администрации. Указанная акция, скорее, явилась благодеянием для тех, чьё «социальное происхождение» и биография не оставляли им надежды уцелеть.

В конце апреля 1929 г., на XVI партконференции в Москве Я.А. Яковлевым была представлена программа начавшейся тотальной чистки советских учреждений. Лица, «вычищенные» по 1 категории, в дальнейшем не имели права поступать на государственную службу и, как правило, подвергались аресту. «Вычищенные» по 2 категории уже не могли быть приняты на работу по специальности (Перчёнок, 1991: 144). Простое увольнение, по меньшей мере, спасало от издевательств, которым приходилось подвергаться тем, кто привлекал к себе слишком пристальное внимание комиссии, и в конечном счёте давало людям шанс переждать. В конце того же 1930 г., уже по окончании чистки, из ГАИМК был уволен классик русской археологии А.А. Спицын. Завершая разговор о нем, хотелось бы развезть одно распространённое заблуждение.

На рубеже 1980–1990-х гг., когда началась интенсивная разработка архивов и пересмотр сложившихся стереотипов истории науки, в литературе много говорилось об изгнании А.А. Спицына из ГАИМК (см. напр.: Формозов 2004: 56). Некоторые основания к тому имелись: в 1929 г. Александра Андреевича отстранили от руководства разрядом. Тогда же вместо прежнего разряда археологии русской образовались новые — до-русских культур (руководитель П.П. Ефименко) и русских культур (руководитель К.К. Романов). Впрочем, эти подразделения оказались «однодневками» и вскоре тоже были расформированы. В мае 1930 г. К.К. Романов был «освобожден от заведования по личному заявлению», а на его место назначен С.Н. Быковский (РА ИИМК. Ф. 2, 1929 г., № 7, л. 135). В том же 1930 г. А.А. Спицын оказался уволен из ГАИМК. Как член-корреспондент АН СССР, он имел приличную пенсию.

Процедура чистки имела две цели — отсечь потенциальных инакомыслящих и «воспитать» в новом духе тех, кто останется. Чтобы оценить ее эффективность, упомянем такой характерный момент: по оглашению резолюции престарелый акад. С.А. Жебелёв чуть не со слезами благодарил приезжих товарищей за мяг-

кое к нему отношение. К тому времени он уже два года подвергался ожесточенной травле в связи с раздутым на всю страну «делом академика Жебелёва» (ПФА РАН. Ф. 208. Оп. 2. № 57, л. 32—40; Тункина 1997; 2000). Видимо, Сергей Александрович ожидал, что теперь его добьют окончательно. А его все-таки не уволили «по категории», ему разрешили работать в архиве ГАИМК!

Что представляла собой упомянутая комиссия по чистке, хорошо иллюстрирует один маленький эпизод. Некий «товарищ Воронцов» из «рабочей бригады» долго допытывался в ГАИМК: «Как же экспедиции контролируются?» По его словам, он «обследовал один из разрядов ГАИМК», но так ничего и не понял: «Может быть, возьмут деньги, поживут и разъедутся? Вот что меня интересовало. Пускай научные работники дадут ответ!» (РА ИИМК. Ф. 2. 1930. № 4, л. 51). И этот Воронцов был одним из тех, от кого в тот момент зависело, жить или не жить на свободе, работать или не работать в науке тому или иному крупному ученому!

А.А. Спицын прошел чистку сравнительно благополучно — и, видимо, именно потому, что в ходе «превентивных мер» он уже в конце 1929 г. оказался фактически отстранен от дел в Академии. Правда, его имя всплыло, в числе других, в связи с публикациями 1928 г. в пражском «Seminarium Kondakovianum». Однако дебаты по этому делу отшумели два года назад. «Общественное порицание» участникам было объявлено, скорее, для порядка. Их увольнения из Академии не требовал никто. Тем не менее, в декабре 1930 г. А.А. Спицын оказался выведен за штат. Логично связать это с раскруткой «Академического дела», так или иначе, затронувшей всех близких друзей акад. С.Ф. Платонова (а Спицын, безусловно, принадлежал к их числу). Впрочем, изученные нами документы архива ИИМК за 1931—1932 гг. заставляют взглянуть на обстоятельства последних месяцев жизни Александра Андреевича под несколько иным углом.

В 1931 г. (то есть уже после увольнения!) А.А. Спицын фигурирует в отчете Архаического сектора, как член «готской группы», сделавший за год две исчерпывающих сводки фактических данных по: а) сарматской культуре; б) культуре полей погребальных урн (РА ИИМК. Ф. 2. 1931. № 10, л. 182; см. также: Тункина, 2008: 200). Напомним: о том же писал в некрологе Спицына его ученик В.И. Равдоникас (руководитель группы): «В самое последнее время он (А.А. Спицын) работал в Готской группе ГАИМК и в год смерти написал для нее две работы. <...> Первую он докладывал в группе в феврале 1931 г. — его последний в жизни научный доклад. Уже лежа в постели, будучи неизменно верным своей привычке работать, пока есть силы, до конца, он рвался к работе и начал подготавливать обработку третьей темы для той же Готской группы о собственно готских древностях. Закончить последний свой труд он уже не мог» (Равдоникас 1931: 61). Таким образом, увольнение из ГАИМК явилось для Спицына, говоря современным языком, переводом из штата на договор.

Но выразительнее всего оказались материалы архивного дела о разборе вещей А.А. Спицына после его смерти. По ним можно понять, что комиссия ГАИМК разбирала рукописи и книги не только на квартире ученого, но и в его личном кабинете в Академии (РА ИИМК. Ф. 2. 1932. № 80, л. 12—13). Таким образом, выход на пенсию отнюдь не лишил Александра Андреевича ни работы, ни даже его кабинета в Мраморном дворце. Остается поверить: даже в эпоху «бури и натиска» отношение тогдашних лидеров ГАИМК (в первую очередь, Ф.В. Кипарисова)

к престарелому А.А. Спицыну было куда более уважительным и человечным, чем это предполагалось ранее.

Установки на развал всей инфраструктуры «старой» археологии исходили из центра¹. Материалы по чистке ГАИМК позволяют охарактеризовать их достаточно полно. Именно в апреле 1929 г. в печати появился призыв наркома просвещения М.Н. Покровского: «Надо переходить в наступление на всех научных фронтах. Период мирного сожительства с наукой буржуазной изжит до конца...» (Последние новости. Париж. 5 декабря 1929 г.).

Таким образом, в воздухе опять словно повеяло гражданской войной. Но в основе всех этих громких фраз, как всегда, лежали соображения достаточно меркантильные. 11 мая 1929 г. на общем собрании сотрудников ГАИМК Ф.В. Кипарисов заявил, что «при нынешнем положении» советской стране не нужно больше одного учреждения, занятого историей материальной культуры. Всю археологическую деятельность необходимо «централизовать в ГАИМК». То, что археологией одновременно занимаются в АН СССР, Русском музее, Институте археологии и искусствознания РАНИОН и т. д. — всё это есть «вредный параллелизм» и должно быть изжито. Открытым текстом в докладе было сказано, что подобное положение «срывает пятилетний план», то есть попросту на археологию не намерены более тратить столько денег, сколько тратилось до этого! (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4331. Г—277 (5 ч.), л. 13). На собрании 23 мая, от которого сохранился полный вариант стенограммы, новые установки дополнительно прояснил будущий директор МАЭ Н.М. Маторин. По его словам, наука в этот момент «держит экзамен», насколько она, действительно, полезна для широких масс? Всё «нежизненное», не приносящее пользы диктатуре «должно исчезнуть под ударами пролетарской критики!» Теперь даже этнографическое изучение «старого быта» имеет на практике лишь одну цель — «как лучше его выкорчевать!» (РА ИИМК. Ф. 2. 1930. № 4, л. 40—43).

Будущий идеолог «перестройки» истории материальной культуры С.Н. Быковский заявил, что Комиссия по изучению племенного состава России была создана накануне Первой мировой войны с целью «обслужить практические потребности», которые имелись у царского правительства. Вот «такая увязка» с интересами советской власти и государства, по его словам, должна существовать и ныне! «Там, где она не проведена сознательно, там получается увязка в обратном направлении, враждебном» (Там же: л. 54).

Сумбурное и сокрушённое выступление Н.Я. Марра, обвинившего в «грехах» своей академии прежде всего себя самого, вызвало лишь снисходительное замечание, что «товарищ Марр взял на себя слишком много» (Там же: л. 177—180). Дежурные славословия в адрес «нового учения об языке», как видно, не мешали пренебрегать мнением самого его автора.

¹ «Оппозиционный настрой» руководства ГАИМК по отношению к комиссии по чистке подтверждается тем, что тогдашний председатель месткома Академии М.А. Тиханова вела себя достаточно независимо и «не оказывала содействия» комиссии в ее работе. В наказание комиссия постановила уволить Тиханову вместе с другими, но не по категории. Разумеется, Мария Александровна достаточно быстро была восстановлена в штате Ф.В. Кипарисовым, ставшим затем ее мужем.

К несчастью для ГАИМК, незадолго до начала чистки ГПУ арестовало сотрудницу Института археологической технологии Н.И. Нарбут как члена евангелической секты. Все бумаги Нарбут после ее ареста были сожжены с санкции руководителя института *Мстислава Владимировича Фармаковского* (1873—1946). Едва слух об этом дошёл до комиссии по чистке, участь Фармаковского была решена. Весь Институт археологической технологии, уже преобразованный в «технологическое отделение», подвергся небывалой травле. К чести академии, все эти подробности стали известны комиссии далеко не сразу. Видимо, найти в ГАИМК осведомителей оказалось нелегко. Впрочем, в 1929 г. туда уже были введены «новые люди», считавшие доноительство почётным долгом советского гражданина. Так С.А. Семёнов-Зусер не постеснялся при всех заявить: «Фёдор Васильевич (Кипарисов. — *Н.П.*) не знает того, что знает рядовой сотрудник!..» Далее следовало перечисление того, чего же именно не знает руководитель о своих подчинённых: об Академии вообще якобы «ходят анекдоты!» Здесь до сих пор рассылаются повестки, напечатанные по старой орфографии — с «ятем» и «ером»!.. Здесь сотрудники на работе христосуются!.. Поздравляют друг друга со «старым» Новым годом!.. и т. д. и т. п.

При проверке дел в технологическом отделении кто-то, вероятно, обмолвился, что ряд ведущих сотрудников ИАТ, имевших заработок в АН СССР или других учреждениях, систематически отдавали свою зарплату по ГАИМК в пользу мало оплачиваемого младшего обслуживающего персонала лабораторий. Так поступали директор института акад. А.Е. Ферсман, химик В.И. Щавинский, учёный секретарь М.В. Фармаковский и некоторые другие. Трудно описать, с каким бесшестством было встречено это известие со стороны членов «рабоче-крестьянской инспекции», заседавших в комиссии по чистке. Они без устали стыдили лаборантов и уборщиц, соглашавшихся «получать милостыню». При этом без конца повторялось: выдавать зарплату в СССР может только государство, а «частная благотворительность» есть дело социально вредное. Наконец договорились до того, что, поскольку технические сотрудники не платили налогов с тех жалких грошей, которые получались ими неофициально, то этим они чуть ли не ограбили советскую власть (Там же: л. 184—190).

Чистка и предшествующие ей увольнения резко изменили обстановку в ГАИМК. Вся прежняя структура Академии в 1929—1930 гг. оказалась сломана. Новая структура определялась уже не по признаку подхода к источникам, а исключительно по социологическому признаку. Лозунг с призывом изучать *не вещи, а общественные отношения, стоящие за ними*, на деле отгеснял археологическое источниковедение на самый дальний план. Место этнологии и археологии заняли история родового общества, рабовладельческого общества, феодального общества. Таковы были названия институтов, пришедших на смену прежним отделениям, разрядам и комиссиям ГАИМК.

7.2.4. Реорганизация ГАИМК: 1930—1934 гг.

Несмотря на многие потери, которые принесла археологической науке первая половина 1930-х гг., этот период все же нельзя назвать бесплодным. Сотрудники Академии, составившие в будущем костяк ИИМК АН СССР, в 1930—1931 гг.



М.И. Артамонов
(1898–1972)

начали работать тогда в составе ряда тематических групп, формировавшихся из членов разных подразделений. В этих группах можно видеть предшественников современных исследовательских проектов.

Идея их создания принадлежала самим молодым сотрудникам ГАИМК. Впрочем, мысль об этом витала в воздухе давно: в 1920-х гг. «коллективная организация труда» оказалась подобием лакмусовой бумажки, определявшим степень приверженности научных учреждений к новой, марксистской постановке исследований. Однако в мае 1929 г. идея была сформулирована уже в самой ГАИМК, на общем собрании аспирантов под председательством М.И. Артамонова.

«Молодежный проект» структуры Академии подразумевал ее деление на пять частей — по принятому тогда за основу социологическому признаку (отделение культур доклассового общества, далее — культур азиатского типа, античного общества, феодального общества и капиталистического общества). Утвержденные Пленумами отделений конкретные научно-исследовательские темы должны были поручаться для исполнения конкретным рабочим группам. Руководитель группы назначался Пленумом; в процессе работы группа могла ходатайствовать о пополнении коллектива или, наоборот, об исключении из нее отдельных членов. При необходимости к работе в ней могли быть привлечены и сторонние Академии сотрудники. По завершении темы группу планировалось распустить (РА ИИМК. Ф. 2. 1929. № 78, л. 1—3).

Подчеркивая свое уважение к тем заслуженным ученым, которые органически не смогут воспринять такой перестройки, аспиранты предлагали, чтобы те продолжали работать по индивидуальным планам. За поддержкой староста аспирантов М. И. Артамонов обратился к Н. Я. Марру, и с его помощью проект удалось частично провести в жизнь. Так уже в начале 1930 г. в Академии появилась проблемно-тематическая группа по истории кочевого скотоводства (так называемая «группа ИКС»), затем — группа по истории архаического земледелия, по истории охоты, по истории феодализма и т. д.

Забегая вперед, следует отметить: все они просуществовали не более полутора лет и были распущены уже в конце 1931 г., в результате очередной «реструктуризации» ГАИМК. Запланированные коллективные монографии оказались сданы в архив или просто утеряны. Отдельные части их публиковались участниками уже индивидуально, в виде статей (Свешникова 2009: 166—183). Тем не менее даже непродолжительное существование этой организационной формы в ГАИМК дало свои результаты.

В.В. Гольмстен, ставшая руководителем «группы ИКС», так характеризовала обстоятельства ее создания: «Основная мысль такова: для решения той или иной социологической проблемы необходимо привлечение громадного фактического материала, который собрать и систематизировать одному человеку невозможно,

следовательно, необходимо привлечение ряда лиц, заинтересованных данным вопросом» (РА ИИМК, Ф. 2, 1930. № 20, л. 11, цит. по: Свешникова 2009: 166). Ф. В. Кипарисов одобрил эту идею, выразив пожелание, чтобы в группу привлекалось поменьше сотрудников, посторонних Академии.

«Важнейшим результатом нашей совместной работы, — писал впоследствии о «группе ИКС» М. И. Артамонов, — было открытие теперь уже общеизвестного исторического факта, а именно, что до господства в степях Евразии кочевого скотоводческого хозяйства в них процветало комплексное земледельческо-скотоводческое оседлое хозяйство» (Артамонов 1977: 4). Следует упомянуть, что коллективная монография «группы ИКС» была почти дописана, и текст ее (в двух вариантах) сохранился в архивах ИИМК РАН и ИА РАН. Недавно они были проанализированы в работах О. С. Свешниковой (2004: 20—23; 2009: 168—173). Безусловно, выйдя эта книга из печати в 1932—1933 гг., она стала бы событием в мировой науке. Ее содержание весьма богато, несмотря на все издержки социологического подхода в его «советской» редакции тех лет. В частности, авторами впервые было введено строгое разделение понятий «домашнее» и «прирученное» животное, а также подчеркнута невозможность свести проблему возникновения скотоводства к определению родоначальной формы и географическому установлению очага каждого вида (что широко практиковалось в мировой науке того периода).

Участниками группы архаического земледелия ГАИМК стали М.И. Артамонов, П.Н. Третьяков, М.Г. Худяков, Г.В. Григорьев, А.В. Шмидт, В.В. Гольмстен и др. Наиболее интересным результатом явилась разработка проблем подсечного и пойменного земледелия в лесной полосе Восточной Европы. Вопрос о последнем как о древнейшей форме пашенного земледелия (в противовес представлениям о связи его с черноземами) был поднят М.И. Артамоновым (РА ИИМК. Ф. 2, 1931. № 10, л. 180 об.—181). Параллельно П.Н. Третьяков пришел к выводу о ведущей роли лесного подсечного земледелия в хозяйственном укладе населения Восточной Европы эпохи железа/средневековья.

Тезис о том, что пашенное земледелие возникло не из мотыжного, как утверждалось тогда в литературе (Арциховский, 1927), а именно из подсеки, был детально разработан в брошюре П.Н. Третьякова (1932), представлявшей собой главу утерянной коллективной монографии, которую готовила группа архаического земледелия¹. Здесь автором впервые излагалась гипотеза о происхождении северной русской сохи из бороны-суковатки. Возникновение самой подсеки относилось к глубокой древности — еще до появления железного топора.

Социологические заключения молодого исследователя (например, жесткая увязка широкого распространения сохи с переходом к «феодальному» индивидуальному пашенному хозяйству и т. п.) сегодня кажутся весьма



П. Н. Третьяков
(1909–1976)

¹ Проспект этой монографии, сохранившийся в архиве ИИМК РАН, опубликован в: Свешникова 2009: 177—179.

скороспелыми. Тем не менее приходится признать: обобщения, содержащиеся в этой тоненькой брошюрке, определили основные подходы к проблеме минимум на 60 лет вперед. Еще в начале 1980-х гг. Е.А. Горюнов указывал, что основные выводы этой работы «никогда не опровергнуты», а «оценка подсечного земледелия, к которой пришел П. Н. Третьяков, ныне считается единственно возможной» (Горюнов, 1983: 13).

Не менее интересной следует считать попытку свести воедино все имеющиеся данные об охоте, определить ее характер и особенности на разных этапах истории человечества и т. д. (Третьяков, 1935). При всех «прорехах», зиявших на этих «широких полотнах», при всей объективной нехватке информации и прямолинейном социологизме обобщений, они представляли собой важный этап освоения материалов и приведения их в логическую систему. Разностороннее, целенаправленное освоение источников по таким обширным темам, как история земледелия, охоты, скотоводства, возникновение феодализма, история и типы поселений и т. д. — все это формировало у «заинтересованных лиц» особую широту кругозора. Последнему способствовал непрерывный обмен работами и мнениями, производившийся в рамках проблемно-тематических групп.

Следует упомянуть еще одну работу, проводившуюся в ГАИМК в начале 1930-х гг. и имевшую концептуальное значение для дальнейших исследований в области древнерусской археологии. Мы имеем в виду исследование памятников древнерусского права членом ИИФО Б. Д. Грековым, с которого, по сути, и началось формирование представлений о «древнерусской народности», о единстве культурного пространства домонгольской Руси, при всех ее локальных различиях в X—XIII вв.

В 1933 г. ученый выступил на Пленуме ГАИМК с непривычной, даже шокирующей по тем временам гипотезой о существовании единых правовых норм на всей огромной территории древнерусских княжеств в домонгольский период. Этот тезис подкреплялся анализом источников — в первую очередь, Русской Правды. Закономерным выводом из

него явилось распространение понятия «Киевская Русь» на всю указанную территорию (РА ИИМК. Ф. 2. 1933. № 55).

В ГАИМК в конце 1933 г. этот доклад Б. Д. Грекова был заслушан с некоторым недоверием. Впрочем, полемика по нему носила вполне академичный характер. Характерной в этой связи оказалась реакция С. Н. Быковского:

«С понятием Киевской Руси у нас связано представление об определенной территории. Борис Дмитриевич <...> несколько произвольно расширил эти территориальные рамки, включив в него и Новгородскую Русь, и Северо-Восточную Русь. <...> Я считаю, что такое расширение рамок Киевской Руси невозможно, потому что с понятием “Киевская Русь” связаны определенные наши



Б. Д. Греков
(1882–1953)

представления, ну, если не об украинской нации, которая к этому времени еще не успела сложиться, то все-таки об определенном национальном объединении» (РА ИИМК. Ф. 2. 1933. № 55а, л. 5—6).

В ответ докладчик заметил, что он и сам был несколько удивлен результатами своего исследования, ибо привык считать, что у юга и севера имелась своя специфика, которую можно объяснять стадиальными различиями. Но о каких стадиальных различиях может идти речь, если нормы, выработанные на севере, несомненно, применялись на юге — и наоборот?.. В конечном счете, мнения аудитории разделились.

Примечательно, что по ходу этой дискуссии ее участники неоднократно упоминали о «норманнских завоеваниях» на Руси. Страсти по сему поводу в советской археологии тогда еще не разгорелись. Стенограммы однозначно позволяют заключить: о норманнском характере дружин Рюрика и Олега, о ключевой роли варягов в начальный период истории Руси «красные профессора» начала 1930-х гг. говорили как о чем-то само собой разумеющемся — со ссылками не столько на М. Н. Покровского, сколько на Карла Маркса, чьи высказывания на эту тему были прекрасно известны им в подлиннике.

В 1930-х гг. основной задачей истории материальной культуры было провозглашено раскрытие социально-экономических отношений, выражающих основные закономерности исторического процесса. Новая научная конъюнктура выдвинула на первый план вопросы общественного устройства, хозяйственного уклада, экономики древних обществ. В конечном счете, это сопровождалось переворотом в самой идеологии исследования памятников: впервые на повестку дня встали их раскопки широкой площадью.

Выше мне уже пришлось говорить о раскопках П.П. Ефименко на стоянке Костёнки 1/верхний слой, впервые в мировой науке выявивших структуру верхнепалеолитического поселения (см.: 5.7). В том же направлении развивалась исследовательская мысль в области археологии иных, более поздних эпох. Раскрытие социальных отношений древности потребовало выявить, в первую очередь, структуру поселков.

Именно с такой целью П. Н. Третьяковым в 1934—1935 гг. — впервые в отечественной археологии — было предпринято полное, исчерпывающее исследование позднеяковского городища Березняки в устье р. Сонохты (Ярославская обл.) и синхронных ему погребальных памятников. Это была действительно новаторская работа, в ходе которой облик древнего поселения реконструировался в деталях. Широкие работы на других памятниках Верхневолжья в дальнейшем позволили автору дать полученным материалам четкую культурно-хронологическую привязку. В прошлом П.Н. Третьяков работал в Этнологическом отделении под руководством А. А. Миллера, который любил повторять: «Археологические раскопки можно признать удовлетворительными лишь в том случае, если по их материалам можно составить детальный макет исследованного памятника» (Пиотровский 1995: 52).

Эти раскопки «стали опорными для реконструкции экономического, социального и этнического развития племен Верхней Волги в середине I тысячелетия н.э. Путем их переработки ученый пришел к убедительному выводу о принадлежности открытых на городище жилых и хозяйственных строений

родовой общине, «большой семье», численностью 50—60 человек. Эта община вела хозяйство, основанное на подсечном земледелии и скотоводстве» (Горюнов 1983: 10).

Первая половина 1930-х гг. стала научным «стартом» будущего руководителя ЛОИИМК/ЛОИА М. К. Каргера. Именно в этот период он разворачивает свои первые архитектурно-археологические работы в Новгороде. В глазах последующих поколений именно Каргер стал настоящим создателем этого направления, хотя, безусловно, он опирался в своей деятельности на достижения предыдущей генерации архитекторов и реставраторов — П.П. Покрышкина, К.К. Романова, Н.П. Сычева и др.

В 1927 г. М.К. Каргер, окончивший аспирантуру ФОНа ЛГУ, защищает квалификационную работу «Из истории культурно-художественных взаимоотношений Пскова и Москвы». В начале 1930-х гг. он оказался одним из немногих действующих специалистов ГАИМК, занимавшихся древнерусской домонгольской архитектурой. После ареста в 1933 г. Н.П. Сычева он остался там единственным. Пользуясь полной поддержкой Ф.В. Кипарисова, Михаил Константинович разворачивает интенсивные работы в Новгороде. Он исследует Георгиевский собор Юрьева монастыря, выявляет в нем поздние пристройки. В конечном счете он единолично берет на себя ответственность за слом этих поздних пристроек к собору и восстанавливает «архитектурный кристалл» в первоначальном виде XII в. Подобная смелость и напористый характер быстро восстанавливают против Каргера архитекторов и музейных деятелей, мысливших более традиционно. Его начинают бояться. В конечном счете в 1935—1936 гг. в Новгороде разворачивается громкое «дело Каргера»: археолога обвиняют во вредительстве, воровстве, даже в разрушении памятников архитектуры, которые он исследовал.

Степень обоснованности этих обвинений будет специалистам совершенно ясна, если добавить: злодейское уничтожение фресок (сбивание их со стены ломом!) якобы производилось Михаилом Константиновичем на пару с его сотрудницей Г.Ф. Корзухиной, имя которой ныне пользуется в археологической науке огромным уважением! В действительности, оба были виноваты лишь в том, что вскрыли в соборе позднее половое покрытие, ниже которого лежало несколько фрагментов фресок, когда-то осыпавшихся со стен. Эти последние были собраны обвинителями в коробочку и фигурировали при разборе, как вещественное доказательство вредительства... Много позднее, рассказывая об этих событиях, М.К. Каргер обронит фразу: «В те годы я потерял веру в людей» (Булкин 2002: 283). Избавлению способствовало неожиданное обстоятельство: уже начинался Большой Террор, первыми жертвами которого становились старые партийцы. По словам самого М. К. Каргера, его «дело» закрыли именно по случаю ареста главного обвинителя¹.

Все изложенное, на наш взгляд, помогает понять: годы, совпавшие с «переводом ГАИМК на марксистские рельсы» оказались неимоверно тяжелыми в моральном и психологическом отношении. Вместе с тем этот период не может однозначно рассматриваться, как катастрофа, постигшая отечественную археологическую науку. Конечно, не будь в России сильной научной традиции, не будь основ, за-

¹ Сообщено автору В.А. Булкиным в 1977 г.

ложенных ранее — и спицынской школой, и волковско-миллеровской — «марксизация» обернулась бы для отечественной археологии полным развалом. Но этого не случилось. Для поколения «ровесников века», к которому принадлежали М.И. Артамонов, П.А. Борисковский, Н.Н. Воронин, М.К. Каргер, П.Н. Третьяков, А.Н. Рогачев, Г.Ф. Корзухина и др. — указанное время стало периодом окончательного «взросления», обретения новой научной платформы.

7.3. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 1920-х — НАЧАЛЕ 1930-х гг.

7.3.1. Политика советской власти в университетах и археология

Начиная с середины 1920-х гг., резко участились публичные и печатные заявления ведущих политиков, что в недалёком будущем будет подготовлена марксистская «смена» тем «буржуазным» ученым, которых пока еще волей-неволей приходится терпеть. Утверждения такого рода звучали столь уверенно, что невольно возникает вопрос: на чем эта уверенность основывалась? Учёные «старой» школы были на практике допущены к преподаванию в университетах, а в научно-исследовательских учреждениях археологического профиля вообще царил ещё «золотая свобода». Откуда же бралась убежденность, что ни общее мировоззрение, ни склад научного мышления руководителей не будут восприняты учениками, которым предстояло лишь «конспективно пройти основы буржуазной науки»?

Если рассмотреть этапы становления системы историко-археологического образования 1919—1929 гг., то можно прийти к выводу, что никакого *развала* его ни в начальный период советской власти, ни в середине 1920-х гг. не происходило. Последовательное сравнение учебных программ ЛГУ и МГУ за разные годы, изучение состава преподавателей и проспектов сохранившихся лекционных курсов показывает, что специальным предметам в те времена учили превосходно. Однако столь же внимательное изучение циркуляров Наркомпроса и Главнауки того же периода наводит на мысль, что даже это являлось частью продуманной политики: *дать идейным противникам возможность самим подготовить себе могильщиков*.

Понять эти заявления можно, только если оценить размеры идеологического и политического давления, которое испытывали университеты, и в частности, гуманитарные факультеты начиная с 1918 г. Когда в 1919 г. историко-филологические и юридические факультеты оказались повсеместно заменены факультетами общественных наук (ФОНами), это была не простая реорганизация, а официальное признание указанных сфер университетской науки не подлежащими «перевоспитанию». По словам А.В. Луначарского, «мертвая история не заслуживала пощады», ибо преподавание истории «внедряло идею эволюционизма, квасного патриотизма и индивидуализма» (Луначарский, 1918: 6). Чтобы препятствовать развитию указанных идей в умах молодежи, были предприняты достаточно радикальные меры.

С 1919 г. в вузах, по инициативе М.Н. Покровского, были учреждены рабочие факультеты. Контингент их в значительной части был малограмотен, однако

«идейно» он был весьма высок. На рабфаки шла масса ветеранов «гражданки», пришедших с фронтов с партбилетом в кармане, в том числе и те, кто сумел на практике в условиях войны выдвинуться на руководящую политическую работу. В 1921/1922 учебном году на рабфаки был объявлен небывало большой приём, и именно в тот год университеты распрощались с остатками былой «автономии» (Солдатенков, 1971: 43–46). Поскольку учащиеся рабфака получили право участвовать в студенческих сходках, их голоса и «высокая политическая активность» позволили заткнуть рот старому студенчеству, пытавшемуся отвоевать былые права и старые учебные планы. А.В. Луначарский заявил, что «почти все представители старой школы принадлежали к привилегированной части населения и поэтому враждебны новому строю». По отношению же к «старому студенчеству», ударившемуся в политику, власти прибегали к самым решительным действиям, то есть арестам.

С 1923 г. начались регулярные «чистки» студенческого контингента от чуждых элементов. Порядок проведения чисток был упрощён до крайности: комиссия задавала каждому несколько незначительных вопросов, затем вывешивались списки «вычищенных». Исключить могли просто за «чуждый» фасон одежды: одного бывшего фронтовика-активиста случайно вычистили, приняв за «бело-подкладочника», ибо он пришел на комиссию в старой студенческой шинели. Его, разумеется, скоро восстановили, но вообще из «старых» студентов и бывших колеблющихся в университете постарались оставить лишь тех, кто искренне поверил: *свободы науки не существует, а все утверждения, что наука не должна напрямую служить политике, есть не что иное, как буржуазная пропаганда*. Тот, кто пытался отстаивать противоположное, априорно зачислялся в ряды тех, кто якобы стремился сохранить «привилегированное положение высшей школы» и не хотел открыться народным массам путь к знанию.

Студенческая жизнь начала 1920-х гг. была очень бедной, но весёлой и по-своему счастливой. Вместе с тем она больше, чем любая другая сфера жизни общества, находилась «под стеклянным колпаком». Скрыть «индивидуалистические» настроения в молодежной среде было очень трудно. Романтизм и максимализм юности играл на руку пропаганде, не устававшей убеждать молодых гуманитариев, что им предстоит особая миссия в ходе строительства Советского государства. Осваивая постулаты классового подхода к научной истине, многие из них всерьез готовились к роли идеологического рупора самой справедливой в мире системы. Недаром уже в 1921 г. в своем выступлении на X съезде РКП(б) А.В. Луначарский смог заявить: «При хорошей политической работе студенчество оказывается доступным нашему влиянию... [Необходимо] завоевать весь аппарат просвещения, расшатать прежнее мирозерцание, придать [ему] наш дух!..»

Это завоевание велось разными способами. Как уже говорилось выше, в числе университетских наук первыми оказались «репрессированы» история и право. В 1921 г. были упразднены уже и исторические отделения ФОНов. Вместо них появились ОПО (общественно-педагогические отделения), а общих курсов гражданской истории на факультетах не стало вообще. Ещё более радикальное искоренение истории велось в средней школе (именно эти школьники окончат университеты в 1930 г. и придут «по контрактам» в научно-исследовательские

учреждения!). Шёл курс на «сознательное подчинение истории современности», в котором исторический материал, соответствующим образом поданный, становился только средством для «углубленного понимания» сегодняшнего дня. Молодое поколение старались «держать <...> во власти запросов и требований современности <...>, заразить его пафосом борьбы, подготовить <...> для активного участия в этой борьбе...» (Иоаннисиан, 1927: 154–155).

Впоследствии это воспитание откликнется демонстрациями молодёжи под лозунгами Л. Троцкого и бешеным напором полуграмотной «критики» старой академической науки в 1930 г. Попытки вернуть в университеты систематические исторические курсы в 1920-х гг. встречали ожесточённые нападки: «Изучение античного мира — это простое пережёвывание постановки старого историко-филологического факультета, занятие, лишённое смысла. Задача исторического обучения — это знакомство с борьбой общественных сил, с движущими силами исторического процесса современности, а не изучение прошедших эпох!..» (Кривцов, 1926: 15).

Результатом такого обучения становилось умение «втискивать в прокрустово ложе надуманных схем любой фактический материал» и презрение к исторической конкретике (Алленова, 1986: 72–83). Конечно, не существовало и правил без исключений. Даже самая продуманная система идеологического давления порою давала сбои. А в 1920-х гг. в СССР она еще отнюдь не была отлажена по-настоящему. Но об этом — ниже.

Специальные археологические отделения ФОНов ПГУ и I МГУ были не единственными и не первыми центрами университетской археологии в СССР. Археологические курсы читались до этого и продолжали читаться параллельно на кафедре антропологии физмата МГУ Б.С. Жуковым и Б.А. Куфтиным. Выпускники этого факультета в дальнейшем сотрудничали в палеоэтнологической лаборатории при НИИ антропологии I МГУ, которой руководил Б.С. Жуков. В середине — второй половине 1920-х гг. она стала крупным научным центром, проводящим масштабные комплексные экспедиции в Поволжье. Здесь работали ученики Б.С. Жукова О.Н. Бадер, М.В. Воеводский, А.Е. Алихова, Е.И. Горюнова, А.В. Збруева и др.

Параллельно на физмате ПГУ существовала кафедра географии и этнографии, где уже в 1919–1920 г. преподавал археологию П.П. Ефименко, с 1921–1922 г. — вернувшиеся из Сибири в Петроград С.И. Руденко и С.А. Теплоухов, а с 1924 г. — Г.А. Бонч-Осмоловский. В 1922 г. эта кафедра волеется в этнографическое отделение географического факультета, но археологическое направление сохранится здесь вплоть до ликвидации факультета в 1930 г. Здесь получили образование М.Н. Комарова и С.А. Трусова, неизменный заместитель Г.А. Бонч-Осмоловского в его Крымских экспедициях 1920-х гг. Накануне закрытия отделения на нём учились А.Н. Бернштам и С.Н. Бибииков (окончившие затем уже ЛИФЛИ).

Полицентричность археологического образования отражала давнюю традицию разделения палеоэтнологии и археологии, характерную для дореволюционной науки. Однако в 1920-е гг. первобытная археология уже не была стеной отделена от «бытовой». Одни и те же преподаватели (например П.П. Ефименко), случалось, вели занятия на обоих факультетах. Палеоэтнология осознавалась

ими не как естественная наука, а скорее как «двуликий Янус», устремлённый одновременно и к биологическим, и к социальным дисциплинам (Бонч-Осмоловский, 1932: 44). Однако идеологические претензии, предъявленные отечественной этнологии на Великом переломе, окончательно привели к тому, что археологический уклон в этнографическом и географическом образовании оказался разрушен.

Отделения археологии и истории искусства были созданы в составе ФОНов ПГУ и 1 МГУ 15 августа 1922 г. Фактически в состав университетов были влиты на правах отделений существовавшие до того обособленно Петроградский и Московский археологические институты. Археологическим отделением ФОНа 1 МГУ первоначально руководил В.А. Городцов. В дальнейшем, после преобразования московского ФОНа в этнологический факультет, В.А. Городцова сменил на посту председателя (теперь уже историко-археологического отделения) марксист Н.М. Лукин, но профессором на факультете Василий Алексеевич оставался вплоть до новых преобразований, грянувших в 1930 г.

Переход от автономного существования к существованию в рамках университетов проходил болезненно. Политика «наступления» на специальные дисциплины и сокращения их в пользу «ударных» дисциплин давала себя знать уже с 1924 г. В архиве Н.Я. Марра сохранился любопытный документ — служебная записка заведующего археологическим отделением ЛГУ Б.Л. Богаевского с жалобой на то, что по «развёрстке» в 1924/1925 учебном году на отделение пришлось ничтожное количество мест, и поэтому по циклу археологии и истории искусства в университет оказалось не принято ни одного абитуриента.

«Отсутствие 1 курса сделало невозможным осуществление нового учебного плана, — писал Б.Л. Богаевский. — <...>. Создавшее положение <...> не может не затрагивать интересов РАИМК. <...> Прошу Вас не отказать подвергнуть обсуждению поднятый вопрос...» (ПФА РАН. Ф. 800. Оп. 4. № 4329. Г—275. Ч. 3. 1924—1928, л. 2).

Учебный план 1924/1925 г., действительно, предусматривал новшества. В программу были введены лекции по методологии археологических дисциплин. Курс «Введение в археологию», где рассматривались общие вопросы, характер источников и методы, был подготовлен А.А. Спицыным. Семинары по методологии доисторической (первобытной) археологии, а также по методике археологических разведок и раскопок вёл А.А. Миллер. Занятия по технологии археологических материалов — М.В. Фармаковский, бывший в то время учёным секретарём и фактическим руководителем Института археологической технологии РАИМК. Студенты специализировались в различных областях археологии Востока, а также скифского и классического мира — здесь их наставниками были Б.Л. Богаевский, Г.В. Боровка, Б.В. Фармаковский, К.Э. Гриневиц, О.Ю. Вальдгауэр, Д.В. Айналов, С.А. Жебелёв и др. Желающие заниматься палеолитом попадали в семинар П.П. Ефименко. Одновременно Пётр Петрович вёл семинарские занятия по финской и русской археологии. Славянскую археологию преподавал А.А. Спицын (Тихонов, 1988: 10; 2003: 148—152).

Дискриминационная политика по отношению к археологическим отделениям, о которой свидетельствует записка Б.Л. Богаевского, имела законо-

мерное продолжение. Знаменательно, что в том же 1924 г. А.А. Спицын был отстранён от заведования Археологическим кабинетом ЛГУ. В 1925 г. и названия, и структура ФОНов были изменены. ФОН ЛГУ в 1925 г. превратился в факультет языка и мышления (Ямфак), хотя первоначально планировалось создать этнологический факультет. Возможно, здесь сыграло роль наличие на географическом факультете ЛГУ особого этнографического отделения. При утверждении новых программ от отделения археологии Ямфака потребовали серьёзного сокращения специальных дисциплин. Такое же сокращение в пользу «ударных» дисциплин было навязано и 1 МГУ. Это было первое, по сути, серьёзное вмешательство сверху в дела археологии. До тех пор реорганизации учреждений археологического профиля (1918—1925 гг.) совершались по инициативе самих учёных, а не по указке свыше. В конкретные пункты планов и уставов власти вмешивались очень мало. Теперь положение заметно меняется.

Тем не менее очень скоро эта новая господствующая тенденция неожиданно даёт сбой. Учебные планы археологических отделений вновь пересматриваются, и натиск «ударных» дисциплин на какое-то время ослабевает (Аленова, 1986: 74; Тихонов, 1988: 11). Уже в 1927 г. в программы историко-археологических отделений опять введено много лекционных курсов и семинаров по археологии. Так обстоят дела до 1928/1929 г., когда начинается разгром археологии по всем направлениям. Пропагандистская подготовка началась статьями в газете «Студенческая правда» такого содержания:

«...Уклон истории материальной культуры и древнего мира — один из медвежьих уголков Ямфака. Так второкурсники должны слушать «Историю первобытной техники и орудий производства» и «Доисторическую археологию». В первой дисциплине — «первобытное общество с кремнёвой индустрией», и во второй — «кремнёвая индустрия», то же самое, но под другим соусом, а на первом курсе есть ещё «Введение в историю материальной культуры». Все эти предметы тесно связаны друг с другом. <...> К чему же на неделе по три раза слушать одно и то же?..» (19 апреля 1928 г.).

Летом 1929 г. Ямфак и Этнологический факультет 1 МГУ были преобразованы в историко-лингвистические факультеты. Однако раскручивание в этом году «Академического дела» и непрерывные аресты и увольнения среди историков и археологов привели к тому, что уже к 1931 г. факультеты были вновь расформированы — на сей раз надолго — и превращены в Историко-лингвистические институты. Преподавание и истории, и археологии было фактически свёрнуто и изъято из университетов (Дьяконов, 1995: 258; Тихонов, 1988; 2003: 45-65).

Восстановление гуманитарных факультетов ЛГУ и МГУ относится уже к периоду после 1934 г., когда политика советского государства по отношению к исторической науке стала круто меняться. Идеи Интернационала к тому времени обветшали, а о грядущей войне говорилось всё настойчивее. Неизбежно вставала задача «воспитать историей» будущих защитников СССР (Платонова, 1999: 466—478). Именно тогда вместе с гражданской историей оказалось «реабилитированы» археология, вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение. Однако эти события принадлежат уже совершенно иной эпохе в истории университетской археологической науки.

7.3.2. Археологическая аспирантура 1920-х гг.

Любопытный документ эпохи — один из циркуляров Наркомпроса — донес до нас следующий перл: ГАИМК предлагается «*произвести вербовку (sic!) в аспирантуру...*» (РА ИИМК РАН. Ф. 2. 1925. № 56). Этот армейский сленг живо напоминает о том множестве «фронтов», которые большевики организовывали в своей стране в мирное время — фронт уборки урожая, стахановский фронт и т. д. Археологическая аспирантура являлась составной частью многоплановой системы научно-исследовательских институтов и университетов. Процессы, отражающие ее развитие, в известной мере характеризуют и развитие идеологии в государственном масштабе. На идеологическую направленность аспирантуры указывала Инструкция РАНИОН «О порядке подготовки научных работников в научно-исследовательских институтах».

Документом, определявшим научную проблематику аспирантур в масштабе страны, явился циркуляр Госплана, в котором была сформулирована идея о превращении науки в активно действующую производительную силу и необходимости подчинения ее *плановой* системе развития. В числе «разнообразных научных и исследовательских организаций», чью деятельность следовало планировать «в согласии с запросами экономической политики», стояли и учреждения археологического профиля.

Выше мы уже останавливались на важности включения археологических отрядов в состав комплексных экспедиций, организованных с целью исследования экономических перспектив территорий. Но это имело и свою оборотную сторону. С указанного времени начинаются попытки «планировать» археологию свыше. Первоначально требования плановости применяются только к делам аспирантуры. Одновременно с 1926 г. обозначается тенденция усиления администрирования и контроля за её деятельностью, отражённая в так называемом «Вопроснике по отчету аспирантуры 1926 г.». Сюда были включены следующие вопросы: как организовано руководство? Существуют ли типовые планы? Как реализуется план? Как относятся сами аспиранты к работе? и т. д. (РА ИИМК. Ф. 2. 1926. № 67).

Параллельно руководство Наркомпроса заботилось и об *усилении роли аспирантов в жизни учреждения*. В 1927 г. при президиуме ГУСа, в Комиссии по подготовке научных работников было утверждено «положение об организации аспирантуры в институтах и вузах». В нем впервые вводился институт так называемых аспирантских представителей, созданный «в целях планомерного участия аспирантов в деле подготовки научных работников и обеспечения благоприятных условий на местах для осуществления задач, стоящих перед аспирантурами». Так реализовалась, теперь уже в научно-исследовательских учреждениях, та же система, которую в начале 1920-х власти уже опробовали в вузах. Тогда введение студенческих представителей в преподавательские советы надежно позволяло проваливать любые инициативы «консервативно настроенных» профессоров. В ГАИМК в 1928 г. было создано Бюро аспирантских представителей, наделенное многими правами. В первый состав его входили от руководства ГАИМК — А.А. Миллер и Н.П. Сычѳв, от аспирантов — П.Н. Шульц и С.Н. Замятин.

Бюро контролировало вопросы о подготовке аспирантов, о делах аспирантов в Совете ГАИМК и т. д., а в то же время особые «проверочные тройки» обязаны были контролировать работу самого Бюро. Так директивами ГУСа и Главнауки в ГАИМК именно через аспирантуру шаг за шагом внедрялась советская бюрократическая система многоступенчатого контроля. В первое десятилетие своего существования академия хорошо умела обходиться без неё. Активное нежелание её Правления и Совета прислушиваться к новым веяниям проявлялось во многом, как, например, в том, что семинар по марксизму-ленинизму был организован не в первые годы существования аспирантуры, а лишь с 1927 г. под давлением ГУСа и отчасти самих аспирантов. Тогда из университета был приглашен для руководства им проф. И.С. Плотников, который в дальнейшем и оказался неизменным членом «проверочной тройки» (РА ИИМК. Ф. 2. 1929. № 6, л. 34 об.).

В общем, наблюдая непрерывную «заботу» руководящих идеологов СССР об университетах и аспирантуре, становится понятной та самая уверенность, с которой наверху ожидали первых самостоятельных шагов молодых марксистов на научном поприще. И здесь приходится констатировать следующее: ожидания оказались на первых порах обмануты.

Разумеется, воспитание, которому с начала 1920-х гг. уделялось такое внимание, принесло свои плоды. В первом выпуске аспирантов-археологов все возлагали большие надежды на грядущее внедрение марксизма в археологию и верили в необходимость перестройки советской науки. На первых порах наибольшую активность в практическом овладении марксизмом обнаружили аспиранты ИАИ РАНИОН — ученики В.А. Городцова. Во второй половине 1920-х ИАИ был идеологизирован значительно больше, чем ГАИМК, в которой ведущую роль играли палеоэтнологи школы Ф.К. Волкова (А.А. Миллер, П.П. Ефименко), а также востоковеды и антиковеды старой школы (Б.В. Фармаковский, С.А. Жебелѳв, С.Ф. Ольденбург и др.). Руководителем московских аспирантов по марксизму был В.М. Фриче, которого называли «корректнейшим» и «добрейшим» человеком. Это был действительно человек не без способностей, весьма образованный, но по природе своей агитатор, а не учёный. Задолго до революции он стал членом РКПб. Историю искусства XIX в. он разбирал с классовых позиций, социологически — и читал на эту тему публичные лекции. Соратники-партийцы с умилением рассказывали, как однажды в 1900-х гг. вполне невинная лекция Фриче по искусствоведению вдруг вылилась в Москве в массовую антиправительственную демонстрацию. Второго такого казуса в полицейских анналах не было (Нусинов, 1929: 24–37). Таким образом, главным умением этого человека было убеждать и увлекать молодѳжь в своё русло. С людьми зрелыми у него получалось хуже: непремѳнный секретарь АН СССР С.Ф. Ольденбург однажды назвал его в сердцах «дураком от марксизма» (Перчѳнок, 1991: 183).

Можно не сомневаться, что семинарские занятия В.М. Фриче с молодыми археологами были яркими и эффектными, внушая им немало надежд на плодотворность социологического метода анализа. Вероятно, в 1928 г. у него были все основания полагать, что «молодая школа», растущая вокруг В.А. Городцова в ИАИ, «отправляясь от его концепции, будет развивать ее дальше *в направлении уже в ней самой заложенного социологического построения истории материальной культуры...*» (Фриче, 1928: 7). В 1927–1928 гг. несколько аспирантов В.А. Городцова выступили

с серией небольших методологических эссе в социологическом духе, приступив, таким образом, к делу внедрения марксизма в археологию на практике.

Разумеется, марксизм, изучаемый по «Азбуке коммунизма» Н.И. Бухарина, был настолько прост и прямолинеен, что внедрить его казалось не слишком сложным делом, но вот получить реальную отдачу — пойти дальше самых простых «диалектических» объяснений — уже было трудно. Социологического схематизма в этих юношеских эссе оказалось достаточно. Однако природная талантливость и свежий взгляд порою позволяли авторам действительно заметить новые аспекты проблемы (Арциховский, 1927; Брюсов, 1928; Смирнов, 1928; Киселев, 1928). Поэтому их первые выступления не стоит расценивать однозначно. Однако был во всём этом тревожный момент. Едва угадав какие-то неясные контуры реальных явлений, молодые марксисты без малейших сомнений брались реформировать науку в целом, не задумываясь о том, что они ещё не обладают для этого ни достаточными знаниями, ни кругозором. Будь ситуация в обществе иной, это было бы не страшно. Однако установка, данная молодёжи — «отталкиваться» от идей их учителей и не оглядываться на них, выполняя свою особую миссию по перестройке научных методов, — подрывала надежду на то, что в дальнейшем такое положение будет исправлено безболезненно.

Указанные выступления произошли в самый канун первых идеологических кампаний против русской гуманитарной науки, которые были начаты в конце 1928 г. раздутым на всю страну «делом академика Жебелёва». «Дело» это, направленное, по сути, против АН СССР, рикошетом задевало ГАИМК и археологию в целом (ПФА РАН. Ф. 208. Оп. 2. № 57, л. 32–40; Тункина, 1997; 2000). Дальнейшие события показали, что идеологическое руководство постепенно разочаровывалось в первой поросли аспирантов-марксистов и в их способности самостоятельно похоронить «старую» науку. Значительно большие надежды с 1929 г. стали возлагаться на следующее поколение учащихся, вся сознательная жизнь которого прошла уже фактически при советской власти. В отличие от первых аспирантов — М.И. Артамонова, Н.Н. Воронина, С.Н. Замятина, Г.Ф. Корзухиной, П.Н. Шульца, А.А. Иессена, Т.С. Пассек, Б.А. Латынина, в среде которых в конце 1920-х гг. ещё не было ни одного члена ВКПб, студенты, окончившие университет в 1930–1931 г.г. (П.И. Борисковский, С.С. Черников, Е.Ю. Кричевский, А.Н. Круглов, Г.В. Подгаецкий, А.Н. Бернштам, Б.Б. Пиотровский, А.Н. Рогачёв, С.А. Капошина и др.) уже поголовно были комсомольцами и коммунистами. В школе они учились по «комплексным программам», которые полностью исключали хоть сколько-нибудь целостные представления об истории и историческом процессе, зато целенаправленно прививали умение сводить сложное к простому, за многоплановым видеть одноплановое и трактовать в «нужном» направлении любой исторический факт (Волобуев, Кузина, 1986). Б.Б. Пиотровский был одним из немногих, перечисленных здесь, кто мог получить, помимо школьного, и кое-какое домашнее историческое образование. Показательно, что, по собственному признанию, он не один раз был на грани исключения из университета за «академизм».

В специальной области все эти студенты имели прекрасных руководителей, и показательно, что в дальнейшем практически все они сумели оставить заметный след в науке. Но историю им в действительности пришлось изучать уже в поряд-

ке самообразования после того, как партия того потребовала в 1934 г. (Алленова, 1986; Олегина, 1986). Этого нельзя не учитывать, анализируя их позиции и их поведение в 1930–1934 гг.

Именно этого выпуска с надеждой ждало новое партийное руководство, исподволь внедрённое в археологические учреждения к 1929 году. В ГАИМК это произошло следующим образом: до конца 1928 г. товарищем председателя (т. е. заместителем) был акад. С.А. Жебелёв. Однако в дни нагнетания газетной истерии после исключения его из профсоюза научных работников, Н.Я. Марр был вынужден спешно изготовить фиктивный протокол о его уходе по собственному желанию, чтобы не увольнять его по указке свыше. Одновременно Н.Я. Марр, обладавший тонким чутьем конъюнктуры, отказался от выборов нового товарища председателя, официально заявив, что этот человек *должен быть партийным*. Единственное условие, которое в данном случае поставил Марр, заключалось в том, что партийный кандидат *не должен быть совершенно чужд науке*. Так в 1928 г. в стенах Академии появился её будущий новый глава — Ф.В. Кипарисов (РА ИИМК. Ф. 2. 1929. № 6, л. 5–6).

Позиция Н.Я. Марра и И.А. Орбели в начале 1929 г. была такова: «молодняк» надо организованно вводить в научные учреждения, которые сами должны осознать, зачем это делается. А молодые *обязаны* предложить новые, марксистские решения научных проблем. Не надо «объявлять поход на марксистский подход», надо с ним ближе знакомиться. «Смена должна выступить активно, она должна выступить в работе, — заявлял Н.Я. Марр на общем собрании ГАИМК 23 января 1929 г., — а пока недавнее совещание в РАНИОНе, где собрались молодые этнологи и несколько человек пожилых ученых, показало, что, *когда дело дошло до конкретной работы, то молодые ученые во всем оказались согласны с пожилыми* и ничего своего на смену не выставили... (курсив мой. Н.П.)» (РА ИИМК. Ф. 2. 1929. № 6). К чести первых аспирантов ГАИМК, они поступали точно так же, как московские молодые этнологи.

В делах научных аспирантов ГАИМК выступали в добром традиционном ключе, как достойные ученики А.А. Миллера, говоривавшего в 1920-х гг., что он-де «не знает археологов по имени Маркс и Энгельс». Научная среда 1920-х гг. с её не утихшей еще самодеятельностью и многоголосьем взглядов, с её обилием добровольных научных обществ (порою просто кружков, собиравшихся на дому), краеведческих организаций и т. д. оказала неожиданно сильное влияние на молодых людей. А в партийно-профсоюзной среде этого времени, наряду с уже привычным лозунгом: «Идет смена», начало повторяться другое, угрожающее: «Смены нет!» Так, обманувшись в своих первоначальных надеждах на быструю «перестройку снизу», центральные органы с середины 1929 г. сделали ставку уже на «перестройку сверху».

«Ликвидаторские» тенденции по отношению к археологической науке, обозначившиеся в СССР в 1929 г., были обусловлены историческими условиями эпохи Великого перелома. Именно тогда эта наука внезапно оказалась совсем ненужной. Рухнула этнологическая парадигма эпохи нэпа, рассматривавшая археологические работы как один из аспектов *комплексного изучения человека*, необходимого для выработки разумной национальной и экономической политики. Новая концепция, по которой археология могла бы

представлять собой для советского режима хоть какой-то интерес, была сформулирована не сразу. На неё стали смотреть, как на обузу, требующую лишней траты «народных» денег. Все последующие события закономерно вытекали из этой установки.

7.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДОСНОВА РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В СССР 1920-х гг.

В настоящий момент представляется вполне доказанным, что краеведческое («краеведное») движение в России в первый послереволюционный период действительно представляло собой «беззаветное общее движение провинциальной интеллигенции спасать от бесчисленных в то время случайностей все многочисленные памятники культуры...» (Шмидт, 1990: 18). Трудно подсчитать общее число краеведческих организаций, возникших в 1920-х гг. Для этого необходимо проработать совершенно необозримый архивный материал, хранящийся в разных городах бывшего СССР. Подсчёты различных исследователей обнаруживают очевидный разброс цифр, что обусловлено, по-видимому, различным характером подхода к материалу. В настоящий момент представляется очевидным, что число таких организаций в 1917 г. в целом по стране было не менее 155 (по другим данным — 216). К 1929 г. это число увеличилось, по меньшей мере, в 8 раз — до 1751 (или, по другим подсчётам, до 2000) (ГИМ ОПИ. Ф. 54. Папка 15 (музейная сеть); Краеведческие учреждения... 1925; то же, 1927; Гарданов, 1957: 7–36;). Процесс шёл спонтанно при явно насторожённом отношении со стороны центральной власти, заявлявшей устами заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского, что «охрана памятников искусства и старины стала чем-то вроде официальной мании в СССР» (Шмидт, 1990: 16).

Раздражение центральной власти на краеведов, успевших в 1920-х гг. оформить своё движение организационно, напрямую связав своё Центральное бюро (ЦБК) с Академией наук, самостоятельно провести три всероссийских конференции (первая имела место уже в 1921 г.) (Толстов, 1932: 35–37; Ионова, 1957: 37–72.), а во многих случаях и наладить выпуск своей печатной продукции, объясняется достаточно просто. Краеведческая работа, объединявшая различные круги населения, представляла собой непрерывный процесс *воспитания культурой и историей*, того приобщения к традициям, которое до конца так и оставалось неподконтрольным советским властным органам. Краеведы на местах прекрасно обходились без общепринятых методик, без утверждённых ГУСом планов, без руководящих товарищей. Среди них практически не было тех, кого диктаторский режим мог бы считать «социально близкими», ибо краеведы 1920-х гг. неизменно оказывались людьми образованными.

Интересный источник для характеристики мировоззрения интеллигентов 1920-х гг., связавших свою судьбу с краеведным движением, содержится в уголовном деле А.Э. Серебрякова, бывшего сотрудника Эрмитажа, а затем белого офицера и, по-видимому, резидента иностранной разведки, нелегально явившегося в Ленинград в феврале 1924 г.

Оказавшись на Родине, Серебряков посетил многих прежних друзей, выясняя их политические взгляды. В дальнейшем, будучи арестован при обратном переходе границы, он дал показания, представляющие сегодня немалый интерес для изучения общественных настроений в СССР в начальный период нэпа.

«Все мои друзья, которых я видел, — рассказывал Серебряков на допросах. — <...> [которые] совершенно отрицательно относятся к какому бы то ни было белому движению, говорили с энтузиазмом о своих работах на научном поприще, в музейном и школьном деле, отзывались с большим одобрением о современной учащейся молодёжи. Все они говорили, что произошёл большой сдвиг, и для всякого, искренне желающего работать на культурном поприще, имеется полная возможность это сделать. Они утверждали, <...> что, если отойти от политики, то можно спокойно посвятить себя избранному делу. Они говорили, что жизнь значительно изменилась к лучшему, и, безусловно, страна возрождается» (Архив УФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области. № 20704, л. 19).

Друзьями Серебрякова, на которых он ссылался, были виднейший деятель отечественного краеведения Н.П. Анциферов, археологи Г.А. Бонч-Осмоловский и А.В. Шмидт, этнографы и музейные работники А.П. Смирнов, Ф.А. Фиельструп, Т.С. Стахевич (племянница Веры Фигнер). Описывая разговор с Н.П. Анциферовым, Серебряков показал: «Когда я ему рассказал о своих впечатлениях о жизни в Советской России на основании чтения советских газет, то он ответил: «Я газет почти не читаю, дорого это, да и времени нет, слишком много дела. Ты, может быть, знаешь больше нашего, но твои знания теоретичны. Надо пережить, прочувствовать совершающееся здесь...». Он указывал, что надо оставить политику, что он сейчас не только беспартийный, но аполитичен и политикой не интересуется. Много рассказывал о своей экскурсионной работе, о том, с каким вниманием слушают. <...> Затем много говорил о комсомольцах, что в комсомол уходят лучшие, самые энергичные ученики школ 2 ступени, все те, кто жаждут общественной деятельности...» (Там же: л. 52).

Таким образом, по сути, краеведческая деятельность, «культурная работа» оказалась своеобразной «экологической нишей» для целой социальной группы, которая, не желая продолжения политической борьбы с советской властью, всё же считала необходимым противопоставить свой тихий голос господствующей идеологии отречения от «старого мира». Таких людей в 1920-х гг. нашлось немало, и они ненавязчиво корректировали воззрения молодых советских людей, обучая их уважению к прошлому. Как видно из приведённых цитат, таким наставникам, как Н.П. Анциферов, не приходилось жаловаться на невнимание со стороны молодёжной аудитории. Вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что именно это влияние «идеологически чуждых» учителей на молодёжь и решено было пресечь в 1929 г., когда во внутренней политике СССР произошёл поворот от нэпа в сторону резкого ужесточения диктатуры. Одновременно с учителями репрессиям нередко подвергались и ученики. В частности, можно указать, что из числа упомянутых в показаниях А.Э. Серебрякова ленинградских комсомольцев, слушавших лекции Н.П. Анциферова, очень многие были «зиновьевцами». Их судьба в начале 1930-х гг., вероятно, оказалась плачевной.

Формулы обвинений против краеведов 1920-х гг., которыми пестрили страницы журналов эпохи Великого перелома, поражают своей беспросветной

злостью. Приведу несколько перлов такого рода: «Буржуазные контрреволюционные историки-краеведы умышленно ушли от революционных, близких нам тем, ушли от истории классовой борьбы, чтобы на узких темах истории уездов, районов и областей продолжить путь для замаскированных антипартийных выступлений» (Против вредительства... 1931: 1–2).

«Классовый враг глубоко проник в работу краеведных организаций. <...> Подбор людей производился из враждебных нам элементов, из среды интеллигенции, студенчества. Главная же ставка делалась на кулачество. Этими силами велась работа специально по подготовке интервенции <...>. При организации музеев собирались <...> иконы и всяческая другая ненужная и социально-вредная рухлядь» (Хлыпало, 1931: 19–21, 23).

Весной и летом 1930 г. Центральное бюро краеведения (ЦБК) было поголовно обвинено во вредительстве. Его объявили «Информационно-организационным центром» никогда не существовавшего «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», создание которого приписывали видным академикам-историкам (Перчёнок, 1991: 195–206.; Академическое дело... 1993). В провинции людей, занимавшихся «культурной работой», арестовывали десятками. Краеведческие издания повсеместно закрывались. Районные и уездные музеи, организованные энтузиастами иногда на собственные деньги, уничтожались, их экспонаты выбрасывались или вывозились в более крупные хранилища (в последнем случае материал нередко оказывался депаспортизованным и пропал). Впрочем, трагической оказалась судьба не одних только мелких музеев. Оказалась разрушена вся музейная инфраструктура СССР. В частности, в те годы оказались закрыты все крупнейшие этнографические музеи Москвы и Московской области. По справедливому замечанию А.А. Формозова, отечественная музейная сеть до сих пор не оправилась от этого удара, нанесённого ей в 1929–1934 гг. (Формозов, 1995: 45).

Разгром краеведения привёл к тому, что дело разведочных археологических обследований в СССР, начатое в середине 1920-х гг., к 1931 г. сократилось до минимума. Налаженная в ГАИМК с 1927 г. система, предполагавшая привлечение местных краеведов к работе по составлению археологических карт, дала к 1929 г. блестящие результаты. Именно на основе данных, полученных за эти 2–3 года, в академии были составлены те огромные картотеки, которые до сих пор являются основной источниковедческой базой для изучения обширных территорий русского Северо-Запада (современные Ленинградская, Новгородская, Псковская области, часть Вологодской и т. д.) (РА ИИМК РАН. Ф. 2. 1931. Картотека памятников Ленинградской обл.). Достаточно велик был вклад краеведов в дело археологического обследования Северного Кавказа, Поволжья, Сибири и других регионов. Однако разрушение музейной инфраструктуры и поголовные аресты в среде работников, являвшихся главной опорой центральных археологических учреждений на местах, привели к неизбежному прекращению подобной практики. Разрушение региональных ассоциаций краеведческих учреждений, через которые в конце 1920-х гг. нередко осуществлялось финансирование крупных археологических экспедиций, тоже тяжело отозвалось на постановке полевых исследований в СССР. Напомним, что лишь на Кавказе в эпоху нэпа существовало более десятка *научно-исследовательских институтов краеведения* и научных

обществ, объединённых в *ассоциации* (Северо-Кавказский горский институт краеведения, Осетинский НИИ краеведения, Ингушский институт краеведения, Кабардино-Балкарский НИИ краеведения и т. д.). Аналогичные крупные краеведческие ассоциации имелись в Среднем и Нижнем Поволжье, в Сибири и ряде других регионов. В составе их работали талантливые археологи, под руководством которых в конце 1920-х гг. уже начали складываться региональные археологические школы (В.В. Гольмстен, П.С. Рыков, Н.К. Ауэрбах, Б.Э. Петри и др.). В 1929–1930 гг. значительная часть их оказалась разгромлена.

Один из самых старых и уважаемых краеведов Средней России Степан Дмитриевич Яхонтов, сумевший в 1918 г. спасти рязанские архивы, а в 1920-х гг. мечтавший превратить Рязанский кремль в «музей александрийского типа», дотошно и бесстрашно записывал в тюрьме, куда он попал весной 1929 г.:

«...Население Дом-Зака <...> всегда в своём составе отражает или политический, или социальный момент в жизни народа <...>. Не выходя из тюрьмы, можно хотя бы приблизительно представить себе, что творится в жизни страны вне тюрьмы. При моём вступлении было всех 500, в январе — 760, в конце его — 800, в феврале — 900, в конце февраля — 1000 с небольшим. А тюрьма рассчитана на 250 человек <...>.

<...> В [камере] № 3 устроили чтения «научные» по естествознанию, археологии и истории. Ко мне на койку усаживались в круг, и я увлекался <...>. Это вошло в календарное расписание <...>. Здесь я насмотрелся на горе и слёзы, что лились рекой <...>. О, если преподнести им всё это на Страшном суде! Нет... раньше! А то — далеко!

<...> В культурно-просветительном пути мы заметно подвинулись назад и несёмся быстро в такое пространство, откуда будем выбираться опять многими десятилетиями, если не столетиями.

Нам, современникам, пережившим эту трагедию, только и понятна каждая строка повествования. Следующее поколение потребует огромных комментариев...» (Мельник, 1990: 71–72).

Записки С.Д. Яхонтова — уникальный документ той эпохи — были извлечены из архива и частично опубликованы только через 60 лет после их написания. Предвидение их автора насчёт «многих десятилетий», по-видимому, оказалось пророческим.

7.5. «МАРРИЗМ» В АРХЕОЛОГИИ

Марризм имеет весьма отдаленное отношение и к языкознанию, и к археологии, и к науке вообще. Это было уродливое *явление культурной жизни* России на переломном этапе. В основе лежала попытка потрясённого ума доказать себе и миру, что действительное разумно. В марризме, в ряде его априорных утверждений, как в кривом зеркале, отразились факты послереволюционной советской действительности, реминисценции политической пропаганды, утверждавшей закономерность и оправданность диктатуры в СССР, а также несколько излюбленных, но не доказанных тезисов из старых работ самого Марра.

«Каждая эпоха <...> с присущим ей языковым типом знаменует новое мышление, — писал Н.Я. Марр, — <...> иногда механизм языка остается <...> тот же от структуры пережитого типа, но говорящий на нем народ успел в общем процессе переворота <...> социального строя и с ним речи перейти на новое языковое мышление, мыслит по-новому, и тогда мы наблюдаем, что народ ломает или уродует завещанные формы, извращенно понимает их, ибо строит из них новые» («О происхождении языка»). Здесь буквально все — результат непосредственных впечатлений от жизни в СССР «в общем процессе переворота социального строя». Ломка и уродование языковых и культурных представлений — это то, с чем сам Марр и люди его круга сталкивались непрерывно. Хотя «структура» русского языка в СССР 1920-х гг. вроде бы осталась прежней, тем не менее язык — деловой, повседневный, язык газет и политической речи — всего за несколько лет изменился неузнаваемо. В деловую и политическую речь хлынул полуармейский/полублатной сленг, соответствовавший, по-видимому, «классовым диалектам» новых господ положения. Роль национального, а заодно и географического факторов в деле преобразования общественных форм на глазах были сведены к минимуму. Шёл процесс коренных перемен в обществе. Дальнейший ход его в начале 1920-х годов ещё был мало кому понятен. В «новом учении об языке» отразилось не что иное, как *марровское понимание современности и будущего* (вероятно, совершенно искреннее), за которым ему выделились универсальные законы развития культуры, языка и общества. Начиная с 1923—1924 гг. сам характер и стиль его выступлений — печатных и публичных — свидетельствуют о психическом заболевании. Нет смысла останавливаться на этом здесь, ибо *post factum* Марру был поставлен диагноз, и диагноз этот опубликован (Алпатов, 1991: 77–78).

Таким образом, в новом учении о языке (или яфетической теории) Н.Я. Марра содержалось утверждение о закономерности и оправданности любых потрясений в обществе, коль скоро они обусловлены его внутренним развитием. За уродливым процессом разрушения языка и культурных ценностей как бы маячили прекрасные контуры будущего. Для советской пропаганды, озабоченной внедрением в умы именно этого тезиса, «новое учение» представляло настоящий клад. Конечно, оригинальные тексты больного Н.Я. Марра были неудобочитаемы, но у них быстро нашлись толкователи. Именно здесь таится секрет официального признания совершенно безумного учения обязательной догмой на государственном уровне. Само по себе это едва ли на самое убийственное свидетельство ничтожности так называемой «теоретической мысли» нарождавшейся марксистской схоластики.

Главным «переводчиком» Н.Я. Марра на понятный всем язык был его сотрудник И.И. Мещанинов. Но доказывать марксистскую сущность этого учения ему — сыну товарища министра юстиции в царском правительстве — в 1920-е годы было не по чину. За «увязку» яфетической теории с марксизмом в 1927 г. взялся будущий известный историк античности С.И. Ковалев. Его выводы сводились к следующему:

1. Яфетическая теория есть *чисто материалистическое учение* (ибо процесс возникновения речи выводится ею целиком из материальных факторов).

2. Яфетическая теория есть *рассмотрение явлений в динамике* и утверждение процесса общественного развития как *мутационного*, а не эволюционного (диалектика!).

3. В динамике общественного развития яфетическая теория подчеркивает значение *внутренних движущих сил*.

4. Яфетическая теория отрицает решающее влияние *географического* и «*расового*» факторов в развитии языков.

5. Яфетическая теория утверждает, что *смена форм языкового мышления обусловлена сменой общественно-экономических формаций*.

6. Яфетическая теория связывает происхождение языка с *коллективной трудовой деятельностью*.

7. Яфетическая теория есть учение о влиянии *классовых* отношений на языкотворчество. *Языковые явления обусловлены социально-экономическим фактором*.

Все это, по мнению автора, неопровержимо свидетельствовало о «большой близости» яфетической теории к марксизму (РА ИИМК. Ф. 2. Оп. 3. № 619, л. 16–29).

На примере этой работы, написанной, в общем, сведущим человеком, имевшим представление о *научном* методе исследования, мы можем наглядно зафиксировать начавшуюся деформацию научного мышления под воздействием тех требований, которые предъявляла ему растущая политизация исторических наук.

Для С.И. Ковалева в 1927 г. яфетическая теория оказалась верна не потому, что он потрудился проверить методическую строгость хоть одного из ее доказательств, основанных на бредовой, пестрящей недопустимыми ляпсусами «палеонтологии речи», а потому что «сознательно или бессознательно <...> она последовательно применяет диалектический метод к исследованию языковых явлений». Большая часть ее выводов соответствовала (хотя бы на уровне ассоциаций!) затверженным догматам марксизма. Это автоматически гарантировало от всякой серьёзной *проверки* степени научности этих выводов. В заключение своего разбора С.И. Ковалев со знанием дела очертил «программу» дальнейших действий, заключающуюся в том, что «*яфетическая теория и марксизм должны объединиться*». По его словам, яфетическая теория «должна признать марксизм как свою общефилософскую и социологическую базу, пересмотреть терминологию, внести ясность <...>. Марксизму же необходимо принять яфетическую теорию как свой специальный лингвистический отдел (sic!). <...>. *Яфетическая теория не только кабинетное учение*, но и мощное орудие культурного раскрепощения» (курсив мой. — Н.П.) (Там же).

Дальнейшее показало абсолютную реальность этой перспективы. Важность данного сюжета для нашей темы определяется тем, что, являясь действительно не кабинетным учением, а мощным орудием обработки умов, теория Н.Я. Марра имела непосредственный выход на археологию.

Если попытаться сформулировать, чем же являлась теория стадильности именно в археологической науке, то ответ будет такой: эта теория ассоциируется с крайним автохтонизмом (вплоть до полного отрицания миграций) и признанием мутационного характера развития культуры всецело за счет внутренних движущих сил. Основой указанного процесса саморазвития марризм признавал исключительно социально-экономические отношения, смену социально-экономических формаций. Именно она приводила, в его трактовке, к скачкообразным переходам (мутациям) и в языковой сфере, и в культурной.

Как известно, все профессиональные лингвисты 1920 — начала 1930-х гг. отвергли марризм («новое учение об языке») с порога. В археологии сложилось иначе. Теорию стадильности сочли приемлемой (но в собственной, «археологической» редакции!) многие серьезные специалисты, в том числе М.И. Артамонов, П.Н. Третьяков, Н.Н. Чернягин и др. И причина заключалась не только в том, что марризм навязывался директивно, сверху. Куда важнее другое: в отечественной науке 1910–1920-х гг. идеи «мутационных изменений» в культуре не представляли собой ничего одиозного. Они вполне логично вытекали из предыдущей, весьма уважаемой научной традиции, развивавшейся еще Н.П. Кондаковым. Вспомним, что последний понимал развитие культуры как непрерывную историческую связь явлений, а источник новаций в культуре видел в «соединении, взаимном ознакомлении, а затем и слиянии» различных племен (Кондаков 1896: 6–7).

Разумеется, представление о «культурном общении» и формировании на этой основе чего-то качественно нового, совсем не адекватно тому, что потом утверждал марризм. Но важно другое: стремление отойти в трактовке материала от теорий миграций и прямых заимствований, обнаружить источники развития внутри самой культуры, а не вне ее, являлось одним из важных аспектов отечественной археологической мысли еще перед революцией.

Ведущие археологи 1920-х гг., обдумывая ход процесса смены культур, порой абстрагировались от привычных шаблонов и действительно допускали возможность быстрых «мутационных» изменений. В частности, А.А. Миллер склонен был соглашаться с тем, что «не миграционные процессы играли вообще решающую роль в образовании культурных форматов, а факторы совершенно иные, и <...> древнее население не исчезало бесследно в тех местах, где оно было и ранее (курсив мой. — Н.П.)» (Миллер 1927: 16). Главной проблемой для него оставалась возможность «обнаружить подобные превращения археологическим путем», то есть обосновать их фактами (см. 5.5.2).

Таким образом, между А.А. Миллером и Н.Я. Марром существовала явная переключка идей. Коренное различие между ними заключалось в том, что первый был озабочен совершенствованием археологических методов работы с памятниками и возможностью экстраполяции на них выводов, сделанных на основе анализа этнографических (живых) культур. Что же касается Н.Я. Марра и его ближайших последователей (И.И. Мещанинов), то их выводы из критики «старой археологии» оказались совершенно иными.

И.И. Мещанинов вошел в историю археологии не только благодаря масштабным полевым исследованиям в Азербайджане, но и благодаря публикации своеобразного манифеста яфетидологии — большой методологической статьи «О доисторическом переселении народов (анализ вопроса в яфетидологическом освещении)» (Мещанинов, 1928). В отличие от произведений самого Марра тех лет, это серьёзная, логично построенная работа с сильной критической частью. Она важна и полезна уже самой по себе острой постановкой вопроса о реальном историческом содержании, вкладываемом в понятия «влияния» и «миграции», происходившей в доисторическую эпоху.

Что реально могло собой представлять движение народа в каменном веке? Неужели в нем можно видеть нечто, походившее на «сокрушительные наше-

ствия» исторического времени? Скорее нет, — отвечает автор, — человек двигался тысячелетиями, с длительными остановками, временно оседая на новых местах, вступая в контакты с другими и т. п. Но в этом случае следует признать, что начали мигрировать одни, а «дошли» уже другие. «Что же тогда может нам дать переселение в общем вопросе культуротворчества, переселение в обычном узком его понимании, как стихийное движение сформировавшейся массы, несущей свои начала культуры с одного края света на другой?»

Яркими штрихами очерчивая методологический кризис, обозначившийся в археологии в связи с прямолинейной трактовкой развития культуры как пассивного восприятия чужеродных влияний, идущих извне (в связи с чем процесс имманентного, внутреннего развития полностью выпадал из сферы исследования), И.И. Мещанинов объективно делал полезное дело. Однако выводом из этой критической части, выводом неожиданным и в высшей степени не плодотворным оказывалось, что на основе изучения «вещественных памятников» вообще принципиально невозможно сделать достоверную историческую реконструкцию. Выход был намечен простой: «Археология должна знакомиться с жизнью языка, палеонтологией речи, которая приподымает тёмную завесу доистории» (курсив мой. — Н.П.).

Картина методологического кризиса в археологии (по сути, кризиса миграционизма и диффузионизма) в разных их течениях, грешила у Мещанинова большой упрощённостью. По его словам, «все работают одинаково». «Смелый подход к темным вопросам до-истории, не менее смелые суждения о культурной способности человека чуть ли не по единичным находкам, во всяком случае, полная готовность судить о нем, не дожидаясь накопления материала и уверенная речь о влиянии культур, обоснованная на стилистическом анализе. В итоге — объединение всего культуротворчества и поиски виновника его развития в едином очаге человеческой культуры...» (Там же: 207).

Трудно сказать, полемический запал или социальный заказ руководил И.И. Мещаниновым, когда он вновь и вновь возвращался в своей работе к этим категорическим утверждениям? Дело в том, что не только в мире, но и в СССР, и даже совсем рядом с Мещаниновым — в ГАИМК — «так» работали далеко не все. В 1920-х гг. и в европейской, и в русской археологии шёл поиск новых путей, и обвинения, бросаемые марристами ведущим отечественным археологам, были несправедливы.

Предлагая приподнять «темную завесу до-истории», И.И. Мещанинов имел в виду уже упомянутый выше метод «палеонтологии речи», изобретенный Н.Я. Марром и якобы позволявший проникнуть в отдаленнейшие уголки сознания древнего человека, реконструировать его мыслительные процессы. Так должны были получать научное объяснение те факты истории материальной культуры, перед которыми собственно археологические методы оказывались бессильны. На практике отрицание основ сравнительного языкознания, отсутствие даже признака научного подхода к разбору и сравнению между собой отдельных слов разных языков позволяло марристам с видимым наукообразием доказывать все, вплоть до самого откровенного абсурда. Так что вместо одного тупика археологам предлагался другой, значительно худший. Сразу оговорим: никто из серьезных специалистов этой рекомендации не последовал.

В конкретных работах 1930-х гг. этот «метод» никем не опровергался, но никем и не использовался¹.

Зато восприятие идей автохтонизма значительно облегчалось наличием в историографической традиции «комбинационистского» подхода, и особенно позицией в этом вопросе А.А. Миллера. Никто из его учеников не отрицал ведущей роли социально-экономического фактора в развитии общества. Но вряд ли мы ошибемся, предположив, что в их восприятии теории стадийности (тем более при анализе мозаики культур эпохи железа и средневековья) идеи комбинационизма (взаимодействие различных традиций и появление новых на их основе) нередко подменяли собой марровскую трактовку «переходов». Конечно, марристовское языкознание изрядно вульгаризировало эти идеи, придав культурным трансформациям статус еще и языковых. Теперь, в результате «перехода» возникали не только новые культуры, но и новые языки. Подобное положение сохранялось вплоть до официального «развенчания» Н.Я. Марра и его учения. Впрочем, начиная с конца 1930-х гг., с усилением патриотических настроений, в официальную трактовку этногенеза стали проникать традиционные тенденции «поиска знатных предков» родного народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обязательным атрибутом науки периода тоталитаризма является создание в рамках каждой научной дисциплины новой агрессивной историографической концепции, трансформирующей прежние представления о ходе развития исследований. Этим последним дается новое, во многом, одностороннее освещение, напрямую продиктованное идеологией тоталитарного государства. Впрочем, сказанное отнюдь не означает, что, сами по себе, такие концепции полностью лишены научного интереса.

Создателем агрессивной концепции в отечественной археологии XX в. стал В.И. Равдоникас (1930). В прежних работах мне уже приходилось анализировать эту яркую и очень неоднозначную фигуру нашей науки (Платонова, 2002б). Я постаралась подойти к этому, по возможности, объективно — отдавая должное одаренному человеку, немало сделавшему для отечественной археологии, но и не умалчивая о том, что было в его деятельности темного. В результате некоторые восторженные почитатели В.И. Равдоникаса, по-видимому, сочли, что я оскорбляю память моего героя, а его непримиримые критики — что он уж слишком меня восхищает. Что ж, попытка сохранить объективность нередко чревата непониманием. Так или иначе, преодоление мифологических стереотипов, подобных созданному В.И. Равдоникасом и его последователями, и сравнительный анализ разных, весьма противоречивых трактовок образа науки является одной из важнейших задач историка.

Я постаралась показать, что изначальный толчок к разделению археологии на «историческую» и «естествоведческую» в европейской науке дало становление классического позитивизма, представлявшего человеческое общество управляемым едиными жесткими «законами», имеющими столь же непреложный характер, как и законы естественного мира, природы. Это в свое время привело к размыванию граней между общественными и естественными науками и к отнесению не только археологии (за вычетом искусствоведения), но и самой истории к числу «естественных дисциплин».

Отзвуки и реминисценции указанного подхода до сих пор наблюдаются в науковедении. Именно здесь коренятся существующие ныне противоречия в классификациях наук, принятых в разных странах, а также периодически возрождающееся стремление сблизить археологию (в основном, первобытную) с комплексом естественных дисциплин уже в его современном понимании. В результате теперь мы имеем в России целую серию различных «антропологий» — социальную, культурную и даже «культуральную». Все они «подаются самопровозглашенными специалистами как полное новшество» (Артемова, 2008: 148). Между тем, эти дисциплины действуют в пределах одного информационного поля, предмета и методов — того самого, которое в России на протяжении всего XX века соответствовало информационному полю, предмету и методам, с одной стороны, этнографии/этнологии, с другой — археологии. Практически то же самое можно сказать о ряде направ-

¹ Из археологов палеонтологию речи пытались применять на практике только непосредственные ученики Н.Я. Марра — Т.С. Пассек, Б.А. Латынин и В.И. Равдоникас, но лишь в самом начале 1930-х гг.

лений современной российской культурологии, включающей, в частности, «культурогенетику».

Само по себе, разделение археологии на «историческую» и «естествоведческую» не является жестким и абсолютным. В истории науки бывали случаи, когда профессиональные естествоведы следовали в своих археологических изысканиях логике гуманитарного исследования — используя для решения конкретных задач естественнонаучные методики сбора информации о прошлом. Напротив, археологи-гуманитарии, случалось, демонстрировали идейную близость естествоведам, рассуждая об историческом процессе в древности в самом жестком позитивистском ключе. Таким образом, на практике указанные исследовательские подходы порою соприкасаются. Однако это «сближение» касается лишь деятельности отдельных конкретных ученых и противоречий в их теоретических воззрениях, а не выделенных концептуальных платформ как таковых.

Настоящая монография, разумеется, не претендует на полный охват материала. В частности, в ней отсутствует подробный анализ региональных археологических школ, складывавшихся, начиная с рубежа XIX–XX вв. вне Санкт-Петербурга и Москвы. Фигуры разных исследователей тоже освещены в книге в различной степени: о ком-то сказано достаточно, о ком-то — вовсе мало. Но я совершенно сознательно последовала здесь указанию незабвенного русского мыслителя Козьмы Дамиановича Пруткова: «Нельзя объять необъятное». История науки, как и история культуры в целом, практически неисчерпаема, и я ни на миг не допускаю, что своей работой я могу «закрыть» всю историю археологической мысли в России до начала 1930-х гг.

В книге проанализирована не только та часть научного наследия прошлого, которая оказалась воспринятой и развитой последующими поколениями ученых. Не меньшего внимания заслуживали, на мой взгляд, случаи разрыва прямой преемственности. «Скрытая» часть наследия, значительно реже попадающая в поле зрения историографов, включает не только то, что откровенно устарело, но и то, что оказалось понятым лишь в контексте археологической мысли позднейшего периода. К «верхней части айсберга» мы можем отнести идейное наследие А.А. Спицына, В.А. Городцова, П.П. Ефименко и др. Именно оно, взятое в целом, послужило основой того лучшего, что мы имеем в отечественной археологической науке 1930–1940-х гг. Конечно, пристальное изучение выявляет и здесь отдельные «скрытые» аспекты, оставленные без внимания ближайшими преемниками. Эти аспекты я постаралась рассмотреть в настоящей работе. К числу их относятся малоизвестные формулировки теоретических проблем археологии, принадлежащие А.А. Спицыну, а также культурогенетические представления Н.П. Кондакова, В.Р. Розена, А.А. Миллера, оказавшие большое влияние на археологическую мысль XX века.

К «нижней части айсберга» относятся, в первую очередь, теоретико-методологические подходы и разработки, отвергнутые и прочно забытые в период господства агрессивной концепции. В первую очередь, к ним можно отнести предпринятую А.С. Лаппо-Данилевским в 1910-х гг. разработку теории исторического источника и тесно связанную с ней теоретическую разработку археологии, как отрасли исторического источниковедения. А.С. Лаппо-Данилевский впервые классифицировал «остатки культуры» по степени *объяснимости* их фак-

торами, действующими на глазах историка, и указал на то, что их интерпретация представляет собой попытку «перевода образа мыслей автора на образ мыслей историка». Не менее интересными является для историка археологической науки попытка развития комбинационистских идей в марксистском ключе, предпринятая в 1920-х гг. П.Ф. Преображенским.

Сюда же следует отнести значительную часть методологических поисков и подходов, разрабатывавшихся отечественной палеоэтнологической школой. Для данного направления было характерно повышенное внимание к географической среде обитания древнего человека, а также к технике изготовления и функциям археологических предметов. В 1920-х гг. в рамках его был разработан целый ряд новаторских подходов. Однако, к примеру, мое поколение, вплоть до конца 1980-х гг. очень мало знало об этой исследовательской традиции в русской науке. Память о нем была буквально выкорчевана.

В наше время все обстоит наоборот. Деятельность палеоэтнологов ныне изучена даже лучше, чем, скажем, археология второй половины XIX в. Созвучность проблемам науки сегодняшнего дня (и реальная, и мнимая) сделала палеоэнологию объектом пристального внимания. Напротив, с ранним периодом все представляется более-менее ясным, не требующим разысканий и не слишком актуальным с современной точки зрения.

В этой книге я постаралась показать, что дело обстоит не так. Верное уяснение исследовательских подходов, к примеру, третьей четверти XIX в. очень важно для понимания научных традиций, сложившихся в России в дальнейшем. Поэтому предметом моего особого внимания стали работы русских археологов-первобытников, положившие начало «историческому подходу» к древностям каменного века, включая палеолит. Последнее нередко рассматривалось в историографии, как свидетельство отсталости отечественной археологической мысли. Но в действительности научные взгляды основоположников первобытной археологии в России базировались на самых передовых (на тот момент) достижениях европейской археологии (создание важнейших классификационных схем; методика комплексного исследования первобытности и т.д.).

Особенностью указанного исследовательского подхода можно считать ясное осознание исторического характера археологической науки. Одним из его постулатов являлась необходимость всестороннего изучения первобытных древностей, с одной стороны, учеными-естественниками, с другой — археологами-историками. При этом большое внимание отводилось комплексу методов естественных наук, но именно как вспомогательных средств исторического исследования.

Во второй половине XIX в. описанная научная традиция успешно развивалась в европейской археологии неолита, а также бронзового и железного веков (О. Монтелиус, С. Мюллер и др.). Однако начало изучения палеолитических памятников Европы совпало по времени с оформлением во Франции новой эволюционистской школы («palethnologie»), которая сумела всецело «приватизировать» данную тематику и фактически разделить археологию на две разные дисциплины. Напротив, в России А.С. Уваров предпринял попытку обосновать единый характер археологической науки, включая палеолитоведение. Его капитальная монография (1881) оказала огромное влияние на весь ход дальнейших исследований в этой области.

В целом, проведенный анализ идей, представлений и методик изучения первобытности в России третьей четверти XIX в. позволяет говорить об особенностях развития отечественной археологической мысли, взятой в общеевропейском контексте, но отнюдь не об ее однозначной «отсталости». Полученные результаты имеют прямой выход в область методологии современной археологии.

Важным моментом настоящего исследования явились также попытки проследить преемственность там, где на первый взгляд зияет только ее разрыв — в период 30-х годов минувшего века. К этому периоду мы все чаще обращаемся теперь, ибо вопрос о научной преемственности в такие переломные эпохи, как наша, является одним из самых насущных. А прошлое дает нам в этом отношении хорошие уроки — надо только уметь в него взглянуть.

В заключение хочу сказать: исследование научных подходов прошлого практически невозможно и бессмысленно, если они не актуальны с позиций сегодняшнего дня, не представляют для него насущного интереса. История науки выступает не как собрание окаменелостей, а как обобщение опыта, ценное для ныне работающих ученых. Именно с таких позиций я и рассматриваю свой собственный труд. Искренне надеюсь: он будет не бесполезен для всех, кто хоть сколько-нибудь интересуется историей России и ее культуры.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АВ — Археологические вести. СПб.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л./СПб.
АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
ГИМ — Государственный исторический музей. М.
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения. СПб.
ИА — Институт археологии РАН. М.
ИАИ — Институт археологии и искусствоведения РАНИОН. М.
ИАК — Императорская Археологическая комиссия. СПб.
ИИМК — Институт истории материальной культуры РАН. СПб.
ИРАО — Императорское Русское Археологическое общество. СПб.
КИПС — Комиссия по изучению племенного состава ИАН / РАН / АН СССР, СПб. / Л.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР.
КЭИ — Комиссия по экспедиционным исследованиям ИАН / РАН / АН СССР, СПб. / Л.
ЛВО — Ленинградский военный округ
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР. Л.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии РАН. СПб.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.
ПАВ — Петербургский археологический вестник. СПб.
ПФА РАН — Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. СПб.
РА — Российская археология. М.
РАИМК/ГАИМК — Российская/Государственная Академия истории материальной культуры — Пг./Л.
РАН — Российская Академия наук. М.
РЭМ — Российский этнографический музей. СПб.
СА — Советская археология. Л.-М.
СГАИМК — Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры
ТКБАЭ — Труды Костенковско-Борщевской археологической экспедиции ИИМК РАН.
Труды АС — Труды Археологического съезда
ФА — Фотоархив ИИМК РАН. СПб.
ЭОРМ — Этнографический отдел Русского музея. — СПб./Пг.

ЛИТЕРАТУРА

- Академические школы** в русском литературоведении. 1975. — М.: Наука.
- Академическое дело.** 1929–1931. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993.
- Алексеев В.М.** 1935. Николай Яковлевич Марр. К характеристике учёного и университетского деятеля // ПИДО. № 3/4. С. 67–68.
- Алексеев Л.В.** 1991. Е.Н. Клетнова — один из первых смоленских археологов // Очерки истории русской и советской археологии. М., С. 121–136.
- Алленова В.А.** 1986. Реформа высшего образования 1934–1940 гг. и предшествующий опыт университетской подготовки кадров историков // Развитие исторического образования в СССР. Воронеж: ВГУ. С. 72–83.
- Алпатов В.М.** 1991. История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука.
- Аникович М.В.** 1988. О месте археологии в системе общественных наук // Категории исторического познания. Л.: Наука. С. 73–98.
- Аникович М.В.** 1988а. «Три уровня археологического исследования» или три ступени исторического познания? // СА. № 1. С. 218–224.
- Аникович М.В.** 1989. Проблема определения археологии как науки в русской дореволюционной археологии // Историк об истории. Омск: ОмГУ. С. 4–26.
- Аникович М.В.** 1992. Проблема определения археологии как науки в советской литературе 1970–1980-х годов. Основные направления // Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск: ОмГУ. С. 5–23.
- Аникович М.В.** 2005. Принципы археологии и основные обобщающие понятия: «археологическая эпоха», «археологическая культура», «технокомплекс», «историко-культурная область» // SP. 2003–2004. № 1. С. 487–605.
- Аникович М.В.** 2007. А.Н. Рогачев и «конкретно-исторический подход» в палеолитоведении // РА. — № 4. — С. 64–71.
- Антология советской археологии.** 1995. Т. 1. 1917–1933. М.: ИА РАН. — 170 с.
- Анучин Д.Н.** 1882. Уваров А.С. «Археология России. 1. Каменный период». М., 1881 (рецензия) // ЖМНП. № 219. С. 359–408.
- Анучин Д.Н.** 1887. И.С. Поляков (1847–1887) // Русские ведомости. № 99.
- Анучин Д.Н.** 1888. Кто вводит в науку большие недоразумения? Вопрос и ответ профессора Д.Н. Анучина профессору Д.Я. Самоквасову. М.
- [Анучин Д.Н.]** 1890. Исторический очерк деятельности русских Археологических Съездов в связи с деятельностью Московского Археологического Общества // Историческая записка о деятельности Императорского Московского Археологического Общества за первые 25 лет существования. М.
- А[нучин] Д.** 1898. Габриель де Мортилье // АИЗ. № 9/10. С. 335–337.
- Анучин Д.Н.** 1900. Беглый взгляд на прошлое антропологии и на её задачи в России // Русский Антропологический журнал. 1900. Кн. 1. С. 25–42.
- Анучин Д.Н.** 1906. Памяти В.И. Сизова // Древности. Труды Имп. МАО. Т. 21. Вып. 1. Приложение. С. 1–15.
- Анучин Д.Н.** 1909. И.Е. Забелин как археолог в первую половину его научной деятельности (1842–1876) // Древности. Труды Имп. МАО. Т. 22. Вып. 2. С. 29–70.
- Анучин Д.Н.** 1909а. Труд проф. В.И. Модестова «Введение в римскую историю. Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима». СПб., 1902–1904 // Древности. Труды Имп. МАО. Т. XXII (отд. отд.). М.
- Анучин Д.Н.** 1916. Э.Б. Тайлор // РАЖ. № 3/4. С. 1–16.
- Анучин Д.Н.** 1918. К антропологии украинцев (рец. на: Волков Ф.К. «Антропологические особенности украинского народа» в кн. «Украинский народ в его прошлом и настоящем» Т. 2. Пг., 1916. С. 427–454) // РАЖ. Т. XI. № 1/2. С. 49–60.
- Анучин, Д. Н.** 1923. Ф. К. Волков (1847–1918) // РАЖ. Т. 12 (3/4). С. 78–79.
- Анучин Д.Н.** 1952. О людях русской науки и культуры (статьи, некрологи и заметки). — М.: Географгиз.
- Анучин Д.Н.** 1952а. Некролог А.П. Богданова // Анучин Д.Н. О людях русской науки и культуры (статьи, некрологи и заметки). М.: Географгиз. С. 237–255.
- Анучин Д.Н.** 1960. Люди зарубежной науки и культуры. М.: Географгиз.
- Анучин Д.Н.** 1960а. Элизе Реклю // Анучин Д.Н. Люди зарубежной науки и культуры. М.: Географгиз. С. 150–170.
- Анциферов Н.П.** 1989. Из воспоминаний // Звезда. — № 4. С. 117–165.
- Анциферов Н.П.** 1992. Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс. Культурная инициатива.
- Аптекарь В.Б.** 1934. Н.Я. Марр и новое учение о языке. М.: Соцэгиз.
- Ардашев Н.Н.** 1909. И.Е. Забелин как теоретик археологии // Древности. Труды МАО. Т. XXII. Вып. 2. С. 71–218.
- Ардашев Н.Н.** 1911. Граф А.С. Уваров как теоретик археологии. Древности. Труды МАО (Труды Комиссии по сохранению древних памятников). Т. XXIII. Вып. 1. М. (отд. отд.).
- Артемова О.Ю.** 2003. А.М. Золотарев: трагедия советского ученого // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М.: Восточная литература РАН. С. 193–226.
- Артемова О.Ю.** 2008. Десять лет «первобытности» в постсоветской России // Этнографическое обозрение. №2. С. 139–156.
- Арциховский А.В.** 1927. Социологическое значение эволюции земледельческих орудий // Труды секции социологии РАНИОН. Вып. 1. С. 123–135.
- Арциховский А.В.** 1929. Новые методы в археологии. Доклад А. Арциховского (заслушан 11.10.1929 в социологической секции общества историков-марксистов). Краткое изложение доклада и дискуссии // Вестник Коммунистической академии. Т. 35–36. С. 322–325.
- Арциховский А.В.** 1930. Курганы вятичей. М.: РАНИОН. Институт археологии и искусствознания.
- Арциховский А.В.** 1953. Пути преодоления влияния Н.Я. Марра в археологии // Против вульгаризации марксизма в археологии. М.: Наука. С. 51–69.
- Арциховский А.В.** 1955–1963. Археология. Очерки по истории исторической науки в СССР. М., 1955–1963: ч. 1 (1955): 525–535; ч. 2 (1959): 614–632; ч. 3 (1963): 586–596.
- Арциховский А.В., Киселёв С.В., Смирнов А.П.** 1932. Возникновение, развитие и исчезновение «марксистской археологии» // СГАИМК. № 1–2. С. 46–48.
- Ашнин Ф.Д.** 1988. Примечание [о Н.Я. Марре и его полемике с лингвистами] // Ларцев В. Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М. С. 196–200.
- Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М.** 1994. Дело славистов. 30-е годы. М. Наследие.
- Багдасарян В.Э.** 1997. Историография русского зарубежья. Николай Иванович Ульянов. М.
- Базанов П.Н.** 2006. Историк Н.И. Ульянов: ученый, заключенный, эмигрант // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 2. Омск: ОмГУ. С. 58–77.
- Бартольд В.В., Смирнов Я.И.** 1916. Отзыв о трудах Н.Я. Марра по исследованию древностей Ани // ЗВОРАО. Т. XXIII. С. 373–411.
- Бастракова М., Заковоротная Л., 2005.** П.С.Уварова и ее воспоминания // Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М.
- Бастракова М., Стрижова И., 2005.** Комментарии // Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М.

- Беленький И.Л. 1978.** К проблеме наименования школ, направлений, течений в отечественной исторической науке XIX—XX вв. // XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. Ч. II. Калинин. С. 64—65.
- Белицкий Я.М. 1986.** Улица Станиславского, 18. М.: Московский рабочий.
- Белов В.А. 1995.** Образ науки в ее ценностном измерении (философский анализ). Новосибирск.
- Белозерова И.В. 1988.** Музейная деятельность В.А.Городцова // Наследие В.А. Городцова и проблемы современной археологии. М.
- Беляев А.Д. 1889.** Характеристика археологии // Вера и разум. Журнал богословско-философский, издаваемый при Харьковской духовной семинарии. № 16. С. 162—195; № 18. С. 247—280; № 21. С. 407—424.
- Бердяев Н.А. 1990.** Самопознание. М. ДЭМ.
- Бернштам А.Н. 1932.** Идеализм в этнографии. Руденко и руденковщина // Сообщения ГАИМК. 1—2. С. 22—27.
- Библиография. 1965.** Советская археологическая литература. Библиография 1918—1940 гг. М., Л. (по указателю).
- Бикбулатов Н.В. 1973.** Руденко и башкирская этнография // Археология и этнография Башкирии. Вып. 5. Уфа. С. 9—16.
- Бикбулатов Н.В., Кучумов И.В. 1996.** Учёный-энциклопедист // Вестник АН Республики Башкортостан. Т.1. Вып.1. С. 62—69.
- Бич О.И. 1948.** Архив А.А. Спицына (крайние даты архивных материалов 1880—1931 гг.) // СА. Т. X. С. 21—62.
- Блаватский В.Д. 1967.** Античная полевая археология. М. Наука.
- Блинчевская М.Я. 1956.** К истории первых воскресных школ в Киеве. Неизвестные письма П.В. Павлова // История СССР. № 3.
- Богданов В.В. 1941.** Дмитрий Николаевич Анучин. М.
- Богданов В.В. 1993.** Музейная этнография (главы из книги «Этнография в истории моей жизни»). М.: ИЭА РАН. 60 с.
- Богораз-Тан В.Г. 1926.** XXI Конгресс американистов // Этнография. № 1—2.
- Богораз-Тан В.Г. 1928.** Распространение культуры по земле. Основы этногеографии. М.; Л.: Госиздат.
- Бонгард-Левин М.Г. (ред.) 1997.** Скифский роман. М.: РАН.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1925.** Как мы нашли пещерного человека (из записной книжки археолога) // Новый Робинзон. № 1.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1926.** Доисторические культуры Крыма // Крым. № 2.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1926а.** Палеолитическая стоянка в Крыму. Предварительное сообщение // РАЖ. Т. 14. Вып. 3/4.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1928.** К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий // Человек. — № 2/4. — С.147—186.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1931.** О нарезках на палеолитических костях // Сообщения ГАИМК. Вып. 8. С. 25—27.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1932.** О комплексном изучении четвертичного периода // Сообщения ГАИМК. Вып. 3/4. С. 44—49.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1940.** Грот Киик-Коба. — Палеолит Крыма. Вып. 1. М.; Л.: АН СССР.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1941.** Кисть ископаемого человека из грота Киик-коба. — Палеолит Крыма. Вып. II. М.; Л. АН СССР.
- Бонч-Осмоловский Г.А. 1954.** Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-коба (редакция и дополнения В.В. Бунака). — Палеолит Крыма. Вып. III. М.; Л.: АН СССР.
- Борисковский П.И. 1932.** К вопросу о стадиальности в развитии верхнего палеолита // Первобытное общество. М. С. 64—76.

- Борисковский П.И. 1953.** Палеолит Украины // МИА. Т. 40.
- Борисковский П.И. 1980.** Первые 30 лет Института археологии АН СССР // КСИА. 163. С. 5—10.
- Борисковский П.И. 1989.** Пётр Петрович Ефименко. Воспоминания ученика // СА. № 3. С. 253—259.
- Брачев В.С. 2001.** «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб. Стотма.
- Брюсов А.Я. 1928.** Восстановление общественно-экономических формаций в культурах неолитического типа // Труды секции теории и методики (социологической) РАНИОН. Вып. 2. С. 9—34.
- Бузескул В.П. 1929.** Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 1. Труды Комиссии по истории знаний. № 7. Л. АН СССР.
- Бузескул В.П. 1931.** Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века (материалы). Ч. 2. Л. АН СССР.
- Бузескул В.П. 2008.** Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. М.: Индрик.
- Булкин Вал. А. 2002.** Воспоминания о М.К. Каргере // Искусство Древней Руси и его исследователи. СПб., 2002. С. 279—283 (Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Вып. 6).
- Бунак В.В. 1927.** Задачи изучения национальных меньшинств // Бюллетень оргкомитета Второй Всесоюзной конференции по изучению производительных сил СССР. Февраль 1927. № 3—4 (6—7). С. 81—82.
- Бурдые П. 2001.** Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера Бурдые. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.; СПб. Институт экспериментальной социологии; Алетейя. С. 56—67.
- Бурдые П. 2005.** Поле науки // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. М.; СПб. Институт экспериментальной социологии; Алетейя. С. 473—617.
- Буслаев Ф.И. 1866.** Общие понятия о русской иконописи. М.
- Буслаев Ф.И. 1873.** Догадки и мечтания о первобытном человеке // Русский вестник. Т. 107. Октябрь. С. 689—704.
- Буслаев Ф.И. 1884.** Русский лицевой Апокалипсис. Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI века по XIX. Т. 1 (атлас). Т 2 (текст). СПб.
- Буслаев Ф.И. 1897.** Мои воспоминания. М.
- Буслаев Ф.И. 1908.** Сочинения по археологии и истории искусства. Т. 1—2. СПб.
- Буслаев Ф.И. 1930.** Сочинения. Т. II. М.
- Бутенев Н.Ф. 1864.** Некоторые соображения о первобытных жителях Северной России по найденным остаткам их быта // Записки РГО. Т. IV. Отд. 2. С. 1—20.
- Быковский С.Н. 1931.** Методика исторического исследования. Л. ГАИМК.
- Быковский С.Н. 1932.** О предмете истории материальной культуры // Сообщения ГАИМК. — Вып. 1—2. С. 3-6.
- Бэр К.М. 1849.** О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества // Карманная книжка для любителей земледелия за 1848 год. СПб.
- Бэр К.М. 1851.** Человек в естественно-историческом отношении. СПб.
- Бэр К.М. 1863.** О древнейших обитателях Европы // Записки РГО. Кн. 1. С. 213—220.
- Бэр К.М. 1864.** О первоначальном состоянии человека в Европе // Месяцеслов за 1864 (високосный) год. Приложение. СПб. С. 25—65.
- Бэр К.М. 1865.** Место человека в природе // Натуралист. №№ 19—24 (отд. отд.).
- Бэр К.М. 1950.** Автобиография. М.; Л.
- Бэр К.М., Шифнер А.А. 1862.** О собирании доисторических древностей в России для этнографического музея // Записки ИАН. Т. 1. Кн. 1.

- Вайц Т. 1867.** О видовом единстве человеческого рода и первобытном состоянии человека. М.
- Валк С.Н. 1920.** Воспоминания ученика // Русский исторический журнал. № 6. С. 189–199.
- Васильев С.А. 1994.** Г.А. Бонч-Осмоловский и современное палеолитоведение // РА. № 1. С. 202–207.
- Васильев С.А. 1999.** Русская дореволюционная археология палеолита // На пользу и развитие русской науки. Чита. С. 5–28.
- Васильев С.А. 2001–2002.** Изучение палеолита в России: прошлое, настоящее и перспективы на будущее // SP. № 1. С. 21–170.
- Васильев С.А. 2008.** Древнейшее прошлое человечества и поиск российских ученых. — СПб.
- Васильков Я.В. 2000.** Трагедия академика Марра // Христианский Восток. Т. 2 (VIII). Новая серия. — СПб. С. 390–421.
- Вайнштейн О.Л. 1966.** Становление советской исторической науки. 1920-е годы // Вопросы истории. № 7.
- Вернадский В.И. 1981.** Избранные труды из истории науки. М.
- Вернадский Г.В. 2002.** О значении научной деятельности Н.П. Кондакова. К восьмидесятилетию со дня рождения. 1844–1924 // Кондаков Н.П. Воспоминания и думы. М., 2002. С. 228–257.
- Веселовский Н.И. 1900.** История императорского археологического общества за первые 50 лет его существования. СПб.
- Веселовский Н.И. 1901–1903.** Первобытная археология. Курс лекций, читанных в Санкт-Петербургском Археологическом институте. СПб. (на правах рукописи).
- Веселовский Н.И. 1905.** Доисторическая археология. Первобытный человек. Лекции профессора Н.И. Веселовского. СПб.
- Веселовский Н.И. 1908.** Барон В.Р. Розен (21 февраля 1849 - 10 января 1908). СПб.
- Вишняцкий Л.Б., Зуев В.Ю., Колпаков Е.М., Платонова Н.И., Тункина И.В. 1992.** Рецензия / Bruce G. Trigger. A history of archaeological thought. Cambridge. 1989. XIII // РА. № 3. С. 251–262.
- Вовк Г. 1929.** Передмова // Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка. 1847–1918. Київ.
- Вовк Хв. 1905.** Вироби переднемикенського типу у неолітичних становищах на Україні // Матеріали до українсько-руської етнології. Вып. 6. Львів. С. 1–27.
- Вовк Хв. 1927.** Студії з української етнографії та антропології. Переклад Миколи Славинського. Прага: Український Громадський Видавничий Фонд.
- Вовк Ф. 1928.** Вироби переднемикенського типу у неолітичних становищах на Україні” // Антропология. Річник Кабінету антропології ім. Ф. Вовка 1927 р. (публикация М. Я. Рудинского) Київ: 1–28.
- Волков Ф.К. 1900.** По поводу наших неолитических находок с керамикой до-микенского типа // Киевская старина. Т. LXX (Июль-август). С. 235–245.
- Волков Ф.К. 1911.** Палеолитическая стоянка в с. Мезине Черниговской губернии // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. Т. 3. М. С. 263–270.
- Волков Ф.К. 1913.** Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи антропологии в России // Ежегодник РАОПУ. Вып. 4. С. 1–8.
- Волков Ф.К. 1913а.** Палеолит в Европейской России и стоянка в с. Мезине Черниговской губернии // ЗОРСА РАО. Т. IX. Протоколы ОРСА за 1909 год. СПб. С. 299–306.
- Волков Ф.К. 1914.** Каменный век в России // Гернес М. Первобытная культура. Ч. 1. Каменный век. Рига.
- Волков Ф.К. 1915.** Антропология и её университетское преподавание // Ежегодник РАОПУ. Вып. 5. С. 99–107.
- Волков Ф.К. 1916а.** Антропологические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2. Пг. С. 427–454.

- Волков Ф.К. 1916б.** Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2. Пг. С. 455–647.
- Волобуев О.В., Кузина А.С. 1986.** Методическая секция общества историков-марксистов в борьбе за преподавание истории в школе (1926–1931 гг.) // Развитие исторического образования в СССР. Воронеж: Воронежский университет. С. 58–71.
- Всероссийское археолого-этнографическое совещание. 1932.** Сообщения ГАИМК. 7–8. Л. С. 1–6.
- Ганжа А.И. 1982.** Методологические вопросы на Археологическом съезде в Киеве (1874 г.) // Новые методы археологических исследований. Сборник научных трудов. Киев: Наукова думка. С. 225–233.
- Гарданов В.К. 1957.** Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти (1917–1920) // История музейного дела в СССР. М. С. 7–36.
- Гасилов В.Б. 1977.** Научная школа — феномен и исследовательская программа науковедения // Школы в науке. М. С. 144–148.
- Генинг В.Ф. 1982.** Очерки по истории советской археологии. У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20 — первая половина 30-х годов. Киев: Наукова думка.
- Генинг В. Ф. 1992.** Археология древностей — опыт исследования истории и философии археологии начального периода // Генинг В.Ф., Левченко В.Н. Археология древностей — период зарождения науки (конец XVIII — 70-е годы XIX в.). — Киев: «Археолог». С. 3–36.
- Генко А.Н. 1923.** К вопросу о языковом скрещении (два случая с греческим языком) // Яфетический сборник. Вып. 2. Пг. С. 121–136.
- Герасимова М.М., Астахов С.Н., Величко А.А. 2007.** Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания (Иллюстрированный каталог палеоантропологических находок эпохи палеолита на территории России и смежных территорий). СПб.: Нестор-История, 2007.
- Глушков И.Г. 1992.** Вещь глазами М.П.Грязнова // Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск. С. 56–77.
- Гоббс Т. 1965.** Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 2. М.
- Гольмстен В.В. 1928.** Археологические памятники Самарской губернии // Труды секции археологии РАНИОН. Вып. 4. С.125–137.
- Горбунова Г.П. 1932.** Об одной «научной» экспедиции // Антропологический журнал. 1. С. 113–120.
- Городцов В.А. 1901.** Русская доисторическая керамика // Тр. XI АС в Киеве. Т. 1. С. 576–672.
- Городцов В.А. 1908.** Первобытная археология. Курс лекций, читанных в Московском Археологическом институте. М.: МАИ. (на правах рукописи).
- Городцов В.А. 1910.** Бытовая археология. Курс лекций, читанных в Московском Археологическом институте. М.: МАИ. (на правах рукописи).
- Городцов В.А. 1915.** Культуры бронзовой эпохи в Средней России. Отчет Российского исторического музея в Москве за 1914 г. М.
- Городцов В.А. 1923.** Археология. Т.1. Каменный период. М., Л.,
- Городцов В.А. 1923.** Введение // Никольский В.К. «Очерк первобытной культуры» М.; Пг. С. 7–20.
- Городцов В.А. 1926.** Типологический метод в археологии. Рязань: Общество исследователей Рязанского края. Серия методическая. Вып. 6.
- Городцов В.А. 1926а.** Письмо в редакцию. Ответ Б.С. Жукову // Новый Восток. № 13–14. С. 462–464.
- Городцов В.А. 1927.** Общий план археологических исследований и раскопок в СССР // Бюллетень оргкомитета 2-й Всесоюзной конференции по изучению производительных сил СССР. Февраль 1927 г. 3–4 (6–7). М. С. 62–65.

- Горюнов Е. А. 1983.** Краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности [П. Н. Третьякова] // Петр Николаевич Третьяков. М., С. 7–26.
- Григорьев Г.П. 1998.** Петербургская школа изучения палеолита. Прерывистость и незавершенность // Академические научные школы Санкт-Петербурга. К 275-летию Академии наук. Санкт-Петербург: С.-ПБНЦ РАН. С. 43–62.
- Гревс И.М. 1920.** Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Опыт истолкования души // Русский исторический журнал. № 6. С. 44–81.
- Грязнов М.П. 1941.** Древняя бронза Минусинских степей. Бронзовые кельты // Труды Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. Вып. 1. С. 237–271.
- Дарвин Ч. 1896.** Происхождение человека и половой подбор. СПб.
- Девель Т.М., Томес Т.Б. 1971.** Собрание Н.Я. Марра в фотоархиве Ленинградского отделения Института археологии АН СССР // Историко-филологический журнал АН Армянской ССР. № 3. С. 289–295.
- Дмитриев А., Левченко Я. 2001.** Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. № 50. М. С. 195–246.
- Д.Н. Анучин.** По поводу 25-летия его деятельности в Императорском Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1900 // Русский антропологический журнал. № 1. С. 1–24.
- Докучаев В.В. 1882.** Уваров А.С. «Археология России. 1. Каменный период». М., 1881 (рецензия) // Труды С.-Петербургского общества естествоиспытателей. Т. XIII. Вып. 1. С. 1–65.
- Долуханов П.М. 2000.** Истоки этноса. СПб.: Европейский дом.
- Достоевский Ф.М. 1975.** Собр. соч. в тридцати томах. Т. 12. Примечания. Л. Наука.
- Древности Российского государства.** 1846–1853. Т. 1–6 /ред. А.Н. Оленин/. СПб.
- Дьяконов И.М. 1995.** Книга воспоминаний. СПб.: Европейский дом.
- Дэвлет Е.Г. 2004.** Альтамира. У истоков искусства. М.
- Ефименко П.П. 1913.** Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губернии // Ежегодник РАОПУ. Вып. 4. СПб. С. 67–102.
- Ефименко П.П. 1915.** Костёнковская палеолитическая стоянка // Ежегодник РАОПУ. Т. V. С. 13–26.
- Ефименко П.П. 1915а.** К вопросу о стадиях каменного века в Палестине // Ежегодник РАОПУ. Т. V. — С. 63–88.
- Ефименко П.П. 1926.** Рязанские могильники. Опыт культурно-стратиграфического анализа могильников массового типа // Материалы по этнографии. Т. 3. Вып. 1. Л. С. 59–84.
- Ефименко П.П. 1928.** Некоторые итоги изучения палеолита СССР // Человек. № 1. С. 45–69.
- Ефименко П.П. 1931.** Значение женщины в ориньякскую эпоху // Известия ГАИМК. Т. XI. Вып. 3–4.
- Ефименко П.П. 1933.** К вопросу о стадийности в истории доклассового общества (доклад на апрельском пленуме ГАИМК). ПИДО. Вып. 5/6.
- Ефименко П.П. 1934.** Дородовое общество. Очерки по истории первобытно-коммунистического общества. М.; Л. (Известия ГАИМК. Т. 79).
- Ефименко П.П. 1938.** Первобытное общество. М.-Л.
- Ефименко П.П. 1958.** Костёнки 1. М.; Л.: АН СССР.
- Ёлшин Д.Д. 2007.** Раскопки Императорской Археологической комиссии в Киеве в 1908–1914 гг.: новые архивные материалы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. Вып. 3. С. 226–230.
- Жебелёв С.А. 1923а.** Введение в археологию. Ч. 1. История археологического знания. — Пг. Наука и школа.
- Жебелёв С.А. 1923б.** Введение в археологию. Ч. 2. Теория и практика археологического знания. Пг. Наука и школа.

- Жебелёв С.А. 1948.** Археолог-энтузиаст // СА. Т. X. С. 9–20.
- Жебелёв С.А. 1993.** Автонекролог // Историографические этюды С.А. Жебелёва (из неопубликованного научного наследия). Публикация И.В. Тункиной, Э.Д. Фролова. ВДИ. — № 2. С. 177–201.
- Жебелёв С.А. 2007.** Археология и общая история искусства (подготовка текста, публикация и комментарии И.В. Тункиной) // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историографический сборник памяти Я.В. Доманского (1928–2004). СПб. Нестор-История. С. 145–174.
- Жервэ Н.Н. 1988.** Тихвинское отделение Новгородского общества любителей древности (1913–1929) // Тихвинский сборник. По материалам историко-географической конференции. Вып. 1: Археология Тихвинского края. Тихвин. С. 31–38.
- Жорма 1929.** Арап в науке // Студенческая Правда. № 10–11. С. 4.
- Жук А.В. 1987.** Палеоэтнологи Санкт-Петербурга — Петрограда. Из предистории научного становления М.П. Грязнова // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Тезисы докладов областной научной конференции. Омск. С. 18–21.
- Жук А.В. 1987а.** Проблема соотношения исторической и археологической наук на III Всероссийском Археологическом съезде в Киеве в 1874 г. // Источники по истории Западной Сибири. История и археология. Омск. С. 96–102.
- Жук А.В. 1992.** Василий Алексеевич Городцов в первые годы его научной деятельности // Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск. С. 24–36.
- Жук А.В. 1995.** Организация археологических исследований в Западной Сибири. 1860–1920-е годы. Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. Барнаул.
- Жук А.В. 2005.** Василий Алексеевич Городцев в рязанский период его жизни, службы и научной деятельности. — Омск: ОмГУ. — 536 с.
- Жуков Б.С. 1925.** Рецензия на книгу: *Городцов В.А. «Археология. Т. 1. Каменный период»* // Печать и революция. — № 8. — С. 206–209.
- Жуков Б.С. 1929.** Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических культур Восточной Европы по данным изучения керамики // Этнография. Т. 1. С. 54–77.
- Забелин И.Е. 1873.** Размышления о современных задачах русской истории и древностей // Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. II. М. С. 1–71.
- Забелин И.Е. 1873а.** Русская археология // Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. II. М. С. 72–106.
- Забелин И.Е. 1878.** В чём заключаются основные задачи археологии как самостоятельной науки // Труды III Археологического съезда в Киеве. Т. 1. С. 1–18.
- Забелин И.Е. 1879.** История русской жизни. Т. 2. М.
- Забелин И.Е. 1889.** Исторический очерк деятельности Общества истории и древностей Российских с 1804 по 1884 годы // Забелин И.Е. Список и указатель трудов, исследований и материалов, напечатанных в повременных изданиях Общества истории и древностей Российских при Московском университете за 1815–1888 гг. Вып. 2. М. С. III–XXXII.
- Зайдель Г., Цвибак М. 1931.** Классовый враг на историческом фронте. Доклады Г. Зайделя и М. Цвибака о Тарле и Платонове и их школах и прения на объединенном заседании Института истории при ЛОКА и Общества историков-марксистов. М.; Л.
- Знаменский О.Н. 1988.** Интеллигенция накануне Великого Октября. Л.
- Золотарев Д.А. 1918.** Ф.К. Волков (некролог) // Русский исторический журнал. — № 5. С. 353–357.
- Золотарёв Д. 1928.** Обзор исследовательских работ ленинградских учреждений по антропологии, палеоэтнологии и этнографии за последние 10 лет // Человек. № 2/4. С. 256–258.
- Зув В.Ю. 1997.** М.И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника // Скифский роман. М. РАН. С. 51–83.

- Иванова Ю.В. 1999.** Пётр Фёдорович Преображенский: жизненный путь и научное наследие // Репрессированные этнографы. М. «Восточная литература» РАН. — С. 235–264.
- Иностранцев А.А. 1880.** Человек каменного века у Ладожского озера // Вестник Европы. Кн. 5. С. 272–295.
- Иностранцев А.А. 1880а.** О подразделении каменного периода на отделы // Речи и протоколы VI съезда естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге с 20 по 30 декабря 1879 г. Антропология. СПб. С. 265–269.
- Иностранцев А.А. 1882.** Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПб.
- Иоаннисян А.З. 1927.** История в школе 2 ступени. Из стенограммы доклада в методической секции общества историков-марксистов // Историк-марксист. № 3. С. 154–155.
- Ионова О.В. 1957.** Создание сети краеведческих музеев в первые 10 лет советской власти // История музейного дела в СССР. М. С. 37–72.
- Каменецкий И.С. 2006.** Археология. История раскопок и историография. М. — 43 с.
- Каминский Ф.И. 1878.** Следы древнейшей эпохи каменного века по р. Суле и ее притокам // Труды III АС. Т. 1. Киев. С. 147–152.
- Карпова О. В. 1997.** Ф. К. Волков и его ученики на Украине // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения Фёдора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб. С. 35–37.
- Кипарисов Ф.В. 1933.** Вещь — исторический источник // Известия ГАИМК. Вып. 100. С. 3–23.
- Кипшидзе Д.А. 1972.** Пещеры Ани. Материалы XIV археологической кампании летом 1915 г. Ереван: АН Армянской ССР.
- Киселев С.П. 1928.** Поселение // Труды секции теории и методики (социологической) РАНИОН. Вып. 2. С. 35–68.
- Китова Л.Ю. 2004.** Неизвестные архивные материалы о биографии и деятельности С.А. Теплоухова // Шестые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Материалы всероссийской научной конференции. Омск: Омск. ун-т. С. 7–10.
- Клейн Л.С. 1977.** К оценке эмпиризма в современной археологии // Проблемы археологии и этнографии. Вып. 1. Л. ЛГУ. С. 13–22.
- Клейн Л.С. 1979.** Понятие типа в современной археологии // Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических и антропологических науках. Л.: ЛГУ. С. 50–74.
- Клейн Л.С. 1991.** Археологическая типология. Л.: АН СССР.
- Клейн Л.С. 1992.** Методологическая природа археологии // РА. № 4.
- Клейн Л.С. 1993.** Феномен советской археологии. СПб.: ФАРН.
- Клейн Л.С. 1995.** Археологические источники. Изд. 2. СПб.: ФАРН.
- Клейн Л. С. 1995а.** Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб.: СПбГУ. С. 173–183.
- Клейн Л. С. 1997.** Российское палеоэтнологическое направление в контексте мировой археологии // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения Фёдора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб.: СПбГУ. С. 49–62.
- Клейн Л.С. 2005.** Византиец // Кондаковские чтения — 1. Проблемы культурной преемственности. Материалы I Международной научной конференции. Белгород: БелГУ. С. 5–24.
- Клейн Л.С. 2007.** Из истории научных школ и традиций античной археологии // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историографический сборник памяти Я.В. Доманского (1928–2004). СПб.: Нестор-История. С. 121–138.
- Клейн Л.С. (в печати).** История российской археологии: учения, школы и личности. — СПб.

- Князев Г.А. 1931.** Дмитрий Иванович Менделеев и Императорская Академия // Вестник АН СССР. № 3. С. 27–34.
- Ковальченко И.Д. 1987.** Методы исторического исследования. М.: Наука.
- Коллингвуд Р. Дж. 1980.** Идея истории. Автобиография. М.: Наука.
- Кондаков Н.П. 1887.** Византийские церкви и памятники Константинополя // Труды VI Археологического съезда в Одессе. Т. III. Одесса.
- Кондаков Н.П. 1896.** Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода. Т. 1. СПб.
- Кондаков Н.П. 1901.** М.П. Погодин как археолог // Сборник ОРЯС. Т. LXXI. № 4. СПб. С. 1–8.
- Кондаков Н.П. 2002.** Воспоминания и думы. М.: Индрик. — 416 с.
- Конт О. 1910.** Курс положительной философии. — СПб. Т. 1.
- Копржива-Лурье Б.Я. [Лурье С.Я.] 1987.** История одной жизни. Париж. Атенеум.
- Корзун В.П. 1989.** Пути развития исторической науки в историко-научной концепции А.С. Лаппо-Данилевского // Историки об истории. Межведомственный сборник научных трудов. Омск ОмГУ. С. 60–76.
- Кошелева Е.А. 1999.** Александр Андреевич Спицын — исследователь вятских древностей // Европейский Север в культурно-историческом процессе. Киров. С. 108–116.
- Краеведческие учреждения СССР. Справочник. Л., 1925.**
- Краеведческие учреждения СССР. Справочник. Л., 1927.**
- Крачковский И.Ю. 1958.** Очерки по истории русской арабистики // Сочинения. Т. 5. М.; Л.: АН СССР. С. 98–105.
- Кривцов С.С. 1926.** Место истории в программах общественно - экономических вузов // Историк-марксист. № 2.
- Кропоткин П.А. 1922.** Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. М.: Голос труда.
- Кузьминых С.В., Усачук А.Н. 2010.** «Милльон этой власти проклятий!..» (письма Н.Е. Макаренко А.М. Тальгрену) // История археологии: личности и школы. СПб.: Нестор-История. В печати.
- Кун Т. 2003.** Структура научных революций. М.: Ермак.
- Купцов В.И. (ред.) 1996.** Философия и методология науки. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Аспект Пресс.
- Кызласова И.Л. 1985.** История изучения византийского и древнерусского искусства в России. Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков: методы, идеи, теории. М.
- Кызласова И.Л. 2004.** Никодим Павлович Кондаков: основные вехи биографии // Мир Кондакова. Публикации, статьи, каталог выставки. М.: Русский путь. С. 355–359.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1887.** Скифские древности // ЗОРСА РАО. Т. IV. СПб. С. 352–643.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1891.** Русская история. Курс лекций, читанный в Историко-филологическом институте. Литографир. изд. СПб.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1891а.** Вопрос о делении первобытной культуры на периоды — каменный, бронзовый и железный в современной археологии (краткое изложение реферата А.С. Лаппо-Данилевского) // Историческое обозрение. Т. IV. Отд. 2. С. 10–13.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1894.** Древности кургана Карагодеоуаш как материал для бытовой истории Прикубанского края в IV–III вв. до Р.Х. МАР. Вып. 13. СПб.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1900.** Русская история (домонгольский период). Лекции, читанные студентам I курса Императорского историко-филологического института. 1899/1900 г. Литографир. изд. СПб.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1910.** Методология истории. Вып. I. Методология исторического построения. СПб.: Студенческий издательский комитет при историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Литографир. изд.

- Лаппо-Данилевский А.С. 1913.** Методология истории. Вып. II. Методы исторического изучения. — СПб.: Студенческий издательский комитет при историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Литографир. изд.
- Лаппо-Данилевский А.С. 1923.** Методология истории. Изд. 2, переработанное. Пг.
- Лапшин В.А. 2001.** Археология Ленинградской области // Археологическая карта России. Очерки археологии регионов. Кн. 1. М.: ИА РАН. С. 238–276.
- Лебедев Г.С. 1991.** История отечественной археологии. 1700–1917. СПб. СПбГУ.
- Левандовский А.А. 1990.** Время Грановского. У истоков формирования русской интеллигенции. М.: Молодая гвардия.
- Лерх П.И. 1863–1865.** Орудия каменного и бронзового веков в Европе // Известия РАО. Т. IV. 1863. Вып. 2. С. 145–169; Вып. 4. С. 310–323; Т. V. Вып. 4. С. 201–220.
- Лерх П.И. 1865.** Археологическое путешествие П.И. Лерха в северные губернии // Известия РГО. Т. 1. № 10. С. 196–197.
- Лерх П.И. 1866.** Некролог Л.Ф. Радлова // Известия РГО. Т. I. № 11/12. С. 205–206.
- Лерх П.И. 1867.** Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme. Bulletin mensuel des Travaux et Découvertes concernant L'Anthropologie... (Рецензия) // Изв. РАО. Т. VI. С. 94–95.
- Лерх П.И. 1868.** Открытие следов древних копей в Южной России // Известия РАО. Т. 6. Отд. 2. Вып. 1. СПб. С. 104–106.
- Лерх П.И. 1868а.** Применение химии в археологии // Известия РАО. Т. 6. Отд. 2. Вып. 1. СПб. I: С. 108–112; II: С. 134–135; III: С. 172–182.
- Лерх П.И. 1870.** Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. СПб.
- Лерх П.И. 1881.** Какие замечаются черты сходства и различия в материале и форме, а поэтому и в цели назначения каменных орудий, которые находятся в Финляндии, Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерниях и Прибалтийском и Северо-Западном краях // Труды II Археологического съезда в С.-Петербурге. Вып. 2. С. 9–14, 33–61.
- Линка Н., Кузнецова С. 1969.** Архів Ф.К. Вовка // Архіви України. Вып. 6. С. 70–75.
- Луначарский А.В. 1918.** О преподавании истории в Коммунистической школе. Пг.
- Лосев А.Ф. 1990.** Творческий путь Владимира Соловьева // В.С. Соловьев. Сочинения в двух томах. Изд. 2. Т. 1. С. 3–32.
- Макарова Т.И. 2004.** Н.П. Кондаков и его роль в изучении ювелирного дела Древней Руси // Мир Кондакова. Публикации, статьи, каталог выставки. М.: Русский путь. С. 240–244.
- Максудов С. 1991.** Потери населения СССР в годы коллективизации // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М.
- Марр Н.Я. 1909.** Барон В.Р. Розен и христианский Восток // Памяти барона Виктора Романовича Розена. — ЗВОРАО. Т. XVIII. Приложение. СПб.
- Марр Н.Я. 1917.** Отчет Анийского музея древностей за 1915 год. Анийские древности. Вып. 2. Пг. Академия наук.
- Марр Н.Я. 1917а.** Записка о Кавказском Историко-археологическом институте. Приложение к протоколу заседания Отделения исторических наук и филологии РАН 6 сентября 1917 года // Известия Российской Академии наук. Т. XI. С. 962–964.
- Марр Н.Я. 1934.** Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища. — Известия ГАИМК. Т. 105. Л.; М.
- Мартынов А.И. 1983.** Историография археологии Сибири. Учебное пособие. — Кемерово: Кемеровский ГУ.
- Массон В.М. 1969.** Развитие теоретических основ советской археологии // Теоретические основы советской археологии. Л. Наука.
- Массон В.М. 1980.** У истоков теоретической мысли советской археологии // КСИА. № 163. С. 18–26.

- Материалы для биографии** гр. А.С. Уварова. 1910. // Сборник к 25-летию со дня кончины гр. А.С. Уварова. Т. III. Материалы для биографии и статьи по истории археологии. М. С. 1–172.
- Матюшенко В.И. 1992.** История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х годов). Омск. ОмГУ.
- Мельник А. 1990.** Свидетельство, сохранённое рязанским архивом // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 1. М. С. 71–72.
- Мещанинов И.И. 1928.** О доисторическом переселении народов // Вестник Коммунистической академии. — Т. 29 (5). С. 190–237.
- Миллер А.А. 1926.** Краткий отчёт о работах Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК в 1924 и 1925 годах // Сообщения ГАИМК. Вып. 1. С. 71–142.
- Миллер А.А. 1927.** Древние формы в материальной культуре современного населения Дагестана // Материалы по этнографии. Т. 4. Вып. 1. Л. Изд. Русского музея. С. 15–76.
- Миллер М.А. 1954.** Археология в СССР. — Мюнхен.
- Миллер М.А. 1958.** Александр Александрович Миллер. 1875–1935 // Вестник института по изучению СССР. № 3(28). — Мюнхен. С. 127–130.
- Михальченко С.И. 1996.** Киевская школа в российской историографии (школа западно-русского права). Брянск.
- Миханкова В.А. 1949.** Николай Яковлевич Марр. М.; Л.: АН СССР.
- Могилянский Н. 1916.** Несколько слов по поводу статьи А.А. Спицына // ЖМНП. Нов. сер. Т. LXII. С. 328–336.
- Моисеев А.В. 2004.** Содержание понятия «Археология» (по материалам первых Археологических съездов) // История отечественной археологии: дореволюционное время. Материалы IV чтений по историографии археологии Евразии. Воронеж: ВГУ. С. 16–24.
- Монгайт А.Л. 1963.** Возникновение и первые шаги советской археологии // История СССР. № 4. С. 75–94.
- Морозова О.Г. 1976.** Одна судьба. Л.: Советский писатель.
- Мусин А.Е., Носов Е.Н. /ред./ 2009.** Императорская Археологическая Комиссия. 1859–1917. К 150-летию со дня основания. СПб. С. 556–693.
- Мухина Г.А. 2006.** Как писали историю французские просветители // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 2. Омск: ОмГУ. С. 248–273.
- Мягков Г.П. 2000.** Научное сообщество в исторической науке. Опыт «русской исторической школы». Казань Казанск. ун-т.
- Назаретян А.П. 1996.** Мораль, агрессия и исторический прогресс. М.
- Назаретян А.П. 2004.** Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории (Синергетика — психология — прогнозирование). М.
- Научные учреждения АН СССР.** Краткое обозрение ко дню 10-летия. 1917–1927. Л., 1927.
- Нечухрин А.Н., Рамазанов С.П. 1996.** Мир абсолютных ценностей. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский // Историки России. XVIII — начало XX вв. М. Скрипторий. С. 512–637.
- Нидерле Л. 1898.** Человечество в доисторические времена. Доисторическая археология Европы и, в частности, славянских земель. СПб.
- Нидерле Л. 2002.** Значение Н.П. Кондакова в славянской археологии // Кондаков Н.П. Воспоминания и думы. М., 2002. С. 199–204.
- Никольский В.К. 1923.** Комплексный метод в доистории // Вестник Социалистической академии. Т. 4. С. 309–349.
- Никонова А.А. 2004.** О пользе общего дела (документы о коллекциях каменных орудий И.С. Полякова) // Невский археолого-историографический сборник. К 75-летию к.и.н. А.А. Формозова. СПб. СПбГУ. С. 153–159.
- Нусинов И. 1929.** Жизненный путь В.М. Фриче // Вестник Коммунистической академии. 35/36. — С.24–37.

- Обозрение преподавания** на этнологическом факультете 1 МГУ на 1925–1926 академический год. 1926. М. 1 МГУ.
- Обручев В. 1907.** Из пережитого // Вестник Европы. № 5.
- Олегина И.Н. 1986.** Журнал «Борьба классов» о путях реализации постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКПб «О преподавании гражданской истории в школах СССР» // Развитие исторического образования в СССР. Воронеж. ВГУ. С. 24–35.
- Ольденбург С.Ф. 1928.** К.М.Бэр и изучение человека // Человек. № 1. С. 3–9.
- Орбели И.А. 1964.** Воспоминания студенческих лет // Юзбашян К.Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. М.
- Павлов П.В. 1878.** О значении и объеме археологии как самостоятельной ветви исторической науки // Труды III Археологического съезда в Киеве. Т. I. Протоколы заседаний съезда. С. XVIII–XIX.
- Памяти академика В.Р. Розена. 1947.** Статьи и материалы к 40-летию со дня его смерти (1908–1948). М.–Л.
- Памяти барона Виктора Романовича Розена. 1909.** Приложение к Зап. Вост. отделения Русского археологического общества. Т. 18. СПб.
- Панкратова А. 1939.** Развитие исторических взглядов М.Н. Покровского // Против исторической концепции М.Н. Покровского. М.; Л. АН СССР. С. 5–69.
- Пассек Т.С., Латынин Б.А. 1958.** К 100-летию со дня рождения А.А. Спицына. 1858–1931 // СА. № 3. С. 3–6.
- Перчёнок Ф.Ф. 1991.** Академия наук на «Великом переломе» // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М. С. 195–206.
- Пескарёва К.М. 1981.** К истории создания Российской Академии истории материальной культуры // КСИА. № 163.
- Петри Б.Э. 1926.** Сибирский неолит // Известия биолого-географического НИИ при Иркутском университете. Т. 3. Вып. 1. С. 39–75.
- ПИДО. 1935.** (Выпуск, посвященный памяти Н.Я. Марра). № 3/4. Л.
- Платонов С.Ф. 1917.** Лекции по русской истории. Изд. 10. Пг.
- Платонова Н.И. 1989.** Российская Академия истории материальной культуры. Этапы становления // СА. № 4. С. 5–16.
- Платонова Н.И. 1995.** Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский. Этапы творческой биографии // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. С-Пб.: С.-ПбГУ. С. 121–144.
- Платонова Н.И. 1995а.** Казак А.А. Миллер — археолог и этнограф // Казачий Петербург: I Региональная научно-практическая конференция. СПб. С. 24–26.
- Платонова Н.И. 1996.** Председатели ГАИМК — Николай Яковлевич Марр и Фёдор Васильевич Кипарисов // Традиции российской археологии. СПб. С. 50–64.
- Платонова Н.И. 1997.** Об одной попытке уточнения методов в русской археологии // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Сб. ст. памяти В.Д. Белецкого. Т. 2. Псков-СПб. ИИМК РАН. С. 147–151.
- Платонова Н.И. 1998.** Николай Яковлевич Марр — археолог и организатор археологической науки // АВ. — № 5. С. 371–382.
- Платонова Н.И. 1999.** Михаил Илларионович Артамонов — директор ИИМК // АВ. № 6. С. 466–478.
- Платонова Н.И. 2002.** «Беззаконная комета на научном небосклоне». Н.Я. Марр // Знаменитые универсанты. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ. С. 156–178.
- Платонова Н.И. 2002а.** К истории одного открытия в археологии (Г.А. Бонч-Осмоловский и «дело Серебрякова» 1924 г.) // Культурное наследие Российского государства. Вып. 3. СПб.: ИПК Вести. С. 120–129.
- Платонова Н.И. 2002б.** Панорама отечественной археологии на Великом переломе (по страницам книги В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // АВ. — № 9. С. 261–278.

- Платонова Н.И. 2002в.** Александр Александрович Миллер — археолог // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.). Материалы постоянно действующей конференции «Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект». Вып. 1. СПб. С. 155–161.
- Платонова Н.И. 2002г.** Н.Я. Марр, «марризм» и русская археология // Программы специальных курсов по археологии. СПб. СПбГУ. С. 1–3.
- Платонова Н.И. 2003.** Фёдор Кондратьевич Волков глазами ученика (к публикации очерка С.И. Руденко) // АВ. — № 10. С. 367–373.
- Платонова Н.И. 2004.** Истоки Санкт-Петербургской школы археологии (конец XIX — 1 треть XX века: Н.П. Кондаков, В.Р. Розен, А.А. Спицын, Ф.К. Волков, А.А. Миллер) // Археолог: детектив и мыслитель. Сборник статей, посвященных 77-летию Л.С. Клейна. СПб.: С.ПбГУ. С. 43–73.
- Платонова Н.И. 2004а.** Александр Андреевич Спицын о предмете, задачах и методах археологии // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы. Сборник статей памяти проф. И.В. Дубова. СПб.: С.ПбГУ. С. 134–149.
- Платонова Н.И. 2004б.** «ДЕЛО» Сергея Ивановича Руденко. 1930–1957 // Невский археолог-историографический сборник. К 75-летию к.и.н. А.А. Формозова. СПб. СПбГУ. С. 126–138.
- Платонова Н.И. 2004г.** Первая аспирантура Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) // Мавродинские чтения 2004: актуальные проблемы историографии и исторической науки. СПб.: СПбГУ. С. 235–237.
- Платонова Н.И. 2006.** Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский: судьба ученого (по страницам семейного архива) // Археологические Вести. № 12. СПб. С. 301–315.
- Платонова Н.И. 2006.** Научные школы и направления в российской археологии 1880–1930-х гг. // Современные проблемы археологии России. Т.2. — Материалы Всероссийского археологического съезда (23–38 ноября 2006 г., г. Новосибирск). Новосибирск: ИАЭ СО РАН. С. 441–443.
- Платонова Н.И. 2008.** Годы репрессий в жизни С.И. Руденко: сравнительный анализ архивных источников // Известия Алтайского Государственного университета. Вып. 4/2. История. С. 151–158.
- Платонова Н.И. 2009а.** Граф Сергей Григорьевич Строганов: 1810–1840-е годы // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т II. Изд. Ломоносовъ. СПб.-Москва, 2009а. С. 147–158.
- Платонова Н.И. 2009б.** Учитель и ученик: граф Сергей Григорьевич Строганов и академик Федор Иванович Буслаев // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 6. Омск: ОмГУ, 2009б. С. 31–61.
- Платонова Н.И., Аникович М.В. 2005.** Александр Николаевич Рогачев: материалы, воспоминания, размышления // Проблемы ранней поры верхнего палеолита Костёнковско-Боршевского района и сопредельных территорий. — СПб. ООО «Копи-Р». С. 10–28 (ТКБАЭ. Вып. 3).
- Платонова Н.И., Васильев С.А., Мусин А.Е. 2009.** Императорская Археологическая Комиссия и первобытные древности // А.Е. Мусин, Е.Н. Носов /ред./ Императорская Археологическая Комиссия. 1859–1917. К 150-летию со дня основания. СПб. С. 556–693.
- Погодин М.П. 1871.** Судьбы археологии в России // Труды I Археологического съезда в Москве. Т. 1. М. С. 1–61.
- Погодин С.Н. 1997.** «Русская школа» историков: Н.И. Кареев, И.В. Луцицкий, М.М. Ковалевский. — СПб.: СПбГУ.
- Поляков И.С. 1880.** Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию, исполненная по поручению Академии наук // Записки ИАН. Т. XXXVII. Вып. 1. — Приложение. С. 1–81.
- Поляков И.С. 1881.** Каменный век в России // Живописная Россия. Т. 1. Ч. 1. СПб. М. С. 381–402.

- Поляков И.С. 1881а.** Несколько замечаний о местонахождениях каменных орудий в Олонекской губернии // Труды II Археологического съезда в С.-Петербурге. Вып. 2. Протоколы заседаний Съезда. С. 7–9.
- Поляков И.С. 1882.** Исследования по каменному веку в Олонекской губернии, в долине Оки и на верховьях Волги // Зап. РГО по отд. этнографии. Т. IX. С. 1–167.
- Праслов Н.Д. 1999.** Сергей Николаевич Замятнин: основные вехи жизни и творчества (21.04.1899–6.11.1958) // Локальные различия в каменном веке. Тезисы докладов на Международной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения С.Н.Замятнина. СПб.: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. С. 6–11.
- Преображенский П.Ф. 1929.** Курс этнологии. М.; Л.: Госиздат.
- Пресняков А.Е. 1920.** Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель // Русский исторический журнал. № 6. С. 82–96.
- Пресняков А.Е. 1920а.** Труды Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского по русской истории // Русский исторический журнал. № 6. С. 97–111.
- Пресняков А.С. 1920б.** Речь перед защитой диссертации // Летопись занятий Археологической комиссии. Вып. XIII. Пг.
- Против вредительства** в краеведческой литературе. 1931. Иваново-Вознесенск. С. 1–2.
- Пряхин А.В. 1981.** Периоды развития советской археологии // Проблемы истории отечественной исторической науки. Воронеж. ВГУ. С. 150–156.
- Пряхин А.В. 1986.** История советской археологии. Воронеж. ВГУ.
- Поливанов Е.Д. 1991.** Избранные труды по общему и восточному языкознанию. М.
- Протоколы заседаний III Археологического съезда. 1878.** // Труды III Археологического съезда в Киеве. Т. I. С. I–XXIV.
- Протоколы Отделения русской и славянской археологии ИРАО за 1909 год** (Протокол от 17 марта 1909 г.). 1913. // ЗОРСА ИРАО. Т. 9. С. 299–306.
- Протоколы Совета С.-Петербургского университета за 1911 г. 1913.** СПб.
- Равдоникас В.И. 1929.** Дорос-Феодоро — столица готов в Крыму. Новейшие открытия в области крымской археологии // Человек и природа. № 2. С. 18–24.
- Равдоникас В.И. 1930.** За марксистскую историю материальной культуры. Известия ГАИМК. Т. 7. Вып. III/IV. Л.
- Равдоникас В.И. 1931.** Памяти А.А. Спицына (1858–1931) // Сообщения ГАИМК. Вып. 9/10. С. 54–62.
- Равдоникас В.И. 1932.** На новый этап // Сообщения ГАИМК. Вып. 1/2. С. 49–60.
- Равдоникас В.И. 1934.** Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и Юго-Восточном Приладожье. М.-Л.: СОЦЭГИЗ (Известия ГАИМК. 94).
- Равдоникас В.И. 1939–1947.** История первобытного общества. Ч. 1–2. Л. ЛГУ.
- Райков Б.Е. 1950.** Введение в автобиографию К.М. Бэра // Бэр К.М. Автобиография. М.; Л., 1950. С. 12–29.
- Райков Б.Е. 1951.** К.М. Бэр // Русские биологи-эволюционисты до Дарвина. Т. II. М.; Л. С. 9–150.
- Репина Л.П. 1999.** «Персональная история»: биография как средство исторического познания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М. С. 76–100.
- Репина Л.П. 2001.** Историческая биография и «новая биографическая история» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. М. С. 3–12.
- Решетов А.М. 1994.** Репрессированная этнография: люди и судьбы. Сергей Иванович Руденко // Кунсткамера. Этнографические тетради. 4. СПб. С. 197–199.
- Рингер Ф. 2002.** Закат немецких мандаринов // Новое литературное обозрение. № 53. М. С. 105–158.
- Ритцер Дж. 2002.** Современные социологические теории. Изд. 5. СПб.: Питер. С. 456–470.

- Рогачев А.Н. 1973.** Каменные орудия как исторический источник // КСИА. № 137. С. 22–27.
- Рогачев А.Н. 1978.** О предмете и методе первобытной археологии // КСИА. № 152.
- Романов Б.А. 1920.** Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский в Университете (две речи) // Русский исторический журнал. № 6. С. 181–188.
- Романов Б.А. 1920а.** Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский // Русский исторический журнал. № 6.
- Росов В.А. 1999.** Семинариум КондаковIANUM. СПб.
- Ростовцев Е.А. 2004.** А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань.
- Ростовцев Е.А. 2005.** Дискурс «Петербургской исторической школы» в научной литературе // Фигуры истории или «общие места» историографии. СПб.: Северная звезда. — С. 303–341.
- Руденко С.И. 1927.** Очерк быта казаков бассейнов рек Уила и Сагыза // Казаки. Антропологические очерки Л.
- Руденко С.И. 2003.** Памяти Фёдора Кондратьевича Волкова (к пятидесятилетию со дня смерти) (подготовка текста, публикация и комментарии Н.И. Платоновой) // АВ. 10. СПб. С. 361–366.
- Румянцева М.Ф. 2001.** «Чужое Я» в художественной литературе и в исторической науке // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. М. С. 13–28.
- Савицкий И.П. 2006.** Архистратиг русской археологии // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 2. Омск: ОмГУ. С. 37–43.
- Салинз М. 1999.** Экономика каменного века. М.
- Саханев В. 1928.** Александр Андреевич Спицын. К 70-летию со дня рождения. // Seminarium Kondakovianum. 2. Prague. P. 343–346.
- Сахаров И.П. 1851.** Обзорение русской археологии // ЗОРСА РАО. Т. I.
- Свешников А.В. 2005.** «Вот вам история нашей истории». К проблеме типологии научных скандалов второй половины XIX — начала XX в. // Мир историка. Историографический сборник. Омск. ОмГУ. Вып. 1. С. 231–261.
- Свешникова О.С. 2006.** «Семь лет я непрерывно борюсь за существование...» Письма В.П. Левашевой к Л.А. Евтюховой / Вступительная статья и комментарии // Мир историка. Историографический сборник. Омск: ОмГУ. Вып. 2. С. 472–483.
- Семенов А.И. 1997.** Федор Волков, Александр и Михаил Миллеры // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб. С. 37–41.
- Сергин В.Я. 1987.** Структура Мезинского палеолитического поселения. М.
- Смирнов А.П. 1928.** Социально-экономический строй восточных финнов в IX–XIII вв. н.э. // Труды секции теории и методики (социологической) РАНИОН. Вып. 2. С. 69–82.
- Смирнов И.И. 1932.** Возможна ли «марксистская история материальной культуры»? (по поводу книги В.И.Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // Сообщения ГАИМК. Вып. 1–2. С. 37–46.
- Совещание этнографов Ленинграда и Москвы (5–11 апреля 1929)** // Этнография. № 2. С. 111–144.
- Соловьев В.С. 1914.** Жозеф де Мэстр // Собр. соч. в 10 томах. Т. 10. С. 429–435.
- Соловьева И.Д. 2001.** Н.П. Кондаков и Русский музей Императора Александра III // Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. СПб: PALACE EDITIONS. С. 5–7.
- Спицын А.А. 1899.** Расселение древнерусских племен по археологическим данным // ЖМНП. Кн. VIII. С. 301–340.

- Спицын А.А. 1908.** Археологические разведки. СПб.
- Спицын А.А. 1910.** Археологические раскопки. СПб.
- Спицын А.А. 1915.** Русский палеолит // ЗОРСА РАО. Т. XI. СПб. С. 133–172.
- Спицын А.А. 1928.** Мои научные работы // Seminarium Kondakovianum. № 2. Prague. P. 331–342.
- С.Р. [Руденко С.И.] 1928.** Антропологические исследования в экспедициях Особого комитета Академии наук по исследованию союзных и автономных республик // Человек. № 1. С. 77–79.
- Срезневский И.И. 1864.** Воспоминания об И.П. Сахарове // Записки Академии наук. Кн. 4.
- Стасов В.В. 1882.** Заметки о древнерусской одежде и вооружении // ЖМНП. Ч. ССХХ. Январь. С. 168–196.
- Столяр А.Д. 1988.** Деятельность Владислава Иосифовича Равдоникаса // Тихвинский сборник. По материалам историко-географической конференции. Вып. 1: Археология Тихвинского края. Тихвин. С. 8–23.
- Столяр А.Д. 1994.** Предисловие // Памятники древнего и средневекового искусства. Проблемы археологии. Вып. 3. Сборник памяти В.И.Равдоникаса. — СПб.: С.-ПбГУ. — С. 5–11.
- Строганов С.Г. 1849.** Дмитриевский собор во Владимире (на Клязьме). Строен от 1194-го до 1197 года. М.
- Студзицкая С.В. 1988.** Государственный Исторический музей и В.А. Городцов // Наследие В.А. Городцова и проблемы современной археологии. М. С. 5–6.
- Сунцова В.М. 1986.** Сергей Иванович Руденко: библиографический указатель к 100-летию со дня рождения. Башкирский филиал АН СССР. Институт истории, языка и литературы. Уфа.
- Теплоухов С.А. 1929.** Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // Материалы по этнографии. Т. 4. Вып. 2. С. 41–62.
- Тизенгаузен В.Г., Веселовский Н.И. 1884.** Петр Иванович Лерх (некролог) // ЖМНП. № 11. Отд. 4. С. 57–66.
- Тимофеев И.С. (ред.) 2001.** Принципы историографии естествознания: XX век. СПб. Алетейя.
- Тихонов И.Л. 1988.** Организация и развитие археологического отделения ЛГУ (1917–1936) // Вестник ЛГУ. Сер. 2 (история). 16. Вып. 3.
- Тихонов И.Л. 1994.** К вопросу о роли А.А. Иностранцева в становлении палеоэтнологической школы Санкт-Петербургского университета. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов. СПб.: СПбГУ. С. 55–67.
- Тихонов И.Л. 1995.** Петербургская палеоэтнологическая школа (этапы формирования) // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб. СПбГУ. С. 109–113.
- Тихонов И.Л. 1998.** Деятельность академика А.С. Лаппо-Данилевского в археологии // Очерки истории отечественной археологии. Вып. 2. М.: ГИМ / Богородский печатник. С. 154–166.
- Тихонов И.Л. 2001.** Становление классической археологии в Санкт-Петербургском университете: школа Н.П. Кондакова // Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. СПб: PALACE EDITIONS. С. 27–34.
- Тихонов И.Л. 2003.** Археология в Санкт-Петербургском университете: Историографические очерки. — СПб. СПбГУ.
- Тихонов И.Л., Платонова Н.И. 1992.** Научный семинар «Проблемы истории и историографии археологической науки» // РА. — № 3. С. 276–279.
- Тишкин А.А. (ред.) 2004.** Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул. Алт. ГУ.

- Тишкин А.А., Шмидт О.Г. 2004.** Годы репрессий в жизни С.И. Руденко // Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул. Алт. ГУ. С. 21–29.
- Толстов С.П. 1932.** Введение в советское краеведение. М.; Л.
- Толстой И.И., Кондаков Н.П. 1889.** Русские древности в памятниках искусства. Вып. 1. — СПб.
- Третьяков П. Н. 1932.** Подсечное земледелие в Восточной Европе // ИГАИМК. Т. 14, вып. 1.
- Третьяков П. Н. 1935.** Первобытная охота в Северной Азии // ИГАИМК. Вып. 106. С. 220–262.
- Тункина И.В. 1997.** М.И. Ростовцев и Российская Академия наук // Скифский роман. М. Росспэн. С. 84–123.
- Тункина И.В. 2000.** Дело академика Жебелёва // Древний мир и миф: классическое наследие в Европе и в России. Альманах. Вып. 2. СПб. Алетейя. С. 116–161.
- Тункина И.В. 2001.** Материалы к биографии Н.П. Кондакова // Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. СПб: PALACE EDITIONS. С. 9–23.
- Тункина И.В. 2002.** Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб. Наука. — 676 с.
- Тункина И.В. 2004.** Академик Н.П. Кондаков: последние годы жизни (по материалам эпистолярного наследия) // Мир русской византистики. Материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб.
- Тункина И.В. 2007.** К публикации неизданного очерка С.А. Жебелёва «Археология и общая история искусства» // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историографический сборник памяти Я.В. Доманского (1928–2004). СПб.: Нестор-История. С. 139–144.
- Тункина И.В. 2008.** А.А. Спицын и Готская группа ГАИМК // История и практика археологических исследований. Материалы Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР профессора А.А. Спицына. СПб.: изд-во СПбГУ. С. 199–203.
- Уваров А.С. 1872.** Меряне и их быт по курганным раскопкам. М.
- Уваров А.С. 1878.** Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии // Труды III Археологического съезда в Киеве. Т. 1. С. 19–38.
- Уваров А.С. 1881.** Археология России. Т. 1. Каменный период. М.
- Уваров А.С. 1884.** О совместной находке костей мамонта с каменными орудиями // Труды IV АС в Казани в 1977 г. Т. 1.
- Уваров А.С. 1910а.** Введение в русскую археологию // Сборник к 25-летию со дня кончины гр. А.С. Уварова. Т. III. Материалы для биографии и статьи по истории археологии. С. 262–369.
- Уваров А.С. 1910б.** Лекции, читанные в Московском Археологическом Общ. в 1879 г. // Сборник к 25-летию со дня кончины гр. А.С. Уварова. Т. III. Материалы для биографии и статьи по истории археологии. С. 191–210.
- Уварова П.С. 2005.** Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М.
- Ульянов Н.И. 1981.** Соблазны истории // Скрипты. Ann Arbor. С. 65–70.
- Фармаковская Т.И. 1988.** Борис Владимирович Фармаковский. Киев.
- Фармаковский Б.В. 1921.** К истории учреждения Российской Академии истории материальной культуры. Пг. С. 1–6.
- Феофилактов К.М. 1878.** О местонахождении кремневых орудий человека вместе с костями мамонта в с. Гонцах на р. Удае Лубенского у. Полтавской губ. // Труды III АС. Т. 1. Киев. С. 153–159.
- Формозов А.А. 1961.** Очерки по истории русской археологии. М. АН СССР.
- Формозов А.А. 1979.** Пушкин и древности. Наблюдения археолога. М.

- Формозов А.А. 1982.** Проблема древнейшего человека в русской печати XIX века (наука, церковь, цензура) // СА. № 1.
- Формозов А.А. 1983.** Начало изучения каменного века в России. М. Наука.
- Формозов А.А. 1984.** Историк Москвы И.Е. Забелин. М.: Московский рабочий.
- Формозов А.А. 1985.** Общее и особенное в сложении археологии как науки в России // СА. № 1.
- Формозов А.А. 1987.** К биографии А.А. Спицына // СА. № 2. С. 262–264.
- Формозов А.А. 1988.** Следопыты земли Московской. М.: Московский рабочий.
- Формозов А.А. 1994.** О периодизации истории отечественной археологии // РА. № 4. С. 219–225.
- Формозов А.А. 1995.** Русские археологи до и после революции. М.: ИА РАН.
- Формозов А.А. 1995а.** О книге Л.С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене // РА. — № 3. — С. 225–228.
- Формозов А.А. 1996.** К 100-летию юбилею В.И. Равдоникаса // РА. № 3. С. 197–202.
- Формозов А.А. 1999.** Академия истории материальной культуры — центр советской исторической мысли в 1932–1934 гг. // Отечественная культура и историческая мысль XVIII–XX вв. — Брянск: Брянский Гос. пед. университет. С. 5–32.
- Формозов А.А. 2002.** О Петре Петровиче Ефименко (материалы к биографии) // Очерки истории отечественной археологии. Вып. 3. М.: Наука. С. 73–126.
- Формозов А.А. 2004.** Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. М., 2004.
- Франко А.Д., Франко О.Е. 1990.** Федор Кондратьевич Вовк (Волков). Биографический очерк // СЭ. № 1. С. 86–95.
- Фриче В.М. 1928.** В.А. Городцов (к 40-летию его научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности) // Труды Секции археологии ИАИ РАНИОН, т. IV. С. 5–8.
- Хлыпало Ю. 1931.** На краеведном фронте Белоруссии и Украины // Советское краеведение. № 2. С. 19–23.
- Худяков М.[Г.] 1931.** Критическая проработка руденковщины // СЭ. Т. 1/2. С. 167–169.
- Худяков М.Г. 1933.** Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов. Л.
- Целевая установка и новые задачи ГАИМК. 1931** // СГАИМК. № 2. С. 1.
- Чеканцева З.А. 2005.** Методология истории в формировании современного профессионального историка // Мир историка. Историографический сборник. Омск. ОмГУ. Вып. 1. С. 63–74.
- Черский И.Д. 1872.** Несколько слов о вырытых в Иркутске изделиях каменного периода // Известия Сибирского отдела РГО. Т. III, № 3. Иркутск. С. 167–172.
- Черунова Н.К. 1997.** Ф. К. Волков и его вклад в развитие отечественной науки конца XIX — начала XX в. // Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). СПб. С. 7–10.
- Шер Я.А. 1992.** К вопросу о приоритетах // Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск: ОмГУ. С. 86–92.
- Ширинянц А.А., Мясин А.Г. 2009.** Жизнь и идеи К.Н. Леонтьева. <http://www.portal-slovo.ru>
- Широкогоров С.М. 1923.** Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай: тип. «Сибпресс».
- Шлейхер А. 1865–1866.** Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков. СПб.
- Шматко Н.А. 2001.** Горизонты социанализа // Социанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб. Алетей. С. 13–46.

- Шмидт А.Э. 1947.** Памяти незабвенного учителя // Памяти академика В.Р. Розена. Статьи и материалы к 40-летию со дня его смерти (1908–1948). М.; Л. С. 11–17.
- Шмидт С.О. 1990.** «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 1. М.
- Шмидт С.О. 1996.** А.С. Лаппо-Данилевский на рубеже веков // Археографический ежегодник за 1994 год. М. С. 229–237.
- Шовкопляс И.Т. 1965.** Мезинская стоянка. Киев.
- Штернберг Л.Я. 1926.** Современная этнология. Новейшие успехи, научные течения и методы // Этнография. № 1–2. С. 29–31.
- Штернберг Л.Я. 1926а.** Д.Н. Анучин как этнограф // Этнография. № 1–2. С. 7–10.
- Щавелев С.П. 1993.** Д.Я. Самоквасов: эскиз археологического наследия // Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). СПб. СПбГУ. С. 21–23.
- Щавелев С.П. 2002.** Первооткрыватели курских древностей. Очерки истории археологического изучения южнорусского края. Вып. 3. Советское краеведение в провинции: взлет и разгром (1920-е–1950-е гг.). Курск. Изд-во КМГУ.
- Щавелев С.П. 2004.** Д.Я. Самоквасов и становление исторической археологии // История отечественной археологии: дореволюционное время. Материалы IV чтений по историографии археологии Евразии. — Воронеж: ВГУ. С. 31–40.
- Щуровский Г.Е. 1878.** Общая программа для исследования костеносных пещер // Труды Имп. ОЛЕАЭ. Т. XVII. Труды Антропологического отдела. № 1. С. 82–88.
- Эймонтова Р.Г. 1986.** Учёный-просветитель П.В. Павлов (60-е годы XIX в.) // Исторические записки. Т. 113. С. 208–249.
- Якубовский А.Ю. 1947.** Виктор Романович Розен как историк // Памяти академика В.Р. Розена. Статьи и материалы к 40-летию со дня его смерти (1908–1948). М.; Л. С. 19–44.
- Binford L. R. 1968.** Post-Pleistocene adaptations // New perspectives in archaeology. Chicago: Aldine. P. 313–341.
- Bordes F. 1961.** Typologie du paléolithique ancien et moyen. Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux. Mem. 1. Bordeaux. Delmas.
- Bulkin V.A., Klejn L.S., Lebedev G.S. 1982.** Attainments and problems of Soviet archaeology // World Archaeology. Vol. 13. N. 3. P. 272–295.
- Daniel G. A. 1956.** A hundred years of archaeology. — London, Routledge and Kegan Paul.
- Djindjian F. 2006.** 150 years of researches on the beginning of Upper Palaeolithic in Western Europe // Ранняя пора верхнего палеолита Евразии: общее и локальное. СПб. С. 245–262 (ТКБАЭ, вып. 4).
- Gorodov V.A. 1933.** The typological method in archaeology // American Anthropologist. 35. P. 95–102.
- Kaesar M.-A. 2004.** Biography as Microhistory. The Relevance and Teaching of Private Archives in the Writing of the History of Archaeology // Histories of archaeology: archives, ancestors, practices. Göteborg. Göteborgs Universitet. P. 10–12.
- Klejn L.S. 1977.** A Panorama of Theoretical Archaeology // Current Anthropology. Vol. 18. P. 1–42.
- Miller M.A. 1956.** Archaeology in the USSR. London. New-York. Atlantic Press.
- Platonova N.I. 2004.** The Phenomenon of Pre-Soviet archaeology: archival studies of the history of archaeology in Russia — methods and results // Histories of archaeology: archives, ancestors, practices. Göteborg. Göteborgs Universitet. P. 15–17.
- Poppe N. 1983.** Reminiscences. — Western Washington.
- Trigger B.G. 1989.** A history of archaeological thought. Cambridge. XIII.
- Volkov Th. 1891–1892.** Rites et usages nuptiaux en Ukraine // L'Anthropologie. 1891. Т. 2. С. 160–184, 408–437, 537–687; 1892. Т. 3. С. 541–688.
- Volkov Th. 1896.** Le traineau dans les rites funéraires de l'Ukraine // Revue des Traditions Populaires. XI. S. 209–228. Paris.

- Volkov Th. 1900.** L'Industrie premycenienne dans les stations neolithiques de l'Ukraine // Resumé de la communication, faite on Congres International d'Anthropologie et d'Archeologie prehistorique. XII Session. Paris. L'Anthropologie. T. 13/1. S. 57–60.
- Volkov Th. 1905.** Variations squelettiques du pied chez les Primates et dans les races humaines. Paris.
- Volkov Th. 1913.** Nouvelles decouvertes dans la station paleolithique de Mezine // Congres International d'Anthropologie et d'Archeologie prehistoriques. Compte Rendu de la XIV Session (Geneve, 1912). 1. Geneve. S. 414–428.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

- ПФА РАН. Ф.113 (Лаппо-Данилевский А.С.). Оп. 1. № 153.
 ПФА РАН. Ф. 113 (Лаппо-Данилевский А.С.). Оп. 1. № 160.
 ПФА РАН. Ф.113 (Лаппо-Данилевский А.С.). Оп. 1. № 288.
 ПФА РАН. Ф.155 (КУИНС). Оп.2. № 472.
 ПФА РАН. Ф. 208 (Ольденбург С.Ф.). Оп. 2. № 56
 ПФА РАН. Ф.208. (Ольденбург С.Ф.). Оп.2. № 57.
 ПФА РАН. Ф. 216 (Срезневский И.И.). Оп. 1. № 769.
 ПФА РАН. Ф.282. Оп.1. № 65.
 ПФА РАН. Ф.518. Оп.2. № 15. Л.15–15 об.; № 157.
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). Оп. 1. № 942. Л. 3–4.
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). Оп. 1. № 2216
 ПФА РАН. Ф.800. оп.4. № 4328. Г–274. Ч.2. 1921–1924. Л.41–43
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). Оп. 4. № 4132 (1917. Ч. 1. Г–90).
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). Оп. 4. № 4134 (1917. Ч. III. Г–92).
 ПФА РАН. Ф.800. № 4173. Г–92. 1917. Ч.3
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). Оп. 4. № 4316 (1918–1922. Г–262
 ПФА РАН. Ф.800. Оп.4. № 4326. Г–272.
 ПФА РАН. Ф.800. Оп. 4. № 4328. Г–274. Ч.2.
 ПФА РАН. Ф.800. Оп. 4. № 4329. Г–275. Ч.3.
 ПФА РАН. Ф.800. Оп.4. № 4330. Г–276. Ч.4. 1926–1929. Л.6–7).
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). № 4331. Г–277 (5 часть).
 ПФА РАН. Ф. 800. (Марр Н.Я.). № 4430. Г–276 (4 часть). 1926–1929.
 ПФА РАН. Ф. 1004 (Руденко С.И.). Оп. 1. № 132.
 ПФА РАН. Ф. 1004 (Руденко С.И.). Оп. 1. № 193.
 ПФА РАН. Ф. 1004 (Руденко С.И.). Оп. 1. № 315.
 ПФА РАН. Ф. 1004 (Руденко С.И.). Оп.1. № 417.
 ПФА РАН. Ф. 1004 (Руденко С.И.). Оп.1. № 577.
 ПФА РАН. Ф.1004 (Руденко С.И.). Оп.1. № 604.
 ПФА РАН. Ф.1049 (Равдоникас В.И.). Оп.2. № 3.
 ПФА РАН. Ф. 1049 (Равдоникас В.И.). Оп. 2. № 11.
 ПФА РАН. Ф.1049 (Равдоникас В.И.). Оп. 2. № 51.

Научный архив ИИМК РАН. Рукописный архив

- РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1865. № 15.
 РА ИИМК РАН, Ф. 1. 1873. № 10
 РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1892. № 33.
 РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1904. № 79.

- РА ИИМК РАН. Ф.1. 1913. № 366.
 РА ИИМК РАН. Ф.1. 1916. № 154..
 РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1918. № 1.
 РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1918. № 20.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1919. № 1
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1919. № 2
 РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1919. № 3.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1919. № 4.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1923. № 93. Ч. 1.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1924. № 123.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1925. № 56.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1926. № 67.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1929. № 6.
 РА ИИМК РАН. Ф. 2. 1929. № 78.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1930. № 4.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1931. Картотека памятников Ленинградской области.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1932. № 201.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1934. № 26..
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1935. № 3.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. 1935. № 35.
 РА ИИМК РАН. Ф. 2. 1937. № 35.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. Оп. 2. № 453..
 РА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 3. № 63.
 РА ИИМК РАН. Ф.2. Оп. 3. № 76
 РА ИИМК РАН. Ф.2. Оп.3. № 619.
 РА ИИМК РАН. Ф.5 (Спицын А.А.). № 17.
 РА ИИМК РАН. Ф.5 (Спицын А.А.). № 95
 РА ИИМК РАН. Ф.5 (Спицын А.А.). № 101.
 РА ИИМК РАН. Ф. 5 (Спицын А.А.). № 114.
 РА ИИМК РАН. Ф.5 (Спицын А.А.). № 116
 РА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 5. № 10.
 РА ИИМК РАН. Ф.35. Оп. 5. № 252.
 РА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 5. № 262.
 РА ИИМК РАН. Ф.71. № 61.

Архив ГИМ

- ГИМ ОПИ. Ф.54. Папка 15 (музейная сеть)
 ГИМ ОПИ. Ф.431. № 347.

Архив УФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области

- № 20704. Дело по обвинению гр. Серебрякова А.Э. и др.
 № П 30695. Т. 2. Дело по обвинению Бонч-Осмоловского и прочих.
 № П 30695. Т.2. Ленинградское дело «Российская национальная партия».
 № П–32333. Дело 9. Т. 5. — Следственное дело Руденко С. И. и др.

Архив Государственного Русского музея

- Ф. «Ведомственный архив». № 177

Архив Российского этнографического музея

Архив РЭМ. Ф.3. Оп.1. № 35. Л.24.

Архив РЭМ. Ф. 2. Оп. 1. № 362.

Архив РЭМ. Ф.2. Оп.1. № 363

При подборе иллюстраций использованы материалы:

- с. 22: ФА, О. 778 / 24;
 с. 24: ФА О. 1226 / 49;
 с. 27: ФА, О. 778 / 47а;
 с. 54: ФА, О. 12226 / 40;
 с. 55: ГЭ, ЭРГ-1521;
 с. 73: ГЭ, ЭРГ-28836;
 с. 82: ФА, О. 778 / 13;
 с.93: ФА, О. 1638 / 58;
 с. 94: ПФА РАН, ф. 192, оп. 3, № 203, нег. 4505;
 с. 122: Иванова, 1999, стр. 238;
 с.145: ПФА РАН, р. X, оп. 1а, № 21, л.1;
 с. 149: ПФА РАН, р. X, оп. 1И, № 11, л.1;
 с. 155: Тихонов, 2003, стр. 119;
 с. 158: Семенов, 1997, стр. 38;
 с. 163: ФА, О. 929 / 70;
 с. 167: ФА, О. 929 / 68;
 с. 168: ФА, О. 969 / 69;
 с. 181: Тишкин (ред.), 2004;
 с. 188: ТКБАЭ, вып.1, 2008, стр. 23;
 с. 192: ТКБАЭ, вып.1, 2008, стр. 26;
 с. 194: ТКБАЭ, вып.1, 2008, стр.24;
 с. 198: Антология... 1995, стр. 155;
 с. 206: Антология... 1995, стр. 158;
 с. 225: ФА, О. 778 / 6;
 с. 231: ФА, О. 929 / 22;
 с. 236: ФА, О. 1226 / 27;
 с. 237: ФА, О. 2511 / 73;
 с. 238: ФА, О. 778 / 26.

A HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL THOUGHT IN RUSSIA. 1850s – EARLY 1930s (ABSTRACT)

Problems, methods and approaches

In the 1960s–1970s, a distinct tendency was established in Russian archaeological publications to consider the history of science as a historically determined cultural sphere — one of the aspects of the history of culture. The focus was on the creative individuality of the scientist, represented within a broad background, in a single context with the events taking place in the area of politics, philosophy, ethics, aesthetics, etc. For a fairly long time, that tendency had been supported in isolation, mainly in the works by Alexander Aleksandrovich Formozov (Формозов, 1961; 1979; 1983; 1984, etc.). In the late 1980s, however, it gained an affluence of new forces.

At the peak of Perestroika, the cessation of the rigid ideological control and sharp expansion of information resources promoted a change of paradigms in the sphere pertaining to the humanities. A new scientific field was opened, as well as a new complex of evidence, new prospects of historiographic research and of publication of the sources. This resulted in a radical revision of many phenomena and processes occurring in the national archaeology during the 19th and 20th centuries.

The evolution of the scientific–historical school is accompanied at present by numerous attempts to formulate it theoretically, to recognize distinctly the origins, functions and goals of the approach in question. Meanwhile, this approach first emerged quite spontaneously demonstrating a peculiar combination of the scientific, aesthetic and artistic–historical cognition of the past. Elements of the latter knowledge, to a greater or lesser extent, cannot be avoided in historical reconstructions of the character of the science of past times and especially in depicting the personalities of particular scientists in the entire uniqueness of their individual traits.

The modern historiography discusses the search in the specified branch in the aspects of the global “anthropological turn” of the late 20th century in the world human knowledge. The introduction of a “subjective constituent” into the history of science is recognized as its primary feature: “Historical science has performed an impetuous turn from the concepts created by scientists to the scientists creating the concepts...” (Свешникова, 2006, 472). This is achieved through specifically historical approach to the evidence enriched by ground-works of numerous related disciplines (biographical science, sociology and philosophy of science, social psychology, culturology, philology, etc.). The development of the methods of synthesis and understanding of the evidence in question in order to elaborate historical reconstructions is one of the currently most important problems of modern historical science.

The subject of the present study is the development of archaeological thought of the second half of the 19th — first third of the 20th century understood as evolution and transformation of the complex of general notions and methodical approaches applied in the given sphere of knowledge. In Russian, there is a loan translation from the English “history of archaeological thought”. In Russia, this notion has become especially wide-

spread after Bruce Trigger's monograph of the same name saw light (Trigger, 1989). This term became a felicitous find since in terms of its meaning it is by no means adequate to the "history of theoretical studies in archaeology". Along with a common semantic field, we are dealing here with marked differences.

In the archaeological science, peaks of theoretical activity inevitably are alternating with periods of recession. However, a temporal absence of properly theoretical creativity in no way implied that scholars during that period really ceased to follow certain paradigms, gave up the attempts to define the substance of their approach to the evidence, etc. The causes of the stagnation often were to find elsewhere. Sometimes, it was the political situation that dramatically restricted the opportunities of discussion of theoretical positions. In other cases, the cause was just in stereotypes of the scholars' behaviour.

Thus at a definite stage of the development of the science, it could be considered quite normal to transfer the discussion of the methods exclusively to the verbal sphere, leaving to the press reviewing the experience of only their application to particular evidence. As a result, the major scientific credos were formulated as if in passing — in reviews, in few lines of introductions or comments to books, in laconic sketches of magazine "Chronicles", etc.

The fields of "theory" and "practice" have always been interwoven in the historical science. In the apt expression of Zinaida Alekseyevna Chekantseva, "...theory today is a kind of a toolbox. Historians ingeniously combine the means available to them in order to solve particular research problems... According to Gilles Deleuze, "practice proves to be an aggregate of transitions from one point to another, while theory is a transition from one practice to another..." (Cit. after Чеканцева, 2005: 65).

It may be here reminded that the "Three Age System" was originally introduced into science without any theoretical foundation. It had in its basis, on the one hand, solution of purely applied problems of exposing archaeological artefacts in the National Museum in Copenhagen, and the most general notions inherited from the Age of the Enlightenment on the progress of culture and technology on the other.

Studies of sources of diverse types have demonstrated the extreme ambiguity of the "images" of archaeological science created by different generations of scholars from the last third of the 19th century to the first third of the 20th century. In the framework of various scientific schools and directions, different, now and then absolutely antagonistic, images of their discipline were formed, being subject to analysis in specific historical terms and to superimposing within a single chronological period.

At present, the concept of "scientific school" is an instrument of great importance for historiographic studies. In modern science studies, this concept remains debatable. The interpretation proposed here is based on the fact that as the most important factors providing the continuity of ideas and approaches in the process of generation of the community "teacher — disciples" the following are recognized:

- educational and/or expeditionary activities of prominent scholars;
- elaboration of new treatment of the evidence, innovate concepts etc. in the course of these activities, thus generating the sense of involvement in the scientific achievements and prospects;
- prompt scientific interchange between representatives of the school, realized through both formal and informal channels.

Where all of these factors come into play, a supplementary network (a "cluster") of diversified and multi-level links is established within the scientific community. Inside this network, various complexly intertwined forms of scientific continuity arise. It is the community of this type that here is called scientific school.

Among the number of 20th century works on philosophy of history used in the present study there are, inter alia, ideas of Nikolay Ivanovich Ul'yanov who treated the evolution of the historical science in general as parallel development of two major "historiosophical super-tendencies". The first of them views the evolution of the human society as recurrent cycles and tends to create universal schemes of history. Within its framework, attempts are undertaken at finding "the laws of history", in particular, by means of transferring the laws of natural sciences onto the historical process. The second paradigm is the "hegemony of historical fact" as a conveyor of the historical truth, the process of historical evolution being recognized as a unique and common one (Ul'yanov, 1981: 66-70). From this viewpoint, all attempts to transfer the regularities of natural history onto the human society are doomed to failure: indeed, they are based on the principle of reproducibility of phenomena and are liable to experimental verification. Meanwhile, a historian is not able to conduct any experiments (Базанов, 2006: 72).

In the basis of my notions on the development of national archaeology is the acceptance of a key significance of two main conceptual platforms (approaches) traceable in Russian archaeology beginning with the middle and third quarter of the 19th century. The first of them (one pertaining to humanities or historical) defined archaeology in general as an integral part of history (or the history of culture). The second approach (natural scientific or anthropological) segregated prehistoric archaeology as a branch of natural sciences (anthropology as a general term). Each of the specified approaches was in its own way closely related both with the practice of archaeological investigations and with the trends in the society's expectations from archaeology. The two concepts both produced entire series of scientific directions and schools. To discussion of the latter, the particular chapters of this study are dedicated.

During different periods of their existence, the scientific schools based on the conceptual platforms mentioned above tended to draw nearer to each other or, on the contrary, diverged dramatically. It is of importance, however, to be aware that not two simply methodological approaches stood behind them but two opposite systems of philosophic views onto the human nature and history of humankind.

The search undertaken in archives has enabled me to reveal facts throwing new light onto a series of processes occurring in Russian humanitarian knowledge during the period under consideration. It has proved to be fairly fruitful to analyze the personnel composition of different archaeological institutions and examine divers shorthand reports. Of particular significance are diaries and epistolary documents, as well as unpublished memoir works. Finally, still another very important category of sources is of special note. It is the manuscripts of scientific works, booklets related to the latter, materials for courses of lectures, heads and summaries of reports, i.e. all the documents which for some reasons have not been printed but characterize directly the evolution of archaeological thought. Documents of this type have been of importance for essential correction of the previously established ideas on Russian archaeology of the period in question.

Publications of the last third of the 19th and first third of the 20th century are an extremely important source on the history of archaeological thought. Many of them

have later on “fallen out” from the scientific circulation but still contain almost unique evidence. However, this source requires highly sophisticated methods of scientific criticism. Dealing with polemic publications, it is occasionally more important to understand what information they had carefully endeavoured to withhold than to learn what is directly expounded in them.

Systematic surveys and variants of periodic division of Russian archaeology from the 1850s to mid – 1930s

The appearance of generalizing studies presenting variants of periodic schemes and conceptual characterizations always was of itself an outstanding event in the history of science. It fixed definite stages and levels of understanding of archaeological investigations in Russia. Attempts at surveying of national archaeology were undertaken since the mid – 19th century (I.P. Sakharov, I.E. Zabelin, M.P. Pogodin). Noteworthy are the historiographic studies by Alexey Sergeevich Uvarov (1870s – early 1880s) unfortunately published only posthumously, as well as sketches by Dmitriy Nikolaevich Anuchin dedicated to the development of Russian anthropology in a general sense. However, until the early 1920s the Russian press issued mostly only isolated essays summarizing the activities of particular organizations, scientific institutions and persons in one way or the other concerned with archaeology. In this series, of particular interest are works by Dmitriy Nikolaevich Anuchin (1887; 1906; 1909; 1952), Nikolay Ivanovich Veselovskiy (1909), Nikolay Nikolaevich Ardashev (1909; 1910) et al., dedicated to individual scholars or their scientific heritage. All of these studies are testimonies of contemporaries about the past very close to them or reference manuals containing more or less extensive collections of facts.

No systematic reviews of the path covered by national archaeology over the pre-revolutionary period had been produced. Nevertheless, on the whole, the turn between the 19th and 20th centuries was a high-water mark in the methodology of historical science. Many of the Russian historians then turned their attention to the issues of theory and history of their field of knowledge (A.S. Lappo-Danilevskiy, R.Yu. Vipper, P.N. Milyukov, D.M. Petrushevskiy, N.I. Kareyev, D.Ya. Bagaley, V.P. Buzeskul, et al.). In their works, the history of archaeological investigations in Russia (or at least a number of its aspects) was analyzed as part and parcel of the history of national historical science. However writings of that kind appeared not earlier than the 1910s – 1920s. A considerable part of them has remained only as manuscripts (historiographic studies of Alexander Sergeevich Lappo-Danilevskiy). The reason was in the radical change of the paradigms and ideology in the national historical science of the turn of the 1920s/1930s. It is exactly that change that made impossible not only the further study of evidence in the previous vein but, to a considerable extent, even publication of the earlier achievements.

The two-volume “Vvedenie v arkheologiyu” (Introduction to Archaeology) by Sergey Aleksandrovich Zhebelev (Жебелёв, 1923a; 1923b) became the first study in Russian comprising a systematic description of history of archaeological science (primarily archaeology of Greek and Roman antiquity) from the standpoint of a humanities scholar, professional historian and archaeologist. The book was based on a lecture course delivered by the author before the World War I at the Historico-Philological Faculty of the Saint-Petersburg University. It covered the development of archaeology in Europe, Russia and partly in North America.

Of special note is Zhebelev’s principally important proposition about the methodologically advanced state of Classical archaeology which, in these terms, was far ahead of any other “divisions” of the science: “...The entire, now fairly complicated, archaeological discipline with all its branches has grown ...on those foundations upon which Classical archaeology was established. The methods which were developed in Classical archaeology were gradually transferred and adopted by other branches of archaeological science...” (Ibid.: 7). As demonstrated by further investigations, S.A. Zhebelev did not violate the truth: in the beginning of the 20th century, archaeologists-classicists really were in advance of their “allies” in the sphere of the methods of investigation of proper archaeological (material) sources.

The chronologically next attempt of reviewing Russian archaeology belongs to Vladislav Iosifovich Ravdonikas. In his writings, already a principally new task was undertaken: “to deny dialectically” the so-called “bourgeois and feudalistic archaeological heritage ...rejecting all in it that is contradictory to the bases of the proletarian ideology” (Равдоникас, 1930: 6). Accordingly, the book turned to be focused on the exposure of the “class implication” of the entire old archaeological science which was “allegedly of above-class nature, but in reality an ultra-bourgeois one” (Ibid.: 9).

With this goals, the archaeological heritage of the Russian Empire was with confidence qualified from the sociological viewpoints. The “feudalistic” or “nobility’s” archaeology came to be represented in the person of Count A.S. Uvarov, Countess P.S. Uvarova, Count A.A. Bobrinskiy, N.I. Veselovskiy, et al. That archaeology, in the opinion of Ravdonikas, was marked by “amateurishness and dilettantism characteristic of the nobility’s or lordly attitude towards science. Representatives of the “bourgeois” archaeology included I.E. Zabelin, D.Ya. Samokvasov, V.I. Sizov, V.A. Gorodtsov et al. F.K. Volkov, B.S. Zhukov and all the followers of the palaeo-ethnological school still alive in the 1920s were called “petty-bourgeois” archaeologists (Ibid.: 38–40, 49).

Ravdonikas’s book did not present any periodic scheme in a proper sense. The “nobility’s”, “bourgeois” and “petty bourgeois” archaeologies distinguished by the author existed in Russia simultaneously and synchronously. It is impossible to define, albeit only as a trend, any boundaries between these periods. The arbitrary character of Ravdonikas’s sociological construction was evidently felt by the author himself. As the result, numerous provisos appeared intending to smooth over, to some extent, the incongruities. These provisos, dispersed throughout the text, every now and then ran contrary to the main thesis of the author that “rough empiricism and hopeless evasion from synthesis” was “the most distinctive trait with which our archaeology was marked in the past” (Ibid.: 34; see also: Платонова, 2002b).

For instance, Count Aleksey Sergeevich Uvarov suddenly proved to be a “well-educated person, mixing with the milieu of bourgeois archaeologists, but far from being alien... to the genuinely scientific interests” (Равдоникас, 1930: 38). Nikodim Pavlovich Kondakov is recognized by the author as a “figure of a more complicated order, deserving an especially close consideration” although the “methodology of formal study of art” as itself is reproached (Idem.: 39). Mikhail Ivanovich Rostovtsev is called an “author of really important archaeological generalizations” (Id.: 33). And totally surprising seemed to be the acknowledgement of V.I. Ravdonikas that in the 1920s “we saw a genuine flowering of the bourgeois methodology” (Ibid.: 49).

Through the provisos mentioned, the true and much more respectful views of the author on the contemporary to him Russian archaeological science are showing themselves. But these views are literally sinking in florid accusations of “studies of artefacts positively devoid of any method” (Ibid.: 34). This formula distinctly expressed a social order: to discredit the “old archaeology” in general and to ground and justify its crushing which already was started in 1928-1929 with mass “cleanings”, layoffs, persecution and arrests of scholars (Перченко, 1991; Бонгард-Левин (ed.), 1997; Ропре, 1983: 109–131; Тункина, 2000, et al.). The same goals were evidently pursued by the monograph of Mikhail Georgievich Khudyakov (1932) which however presented a valuable study on the history of archaeological investigations of the Volga region.

Notwithstanding the obvious political commitment, the concept under consideration was destined to a long life. Post-Stalin historiography in the USSR replicated it almost without any revision (Монгайт, 1963; Вайнштейн, 1966). In the sequel, the views about the “empiricism” and methodological feebleness of Russian archaeology of the 19th — first third of the 20th century became a truism and were successively inculcated into the minds of new generations. In a slightly transformed shape, the same concept has been reflected in the works by such a researcher uncommitted in relation to official opinions as Lev Samoylovich Klein (1993). According to his views, Russian archaeology until the late 1920s was ruled by “empiricism” which, however, had prepared a scientific basis for future generalizations (Клеjn 1977; Bulkin, Klejn, Lebedev 1982). The first attempts at synthesis, albeit imperfect ones, appeared in the works of young Marxist researchers of the turn between the 1920s and 1930s.

Only in the 1990s — 2000s, utterance was given to the opinion that this concept, having exerted such a strong influence on the world notions about Russian archaeology, was nothing more than one of the variants of the ideological myth widespread in our country during the totalitarian epoch (Бонгард-Левин (ed.), 1997; Платонова, 2002б; 2004; Тихонов, 2003; Тункина, 2002, et al.).

During the period from the late 1980s to 2000s, the attempts of elaboration of a generalized periodization of the history of national archaeology had been undertaken by M.V. Anikovich, V.F. Gening, A.V. Zhuk, L.S. Klein, G.S. Lebedev, V.I. Matyushchenko, A.A. Formozov, et al.

In the opinion of Alexander Aleksandrovich Formozov, of principal significance for a periodization are the position of archaeology within the system of sciences of its time and the character of those demands which society puts forward to it (i.e. the function of the given discipline in the given society at the given moment) (Формозов, 1983). The alteration of the specified factors may induce certain changes in the science’s orientation and connections, redirecting dramatically its advancement.

In the very statement of the problem and the choice of the criteria of periodization by Formozov, one can discern the influence of the positivistic historical tradition. It is exactly the founder of that tradition, August Comte, who pointed out, inter alia, that “one cannot know the true history of any science, that is to say the real formation of the discoveries it is composed of, without studying, in a general and direct manner, the history of humanity” or, putting it in modern terms, the historical context of the evolution of science. Thus every discovery is comprehended exactly as a social phenomenon while the path of science is represented by a succession of discoveries, the spans between which are filled with diverse events of a social character.

Periodization of Gleb Sergeevich Lebedev, like that of Formozov, reflects primarily the historical context of the evolution of national science and the changes occurring in it under the influence of outer factors. In his constructs, Lebedev widely used the notion of “paradigm” borrowed from Thomas Samuel Kuhn. To each of the six periods he had distinguished within the time span of the 19th — early 20th century, one of its own “paradigms” corresponded. Any change of the basic concepts was treated by Lebedev as a definite progress in the evolution of science.

In fact, the periods distinguished by Lebedev cannot be unambiguously linked to the evolution of archaeological thought. To a considerably greater extent they are reflections of the changes of social and political situation in Russia, shifts in public consciousness including the attitude to science, new tendencies in cultural life, etc. Nonetheless, Lebedev’s attempt to correlate periods with definite “paradigms” is an effort to digress from the positivistic treatment of history of science and to tie the historical particulars with the internal logics of the development of archaeology in Russia.

In the work by Vladimir Feodorovich Gening (1992), the entire chronological range under consideration in the present book (second half of the 19th — first third of the 20th century), is covered by a single expansive period — that of “cultural archaeology”. Within the framework of that period, Gening does not discriminate any serious conceptual differences. The treatment of the notion of “cultural revolution” proposed by him implies a total overturn of the “world-view foundations, objects of cognition and methods of investigation”. It differs markedly from the classic interpretation of Kuhn. One may agree with the author that over the specified period of time, indeed, no dramatic “leaps” have been traced. But from this it also follows that on the criteria accepted by Gening it is in principle impossible to build a periodization. It does not work since it is not able to detect and record the real advance of archaeological thought even during the so long and eventful chronological range as the second half of the 19th — first third of the 20th century in Russia.

In the historiographic writings of L.S. Klein, periodical division of history of science is, in the first place, a periodization of the ideas, dominating concepts and scientific schools. Presenting an extensive critique of Lebedev’s concept of “paradigms”, Klein noted that in the history of our science, different basic concepts (but not the “paradigms”) did not “annihilate one another” but rather coexisted simultaneously (Клеjn, 1995a). They developed parallel to each other each reflecting different essential aspects of archaeological investigation and periodically changing the “correlation of forces” and influences. This opinion was accepted by Irina Vladimirovna Tunkina (Тункина, 2001: 314). Similar views were proposed beginning with the mid-1980s by Mikhail Vasil’evich Anikovich (Аникович, 1989). The complex of ideas under consideration is, on the whole, fairly seminal. With regard to history of archaeological science, we, indeed, must talk not about “changes of paradigms” but about the evolution and variability of a number of basic concepts although opposing but, at the same time, to some extent mutually supplementing each other.

A characteristic trait of works by Sergey Aleksandrovich Vasil’ev (Васильев, 1999; 2004: 37–38) is in the distinguishing the archaeology of the Palaeolithic as a special discipline to be considered not only outside the context of studies of subsequent periods but even beyond that of studies of the Neolithic Age in Russia. Leaving aside this fairly complicated problem, we must note only one important point. The studies by Vasil’ev

assert the original parallelism of functioning of two different approaches in the Palaeolithic studies. The first of these approaches (historical) is founded, in his interpretation, on the notion about archaeological monuments as “national antiquities” and the “remains of the history of the native people” which dominated in the German science in the 19th century and was borrowed by A.S. Uvarov and his followers. Exactly this view, in the opinion of Vasil’ev, prevailed in the national science in the second quarter and the end of the 20th century. The second (anthropological) approach, initiated by works of Dmitriy Nikolaevich Anuchin, is associated by Vasil’ev with the modern American understanding of “anthropology”.

The view about the primordial opposition of the two described approaches is very close to the truth if one considers archaeology of the Palaeolithic Age not in the general context of the “prehistory” of the 19th century but as a separate discipline. If furthermore one analyses the prehistoric archaeology in general, including at least the entire Stone Age, then a very distinctive and significant precedent stage is immediately recognized in its historical development. To that stage, characteristic is exactly the absence of the opposition between the humanitarian and natural-science methods with the enhanced attention to the latter and general culturological orientation of the studies. This stage is defined in the history of archaeological thought as the domination of the “Scandinavian school” of studies. In Europe, it covers the second quarter — middle of the 19th century (Trigger, 1989: 81–86). In Russia, the teachings of this “school” influenced the works of scholars of the 1850s — 1870s which laid the grounds of the prehistoric archaeology in Russia.

As to the perception of archaeological sites as a national cultural heritage, and occasionally directly as remains of our own immediate ancestors, this was in a certain period inherent not only to Germany and Russia, but also to all European countries. Indeed, the impact of the “national factor” at the early stage of the establishment of scientific archaeology is difficult to overestimate.

On the whole, the system of scientific notions cannot be considered unidimensionally in a single plane. It is hierarchic in its nature. The predominance of one approach or other over a given time span quite possibly is explained by a particular combination of social, cultural and personality factors influencing scientific thought. However, the ability of “basic concepts” for resurrection at new rounds of studies is a phenomenon of an absolutely different level.

The Omsk historian and archaeologist Alexander Vladilenovich Zhuk laid into the foundation of his system of periodization of national archaeology such a feature as the state (variety) of the main archaeological source which was the defining one at one stage or another. At first, it was a “separately taken artefact”. However already during the period of the 1830s — 1880s, the “archaeological complex” or an “aggregate of indications” according to A.S. Uvarov’s definition, becomes the main source. The goal of archaeologist becomes to “reconstruct the real life through the remnants of the past”. The new accents put forward respectively new techniques of investigation. Excavations of kurgans began on a wide scale and compiling of archaeological maps was started.

After the 1880s, the last phase of the development of pre-revolutionary archaeological thought started characterized by the “appearance of archaeological source study”. As the main source, now the typological series comes forward. This phase was disrupted in a violent manner during the epoch of the “Great Change” (Жук, 1995: 4–6).

Although some theses of A.V. Zhuk are open to question, his endeavour to build the periodization scheme on the basis of the internal logics of the development of archaeological science seems very promising. In terms of methodology, it is of a pioneer character. Many particular observations of the researcher deserve the most careful examination.

The initial phase of the establishment of scientific archaeology in Russia

The rejection of antiquarianism and beginning of studies of national monuments as national antiquities and memorials of the home history — it was all this that became the main constituent of the process of establishing archaeology as a science. The formation of the notions of archaeological monuments as a national heritage served as an ideological design for such key processes as the primary collection and systematization of the evidence on sites of Russian archaeology, as well as composition of the first outlines of the infrastructure of archaeological science and public “archaeological service”. Without the fulfilment of these tasks, the subsequent development of archaeology as a science would have become impossible.

In Western Europe these processes have taken, in fact, the entire first half of the 19th century. “National archaeology” was there constructed in the framework of the ideas inherited from the Age of the Enlightenment. That heritage required for the science the enrooting of the concepts of the steady technological progress of humanity which have been expressed in the formulation of the “Three Age System”: the Stone, Bronze and Iron Ages.

In the first half of the 19th century in Europe, writings on the so-called “universal geography” or “studies of peoples” became widely popular treating, inter alia, the influence of the natural environment upon the “spirit” and history of peoples (works by Alexander Humboldt, Karl Ritter, the latter’s follower Élisée Reclus, et al.). Exactly these studies had established the foundations for a serious scientific formulation of the problem of impacts of the geographical environment on culture. As a result, by the mid-century here, anyway in a number of countries if not everywhere, the above-described tasks had been fulfilled: the infrastructure of archaeological science was created in the form of the system of voluntary scientific societies and museums and the primary systematization of materials carried out.

In Russia, the appearance of the first beginnings of the interest to the “national antiquities” was delayed 20–30 years relative Western Europe. However, of much more importance was the fact that the comprehension of archaeological monuments as a national heritage chronologically coincided in Russia with the “Golden Age of evolutionism” (late 1850s — 1870s). As a result, this understanding must have been taken place in quite another atmosphere.

By that time, both the evolutionary geology of Charles Lyell, and the evolutionary sociology of Herbert Spencer, as well as the theory of the natural selection by Charles Darwin had become accomplished facts. Writings of these scholars, as well as the works of their numerous popularisers were promptly translated into Russian and, moreover, the Russian translations often were delayed only 1–3 years respective the originals. The craze among the Russian youth of the 1860s–1870s for writings of N.G. Chernyshevskiy and D.I. Pisarev who, in turn, were basing on the works of well-known evolutionists

(Karl Vogt, Thomas Henry Huxley, Ernst Haeckel, et al.), resulted in the establishment of a peculiar “cult of natural science” in the Russian educated society. The consequence was a dramatic decline of interest for those branches of knowledge which were not based on the immediate experience (*inter alia*, art history).

Meanwhile, the practical mastering of the national antiquities in Russia had, in fact, been just only started by the end of the 1850s. Along with particular “pointed” unsystematic amateurish excavations, on the credit side of Russian archaeologists there were only regular investigations of Vladimir barrows (1852–1853) carried out by A.S. Uvarov and P.S. Savel'ev and excavations of Siberian kurgans under Vasiliy Vasil'evich Radlov. The structure of the archaeological service required for fulfilment of such tasks as recording, investigation and at least rough systematization of sites throughout the regions also was only at the initial stage of its shaping. This fact cannot have left no mark on the process of establishing Russian archaeology in the second half of the 19th century.

The ideas of the “golden age of evolutionism” were intensively assimilated in Russia both by scientists and by the broad reading public. But they were circulating as if in isolation from the sites and from problems of “practical” archaeology. By force of the underdevelopment of the infrastructure in Russia, together with the extensiveness of its territories, the primary collection and systematization of materials were making very slow progress. It was a long and fastidious work that was required in this direction in order that on the basis of Russian antiquities it would become possible to conduct serial analysis of particular categories of finds. Meanwhile, without such analysis and without the possibility of broad application of the comparative method respective particular evidence, the evolutionary ideas inevitably would have been extraneous to archaeological studies, notwithstanding the world-views of one archaeologist or another. The researcher himself could have been an evolutionist in terms of his convictions, a Darwinist, etc. However, in the branch of studies of national archaeological materials, that researcher must have been focused either on surveys and primary systematization of sources or problems of their interdisciplinary studies (i.e. the possibility opened by application of data of related disciplines for solution of the tasks of investigation of a particular site).

It is difficult to evaluate definitely and classify all the manifestations of the “national feeling” which were splashed onto the pages of archaeological publications since the 1850s. In their core was the wounded national pride, i.e. the endeavour to prove the right of the Russian people to be called a European nation with a rich history. Strangely enough, this fact united people of very different political views and positions: democrats and conservators, natural scientists and classical scholars. At the same time, Russian scientists and publicists continuously complained of the insufficient interest of the society for the national antiquities and history:

“...Russian Archaeology, indeed, has not been established as a harmonious and regular science ... however one must acquiesce that this fact arises not from the deficiency of evidence,... but from a certain indifference concerning national antiquities” (Уваров, 1910: 128).

“...In our country ... one begins to realize the necessity of measures for preservation and surveying of antiquities found in our vast homeland. ...However, these measures will prove to be insufficient for the advance of archaeology, ... if in the educated strata of the people, the interests of archaeological science will not meet with lively sympathy...” (Лепех, 1863-1865, I: 147).

“For a long time, the educated part of our society, ... was brought up with the thought that there had been nothing in Rus before the tale of our famous chronicler Nestor or, according to the apt remark of Mr. Zabelin who characterized our society’s treatment of this problem, Rus had been an “empty place” ... Such a thought must have been lying as a heavy and prolonged pressure on the minds of even talented personalities. Indeed, what was to be searched for in the “empty place”?” (Иностранцев, 1880: 275).

One should not forget that the middle and second half of the 19th century became in Russia the period of an impetuous cultural development, perhaps, one of the most fruitful and creative throughout the country’s entire history. Over a short time span, such spheres arose as the national Russian literature, Russian symphonic music, Russian opera and Russian painting (landscape and genre ones). The same period saw the outstanding discoveries of Russian scientists in various branches of natural science. It is therefore no surprise that in the press of those years, serious passions were seething concerning Russian national culture and, particularly, concerning the history of that culture. This “passionary” substratum and the thirst for the national self-affirmation presented in practice a stimulus for many cultural achievements. Particularly, the establishment of Russian national archaeology proved to lead to a drastic expansion of the scope of investigations and drawing attention on new categories of monuments and contexts of their finding. The main vector of that process included gradual overcoming of the national narrow-mindedness and ultra-patriotism and approaching to the so-called “position of a calm historian” as formulated in the late 19th century by Acad. Sergey Feodorovich Platonov.

When talking about the initial stages of scientific archaeology in Russia, one must specially note the activities of Acad. Karl Ernst von Baer. He was the first in Russia to formulate the problem of the influence of geographical environment on culture. Moreover, the prospects of studying it were directly linked by him with further investigations in the fields of archaeology and ethnography. Of extreme importance is Baer’s contribution to museum archaeology: in the early 1860s he established the first precedent of acquisition of a collection of prehistoric stone tools by the Museum of the Imperial Academy of Sciences. He was also the first to state the problem of studying the most ancient history of inhabitants of Russia on the basis of examination of “antiquities” understood as historical “documents”.

Archaeology as a classical scholarship in Russia

The formation of the scholar platform in European archaeology was taking place on the basis of studies of previous antiquarians of the 18th — first third of the 19th centuries. At that phase, the specified approach implied consideration of “antiquities” not only of the “material” nature, but also visual, palaeographic and folkloristic arts, etc. Antiquities were analyzed (a) as products of human creative work, and (b) as the remains of the “real” history of peoples (or, in present-day terms, the history documented in artefacts or history of a culture). The methods elaborated in human sciences served as the main foundations of the scientific analysis — comparative linguistics, philology and history. The chronology of the archaeological monuments was determined through the information derived from written, numismatic, sphragistic sources, etc.

The dramatic division of the scientific platforms into humanities and natural-science ones, as became apparent in West-European archaeology as early as already in the 1860s

and in Russia since the last quarter of the 19th century, was not originally inherent to archaeological science. In Russia, at least, the middle and the entire third quarter of the 19th century represented a period of an extremely close cooperation of classical scholars and scientists. Moreover, the ideological and ontological premises from which both proceeded very often were also similar.

In this connection, it seems necessary to make an excursus into the doctrine of West-European archaeology. Studies of the prehistoric periods (Neolithic and Bronze Age) were successfully started in a number of European countries as early as 1830s — 1840s. These researches often resulted of the aggregate efforts of scholars of different sciences. Natural-history scientists along with historians began to take part in excavations at archaeological sites in Northern and Central Europe. It is exactly during that period that the wide application of geological, palaeozoological and chemical data, as well as those of other natural sciences, was initiated in analysis of finds from excavations in Scandinavia (during studies of kitchen middens) and in Switzerland (after discovery of pile dwellings). Simultaneously, attention was first attracted to the petrographic characteristics of stone artefacts and to the chemical composition of ancient bronzes. The first studies of correlations between archaeological finds and geographical maps and materials of ore deposits etc. were conducted (Лепх, 1863–1865, 1868; 1868a). Also special studies of osteological and anthropological materials from excavations were started. However, in the eyes of the scholars themselves, this practice was dictated by particular needs of historical investigation by no means transferring the latter into the range of natural sciences.

The above described complex of ideas was later called the Scandinavian approach in archaeology. On the Russian ground, it was initiated by works of K. von Baer who was guided primarily by studies of Scandinavian and Swiss archaeologists. The “Scandinavian school” received the most complete realization in writings of Baer’s follower Peotr Ivanovich Lerkh.

In terms of methodology, Lerkh was guided by studies of Scandinavian scholars who became the pioneers in the field of typology and chronology of artefacts dated to the Neolithic Period and Bronze Age. The materials obtained in the course of surveys and excavations were interpreted by him definitely in evolutionist terms. In particular, the scholar laid stress on the probability of parallel and independent evolution of similar types of stone tools in different territories and pointed out the “prematurity of ethnographic conclusions” about their belonging to a single people. At the same time, his ideas of evolution in culture went together with the notions on the important role of migrations and cultural borrowings in the historical process.

With the death of P.I. Lerkh, the direct development of “Baer’s tradition” came to a sudden end in Russian archaeology. This was a tradition marked by (a) an organic combination of human and natural-science methods within the framework of a historical-archaeological research, and (b) skilful coordination of the obtained information with the results of comparative linguistics.

The historical and life-mode school, originally established within the framework of the scholarly approach, often was equated in Russian historiography with the properly “national” archaeology concerned with studying Russian personality, its culture, etc. In the basis of those views, there was the opinion of the founder of “Russian archaeology” A.S. Uvarov who defined archaeology as a “science occupied with investigation of the ancient Russian life through monuments remained from the peoples which

originally constituted Rus and afterwards the Russian State” (Уваров, 1878: 32). In the 1870s — 1880s, the specified direction became the predominant one in Russia. As its main theorists, it is accepted to consider Ivan Egorovich Zabelin and Alexander Sergeyeich Uvarov. Their writings, indeed, summed up an entire stage of the development of Russian archaeological science, which often was called “Uvarov’s stage”.

Gleb S. Lebedev equated this direction of studies with a special “paradigm of description of everyday life” in archaeology. However one must admit that the term of “bytopisatel'stvo” or description of everyday life” is lame respective A.S. Uvarov and his school. The conception of “ancient everyday life” was very widespread in archaeological literature of the 1860s — 1880s. However, in the Russian language of that period, “history of everyday life” was nothing other as an equivalent of the present-day term of “history of culture”. Therefore, the historical and life-description direction in the national archaeology maybe fairly called a “historico-cultural” one.

Characteristic of this direction in general was understanding of archaeology as a complex of special disciplines “parallel” to history as such. In the interpretation of Uvarov and Zabelin, this division was not associated with the difference in the nature of the sources, viz. archaeological and historical ones implying different methods of study. The importance of these differences was first pointed out at the IIIrd Archaeological Congress by the Kievan historian and art critic Prof. P.V. Pavlov. In his interpretation, archaeology “involves all the historian sciences inasmuch as their contents are expressed in material remains” and has “its own special archaeological method, which is aimed at arriving to scientific conclusions by comparison of uniform material remains” (Протоколы... 1878. Pp. XVIII–XIX). However in 1874, these theses, although fairly advanced and very perspicacious for their time, received no support.

Rejection of Pavlov’s conception by Russian archaeologists was deeply grounded: the proposition to limit the branch of archaeology by studies of only material remains ran contrary to the research practice. At that stage of the archaeological exploration of Russia, when the field studies were of a “pointed”, rather than systematic character, archaeologists still did not avail themselves of the serial nor mass material. Neither there was any elaborated chronology of the material antiquities, even of those of the latest “historical” ages. Regarding of the “comparison of uniform material remains” as one of paramount importance was very difficult to realize.

By contrast, archive researches and studies of documents and visual arts allowed in some cases to date fairly exactly the “antiquities” and sometimes to explain their purpose and structure. The definite interpretation of archaeology by Uvarov as the general history of culture or “doctrine about the ancient humans’ everyday life” ensued from that fact. Actually, the subject of the science was defined proceeding from the real cognitive activity of the scientists who not only were able but were forced by the state of the source base to carry out their studies following an interdisciplinary approach.

The scientific school of N.P. Kondakov, which had been developing in Russia since the third quarter of the 19th century, was a more profound and advanced Winckelmann’s tradition within Russian archaeology. This direction may be defined as an art-historical one. Its approach to analysis of archaeological evidence differed markedly from the other ones then accepted in Russia. “The final objective of historical science, — Kondakov wrote, — must be in studying... the diversity of cultures on the basis of broad exploration of the material evidence, data of ethnography, folklore and people’s language, etc. However, before all

this is realized, archaeology must take concern to extract as much as possible from its own materials, i.e. from material antiquities and finds yielded by excavations (*italics added*).” (Кондаков, 1896: 7). As the subject of archaeology, no other was considered as the shapes of artefacts in their formation and further evolution. The main goal of a study was to examine the “style”, “typical form of a thing in its historical alteration” (Кондаков, 1896: 7). In contrast to wordings of his contemporaries — Russian archaeologists of the historical and life-mode direction who treated the subject of archaeology as studies of “everyday life of peoples through material remains” (A.S. Uvarov) or investigation of “isolated human’s creative work through artefacts” (I.E. Zabelin), — Kondakov’s definition was a huge step forward. Kondakov had intuitively understood the importance of such a technique as identification of the character and frequency of mutual combinations of different forms. The essence of his approach was first to subject things to comparative studies in terms of the form, technology and style and to elucidate their origins and the type of evolution in order to make already on this basis acceptable historical conclusions.

It seems that Kondakov was one of the first in Russia to understand and to make attempt at scientific substantiation for the true meaning of study of artefacts, or rather to understand the necessity of a specific refined technique in archaeology for exploration of material sources. However, although a practicing archaeologist and a pioneer in the sphere of methodology of studies of artefacts, Kondakov himself retained “fairly obsolete” notions about the relative value of archaeological finds. Exact documentation of the conditions of finding never were laid down by him as an indispensable and fundamental requirement. The “mass material” as if did not exist for him. This neglect prevented the scholar from extending his approach to all the categories of finds and dividing more distinctly between archaeological science and art history. This was done subsequently by his followers (Тихонов, 2001). The development of “Kondakov’s school” in the 1890s was evolving in the direction from studying spectacular things taken out of the general context of the sites to investigation of “real remains of antiquity in all their dominating numbers of actually worthless things”.

Of great influence in archaeological thought of the early 20th century in Russia was the school of interdisciplinary oriental studies of Victor Romanovich Rozen. Its role by no means was confined to the results of field studies of orientologists. Of the greatest significance was that Rozen, the founder of the Oriental Division of the Russian Archaeological Society, like Kondakov, put forward a theory of cultural process. Among the important ideas proposed by him was that of “cultural communication” as a factor and stimulus for formation of a new culture. In essence, it was a hypotheses which in its own way explained the fact of appearance of cultural innovations. Rozen’s conjectures about the mixed character of all cultures and their polyethnical nature were following the same direction (Платонова, 2002: 166–167).

It seems that in the circles of Petersburg scholars, this idea, in the period under consideration, was literally “in the air”. Its sources may be found in writings by Feodor Ivanovich Buslaev. It was suggested also by N.P. Kondakov concerning Russian antiquities of the early Middle Ages. In “the combination, mutual acquaintance and then amalgamation” of various tribes of Initial Rus, Kondakov saw an “inexhaustible source... of prosperity, vital forces and gifts of the nation” (Кондаков, 1896: 6–7). In works by L.S. Klein, this direction of archaeological thought post factum is called combinationism. The historians and archaeologists of the schools of Kondakov and Rozen did not

themselves use this term. Nevertheless, the community of their theoretical researches seems obvious now, over 100 years afterwards.

The tendency to digress in the treatment of materials from the purely ethnical interpretations of cultural phenomena, to divide between “culture and ethnos”, to reveal the sources of evolution inside the culture itself rather than outside it, all that found its realization in studies already during the life of their teacher. On the basis of materials from excavations of Ani, the ancient capital of the Armenian Bagratids, Nikolay Yakovlevich Marr endeavoured to demonstrate the complex and mixed character of the mediaeval culture of the Transcaucasia and the prolificacy of the interaction between the Christian (Armenian) and Islamic elements there.

Spitsyn’s school in the national archaeology, established at the turn between the 19th and 20th century was a successive continuation of the historical and life-mode direction enriched with the methodological groundworks of the art-historical school (of Kondakov). By that time, the accumulation of new evidence urgently required, on the one hand, a specialization of Russian archaeologists in the branch of studies of exactly material sources and, on the other, it gave at last the possibility to apply in reality serial analysis to archaeological materials. On these foundations, the general ideas and practical activities of Alexander Aleksandrovich Spitsyn were built. His influence onto the subsequent fate of national archaeology came to be of extreme importance.

Like P.V. Pavlov, A.A. Spitsyn considered history as an encyclopaedic science accumulating data yielded by different disciplines. Similarly to his predecessor, he laid boundaries between different historical disciplines according to the character and peculiarities of the methods of their studies. Archaeology, in his interpretation, is both a special discipline and part of history. Archaeology is independent since it covers its own unique evidence, applies its specific techniques of investigation and sets its own objectives. It is part of history because basing on its results, one of the divisions of history of culture is reconstructed and historical and ethnological problems are solved.

Spitsyn had appraised in full the importance of study of artefacts, or “special knowledge of things that is unavailable to a historian”. He clearly understood that without detailed analysis of finds in terms of their forms, technology and style, all the attempts at historico-cultural reconstructions will remain hopelessly unsettled. Respectively, the scholar believed that the approach of N.P. Kondakov should be extended to all the categories of archaeological finds without exclusion, although, contrary to the latter scholar, it is incorrect to neglect studying their contexts.

According to Spitsyn, “all the antiquities linked throughout a single technology and single contents and style must constitute a definite unit, value, appearance and harmonious aggregate... This integrity will include... an entire life-mode environment: dwelling, dress, objects of worship and ornaments...” (РА ИИМК РАН. Ф. 5. № 95. Л. 10–11). Given the whole indistinctness of this definition, one clearly sees here an attempt to present archaeological evidence as a series of “units” or aggregates within the limits of which different categories of antiquities are closely interrelated and united into a system (“harmonious aggregate”) later called “archaeological culture”. It is noteworthy that Spitsyn was the first in world science to introduce the notion of “culture” into archaeological literature and to apply it widely in practice.

In the 1890s — 1910s, intensive elaboration of the theory of archaeological source was conducted in Russia. In this context, Alexander Sergeevich Lappo-Danilevskiy de-

veloped the theoretical foundations of archaeology as a historical discipline and a branch of studies of historical sources. In his university lecture courses delivered in the early 20th century, Lappo-Danilevskiy had succeeded to propose a systematic exposition of the goals and methods of archaeology and to deal with problem of interpretation of materials from the philosophical viewpoint. In particular, he was the first to classify the “remains of a culture” according to the extent of their explainability by the factors watched by historian and he noted that their interpretation is an attempt at “transferring the way of thinking of the author to that of a historian”.

The views of Lappo-Danilevskiy on archaeology in quite a number of points were far ahead of his time. The complex of his notions reflects the level of understanding of the evidence which qualitatively differed from that we are used to consider as characteristic of the early 20th century both in Russia and West Europe. The resolute delimiting between the “remains” and “tradition” according to the nature of sources, elimination of “tradition” from the sphere of archaeological study, exposure of the multiple meaning of historical fact and its dependence from researcher; clear understanding of the fact that not the “things” themselves are evolving but rather the complex of notions distinctive of their makers; the necessity of refined methods of transforming a thing into a historical fact, — not all this had come to be understood either by contemporaries or successors — archaeologists of the 1920s — 1930s. But now, the works of A.S. Lappo-Danilevskiy are re-published with success and sound quite “up-to-date” in the context of the historical science of the beginning of the 21st century.

Theoretical researches in the field of archaeology understood as a discipline of historical cycle were continued also in the 1920s in writings by Peotr Feodorovich Preobrazhenskiy. The reason of the “historization” of the science about primitive man and his culture was according to the views of that scholar in the development of the ideas of the cultural-historical school which put forward such key ideas as “cultural circle” and “cultural complex”. Noting the methodological undevelopment of these concepts, the absence of the “internal coordination of indications”, etc., the scholar stated the need for a more precise definition of that “cultural community which in the German historical school is called cultural circle and by American ethnologists is called cultural area” (Преображенский, 1929: 26–27). In his opinion, this community coincides neither with the linguistic community nor the racial one, “being a unit of a completely special kind” (Ibid.).

Preobrazhenskiy considered the “problems of correlation and acculturation” as the most important theoretical issues” (Ibid.: 28). It is noteworthy that the idea of “cultural communication” or mutual penetration of cultures as a factor and stimulus for the formation of new cultural unities had deep roots in Russian science. In the late 19th — early 20th century this idea was proposed by N.P. Kondakov, V.R. Rozen and their followers. However, it is exactly by P.F. Preobrazhenskiy that the first attempt at advanced studies of such a phenomenon as acculturation through ethnographic and archaeological evidence was undertaken.

After the arrest and death of the scholar in 1937, his name remained forgotten for a long time. Nonetheless, his researches have had time to influence national archaeological thought. In particular, P.F. Preobrazhenskiy persistently stressed the importance of correlation of indications in studies of a culture and treated “culture” itself as, in essence, an aggregate of these indications. These ideas were widely known among the milieu of

Russian archaeologists of the 1920s and, perhaps, were one of the factors stimulating the first experiments with application of combinatorial methods in Russian archaeology (1927–1929).

On the whole, the development of national archaeological thought within the frame of the humanity cycle of sciences in the 19th — first third of the 20th century progressed fairly successfully in diverse directions. In the theoretical sphere, “rushing ahead” not once was observed, — proposition of peculiar, perhaps fruitful, ideas and generalizations which however did not find immediate application to the particular material. That “getting ahead of themselves” was related at different stages with the names of P.V. Pavlov, N.P. Kondakov, A.S. Lappo-Danilevskiy, P.F. Preobrazhenskiy, et al. This phenomenon in the Russian archaeological science of the second half of the 19th and early 20th century is accounted for by the presence of dramatic antagonism between the high level of methodological and philosophical achievements on the one hand and the extent of practical studies and systematization of archaeological riches of Russia on the other.

The activities of such archaeologists as A.S. Uvarov and A.A. Spitsyn were directed firstly to solution of this key contradiction. However, the efforts of those who were ahead of their time cannot be considered as wasted in vain. Here, as a rule, we are dealing with the factor of retarded succession, by force of which the ideas proposed in the remote past suddenly come to be considered as quite modern many decades afterwards.

Archaeology as a science of natural and historical cycle in Russia

The presence of a special “palaeoethnological school” endeavouring to tie as closely as possible archaeological studies with the complex of natural sciences in Russian science of the first third of the 20th century, was not once noted by contemporaries. In the basis of the development of the palaeoethnological direction in Russian archaeology was the long tradition of studies of Stone Age sites by natural-scientists using the methods suggested by their basic specialty. These scientists included A.A. Inostrantsev, V.V. Dokuchaev (the founder of national soil science), I.S. Polyakov, K.S. Merezhkovskiy, È.Yu. Petri, et al. However, Dmitriy Nikolaevich Anuchin and Feodor Kondrat'evich Volkov were the key figures in this scientific direction before 1917. They raised an entire pleiad of disciples.

The notion of “palaeoethnology” (palethnologie) was introduced to science in the early 1860s. The new discipline was founded by the French naturalist and archaeologist Gabriel de Mortillet, a consistent evolutionist and ardent anticlericalist, who continuously accentuated the natural-scientific character of his learning and its very close connections with geology and palaeontology. Behind his replacement of the “prehistoric archaeology” by “palaeoethnology” there was an attempt at a cardinal philosophical reinterpretation of the “beginnings of the World” on the basis of the new evolutionist paradigm in science.

Outwardly, the scientific platform of G. de Mortillet is very close spiritually to modern archaeology. In historiographic literature, the essence of the views of French palaeoethnologists-evolutionists is usually defined as a system of notions about the natural and cultural community of the prehistoric epoch (Жык, 1987: 18). As it is, it finds a very lively response among present-day scientists: palaeoecological studies now are recognized as one of the most important branches of archaeology, sometimes even ousting the immediate work with collections to the far background.

However, for G. de Mortillet, the problem of the interrelations of man with the environment in the prehistoric times was by no means of primary significance. What really was in the basis of his scientific platform? Undoubtedly, of no small importance was his subjectivism — drastic opposition to the dominating trends of the French science of antiquities. De Mortillet endeavoured to distance himself from the Classical archaeology strongly attached to the art history and to stress the links with traditions of evolutionism in ethnography of the mid-19th century.

From the philosophical standpoint, the platform of the French palaeoethnology lay on positivism which put the “positive knowledge” or the sciences based on experience to the foreground. Everything that could not be directly proved by experience was not recognized as science altogether and was called “metaphysics”. Nevertheless, the history proper was recognized by positivists unhesitatingly as a “positive” science studying the laws of the evolution of the mankind. On the strength of this principle, history was defined in literature of the second half of the 19th century as a “natural science studying the life of society as an integral organism”. It is of note that in the milieu of archaeologists, similar views were supported not only by naturalists. Their adherents in Russia included, for instance, Ivan Egorovich Zabelin, a typical scholar of humanities from the present-day standpoint. We should remember now about that divergence of notions when analyzing archaeological thought of a 150-years remoteness. For Gabriel de Mortillet, the “complex of natural sciences” logically contained also the positive science of history. The new discipline was treated by him unequivocally as part of “prehistory” (i.e. pre-script history). Nonetheless, a guideline for segregation of the science of the Stone Age from the subsequent history of humanity is distinctly traceable in his works.

The proposition on the unity between man and nature was adopted by evolutionists from the enlighteners (Voltaire, Rousseau). According to the ideas of the “Golden Age” of evolutionism (i.e. the first decades after the publication of Charles Darwin’s “On the Origin of Species”), the science of the primordality presented an absolutely special period — “natural-historic introduction” to the human history proper. The most ancient history of material culture was positioned in this system as a subject of the “natural-historical knowledge” in a single context with physical anthropology. Combined, they should have been “studying man in transition from the natural primordial state to the social and cultural life” (*italics added*) (Анучин, 1900: 25–27). The natural conclusion from this guideline was to divide all peoples into “natural” or “Naturvölker” (i.e. primitive or pre-historic ones united by their physical properties) and “cultural” (i.e. spiritually advanced and united by cultural traditions — historical peoples). Elaborated in details by the Marburg anthropologist and philosopher Theodor Waitz in 1859-1872 this hypothesis became the seed from which the subsequent division of archaeology into two disciplines (palaeoethnology or cultural anthropology and archaeology proper) was germinated.

The chronological limits, up to which the presumable period of transition of man from the “natural” state to culture, always seemed so shaky that but few attempted to demarcate them. Nonetheless, this complex of notions had proved to be very tenacious since it logically ensued from the very foundations of the evolutionist Weltanschauung. Therefore, a considerable number of scientists of the second half of the 20th century tacitly recognized the Stone Age as a sphere of competence of naturalists.

Thus the hypothetical “natural man” in his natural environment was the subject of studies of palaeoethnology during the times of de Mortillet (it must be noted that this

phantom was created actually in the 18th century by the imagination of Thomas Hobbes). The Stone Age, and particularly the Palaeolithic, were unequivocally believed to have been a “transition period” from human-animal to rational man. In this way, the primordial archaeology was logically united into a single complex with ethnography, physical anthropology, geography, zoology, etc., but was separated as if by a wall from the archaeology of “cultural” or civilized peoples.

With regard to the Stone Age, French palaeoethnology pretended to elucidate in the development of culture the same strict regularities as a naturalist reveals in the animate nature. As is well known, G. de Mortillet built his periodization, by contrast to Édouard Lartet, on archaeological materials, that is his main contribution to the world Palaeolithic studies. However, the principle itself of this periodic scheme, i.e. selection of a limited set of leading types, was borrowed from palaeontology. An interruption or violation of the principle of progressive evolution in the Palaeolithic material culture were perceived by the scholar as an encroachment of the sanctum sanctorum of the evolutionist doctrine. This fact determined, *inter alia*, the categorical rejection by his adherents of the discovery of the monumental Upper-Palaeolithic art in 1879, as well as the prolonged and acrimonious character of the dispute about the Aurignacian which made history as the “Aurignacian battle” (Djindjian, 2006: 245–246).

In the beginning of the 20th century, the Palaeolithic paradigm of studies of “natural man” united into communities began go to pieces before the very eyes of the scientists. Step by step traces of very complicated cultural phenomena and traditions became evident in the Palaeolithic period, undoubtedly presenting a subject of historical cognition. The “animal” state of man was dated back to somewhere of very remote times. Therefore, already after 1898, when Gabriel de Mortillet died, the very notion of “palethnologie” practically became out of use in French archaeological literature.

By an irony of fate, the adoption of the term of “palaeoethnology” in Russia took place in the mid-1900s, i.e. when this conception had already got out of use in its homeland. It was directly connected with activities of Feodor Kondrat'evich Volkov, a follower of G. de Mortillet. The attraction of the palaeoethnological approach for the young people who then were students at natural-scientific divisions of Russian universities is very simply explainable. During the precedent twenty years, investigations of primordial sites in Russia came to be mostly curtailed by force of the political reaction. The problem of the application of scientific methods of analysis, which began be studied in Russian archaeology of the 1860s-1880s, afterwards subsided of itself. Dominating in universities was the Classical archaeology with its strict philological method of investigation, as well as the closely related with it archaeology of barbarian provinces of the Roman Empire. In the milieu of young people of the early 20th century, the aspiration rose to distance themselves from that branch of knowledge associated with the bothering system of classical education. On the contrary, the palaeoethnological paradigm, returning the rights to the natural-science methods, was perceived in the early 20th century as a pioneering one and opposition to the dominating tendencies.

If one analyzes the directions of palaeoethnologists, followers of F.K. Volkov in the 1910s–1920s, the conclusion is certain: despite the sincere adherence of Volkov himself to the belated evolutionism, despite the enthusiastic veneration of the maitre by his disciples, the theoretic platform of the Russian palaeoethnological school had not become the direct continuation of the tradition of Gabriel de Mortillet. Independently from

the desire of the founder himself, the development of that tradition in Russia resuscitated the ecologo-cultural approach to studies, which was deeply rooted in Russian soil owing to works by K.M. von Baer, I.S. Polyakov, A.A. Inostrantsev, D.N. Anuchin, et al. Not the evolutionary development of culture in the primordial period was put to the foreground, but a comparison of archaeological data with the data of geography and the problem of the correlation between culture and natural environment. On the contrary, the orientation to revelation of the laws of the development of culture and the notion of archaeology as ethnography of antiquity had retained their actuality. But their interpretation was closer rather to the trends of the American “school of historical ethnology” of Frantz Boas. In particular, the fruitfulness of Boas’s direction to “studies of diffusion within a limited territory in order to understand the dynamics of the very process of diffusion” was especially stressed in the 1920s (cited after L.Ya. Shternberg). The dynamics of culture traceable through the material of the live ethnographic community seemed to the researchers to be the clue for deciphering the riddles of archaeology.

The original principle of the French palaeoethnology, i.e. the notions of “natural man” the culture of whom would have developed according to the laws similar to those of the biological world, never was refuted by anyone, but it somehow came back to the background. Not by chance, the F.K. Volkov’s course of palaeoethnology included also the archaeology of the barbarian world and partly even of the Middle Ages. His approach itself to analysis of cultures of the Neolithic period, Bronze Age and Iron Age also cannot be defined as a linear evolutionism. In this sphere, he stood rather on the diffusionist positions. However, the modernization of the “scheme of Mortillet”, undertaken in the 1900s — 1910s by Henri Édouard Breuil evoked a protest from Volkov. In the problem of the evolution of the Palaeolithic he, indeed, remained the “Last of the Mohicans”.

However, his disciples soon overcame these obsolete positions of their teacher. In particular, Peotr Petrovich Efimenko, as early as 1915, put to the foreground studies of habitats of the Upper-Palaeolithic culture and routes of migration of particular cultural elements. Simultaneously he outlined the problem of distinguishing a special East-European facia of the Upper Palaeolithic and of the differences in the rates of cultural transformations resulted of the influence of natural environment which promoted the evolution of a culture (Васильев, 1999: 19).

On the other hand, already in the 1910s, the connections began to be established between palaeoethnologists of Volkov’s school and archaeologists-historians. For instance, L.E. Chikalenko attended courses on archaeology in the Historico-Philological Faculty. S.I. Rudenko in 1916 cooperated with Mikhail Ivanovich Rostovtsev in studies of Sarmatian barrows near the villages of Pokrovka and Prokhorovka in Orenburg Province. In the sequel, already during organization of the Russian Academy of the History of Material Culture (RAIMK) in 1919, A.A. Miller demanded that the “scientific methods” of palaeoethnology were expanded not only onto the studies of the Primordial Period, but on all the divisions of archaeology. The development of the palaeoethnological school up to 1930 was directed to its integration with the “historical archaeology”. The “dynamics of culture” reconstructed using materials of living ethnographic communities was viewed as the clue for deciphering the mysteries of archaeology. However, the abyss between this “dynamics” in the Stone Age and in later eras had disappeared.

Russian palaeoethnologists negated the possibility of historical reconstruction of past epochs using only archaeological evidence. In their opinion, the sites should be

interpreted on the basis of those regularities which are established through materials of a living ethnographic culture. In order that the comparisons would not get a random character, the sources (ethnographical and archaeological) were to be investigated by the most modern methods. This resulted in the extremely important requirement put forward by scientists of the 1920s — parallelism of archaeological, ethnographical and anthropological examination of each particular region (this plan of comprehensive investigation of a populace became D.N. Anuchin’s scientific testament).

The materials yielded by previous excavations of different times, accumulated in museum collections, were unfit for studying the nature and mechanism of changes taking place in material culture. They did not meet the “elementary requirements demanded of a source” (A.A. Miller). Thus, parallel to formulation of new tasks and new questions, the problem of collection and documenting a new corpus of sources arose.

It was planned to study, through these new materials, the processes of diffusion and borrowing, ethnic mixing and migration, to elucidate their laws and to trace the nature of mirroring of these phenomena in material culture. In practice, through ethnographic materials in expeditions, the development of notions on divergence of linguistic and cultural characteristics of an ethnic community was realized, as well as of notions on different routes of historico-cultural process, on the phenomena of change of a language under the conditions of continuity of the evolution of material culture, etc. The creation of a corpus of reference sources implied a perfection of the field methods. Thus, the large-scale field investigations of the 1920s were, in fact, had no end in themselves for the archaeologists but were regarded only as the means for creation the reference database.

In the 1920s, palaeoethnologists developed quite a series of novel methods. Noteworthy are the strengthening of interest for mass finds, introduction of the notion of “integral complex” by Gleb Anatol’evich Bonch-Osmolovskiy, as well as the first experience of statistical treatment of finds and application of combinatorics in archaeology (Peotr P. Efimenko, Mikhail P. Gryaznov). The promising prospects of the further development of this direction of archaeological thought are beyond doubt. It is of note that of its most seminal period (second half of the 1920s), characteristic was the tendency to “historization” observed by Peotr F. Preobrazhenskiy. “Historization of ethnology began not because the historians became ethnologists but this development was started as if from inside...” (Преображенский, 1929: 21). “...Instead of building uniformly positioned evolutionary schemes, ethnologist meets the task to build the history of all cultures... The most immediate task of ethnology as a science is exactly in the historical verification of its sources and defining of large cultural complexes and the ties between them” (Ibid.: 26).

This was the logics of the natural development of national archaeological science interrupted by political events at the turn of the 1920s/1930s. As a result, now one has to reconstruct by grains the theoretico-methodological platform of palaeoethnology. It simply had not time to be systematically expounded in publications. The annihilating critique of the palaeoethnologic school from the standpoints of vulgar sociology and its organizational crushing resulted in the fact that its very existence came to be suppressed in literature. In the post-Stalin period it had been already firmly forgotten. The names of palaeoethnologists who had survived during the period of repressions (Sergey I. Rudenko, Gleb A. Bonch-Osmolovskiy, Boris A. Kuftin, Mikhail P. Gryaznov, et al.), simply ceased to be associated with the direction in question in the eyes of subsequent generations of scientists.

Attempt at general systematization of archaeological sources and creation of the theory of archaeology: V.A. Gorodtsov and his school

The school of typological studies of Vasilii Alekseyevich Gorodtsov established itself in the 1900s. Its appearance and further development indicated the achievement of the maturity level by Russian archaeology. “The true science begins with classification... When classification is accomplished, involuntarily the question arises: what is its purpose? It is the answer to this question that constitutes the theoretical part of science...” (A.S. Lappo-Danilevskiy).

It is exactly with Gorodtsov that very wide popularization of the typological method begins in Russia. The novelty of his approach was, of course, not in the recognition of the importance of typology as such. Description of the foundations of the typological method in Russian (by I.R. Aspelin) came off the press as early as 1877 and was one of the first in world science. However, only Gorodtsov began to consider typology as a universal method of archaeology believing that his studies would allow to transform it into an exact science — science about things and phenomenon of their evolution. In contrast to the views of many his contemporaries, he held that archaeology is an independent science capable of establishing the laws of the existence and evolution of material objects. His own confidence of his rightness was absolute, his capacity for work titanic and his persistence colossal. Gorodtsov’s endeavour to “peep into the implication” of the typological method, to render a theoretical foundation to it and to define the basic notions became the first experiment of that kind in world archaeology.

The basis of Gorodtsov’s classification was constituted by the conception of type as an aggregate of objects similar in material, form and purpose. The purpose of an object (or function in modern language) was the basis of division into categories. Substance (or what is now called material) was the basis of division into groups. The form of several types constitutes sections. Finally, the form inherent to a single type was in the basis of division into types proper. In the long run, Gorodtsov equated archaeological systematization with the biological taxonomy. The reason of the critical appreciation of his works by many of his contemporaries is in the excessive rigidity and artificiality of Gorodtsov’s system.

Indeed, the erected typological building did not reflect the real net of interrelations in the evidence. On the other hand, the high scientific level of source studies in Russia already at the turn of the 19th/20th century had led historians to the recognition of the extraordinary complicatedness of the process of extracting information from their sources (A.S. Lappo-Danilevskiy). Against this background, Gorodtsov’s concepts of typology as a universal key to understanding historical process were conceived as an amateurish approach.

One way or another, the concept of Gorodtsov was an integral system of views opposing another integral system supported by the classics of palaeoethnology. This opposition resulted in mutual negation. Practically, Gorodtsov had developed a “methodically strict approach to investigation of materials at all levels — from field studies to their complete systematization and building a column of cultures” (Лебедев, 1992). The value of his field explorations was by nobody denied. But the endeavour to introduce a new system of notions, differing from the western one and a new terminology, all that irritated the contemporaries (Жуков, 1925). Gorodtsov’s theoretical considerations for a long time

were taken into account only by his own disciples. Nevertheless, it is to V.A. Gorodtsov’s school that Russian archaeological science owes for the flowering of typological studies in the USSR in the 1920s.

The structure of Russian archaeology and new tendencies of its development in the end of the 1920s – early 1930s

The structure of archaeological science in USSR in the 1920s differed drastically from that of Tzarist Russia. Immediately after the revolution it turned to be radically reconstructed. That initial reconstruction was by no means initiated from the “top”. The central authority represented by the leaders of the Narkomat (Office) of Education until 1924, rather sanctioned than really directed the process of reformation of archaeological scientific-research and museum structures. The ideas about such a transformation, indeed, were enrooted in Russian scientific thought and culture of the pre-revolutionary period (Платонова, 1989). Properly speaking, the beginning of that process had just forestalled the October coup of 1917. Reforms in the sphere of science were actually started already after the February revolution (Знаменский, 1988). In terms of its traditions, Russian archaeology of the 1920s was still inseparable from that of the “Silver Age” in Russia, although the working conditions of scientists were very different in these years.

Within the first post-revolutionary decade, one can segregate a number of narrower periods, each of which is characterized by a uniformity of the historical conditions and common, on the whole, trends in the development of archaeology in USSR.

As early as mid — 1924, a principally new structure of archaeological service was created in the country. It included two large scientific-research institutions (RAIMK in Leningrad and IAI RANION in Moscow), about a dozen of large metropolitan museums with archaeological departments and sections, as well as over 300 provincial museums of local history. Officially, both the museum net and the research institutions were subordinated to the Main Committee for the Affairs of Museums and Preservation of Monuments under the Narkomat of Education. Nevertheless, there was then no rough interference of the authorities into the internal life of science. Training of archaeologists was conducted in universities at archaeological departments of the Faculties of Social Sciences (FONs). Simultaneously, archaeology was taught at anthropological and ethnographical departments of physico-mathematical faculties. In the committees and commissions of the Academy of Sciences, preparation of large interdisciplinary expeditions for exploration of the outlying districts of the USSR started since 1924 was carried out.

The antagonisms between science and authorities were distinctly manifested already in 1925–1927. They were concerned with the sphere of methodology of archaeological science, its organization and personnel policy. The main methodological contradiction was in the fact that archaeological thought of the 1920s followed the direction of search of regularities of the evolution of a living ethnographic culture and their extrapolation onto archaeological cultures. However, its further development in the same direction was possible only on one condition that science in general would remain beyond the control (at least the direct one) of the current dictatorial regime. Only in that case, Russian ethnologists could without hindrance carry out investigations of contemporary cultural and social processes giving them as much as possible an unbiased appraisal. In the conditions of the New Economic Politics (NEP), the prospects of that situation still seemed

to be quite real. In the course of the initiated interdisciplinary anthropological-archaeological-ethnographical exploration of remote regions of the USSR, a special stress was laid onto the practical utility (in essence, an applied character) of these studies:

«...The governments of republics have a pressing need to receive as promptly as possible a summary... on what is known about the nature and population of their countries, ...in order to outline the ways of the most efficient economic and cultural construction... To select a way for further development of the people's economy is possible only then, when... one knows the past and has established the causal relation and the dependence between the past and present. Hence, comprehensible is the aspiration of anthropological teams for the branch of palaeoethnology, where they moreover usually digress from practical problems to the sphere of solution of scientific problems and of the evolution of cultures within the limits of the given... region” (C.P., 1928: 77–78).

This extract reflects quite a real situation established in Soviet science in the period in question. The adoption of NEP stimulated the search for the means of analysis of social reality and social prognoses. Exactly then the money were found for investigations on a very large scale carried out by AS USSR. Therefore the quotation cited above was a declaration of loyalty and the readiness of scientists to cooperate with the new administration, in exchange for the freedom to act in their own line.

However, in the period under consideration, simultaneously also effects of directly opposite directions are observed. Thus, during the foundation of the first postgraduate scholarship in archaeology in 1925, the administration of the Narkomat of Education did not conceal that the new generation of Marxist scientists after graduating were to become the grave diggers for the “old” archaeology. Simultaneously, the first indications appeared that the so-called “japhetidology” of N.Ya. Marr was supported by official ideologists of Marxism. Subsequently, these views generated the theory of stadiality in archaeology, which would present a desired (although erroneous!) alternative to all other directions of the development of archaeological thought in the USSR. Thus, the period of 1925–1927, the high point of NEP, appears practically in all aspects important for science as an arena of differently directed tendencies. Nonetheless, despite all these facts, the scientific life in those years ran extremely intently and seminally.

The end of 1929–1930 became the period of the break and radical reconstruction of the entire previous infrastructure of archaeology. Thus the first half of the 1930s belonged already to the next stage of the development of national archaeology — the stage which was distinguished mainly by the highly politicized character.

A special problem is represented by the transformation of the image of archaeological science imprinted in the mind of the contemporaries of the “Great Break” of 1929–1934. The mythologization of different aspects of contemporary reality during that period reached unprecedented scale. The indispensable attribute of the science of the period of totalitarianism was the creation of a new aggressive historiographic concept within the framework of each scientific discipline. The purpose of those concepts was to render to it a new, mostly one-sided interpretation dictated by the ideology of a totalitarian state. In archaeology, the conception of this type was elaborated by V.I. Ravdonikas.

The years coinciding with the “switching to the Marxist rails” turned to be extremely hard for Soviet archaeologists both in moral and psychological respects. The new requirement to study “not things but the social relations standing behind them” for a time had shifted to the far background the very studies of the materials and analysis of ar-

chaeological sources. And nevertheless, that period cannot be considered as a total catastrophe befallen the national archaeological science.

In this connection, noteworthy is the functioning (although brief) of the so-called “problematic and theoretical groups” for which in 1930–1931 the tasks were set to master the enormous factual evidence on the history of agriculture, hunting, animal husbandry, rise of feudalism and types of settlements, etc. As V.V. Gol'msten noted in 1930, it was simply impossible to collect and systemize that material single-handedly, “hence one must attract a number of persons interested in this problem” (cited after: Свешникова, 2009: 166).

The many-sided purposeful study of sources throughout so vast subjects formed a special breadth of mental horizons among the participants. One of the results was in creation of joint monographs which, have they been published then (in 1931–1932) would have, perhaps, become events in world science. However, only isolated extracts turned to see light while the full texts have, at the best, survived in archives. Given all the “lapses” gaping throughout those “broad canvases”, given the general objective lack of information and rough sociologism of the generalization in them, these writings, nevertheless, came to be a very important stage of studying the evidence and organizing it into some logical system.

There is no doubt, were it not for the strong scientific tradition in Russia and the foundations laid previously, the “Marxization” would have turned out to become a total collapse of national archaeology. But on the contrary, for the scientists who later constituted the backbone of the leading archaeological institutions in the USSR of the 1930s–1950s, that period had come to be the time of the final “maturation” and finding of a new scientific platform.

Conclusion

This book analyses not only that part of the scientific legacy of the past, that has proved to be apprehended and developed by its immediate successors in the 1930s — 1950s, but also the “hidden” section of that heritage, considerably more uncommonly found within eyesight of historians. Meanwhile, the latter includes not only the issues which really are already obsolete, but also those that have come to be understood only within the context of archaeological thought of subsequent periods (the ideas which “got ahead of themselves”).

The development of archaeological thought in Russia during the period under consideration is presented here not as a process of monolinear progressive ascent, but as a continuous interaction of conflicting tendencies. It may be stated with confidence that particular methodological guidelines always belong to their time and later become out-of-date. At the same time, discoveries made in one of the branches of scientific research soon belong to other, including very remote ones: the information interchange is running uninterruptedly. Meanwhile, the conceptual platforms (“basic concepts”) betray the ability to be resuscitated and renovated at new rounds of researches.

The basis of this phenomenon is linked with permanent difference and continuous interaction of diverse philosophical approaches to the history of humanity. Along with social factors, enhancement or, on the contrary, weakening of their influence upon science establishes those conceptual platforms which generate scientific schools, presenting another, already properly “scientific” level of understanding facts.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Глава 1. Источники. Методы. Подходы	9
1.1. Вводные замечания.....	9
1.2. Источники, основные понятия и методы исследования.....	12
Глава 2. Систематические обзоры и варианты периодизации отечественной археологии (середина XIX — первая треть XX вв.)	20
Глава 3. Начальный этап становления научной археологии в России	43
3.1. Различные «концепции» в русской археологии второй половины XIX в.: взгляд современника.....	43
3.2. Общественная подоснова развития «национальной археологии» и ее особенности в России второй половины XIX в.	44
3.3. Основное противоречие русской археологии третьей четверти XIX в. ...	46
3.4. Русская археология или «археология русских»? М.П. Погодин, И.П. Сахаров, И.Е. Забелин, А.С. Уваров.....	48
3.5. «Винкельмановское» направление в русской археологии и начало разработки национальной тематики: С.Г. Строганов, Ф.И. Буслаев.....	54
3.6. Разработка идеологии и методологической базы исследований первобытных древностей России: К.М. Бэр.....	59
3.7. Изучение первобытности в контексте исследования национальных древностей России: роль русских немцев в этом процессе.....	65
3.8. Заключение.....	68
Глава 4. Археология как наука гуманитарного цикла в России (вторая половина XIX — первая треть XX вв.)	70
4.1. Гуманитарная исследовательская платформа в русской археологической науке.....	70
4.2. «Скандинавский подход» в русской археологии 1860–1870-х гг.: Л.Ф. Радлов, П.И. Лерх.....	72
4.3. Историко-бытовая школа в археологии: 1850–1880-е гг.....	78
4.3.1. «Бытописание» или история культуры?.....	78
4.3.2. Попытки определения археологии как науки в 1860–1870-х гг.: А.С. Уваров, И.А. Забелин, П.В. Павлов.....	79
4.3.3. А.С. Уваров и наука о первобытности в России. 1870–1880-х гг.....	85
4.4. Развитие классической археологии в России: школа Н.П. Кондакова.....	88
4.5. Школа комплексного востоковедения в России и археология.....	95
4.6. Попытка объединения традиций историко-бытового и классического направлений: А.А. Спицын (1890–1920-е гг.).....	99
4.6.1. Характеристика источников.....	100
4.6.2. Определение археологии, её предмет и задачи по А.А. Спицыну.....	102
4.6.3. Разделы археологии по А.А. Спицыну.....	104
4.6.4. А.А. Спицын об О. Монтелиусе и типологическом методе.....	107
4.6.5. Культура и этнос по А.А. Спицыну.....	109
4.6.6. Идеи А.А. Спицына в отечественной археологии XX в.....	110
4.7. Теоретическое обоснование археологии как отрасли исторического источниковедения: А.С. Лаппо-Данилевский.....	112
4.7.1. А.С. Лаппо-Данилевский — личность и творчество.....	113
4.7.2. А.С. Лаппо-Данилевский как археолог.....	114
4.7.3. А.С. Лаппо-Данилевский — теоретик археологии (первый период).....	116
4.7.4. А.С. Лаппо-Данилевский — теоретик археологии (второй период).....	118
4.8. Археология как гуманитарная дисциплина в теоретических исследованиях 1920-х гг.: П.Ф. Преображенский.....	122
4.9. Заключение.....	124
Глава 5. Археология как естественно-историческая дисциплина в России ...	125
5.1. Палеоэтнологическая школа в России: вводные замечания.....	125
5.2. Философская платформа палеоэтнологии: странички истории.....	126
5.2.1. Габриэль де Мортилье и формирование естественнонаучного подхода в археологии.....	126
5.2.2. Истоки формирования взглядов эволюционистов на первобытное общество.....	128
5.2.3. Французская палеоэтнология: научный прорыв и осознание сложностей.....	132
5.3. Преддверие «антропологической археологии» в России: 1860 — начало 1880-х гг.....	136
5.3.1. И.С. Поляков и начало исследований каменного века на Русской равнине.....	137
5.3.2. Историко-культурные реконструкции палеолита по материалам первых раскопок стоянок Русской равнины: И.С. Поляков и А.И. Кельсиев.....	141
5.3.3. Естественнонаучный подход к изучению неолитических стоянок в 1870–1880-х гг.: А.А. Иностранцев и его книга.....	145
5.3.4. Упадок интереса к первобытности в конце XIX в.: причины и следствия.....	147
5.4. Формирование палеоэтнологической школы в России (конец 1910–1920-е гг.).....	148
5.4.1. Основоположники: Д.Н. Анучин и Ф.К. Волков.....	148
5.4.2. Фёдор Кондратьевич Волков: этапы жизни и творчества.....	152
5.5. Палеоэтнологическая школа в русской археологии (конец 1910 — 1920-е гг.).....	161
5.5.1. Поколение «первых учеников».....	161

5.5.2. А.А. Миллер и методика раскопок поселений со сложной стратиграфией	165
5.5.3. Научный прорыв в исследованиях палеолита: Г.А. Бонч-Осмоловский	169
5.5.4. Методологический поиск палеоэтнологической школы накануне Великого перелома	177
5.6. Разгром палеоэтнологических научных центров	180
5.6.1. С.И. Руденко и «руденковщина»	180
5.6.2. Судьбы ведущих палеоэтнологов на Великом переломе	184
5.7. П.П. Ефименко: разрыв и преемственность научной традиции	188
5.7. Заключение	196
Глава 6. Попытка общей систематизации археологических источников и создания теории археологии: В.А. Городцов и его школа (1890–1920-е гг.)	198
6.1. Василий Алексеевич Городцов — жизнь и деятельность до 1917 г.	198
6.2. Школа В.А. Городцова и ее методологический поиск в 1917 — начала 1930-х гг.	203
Глава 7. Структура отечественной археологической науки и особенности ее развития в 1920 — начале 1930-х гг.	215
7.1. Периодизация процесса сложения инфраструктуры российской археологии (1917–1930 гг.)	215
7.2. Российская/Государственная Академия истории материальной культуры	219
7.2.1. Начальный этап: 1918–1919 гг.	219
7.2.2. Николай Яковлевич Марр — организатор археологической науки	226
7.2.3. «Чистка» ГАИМК	232
7.2.4. Реорганизация ГАИМК: 1930–1934 гг.	235
7.3. Археологическое образование в 1920 — начале 1930-х гг.	241
7.3.1. Политика советской власти в университетах и археология	241
7.3.2. Археологическая аспирантура 1920-х гг.	246
7.4. Общественная подоснова развития краеведческой археологии в СССР 1920-х гг.	250
7.5. «Марризм» в археологии	253
Заключение	259
Список сокращений	263
Литература	264
Abstract	287

Научное издание

Надежда Игоревна Платонова

История археологической мысли в России
Вторая половина XIX – первая треть XX века

Оригинал-макет *Л.А. Философова*
Дизайн обложки *Л.А. Философова*

Подписано в печать 20.10.2010. Формат 70x10^{1/16}
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 19,75. Тираж 800 экз.
Заказ № 1809

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел.: (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru. www.rossica.su

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21.
Тел.: (812)622-01-23